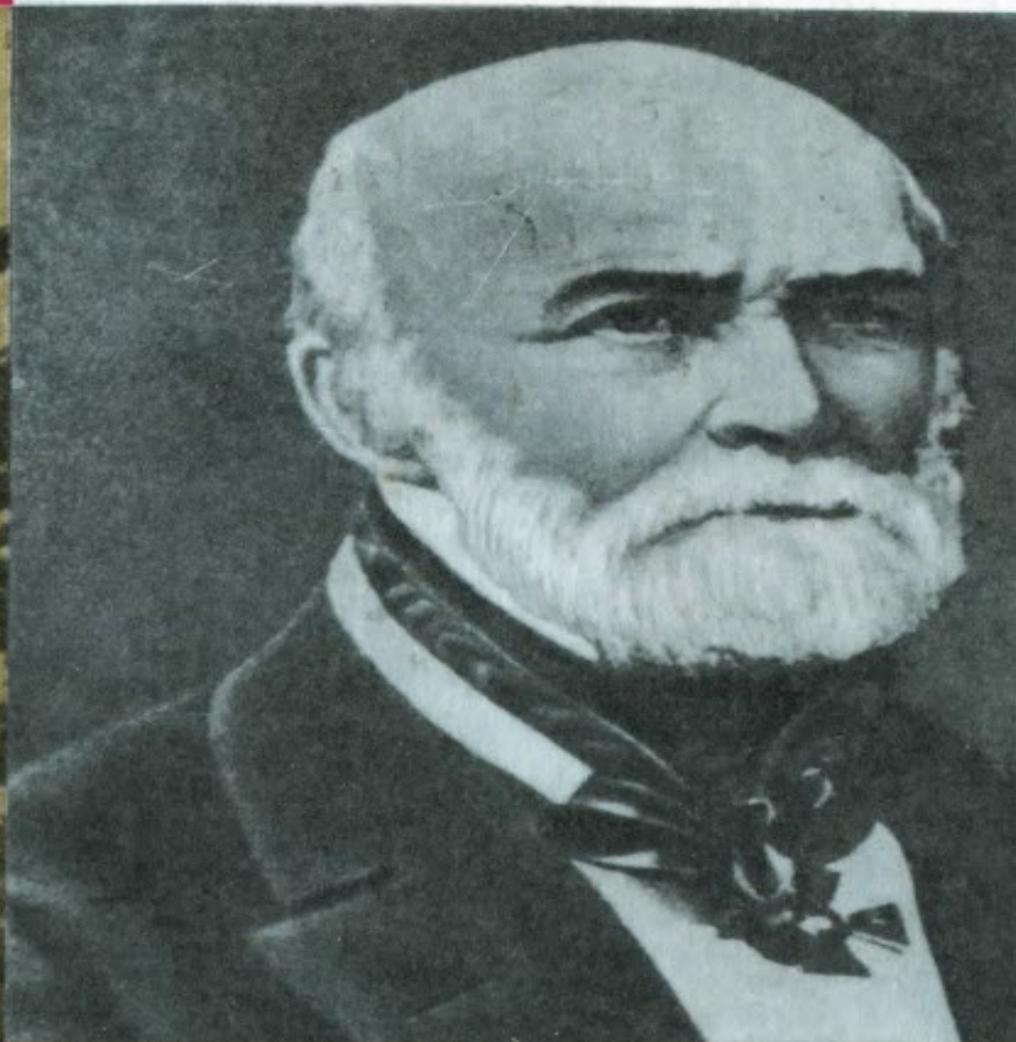


# ПИРОГОВ



Александр  
Брежнев



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

## Annotation

Книга рассказывает о жизни и деятельности выдающегося русского хирурга, педагога и общественного деятеля XIX столетия Николая Ивановича Пирогова. В российскую и мировую науку Пирогов вошел не только как первооткрыватель и создатель целых разделов русской медицины, но и как врач-подвижник, патриот Отечества и земли русской. Автор, врач по профессии, использует в книге редкие архивные материалы и документы. Издание рассчитано на массового читателя.

[Адаптировано для AlReader]



FB2 книгу сделал mefysto

- 
- [Александр Брежнев](#)
    - 
    - 
    - 
    - [СВЕТ УЧЕНИЯ](#)
    - [ПУТЬ В МЕДИЦИНУ](#)
    - [ЗА ГРАНИЦЕЙ. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕРПТ](#)
    - [В ПЕТЕРБУРГЕ](#)
    - [ПИРОГОВ В СЕВАСТОПОЛЕ](#)
    - [ПИРОГОВ-ПЕДАГОГ](#)
    - [БРАТУШКО, ДОКТОР!](#)
    - [ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ](#)
    - [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ](#)
    - [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
      - 
      - 
      - 
      - 
      -

**THE UNIVERSITY OF CHICAGO**

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- [КРАТКИЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ](#)
- [INFO](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)

- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)

- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)

- [104](#)
  - [105](#)
  - [106](#)
  - [107](#)
  - [108](#)
  - [109](#)
  - [110](#)
  - [111](#)
  - [112](#)
  - [113](#)
  - [114](#)
  - [115](#)
  - [116](#)
  - [117](#)
  - [118](#)
  - [119](#)
  - [120](#)
  - [121](#)
  - [122](#)
  - [123](#)
  - [124](#)
  - [125](#)
  - [126](#)
  - [127](#)
  - [128](#)
  - [129](#)
  - [130](#)
  - [131](#)
  - [132](#)
  - [133](#)
  - [134](#)
  - [135](#)
  - [136](#)
  - [137](#)
  - [138](#)
  - [139](#)
  - [140](#)
-

# ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

*Серия биографий*

ОСНОВАНА  
В 1933 ГОДУ  
М. ГОРЬКИМ





# Александр Брежнев

## ПИРОГОВ



МОСКВА  
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

\*

### РЕЦЕНЗЕНТЫ:

профессор, доктор медицинских наук В. Н. Исаев,  
член СП СССР А. Герасименко,  
капитан 1-го ранга В. Н. Федотенков

*В книге использованы  
уникальные архивные фотоматериалы.*

© Брежнев А. П., 1990 г.

*Народ, имевший своего Пирогова, имеет право гордиться, так как с этим именем связан целый период развития врачебноведения. Начала, внесенные в науку (анатомия, хирургия) Пироговым, останутся вечным вкладом и не могут быть стерты со скрижалей ея, пока будет существовать европейская наука, пока не замрет на этом месте последний звук богатой русской речи. У нас нет своего русского храма славы, но если*

*когда-нибудь создастся народный «Пантеон», то там отведено  
будет место великому врачу и гражданину.*

*Из речи профессора Н. В. Склифосовского при  
открытии памятника Н. И. Пирогову в Москве 3  
августа 1897 года*

*Светлой памяти моего дедушки, донского казака  
Русанова Максима Васильевича, посвящаю эту книгу.*

## СВЕТ УЧЕНИЯ

Перед началом рождественского поста, 13 ноября 1810 года, в доме казначея Московского провиантского депо Ивана Ивановича Пирогова родился 13-й ребенок, сын Николай. За окнами мела и кружила метель. Мороз был крепким, и предвечерний сумрак то и дело наполнялся устрашающими скрипами, тресками и шорохами. Но в доме было весело. Иван Иванович был рад крепкому, смело и пронзительно оглашавшему всю залу сыну. Дедушка Иван Мокеевич, отец Ивана Ивановича, которому уже перевалило за сто, осторожно взял на руки кричащего малыша и, поцеловав его в щечку, перекрестил:

— Господи, помилуй! Господи, благослови!..

А затем улыбнулся:

— Перед Рождеством Христовым добрый русский молодец родился, слава ему!

И все хором тут же поддержали, троекратно прокричав:

— Слава ему!!!

И плакала в радости мать Елизавета Ивановна, а вместе с нею служанка Прасковья и няня Катерина Михайловна. Шум метели и скрип ставен за окном перебились вдруг церковным пением.

— Служба началась... — в волнении произнес дядя Николай Николаевич.

— Будет добрым русский молодец!.. — воскликнул Иван Мокеевич и прижал утихнувшего малыша к груди.

Няня, добродушная, голубоглазая старушка в темнокрасном платье и старинной кружевной накидке, взяла из дедушкиных рук малыша и прошептала:

— Благочинный наш, ох как обрадуется. И назовем мы его Николаем в честь Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

Отец подошел к маленькому столику в правом углу, где висели иконы и теплилась лампадка. Быстро пролистал одну из церковных книг и сказал:

— Да, матушка, перечить тебе не могу. Будет назван мой сын в честь Святителя и Чудотворца — Николаем. Бедных жалеть он будет и побеждать врагов.

Служанка Прасковья принесла свечи и, раздав их всем, первая зажгла ее от лампадки. А потом, когда мать прошептала:

— Коля... Николай... Сыночек ты мой родной! Кем ты будешь? — все

утихли. Молча стояли, прислушиваясь, как жадно дышал малыш, то и дело смотря на них и изредка улыбаясь.

Вдруг в комнату забежал в огромном семеновском тулупе сторож. Лицо красное, разгоряченное.

— Все!.. — радостно прошептал он и достал из-за пояса бутылку. — В честь тебя, хозяйюшка, не грех, я думаю, и выпить. Я ведь говорил, сын выйдет, сын и вышел...

— Антон! Др-руг... — кинулся к нему дедушка и крепко обнял его. — Да у нас целая бутылка есть...

— Откеля я знал?.. — засмеялся тот. — Думаю, на всякий случай надо взять. Вот и зашел к Ефрему-псаломщику, а отец Василий ломоть сала дал, так и сказал, мол, отнеси Пироговым...

Затем вдруг сторож снял с головы шапку и, отдав сало и бутылку Ивану Мокеевичу, воскликнул:

— Братцы, да что же это я! Давайте в честь рождения сына почеломкаемся... Почеломкаемся, что ли, братцы, а!..

И, откинув назад русые волосы, подошел к Ивану Ивановичу и троекратно его расцеловал.

Дом Ивана Ивановича находился на Кривоярославском переулке во втором участке Басманной части, в приходе церкви святой Троицы, что в Сыромятниках, и поэтому церковное пение, особенно в большие праздники, когда пели два хора, хотя и слабо, но можно было слышать и дома.

Малыш настороженно и внимательно смотрел по сторонам.

С расписной печи на малыша смотрели русские воины во главе с Дмитрием Донским и молодые девицы, жнущие серпами рожь. На стенах залы были изображены четыре времени года, особенно впечатляла картина, на которой были проводы русской зимы с заливчатски несущимися русскими тройками с бубенцами и с кучей. малой в санях. А с потолка смотрела Аленушка с аленьким цветочком в руках, и вокруг нее кружились разноцветные, сказочные и очень красивые птицы.

Иван Иванович любил разукрашивать стены комнат персонажами из русских народных сказок. Все эти росписи хорошо вписывались в обстановку комнат, и поэтому рассматривать их было одно удовольствие.

В 1812 году Николай Пирогов с тревогой и страхом, еще, можно сказать, ничего не мыслящий ребенок, воспринимает эвакуацию из Москвы. Иван Иванович Пирогов со всей семьей покидает столицу и вместе с ободом, переполненным ранеными воинами, уезжает во

Владимир. В телеге рядом с ребенком вздыхал дедушка Иван Мокеевич, солдат петровских времен. Провожая глазами заброшенную Москву с торопливо покидающими ее людьми, он шептал:

— Ох, детки, верно, Мокеевичу уж зеленой травы не топтать...

По отступным дорогам обозы плелись кое-как, потому что все они были переполнены. После, когда Николай подрос, дворовая женщина так рассказывала ему о том времени: «По дороге кто едет в карете верхом, кто ребятишек в тележке за собой тащит. Тут корову ведут, тут козел рвется из рук, клетки с курами привязаны на повозках. Везут большой чан на тройке, и в чану-то народ сидит, оттуда выглядывает, кто один пробирается, кто целой семьей едет, ребятишки за мать держатся, сами ревут, что не успевают, али проголодались и есть просят».

Санитарные телеги, утопающие в грязи, стоны и крики раненых, то и дело сменяющиеся поторапливающими приказаниями, обгоняли мирские обозы.

Пройдет много времени, и преклонный Пирогов в своем «Дневнике старого врача» так изобразит этот кратковременный миг далекой памяти.

«Не помню и того, когда начал себя помнить; но помню, что долго еще вспоминал или грезил какую-то огромную звезду, чрезвычайно светлую. Что это такое было? Детская ли галлюцинация, следствие слышанных в ребячестве длинных рассказов о комете 1812 года, или оставшееся в мозгу впечатление действительно виденной иной в то время, двухлетним ребенком, кометы 1812 года во время нашего бегства из Москвы во Владимир, — не знаю. Помню и еще какую-то странную грезу нити, сначала очень тонкой, потом все более и более толстевшей и очень светлой; она представлялась чем-то тревожным, заставлявшим бояться и плакать: что-то подобное я слышал потом и о грезах других детей».

Дом Пироговых во время пожара Москвы сгорел, и после возвращения из Владимира им пришлось строить и частично восстанавливать на прежнем месте новый.

Русской грамоте Николай Пирогов научился почти самостоятельно, хотя иногда значение тех ил\_и иных букв и слогов объяснял ему старший брат. Дух войны 1812 года и особенно героическая победа русского народа над французами захватили все детство и юность Николая. Эти великие события развили и укрепили в юноше любовь к Отчизне.

«Не родился я в эпоху русской славы и искреннего народного патриотизма, — вспоминал Пирогов, — какой были годы моего детства, едва ли бы из меня вышел космополит. Я так думаю потому, что у меня

очень рано развилась вместе с глубоким сочувствием к родине какая-то непреодолимая брезгливость к национальному хвастовству, ухарству и шовинизму».

Азбука, по которой учился Пирогов, представляла собой карикатуры на французских воинов. Например, буква А обозначала глухого мужика и бегущих от него французских солдат с подписью:

*Ась, право, глух, мусье, что мучит старика,  
Коль надобно чего, спросите казака.*

Буква Б. Наполеон, скачущий в санях с Даву и Понятовским на запятках, с надписью:

*Беда, гони скорей с грабителем московским,  
Чтоб в сети не попасть с Даву и Понятовским.*

Буква В. Французские солдаты раздирают на части пойманную ворону, и один из них, крайне изголодавшийся, держит лапку, а другой, валяясь на земле, лижет из пустого котла. И надпись:

*Ворона как вкусна, нельзя ли ножку дать.  
А мне из котлика хоть жижи полизать.*

Буква Щ с подписью:

*Щастье за Галлом, устав бресть пешком,  
Решилось в стан русский скакать с казаком.*

Эти буквы с карикатурами, подкрепляемые свежими воспоминаниями очевидцев и участников войны 1812 года, сразу же запоминались мальчику.

Над постелью Николая висела отцовская сабля в медных ножнах.

В 1812 году отец спас ею крестьянку. Няня Катерина Михайловна, свидетельница этого случая, вечерами любила рассказывать об этом Николаю. Во время бегства из Москвы неожиданно на одну из крестьянок, везущую молоко, напал какой-то буйный ратник из ополченцев. Были и такие люди, которые в суматохе и панике не терялись и грабили своих.

Отец, увидев такое безобразие, выскочил из повозки и, замахиваясь на ополченца саблей, отогнал его. И тот, испугавшись поднятого, обнаженного лезвия сабли, задал стрекача. В знак благодарности крестьянка налила отцу кружку молока, которую он отдал сыну. Тот с удовольствием выпил его.

Сабля была тяжелой, и Николай смотрел на нее, восхищаясь мужеством и смелостью отца. Ведь ополченец был тоже вооружен и в любой момент мог напасть на отца.

Дедушка Иван Мокеевич хотя и старенький был, но саблю из ножен доставал без всякого труда и даже мог ею помахать над головой. Он любил рассказывать Николаю о Петре Первом, о битве со шведами под Полтавой.

— Внучек... — часто говорил он Николаю, — всегда люби и уважай Родину. И не ходи к врагу с повинной головой. Гордись Россией, ее славой, ее мужеством... Братцы, молоденькие солдатики, геройски погибли, защищая ее в трудные минуты. Так разве можем и мы не погибнуть за честь и святость ее!..

И, вдохновленный этими своими словами, он начинал читать строки из поэмы А. С. Пушкина «Полтава»;

*Ура! Мы ломим; гнутся шведы.  
О славный час! о славный вид!  
Еще напор — и враг бежит.  
И следом конница пустилась,  
Убийством тупятся мечи,  
И падшими вся степь покрылась,  
Как роем черной саранчи.*

Но больше всего дедушка любил рассказывать о Троице-Сергиевой лавре и об иноке Сергии Родонежском, благословившем Дмитрия Донского на Куликовскую битву.

— Сергий святой был своими делами... — говорил дедушка. — А еще он дал Дмитрию Донскому двух монахов. Чтобы с верой в победу ехать на поле брани.

И Дмитрий Донской и все воины знали, что на верную смерть идут. Но позади ведь была Родина. И хотя тогда половина войска русского полегла, но зато Русь была спасена. Особенно дух ее. Он людей объединил и много им храбрости и веры дал...

Николай с восхищением слушал эти рассказы. А при поездках в Троице-Сергиеву лавру просил дедушку показать лик Сергия

Радонежского. Светловолосый старичок с коротенькой бородкой тихо и мирно смотрел на него. И святость лица, и простота взора и всей фигуры придавали юноше вдохновение и гордость за своих предков, геройски любивших и защищавших свою Родину. И вот уже слышится ему, как Сергей Радонежский, чуть наклоняясь к стоящему перед ним на коленях Дмитрию Донскому, говорит:

— Иди и спасай!..

Всего два слова «Иди и спасай!». Неподкупный, спокойный мудрец Сергей Радонежский, духовной отвагой и смелостью сумел зарядить русских воинов.

В Троице-Сергиевой лавре в то время были земля и камни с Куликова поля. И дедушка подводил к ним Николая и рассказывал о них. Как нужны и необходимы были Пирогову эти дедушкины рассказы!

«Так, я до сих пор живо помню виденное мною, — вспоминал Пирогов, — только один раз в ризнице Троицкой лавры самородное изображение креста со стоящей пред ним на коленях фигурой; я был тогда восьмилетним ребенком, и как теперь вижу белый, прозрачный, выпуклый камень с этим изображением; предо мною, как будто наяву, стоит монах с поднятой рукой и держит камень против света. Я положительно знаю, что никогда в другой раз не был в ризнице лавры. Помню так же живо до сих пор однажды слышанное от какого-то мальчика, — правда, то были знакомые мне слова псалма: «Всякое дыхание да хвалит господа», я их слышал и читал в Псалтыре не раз; но почему же я помню всю обстановку, при которой они были слышаны мною?

Мне было тоже не более (скорее менее) 8 лет, когда я, гуляя с нянькой на берегу Яузы, услышал визг собаки; приблизившись, мы увидели двух мальчиков; из них один топил собаку, другой его удерживал, громко заявляя: «Всякое дыхание да хвалит господа!» Нянька моя похвалила его за это, и мы пошли далее».

Уже в раннем возрасте Николай задумывается о происхождении жизни, о людских страданиях и болезнях.

А в приходе церкви святой Троицы, где стоял их дом, он часто в дни службы видел собиравшихся на паперти раненых 1812 года, которые, протягивая перед посетителями шапки и картузы, хором кричали:

— Подайте Христа ради сынам Отечества!

И шлепались в шапки медяки. Калеки были рады им. Они с подобострастной благодарностью крестились, и при своей немощи удивительно низко, почти до самой земли кланяясь, шептали:

— Спасибо, братцы! — и добавляли: — Всякое дыхание да хвалит



господа!..

«Почему они все говорят про дыхание?.. — удивлялся Николай и тут же сам себе объяснял: — Дыхание — это жизнь, то есть все живое... А живое постоянно должно благодарить господу за то, что он дал жизнь. Но почему они тогда так мучаются? За что?.. И эти костыли, и открытые раны на руках и ногах...»

Трудно и нелегко было разобраться Николаю в жизни. По большим праздникам дедушка с отцом заводили калек в дом и, усадив их за стол, угощали едой, давая с собой свертки хлеба и прочей пищи. И очень часто в доме Пироговых звучала их любимая русская песня.

*Как у нас-то в славном городе,  
Во Астрахани  
Проявился тот детинка —  
Разудалый молодец.  
Городским-то он начальникам  
Не кланяется,  
Самому он губернатору  
Почет не отдает.*

Стояли горкой у стены затертые костыли и палки. Рядом с ними лежали заплечные мешки и сумки. И, глядя на этих радостно поющих людей, он восхищался их духовной красотой.

Много русских сказок знала наизусть и служанка Прасковья Кирилловна. Она ходила всегда в чепце и в белом фартуке. Была всегда чистая, опрятная. И следила, чтобы и Николай был таким. На нем всегда отглаженный костюм. А если Николай очень быстро испачкивал рукава рубашки и белый стоячий воротник, она сердилась и вместо двух сказок рассказывала вечером только одну. И тогда Николай, оставшись один, накрывался беличьим одеялом и, глядя из щелочки на белые розы на его тумбочке, которые всегда приносила служанка, плакал. «Скорее бы мне научиться читать. Скорее бы...»

Постепенно азбука была освоена, и Николай научился читать. Узнав об этом, отец сразу же начал приносить сыну книги.

«Чтение детских книг было для меня истинным наслаждением, — писал Пирогов в «Дневнике старого врача». — Я помню, с каким восторгом я ждал подарка от отца книгой: «Зрелище вселенной», «Золотое зеркало для детей», «Детский вертоград», «Детский магнит», «Пильпаевы и Эзоповы

басни», и все с картинками, читались и прочитывались по нескольку раз, и все с аппетитом, как лакомство.

Но всего более занимало меня «Детское чтение» Карамзина в 10 или 12 частях; славная книга, — чего в ней не было! и диалоги, и драмы, и сказки, — прелесть! Потому прелесть, что это чтение меня, 7—8-летнего ребенка, прельстило знакомством с Альфонсом и Далиндой или чудесами природы, с почтенной госпожой Добролюбовой, со стариком Яковом и его черным петухом, обнаружившим воришку и лгунишку Подшивалова; да так прельстило, что 60 с лишком лет эти фиктивные личности не изгладились из памяти».

Николай с интересом читает и толстую отцовскую книгу в двух томах «Путешествие по России» Палласа. Паллас (Петр-Симон, 1741–1811), кроме путешественника, был необыкновенным ботаником, минералогом, геологом, топографом, врачом, этнологом, археологом, филологом и зоологом. Он изучил всю климатологию юга России. А собранная им коллекция полезных ископаемых, растений и прочих других археологических находок послужила основой знаменитой коллекции Кунсткамеры.

Кроме этой, по мнению Пирогова, самой познавательной книги, он зачитывался, а точнее, изучал русский язык по письмовнику Н. Г. Курганова (1725–1796), полное название которого было таким: «Российская универсальная грамматика или вообще письмословие, предлагающее легчайший способ основательного учения русскому языку, с семью присовокуплениями разных учебных и полезно-забавных вещей». Это учебное пособие по изучению русского языка было самым популярным в то время. Вышедший в 1796 году письмовник Курганова переиздавался 18 раз, и при этом каждое издание перерабатывалось и дополнялось.

Его чтение вызывало у Николая восторг. Красочно иллюстрированный письмовник был полон смешными анекдотами, остротами и прибаутками. Не меньший восторг при чтении вызывали у Пирогова и басни Крылова, полные веселого юмора и сатиры.

В воскресные дни кто-нибудь из гостей обязательно начинал читать басни. И, слушая их, все смеялись и радовались удачному и меткому осмеянию тех или иных человеческих пороков современной жизни. Басню «Квартет», очень понравившуюся Николаю, он выучил задень и замечательно и неподражаемо декламировал такие ее места, где мартышка сажает косолапого мишку-басиста против альта, а затем осел предлагает усестяся всем чинно в ряд. Полюбил Николай и «Тришкин кафтан», ну а «Демьянову уху» он помнил наизусть до конца своей жизни.

Ненавидя пустословие наряду с занудливостью и ценя молчание, видя в нем мудрость, он часто своим студентам декламировал концовку из «Демьяновой ухи».

*Писатель, счастлив ты, коль дар прямой имеешь,  
Но если помолчать во время не умеешь,  
И ближнего ушей ты не жалеешь:  
То ведай, что твои и проза и стихи  
Тошнее будут всем Демьяновой ухи.*

С интересом познакомился Николай с «Людмилой» и «Светланой» Жуковского.

«Из других стихотворений, — вспоминал он, — я довольно рано, когда был еще лет девяти, познакомился с «Людмилой» и «Светланой» Жуковского, декламировал к большому удовольствию домашних слушателей с некоторого рода пафосом и разными жестами; несколько позже узнал и старика с щетинистой бородой, блестящими глазами, но страшно боялся встречи с ним в темной комнате и бегом, зажмуря глаза, проходил чрез нее.

Первый роман, попавшийся мне в руки на 12-м году моей жизни, был «Фанфан и Лолотта» Дюкре-Дюмениля, и я помню, что не одна фабула романа завлекла меня, а образ Лолотты. Должно быть, заговорили рано развившиеся половые инстинкты».

Иногда отец брал Николая к себе на работу. Деловые люди в чистых мундирах больше говорили о цифрах и все время считали на счетах, складывая в огромные папки разноцветные бумаги с двуглавым орлом.

— Что это?.. — спрашивал сын отца.

— Хлебные бумаги... — объяснял тот. — По ним хлеб в магазинах принимают.

Николаю нравилась не работа отца, а его мундир с золотыми петлицами на воротнике и обшлагах, белые штаны, большие ботфорты с длинными шпорами. Он имел... майорский чин и славился по Москве как отличный счетовод и хороший законовед. Сверх своей основной работы отец занимался и ведением частных дел, помогая разобраться купцам и предпринимателям в цифровой путанице. Он ездил в собственном экипаже и, как все москвичи, любил гостеприимство. На работу уезжал рано и возвращался поздно. Но для семьи всегда находил время. Отец Пирогова был хорошим семьянином, любил мать и беспокоился о воспитании детей.

А всего их у него было четырнадцать.

«Я не сомневаюсь, например, — вспоминал Пирогов, — что удержавшееся весьма ясно представление моей матери еще молодожавой женщиной в красном массака цвета платье, в чепце с двумя темно-русыми пуклями на лбу, осталось у меня в памяти от восьмилетнего возраста.

Моя мать, как я слышал от нее, вышла замуж 15 лет, имела 14 детей; я был предпоследним (последний ребенок умер вскоре после рождения); следовательно, ей не могло быть более 36 лет, когда мне было 8; потом же, когда я ходил в школу двенадцатилетним мальчиком, я уже ее помню не такой; утрата двух взрослых детей и невзгоды жизни, стряпшиеся над ней в течение этого времени, сильно изменили ее наружность; она постарела, и образ ее сливается уже в моей памяти с другим, позднейшим, так что теперь мать моя представляется мне в двух, совершенно различных один от другого видах; то как молодожавая, смотрящая на меня с любовью женщина, в темнокрасном капоте, чепце и пуклях; то как старушка со сморщенным лицом, согнутым туловищем и туманным взглядом, почти такая же, какой она была в последнее время своей жизни, 30 лет тому назад, хотя я наверное знаю, что между этими двумя видами остался у меня в памяти еще и третий, не сходный ни с одним из них, но так туманный и бледный, что я не могу его облечь в ясное представление».

Елизавета Ивановна Новикова, такова была девичья фамилия матери Пирогова, происходила из старой московской купеческой семьи. В отличие от мужа по родословному положению она была выше, так как он был выходец из крестьянской семьи и в жизни знал только свою родительницу мать, отец его почти всю жизнь прослужил солдатом. Мать вышла за Ивана Ивановича Пирогова пятнадцати лет от роду.

Родители были верующими людьми, да и сама обстановка обязывала их быть такими, ведь они жили в церковном Приходе. Они строго соблюдали посты, знали наизусть все молитвы и очень хорошо пели церковные песнопения. Знал несколько молитв и Николай, но многого в них не понимал. И когда в дом заходил батюшка, то Николай, бросившись к нему под благословение, спрашивал его:

— Когда же ты приведешь Боженьку?

И тот, с солидностью разгладив усы и бороду и поправив на груди ярко-золотой крест, подобострастно крестился в угол, где горела перед огромными, красивыми иконами лампада. А затем певуче произнес:

— Свят, свят, свят!.. — на одном выдохе начинал говорить Николаю: — Блаженны нищие духом; ибо их есть царство небесное! Блаженны кроткие; ибо они наследуют землю! Блаженны милостивые; ибо они

помилованы будут! Блаженны чистые сердцем; ибо они Бога узрят! Блаженны изгнанные за правду; ибо их есть царство небесное!.. — Й, закончив все это, батюшка, пристально посмотрев на Николая, как-то враз онемевшего от громогласного баса священника, спрашивал его: — Понял, из чего теперь твой боженька состоит?..

— Выходит, все, ставшие после войны с французами нищими и калеками, блаженны... — восторженно произносил Николай. — Выходит, и вы, батюшка, и все люди должны быть блаженны... И погибшие тоже блаженны?..

— Блаженны и они... — произносил удовлетворенно батюшка и спрашивал Николая: — Девяностый псалом выучил?

— Выучил... — тихо отвечал Николай и начинал читать: — Живый в помощи Вышняго, в крове бога небесного водворится. Речет Господеви: заступник мой еси и прибежище мое.

— Молодец!.. — хвалил его тот и спрашивал: — А еще что-нибудь ты о Боге знаешь?..

— А как же, знаю... — ободренный похвальбой священника, отвечал Николай и гордо произносил: — Не бойтесь убивающих тело, бойтесь душу могущих убить!

— Ай да молодец!.. — польщенный неожиданным ответом, хвалил он Николая. — Подготовился мастерски. Сразу видно, если Бог тебя неожиданно о чем-нибудь спросит, ты не растеряешься, ответишь как следует.

И, перекрестив Николая, священник садился за стол, где с помощью папеньки, наевшись и напившись в полную волю, начинал вдруг вместо церковных петь русские народные песни. А затем, нагорлавившись и насмеявшись вместе со всеми, он шел в комнату отца, где в наспех постеленной постели спал до самого утра.

Вновь построенный дом Пироговых был уютным и очень просторным. Под его окнами был маленький садик и цветник. Дорожки — во дворе были ровненькие и ухоженные. Чтобы не было грязи на них, отец покрыл их кирпичом. Вместе с братьями и сестрами Николай играл в саду в кегли, крючки и городки. Сад был густой, и Николай любил прятаться в нем. А как красивы были деревья по утрам! Как приятно пахла и блестела разноцветной росой листва!

Один раз, когда он был с сестренкой в саду, в доме вдруг поднялся какой-то шум. И неожиданно, что очень редко бывало в приходе, во всю мощь зазвонили колокола. Оказывается, умер Наполеон. Радовалась вся Москва. Радовались взрослые и дети. Бывший французский император

Наполеон I, Бонапарт, который грозился новыми походами и завоеваниями, скончался. Народ вышел на улицу, все поздравляли друг друга и радовались. «Да здравствует конец проклятого Бонапарта!» — кричали люди, и им вторили дружно колокола: «Конец! Конец!..»

Радовалась и семья Пироговых, испытавшая на себе весь ужас отступления и эвакуации. Их работник Иван, потерявший один глаз на этой войне и лично знавший легендарного атамана Донского казачьего войска М. И. Платова, отличившегося в Бородинском сражении, взобрался на крышу дома и запел песню:

*Ты, Россия, мать Россия,  
Мать российская земля,  
Мать российская земля,  
Много славы про тебя;  
Много славы про тебя,  
Про Платова-казака.*

Николай знал эту песню и начал во всю свою детскую мощь подпевать ему.

А затем Иван спел песню донских казаков «Александр I и Платов», в которой рассказывалось о «попытке французской армеечки российскую приобидеть». Однако стоило только православному царю обратиться к храбрым русским воинам за помощью, не успел он слова даже вымолвить, как нагрянули на врага удалые казачьи полки, впереди которых был лихой атаман Донской, генерал Платов. Иван боготворил Платова и считал его самым храбрым генералом, каких ему только доводилось видеть на войне.

— Даже по слухам и по разговорам бывалых... — часто говорил он Николаю. — Нет храбрее Платова!

Истории о казаках он мог рассказывать по нескольку часов кряду.

— Нет смелее людей на белом свете, — говорил он. И Николай завороченно слушал его, удивляясь храбрости донских казаков и гордясь при этом, что он сидит с человеком, лично знавшим атамана войска Донского.

— Для казака, конь — родной брат. А какие они добрые, а как они мягко, певуче говорят, если бы ты только слышал. И учти, от лошади они никуда не отходят. Если не на лошади, то рядышком с нею обязательно сидят. А как браво песни поют! И все о воле, о свободе!

Иван стеснялся своего больного глаза и редко выходил на улицу. После

ранения на войне весь зрачок заволокло бельмо, и глаз был белым. К каким только докторам не возила семья Пироговых Ивана, и все в один голос заявляли, что снять бельмо нельзя. Один раз было нашелся бродячий лекарь, собравшийся исцелить Ивана в один миг. И вот как описал Пирогов эту сценку в своем дневнике: «И кривой, белый как мел, глаз крепостного Ивана также изгладился бы непременно из моей памяти, — мало ли таких кривых я видел на свете, — если бы не явился к нам в дом однажды какой-то шарлатан из Сибири, наговоривший Ивану о чудесах своего искусства; он начал приставать с мольбами к матушке о дозволении возратить ему глаз. Шарлатан, любопытные рассказы которого об езде на собаках в Якутске я также припоминаю, начал впускать в белый глаз какие-то белые порошки; глаз покраснелся, шарлатана прогнали, а Иван остался по-прежнему кривым, да вдобавок еще и осмеянным. Я был зрителем, но гораздо более слушателем этой драмы».

Кроме общих и известных всем детям игр, Николаю больше всех нравилась игра, придуманная им самим, это игра в лекаря.

Именно она привела Николая к истокам сопереживания, к страждущему человеку, к облегчению его страданий и исцелению. Эта игра появилась в доме Пироговых случайно. В доме болел ревматизмом старший брат Николая Амос. Неожиданно болезнь обострилась, и он слег в постель. Отец вызвал нескольких докторов, но болезнь не успокаивалась, а, наоборот, нарастала. С неожиданным повышением температуры воспалились суставы. А по вечерам больного начал мучить озноб. Иван Иванович Пирогов обратился за помощью к известному всей Москве врачу и ученому Ефрему Осиповичу Мухину. Он был хирургом и преподавал в Московском университете. Однако славился лечением и других болезней. Ефрем Осипович дал согласие навестить сына Ивана Ивановича. Был назначен день и время его приезда.

«Я помню еще, с каким благоговением готовились все домашние к его приему, — вспоминал Пирогов, — конечно, я, как юркий мальчик, бегал в ожидании взад и вперед; наконец подъехала к крыльцу карета четверней, ливрейный лакей открыл дверцы, и как теперь вижу высокого, седовласого господина, с сильно выдавшимся подбородком, выходящего из кареты. Вероятно, вся эта внешняя обстановка, приготовление, ожидание, карета четверней, ливрея лакея, величественный вид знаменитой личности сильно импонировали воображению ребенка, но не настолько, чтобы тотчас же возбудить во мне подражание, как обыкновенно это бывает с детьми: я стал играть в лекаря потом, когда присмотрелся к действиям доктора при постели больного и когда результат лечения был блестящий.

Так, по крайней мере, я объясняю себе начало игры после глубокого, еще памятного и теперь, впечатления, произведенного на все семейство быстрым успехом лечения.

...Словом, впечатление, неоднократно повторенное и доставленное мне и глазами, и ушами, было так глубоко, что я, после счастливого излечения брата попросил однажды кого-то из домашних лечь в кровать, а сам, приняв вид и осанку доктора, важно подошел к мнимо больному, пощупал пульс, посмотрел на язык, дал какой-то совет, вероятно, также о приготовлении декокта<sup>[1]</sup>, распрощался и вышел преважно из комнаты».

Кроме профессора Мухина, у Пироговых было много других знакомых докторов. Но Ефрем Осипович поразил Николая больше всех. При всей солидности и важности этого известного человека в нем чувствовалась нежность и ласка к больному. А как он менялся у постели больного! Как чуток и внимателен был к нему! Все постороннее, люди, звуки для него исчезали. И он оставался наедине с больным, с его чаяниями и страданиями.

Мухин назначил брату сассапарельный корень<sup>[2]</sup> и порекомендовал делать серные ванны, и буквально через неделю тот начал поправляться. С приездом доктора свершилось чудо. Исчезла температура, припухлость суставов, а вскоре ушла и болезнь. Этот счастливый успех в лечении возбудил в Николае глубокое уважение к искусству врачевания. И вот уже он, надев на себя сшитый ему няней белый халат, предлагает лечь брату в постель, как он лежал ранее при болезни, и начинает, как доктор Мухин, внимательно опрашивать его и слушивать.

— Здесь болит?.. — ощупывая живот брата, спрашивает его Николай.

— Болит... — кряхтит и стонет брат.

— А голова болит?.. — вновь спрашивает он.

— Все, все болит... — пуще прежнего кряхтит брат, закатывая под лоб глаза.

Николай торопливо щупает пульс у больного, смотрит язык, самодельной трубочкой прослушивает сердце и легкие, а затем, вдруг приняв солидный вид и осанку бывалого доктора, медленно говорит:

— Мне кажется, у вас, мой миленький, все наладится, если вы будете выполнять мои предписания... — и с еще более важным видом продолжает: — На суставы вам следует ежедневно накладывать дегтярные повязки, а от сердцебиения пить отвар валерьянки и ландыша... Ну а при давлении рекомендую пиявки. Если к завтрашнему дню запор у вас продолжится, то вы обязательно примите столовую ложку касторки...



И, поправив одеяло на больном, доктор встает.

В будние дни, когда отец на работе, а мать занята делами по хозяйству, вся зала в доме Пироговых вдруг превращалась в лазарет. На койках, диванах и креслах лежали и сидели стонущие соседские ребятишки, а между ними, поочередно осматривая их всех, носился доктор Николай, кроме градусника, в его докторской сумочке было много флакончиков с настойкой валерьяны и ландыша.

— Пейте корень валерьяны... — говорил он плаксам. — Он от нервов помогает, а заодно слезы убирает...

И больные, слушаясь доктора, переставали плакать и стонать. Взяв из рук его флакончик, тут же выпивали содержимое, где вместо валерьяны была обыкновенная вода. Кроме соседских ребятишек, больными у Николая были и няня, и служанка, и отец, и даже кошка Машка с сестринными куклами. Все в доме любили лечиться у Николая. И все его за это уважали.

Папа, выпей валерьяны... — говорил он рано утром отцу, спешащему на работу. И тот, послушавшись его, выпивал сыновнюю валерьяну. А вечером, придя с работы, он, увидев встречающего его Николая, говорил:

— Если бы не твоя валерьяна, то я бы сегодня, наверное, и не сдержался... Один купец, чтобы по закону разобраться, стал на всех нас кричать, горлом брать... А купец не простой, в императорский дом вхож. Так что помогла мне твоя валерьяна, сынок, ох как помогла... — И отец ласково гладил сына по голове. Иногда вместе с отцом в дом Пироговых приходил известный по Москве акушер и оспопрививатель Андрей Михайлович Клаус. Этот веселый и забавный старичок прививал оспу всей семье Пироговых от мала до велика. Он никогда не бросал своих больных, хотя они особо в нем и не нуждались, и постоянно наблюдал их. Его шутя звали оспопрививателем «екатерининских времен». Стоило ему было зайти в тот или иной дом, как его тут же окружали дети. И все потому, что он ходил с чемоданчиком, где был карманный микроскоп, в который разрешалось смотреть на мир микроскопической природы и взрослым и детям. Иногда он оставлял у отца микроскоп, разрешая Николаю рассматривать бактерий и прочих невидимых глазу живых существ. Николаю очень интересно было смотреть надвигающиеся в капле воды живые точки и черточки. А как красиво бежали под микроскопом в березовом листке светлые и темные капельки, а какое, оказывается, несметное количество перегородочек в листке, всех их и не сосчитать. Вместе с Андреем Михайловичем Клаусом в дом Пироговых заходил и старейший друг отца Григорий Михайлович Березкин, лекарь Московского

воспитательного дома, страстный любитель лекарственных трав. Он первым начал учить Николая разбираться в травах.

— Каждую травку надо в свой срок собирать, чтобы опа свою целебную силу не теряла, и не всю ее срывать, а лишь то, что нужно... — объяснял он Николаю, когда они оказывались в саду или парке. — У бессмертника собирают в конце сентября нераспустившиеся цветки. Сушат их в тени, ибо на солнце они обесцвечиваются. После сушки хранят в темноте. А вот мать-и-мачеху, наоборот, можно собирать в первую половину лета и сушить на открытом воздухе. Цветочки ее пользы мало приносят, а вот листья бесценны. Лучшей травы, чем мать-и-мачеха, при заболеваниях легких на белом свете нет...

Григорий Михайлович любил рассказывать Николаю разные курьезные случаи из области медицины. И в своих рассказах всегда обращал большое внимание на чуткость и заботливость врача к больному.

— Грубому человеку лекарем лучше и не становиться... — любил говорить он. — Лошадь и та характер и душу чувствует, а человек и подавно. Врач должен быть по нраву человеком прекрасным и добрым. Значительным и человеколюбивым. А лицо его должно быть исполнено размышления.

— А доктор Мухин такой?.. — спрашивал его неожиданно Коля.

— Да, он настоящий врач! — отвечал Григорий Михайлович.

— Он как Гиппократ?..

— Почти, — с уважением к знаменитому доктору произносил Григорий Михайлович и добавлял: — Великий врач, помогающий народу, равен Богу.

— Мне дедушка говорил, что Гиппократ равен Богу.

— Он прав, Гиппократ был Богом. Жил он около 460 лет до нашей эры, а его все врачи мира до сих пор знают и почитают, и будут до тех пор почитать, покуда земля жива. — И Григорий Михайлович восторженно добавлял: — Гиппократ вечен не только открытиями, но и душой. Так, как он, никто больных не любил! И учти, по духу он наш, потому что православная вера от греков на Русь пришла. И хотя врачом он был, но проще его на земле человека не было, он мог есть, пить и жить со своими больными, потому что считал, больного надо наблюдать не только у постели, но и в жизни, то есть в больничном мире. Я преклоняюсь перед этим человеком.

— И я тоже хочу преклоняться перед этим человеком... — восторженно произносил Николай.

— Дело мудрое, не спорю... — вздыхал Григорий Михайлович, —

но одного преклонения мало.

— Я хочу быть таким, как он... — поправлялся тут же Николай. — Я буду лечить больных, как он лечил, и любить так же, как он любил!

— Вот это другое дело, — улыбался Григорий Михайлович. — Как говорится, по-отечески... На днях я принесу тебе его знаменитую клятву врача, она так и называется клятва Гиппократ. Прочитай и изучи ее внимательно. Там все его святые мысли изложены о долге врача и его обязанностях. Может, даст бог, проявится у тебя интерес, и ты тоже станешь врачом, да не простым, а таким, как Гиппократ.

— Я буду, обязательно буду им!.. — в волнении произносит Николай. И через день с помощью все того же Григория Михайловича находит портрет Гиппократ и вешает его над своей кроватью.

А один раз вместе с книжками о травах Григорий Михайлович принес учебник латинского языка. Открыв его наугад, на первой попавшейся странице, он сказал Николаю:

— Если будешь знать хорошо латынь, то в последующем многие науки без особого труда постигнешь. Даже Петр Первый из всех иностранных языков больше всего любил латынь. Петр Первый из царей был умнейший человек. Он русских людей на многие добрые дела всколыхнул. И благодаря ему Русь всему миру стала известна. Вот, например, скажи мне, как при Петре Первом Русь называлась?

— Великая Российская держава... — тут же отвечал Николай. Он знал, что Петр Первый был для Григория Михайловича любимцем. Он боготворил его. И почти все, что знал о Петре Первом, рассказывал Николаю.

— Молодец, в Петра растешь... — похвалил он его. — И запомни это слово: «держава»... В нем сила и гордость, слава и величие. Так вот, любимым латинским изречением Петра Первого было выражение: «Вени, види, вици», то есть «пришел, увидел, победил». Как ты считаешь, сильное это выражение?

— Очень!..

— Молодец... — улыбался Григорий Михайлович. — Рад, очень рад, что ты понял, что такое есть латинский язык.

Вначале Николай с помощью Григория Михайловича выучил многие латинские изречения, такие, как «пэр аспэра ад астра» — «через тернии к звездам», «пэрикулум ин мора» — «опасность в промедлении», «омниа мэа мэкум порто» — «все мое ношу с собой», а затем через месяц и алфавит, и вскоре он разговаривал на латинском как заправский латинянин.

Григорий Михайлович не раз говорил, что без латинского языка врач

не может быть врачом, потому что все, абсолютно все медицинские названия пишутся только по-латыни.

— Международный язык медиков — латынь... говорил Григорий Михайлович. — Да и многие другие науки, например, такие, как биология и ботаника, без латыни немь... Даже названия трав пишутся только по-латыни.

Григорий Михайлович не был учителем, но он очень любил детей. Любил играть с ними, шутить, интересоваться их познаниями. Даже после того, как Николай выучил язык, он, зайдя в дом Пироговых, подзывал его к себе и, потерев руками, произносил:

— А вот мы тебя сейчас проверим. А ну-ка, Колька-латинянин, отгадай, что это такое будет, «кариэ диэм»?

— Лови мгновение!.. — бойко отвечал Николай.

— Так, так, молодец!.. А что Петр любил говорить своим солдатам?

— Си вис пацэм, пара бэллум!.. Если хочешь мира, готовься к войне.

— А как по-латыни будет мать-и-мачеха?

— Туссилага фарфара!

— А первоцвет весенний?

— Примула верис!

— Ну ты, батюшка, и молодец! — радовался за Николая Григорий Михайлович. — Если и дальше так будешь латинские слова произносить, то выйдет из тебя, пожалуй, и большой человек. И все потому, что ты умник, не соседскому мальчишке-разгильдяю чета.

Григорий Михайлович, отметив в мальчонке способности к учению, посоветовал Ивану Ивановичу заняться сыном более серьезно. И отец приглашает для занятий на дому студента Московского университета, который научил Николая письму и разбору предложений по частям речи. Этот первый учитель был модным малым. Румянощекий, пышущий здоровьем и вечно улыбавшийся, он носил белые рубашки с туго накрахмаленными, стоячими воротничками и синий костюм с медными пуговицами и красным цветком в петлице. Он научил Николая составлять поздравительные адреса всем подряд, начиная с родителей и кончая придворными вельможами, включая, конечно, и государя. Иностранные языки он не любил и был предан только русскому языку. Он более подробно познакомил Николая с такими поэтами, как Державин, Жуковский и Пушкин.

Затем отец привел второго учителя, тоже студента, но в отличие от первого очень низенького и невзрачного, он был не из университета, а из Московской медико-хирургической академии. Николай удивил его, как

студента-медика, знанием латинской грамматики. Поэтому на второй день занятий он принес латинскую хрестоматию Кошанского и заставил Николая делать из нее переводы. На уроках он занимался больше разговорами, много говорил об истории Москвы, о происхождении рода человеческого. Прочитанное в книгах Николай должен был ему пересказывать. При этом учителе Николай выучил наизусть многие стихотворения Жуковского, и больше всего любил поэму «Певец во стане Русских воинов». Особенно такие строки из поэмы, как:

*И честь вам, падшие друзья!  
Ликуйте в горней сени;  
Там ваша верная семья —  
Вождей минувших тени.  
Хвала вам будет оживлять  
И поздних лет беседы.  
«От них учитесь умирать!» —  
Так скажут внукам деды,*

захватывали дух.

Поэма была созвучна рассказам дедушки о героизме русских воинов в Отечественной войне 1812 года. Тем более приятно было читать поэму, созданную участником великих событий. В предисловии к поэме Николай прочел, что Жуковский, не раздумывая, 12 августа 1812 года оставил свое творчество и вступил в ряды московского ополчения в чине поручика. И в день Бородина был рядом с полем боя. В поэме Николай, как никогда образно и ярко, увидел историю своего народа и необыкновенную его стойкость и патриотизм. Своими устами певец (поэма построена на обращении певца к воинам) призывает всех, кому дорога Россия, к мужеству, стойкости и спокойствию. Николайзнакомился с историей народа по всем книгам, которые приносил учитель.

«Из моих домашних занятий (до школы), — вспоминал Пирогов, — мне кажется, я не отдавал преимущества ни одному, кроме чтения; считать не особенно любил, но четырем правилам арифметики научился еще до школы; любил также собирать и сушить цветы, рассматривать изображения животных и растений и картинки исторического содержания, особенно из войны 1812 года, бывшие тогда в большом ходу. Латинская и французская грамматика не возбуждали моего сочувствия; но разбор частей речи из русской грамматики был для меня очень занимателен, и я помню, что

просиживал над ним охотно целые часы. Личность учителя русского языка я и до сих пор еще вспоминаю, хотя только по воротничкам, пантолонам и рацее<sup>[3]</sup>; но из двух других, занимавшихся со мной латынью и французской грамотой, одного совсем забыл, а другой мелькает в памяти как тень какого-то маленького человечка. Вообще в домашнем воспитании до двенадцати лет я занимался только тем, что само по себе было для меня занимательно».

Домашнее учение было для Николая легким и свободным, оно часто сопровождалось играми вместе с учителем в лекаря или в войну 1812 года. Семья Пироговых была очень набожна, но Николай почему-то к Богу особо не тянулся. Учителя говорили об этом отцу. На что тот отвечал:

— Главное, он «Отче наш» знает, а там пусть как хочет.

Наверное, в отсутствии тяги к религии в чем-то был повинен сослуживец отца, сын священника Яков Иванович Смирнов. Высокий, прямой, как шест, и неповоротливый, он постоянно улыбался. Придя в дом Пироговых и пообедав как следует, он начинал критиковать священников.

— Батюшки из-за своей чрезмерной экономии Бог знает как начинают себя вести... Взять вот хотя бы нашего отца Феофилакта. Только свечу у божницы поставишь, и не успеет она как следует разгореться, как монашки по его тайному приказу незаметненько ее убирают, бритвой ровненько краешек оплавленный отрежут и тут же продают как новую... А рыжий дьяк Кузьма мало того, что жену за перерасходы сахара ремнем стегает, так он еще и частицы от просфор в тряпочку собирает, а затем сушит их и ест со щами. Денег у него горы, а попробуй попроси в трудную минуту, копейки не даст.

Мать Пироговых, слушая Якова Ивановича, крестилась. Но не верить ему не могла, потому что лучше его никто жизни священнослужителей не знал. Отец его работал во многих церковных приходах Москвы. Хотел, чтобы и Яшка стал священником. А тот не захотел. И вот вместо того, чтобы прославлять отца и его братию, ходит по домам и разносит их в пух и прах.

— А намеднись благочинный, вот вам крест, чтобы не соврать, я сам был на службе... Народу собралось видимо-невидимо. А он при чтении акафиста<sup>[4]</sup> Иоанну Предтече в десятом кондаке<sup>[5]</sup> вместо «Спаси мир пришедшего во плоти Христа Бога» половину слов пропустил и сказал лишь «Спаси Христа Бога...». А дьяк его тоже хитрец, вместо того чтобы Евангелие целый час читать, пробалабонил за полчаса... По-ихнему выходит, что нам, простым смертным, ничего нельзя такого спешного перед

богом делать, а им все угодно... Уж больно много строгости они на народ напустили, а эту строгость, наоборот, в первую очередь с них надо требовать. Где это видано и где это писано, чтобы архимандрит Михаил в алтаре храма Воздвиженского мог на семинариста-послушника при всех говорить — дурак. Церковь ему разрешения такого не давала. Вот и выходит, что он и церковью, и верой пренебрегает. В пост, никого не стесняясь, сало с колбасой лопает. Какой же он монах, если его так разнесло, что он еле в двустворные алтарные двери боком пролазит. Я один раз сделал ему замечание, так он страшным судом начал мне грозить. А сам ведь толком ничего про страшный суд и не знает. Зато простой люд знает как обирать.

Николай слушал Якова Ивановича и удивлялся его смелости, с которой он критиковал батюшек. А, когда он уходил, мать, крестясь, говорила:

— Может быть, много есть среди них и плохих, но много есть и хороших...

Впечатлительная к религии, мать была очень требовательна и строга в воспитании детей, хотя в доме ей не всегда, конечно, удавалось проследить за поведением каждого ребенка. За младшими больше следили старшие дети. А основное наблюдение возлагалось на няню и служанку.

Николай был живой и разбитной мальчик, но особых шалостей за ним не замечалось. В доме он ни разу не был сечен. Однако мать, один раз заметив, что он ударил по щеке соседского мальчишку, подошла к нему и точно так же ударила его. Но Николай не заплакал. То ли понял, что виновен, а может, потрясли ее слова.

— Как ты смеешь бить по лицу... Запомни, самый большой грех на земле — это бить человека по лицу...

Она говорила эти слова сыну, а сама с трудом сдерживала слезы, чтобы не расплакаться.

«Родители, и именно мать моя, — вспоминал Пирогов, — имели, судя по-нынешнему, более чем странное понятие о целях образования. Мать считала его необходимым в высшей степени для сыновей и вредным для дочерей. Мальчики, по ее мнению, должны бы быть образованнее своих родителей, а девочки не должны были по образованию стоять выше своей матери; впоследствии она горько раскаивалась в своем заблуждении. Отдавая такое предпочтение мальчикам, родители не пожалели своих, в то время уже довольно ограниченных, средств для обучения нас двоих (меня и брата Амоса) в частных школах».

Когда Николаю исполнилось 12 лет, то родители отдали его вместе с братом Амосом в один из лучших в Москве частных пансионов,

называвшийся «Своекоштное отечественное училище для детей благородного звания» с 6-летним курсом. Заведовал им известный московский педагог Василий Степанович Кряжев. Находился этот пансион недалеко от дома Пироговых, в том же Троицком приходе.

Надев сыну новую, только что купленную школьную форму, пахнущую хлопком и шерстью, Иван Иванович завел его в большой деревянный дом, коридор которого был увешан цветными картинками, обозначающими значение тех или иных слов. Вот отец толкнул обитую кожей дверь, и, зайдя в кабинет, Николай увидел небольшого плотного господина с красным лицом и волосами с проседью. Сквозь серебряные очки на него смотрели умные и очень добрые глаза.

— Пирогов Николай Иванович!.. — произнес торжественно господин и улыбнулся. — Милости просим, добро пожаловать к нам.

И отец, с разрешения господина, оставив Николая, ушел. Так начался первый день учебы в пансионе. Василий Степанович любил дисциплину и порядок. Если учащиеся шалили и не слушались, то они наказывались битьем линейки по ладоням, ну а самых непослушных секли розгами. Вместе с Пироговым в пансионе учились дети значительных дворянских фамилий и богатых купцов, которые пешком не ходили, а приезжали в пансион в дорогих экипажах. А некоторые, такие, например, как сын Волконских, даже надевал пажеский высокосветский мундир. Василий Степанович своих детей не имел. Поэтому все свои силы вместе с женой он отдавал пансиону. Его жена-немка, Анна Ивановна, следила за порядком. Пансионеры ее называли «маменькой». После обеда все должны были в порядке строгой очередности целовать ее белоснежные руки. Кроме всего прочего, она сопровождала учащихся на обед и в церковь на богослужение. В ее обязанности входила также утренняя перекличка и проверка чистоты одежды.

Николаю училось легко. В этом ему помогала домашняя подготовка. Латинские тексты он переводил без всякого труда. Богословие тоже знал неплохо, да и если бы и не знал его, то особых неприятностей не было. Священник преподавал его просто так, как говорили учащиеся, «для себя». Произнеся две какие-нибудь молитвы и троекратно перекрестив всех, он садился в кресло и обиженно произносил: «Миленькие мои! Нету у меня ни богатства, ни денег. Вот только крест на нитке, да в руках четки<sup>[6]</sup> — все, чем от бесов и обороняюсь!» И в который раз приказав всем читать Апокалипсис<sup>[7]</sup>, тут же засыпал. И вскоре все так выучили Апокалипсис, что удивленный знаниями его и легкостью, с которой учащиеся объясняли



сложнейшие явления конца Белого света, Василий Степанович торжественно заявил: «Во всех других пансионах Апокалипсис — священная книга, а у меня поэтическая!»

Много внимания в пансионе уделялось истории, географии и математике. Преподавали ее братья Терехины. Они любили подолгу и с необыкновенным пылом рассказывать о причинах второй пунической войны между римлянами и карфагенянами, о Сципионе и гениальном полководце Ганнибале. Алгебру Николай не любил и большого внимания ей, как и геометрии, не придавал. Зато самым уважаемым предметом для Пирогова в пансионе была русская словесность, а самым любимым педагогом, преподававшим ее, учитель Войцехович. Он страстно любил свой предмет и заражал своей любовью к нему и учеников.

«Слово с самых ранних лет оказывало на меня, — вспоминал Пирогов в «Дневнике старого врача», — как и на большую часть детей, сильное влияние; я уверен даже, что сохранившимися во мне до сих пор впечатлениями я гораздо более обязан слову, чем чувствам. Поэтому не мудрено, что я сохраняю почти в целости воспоминания об уроках русского языка нашего школьного учителя Войцеховича; у него я, ребенок 12 лет, занимался разбором од Державина, басен Крылова, Дмитриева, Хемницера, разных стихотворений Жуковского, Гнедича, Мерзлякова. О Пушкине в школах того времени, как видно, говорить не позволялось.

Войцехович умел отлично занимать нас рассказами из древней и русской истории, заставляя нас к следующему уроку написать, что слышали, и изложить свое мнение о герое рассказа, его действиях, характере и т. п. Ни на один урок я не шел так охотно, как в класс Войцеховича; в нем все было для меня привлекательно. Серьезный, задумчивый, высокий и несколько сутуловатый, с добрыми, голубыми глазами, Войцехович (кандидат Московского университета) одушевлялся на уроке так, что одушевлял и нас. Я был, судя по отличным отметкам, которые он мне всегда ставил в классном журнале на уроке, лучшим из его учеников и, должно быть, этим держал на карауле мою внимательность».

На уроках Войцеховича Николай познакомился с новыми трудами Карамзина. В необыкновенный трепет привело его чтение величайшего труда Карамзина «Истории государства Российского». Лучшего преподавателя русской истории, чем Войцехович, в пансионе Кряжева не было. Он знал многие главы из «Истории государства Российского» наизусть. Когда он входил в класс, все тут же утихало, и наступала вдруг необыкновенная тишина. Громким голосом, без всяких переключек и вводных слов он начинал говорить о русском наречии языка: «Русское,

более всех других образованное и менее всех других смешанное с чужеземными словами. Победы, завоевания и величие государственное, возвысив дух народа российского, имели счастливое действие и на самый язык его, который, будучи управляем дарованием и вкусом писателя умного, может равняться ныне в силе, красоте и приятности с лучшими языками древности и наших времен. Будущая судьба его зависит от судьбы государства...»

— Еще говорите! Еще... — просили Войцеховича учащиеся.

«— Славяне же богемские, иллирические и российские не имели никакой азбуки до 863 года, когда философ Константин, названный в монашестве Кириллом, и Мефодий, брат его, жители Фессалоники, будучи отправлены греческим императором Михаилом в Моравию к тамошним христианским князьям Ростиславу, Святославу и Коцелу для перевода церковных книг с греческого языка, изобрели славянский собственный алфавит...»

Войцехович говорит, и замирает сердце Николая. Из его слов он узнает историю своей родины и предков.

— Столь же единогласно хвалят летописи общее гостеприимство славян, редкое в других землях и доныне весьма обыкновенное во всех славянских... — звучит голос учителя.

«Я славянин!.. — шепчет Николай. — И я постараюсь сохранить и развить в себе все самые лучшие черты славян...» Карамзин пишет, что они не знали ни лукавства, ни злости; хранили древнюю простоту нравов, неизвестную тогдашним грекам; обходились с пленными дружелюбно и назначали всегда срок для их рабства, отдавая им на волю или выкупить себя и возвратиться в Отечество, или жить с ними в свободе и братстве.

Николай гордится своими предками-славянами, их волей, гостеприимством, взаимовыручкой, природным добродушием.

— Дети мои! — любил обращаться к учащимся Войцехович. — Помните, что земля русская, угнетенная и подавленная всякими бедствиями, уцелела и восстала в новом величии. Помните это! И гордитесь, что вы живете на такой святой земле.

Дух захватывало, когда Войцехович произносил эти слова. Нет лучшего предмета, чем русская история.

«Я буду читать теперь только Карамзина», — шептал в восторге Николай. И вскоре своими познаниями русской истории начал удивлять Войцеховича. Учитель заметил в ученике жажду к истории. И всеми путями стремился развить ее, передать все свои знания ему. Он даже решил, что Николай Пирогов станет словесником. И когда много лет спустя

увидел в одной из университетских клиник своего ученика в белом халате, то очень удивился.

— Дорогой, а как же Карамзин?.. — с пронизывающей болью воскликнул он, — Я думал, вы пойдете на словесный факультет, а вы пошли на медицинский...

Пирогов с добротой посмотрел на любимого учителя и, чтобы успокоить его, произнес:

— Карамзин всегда в моей душе... Я благодарен вам за это. Вы спасли меня, — и крепко обнял старого учителя.

— Спасибо вам... — улыбался тот, радуясь неожиданной и очень нужной друг для друга встрече.

В пансионе Кряжева, как и во всех остальных пансионах Москвы и многих других учебных заведениях, было засилье иностранных языков. Василий Степанович был очень требовательным в этом отношении и считался специалистом по «иностранщине». Он не только преподавал основные иностранные языки в пансионе, но и издал учебники французского, немецкого и английского языков. Особенно повышенные требования предъявлялись к знанию французского языка. Если учащиеся не соблюдали право говорить вне классов между собой по-французски, то они оставались без кушанья и не выпускались гулять. А некоторых упрямцев, не желающих овладевать «иностранщиной», секли розгами.

Николаю Пирогову удалось избежать влияния иностранного языка при домашнем обучении, когда характер его еще только развивался. Родной язык в отличие от иностранного не ограничил круг его мышления и разносторонний ход развития внимательности в познании окружающего мира. Он сохранил в нем национальное чувство и гордость за свою родину. И впоследствии Пирогов считал, что обучение его в домашних условиях в те времена «иностранщины» было счастливым. Изучение русского языка предшествовало его знакомству с иностранными языками. А ведь многие сверстники Николая чуть ли не с малолетства под руководством бонн<sup>[9]</sup>, гувернанток и гувернеров<sup>[10]</sup> учились лепетать на чужом языке.

С трудом Пирогов освоил в пансионе французский и немецкий языки. Кроме того, он за время учебы так и не научился искусству бального танца. Танцмейстер<sup>[11]</sup> Лилеев, преподававший этот предмет, был очень груб с учащимися, ибо считал, что весь класс танцевать научить невозможно. И занимался в основном только с «избранными», то есть с детьми высокопоставленных особ. Физическую географию тоже преподавали в

пансионе как попало. Но не преподаватели были в этом виноваты. Сама география как наука развивалась очень слабо. Отсюда и пренебрежение к ней со стороны учебных ведомств. Понятия о земном шаре были скудные, а на свод неба вообще никто внимания не обращал. Единственной книгой по географии в пансионе была книга священника Сокольского «Разрушение Коперниковой системы», изданная в Москве. Но, невзирая на все эти недостатки в обучении, учиться Пирогову в пансионе очень нравилось. Один Войцехович чего стоил. На его занятия приходили из других пансионов и школ. И даже сам Кряжев любил присутствовать на них.

Во время учебы Николая в пансионе горе постигло семью Пироговых. Сначала умерла после тяжелых родов старшая замужняя сестра, а через год от кори брат Амос. Другой старший брат, Петр, увлекшись игрой в карты, за одну неделю проиграл все свои сбережения и вещи. Службу запустил, и ему пришлось уволиться. С горя и со стыда он вдруг женился на первой попавшейся распутной особе. Вместе с нею пил и, приходя к отцу домой, кричал во всю глотку:

— Когда ты отпишешь мне полдома?.. — и, тут же упав у порога, пьяный и грязный, начинал корчиться в истерической судороге и плакать. Жена его, толстая-претолстая, стояла перед ним, уперев руки в бока. Она со злостью смотрела на отца и мать и шептала:

— Ничего, проживем и без них...

Отец, жалея, давал им деньги. Но через неделю они вновь приходили.

Затем вдруг на дом Пироговых свалилась такая беда, которая вконец разорила дом. Иван Иванович, работая в комиссариатском военном ведомстве, никогда не брал взятки и считался примерным и исполнительным работником. Однако последнее время отцу пришлось потратить много денег на старшего сына, который увлекся игрой в карты. Его постоянные кутежи, мотовство и растрата денег стоили отцу многих забот. Но все было бы хорошо, если бы один из подчиненных Ивана Ивановича не совершил на работе воровство. А дело было так. Комиссионеру Иванову было велено выдать по поручению на руки тридцать тысяч рублей для срочной их отправки на Кавказ. Иван Иванович как казначей по приказу свыше выдал эту сумму. А вскоре выяснилось, что Иванов, получив деньги, не на Кавказ отправился, а в «бега», то есть, присвоив деньги, исчез в неизвестном направлении. Розыски его ни к чему не привели. Чтобы спасти свою репутацию и положение, военное ведомство постановляет возместить украденную сумму Ивану Ивановичу Пирогову, обвинив его при этом в несоблюдении каких-то формальностей при выдаче денег. Хотя все, абсолютно все формальности были соблюдены.

Взнос такой суммы из своих личных средств был для Ивана Ивановича катастрофой. Во-первых, у него таких денег не было. А во-вторых, он ни в чем не был виновен. Он жалуется на несправедливое его наказание в военное министерство и в министерства юстиции и финансов. Пишет заказное письмо в кабинет его величества. Знакомый Ивана Ивановича лично передает его заведующему императорской канцелярией. Но дни идут, а помощи ниоткуда нет. Иван Иванович подает на военное ведомство в суд. Но суд, связавшись с ведомством, отказывается вести дело. Для ревизии комиссариата военного ведомства в Москву приезжает инспектор Аббакумов, жестокий и самолюбивый человек, прозванный в кругах «злодеем-аракчеевцем», он любил упекать людей в тюрьму без суда и следствия. Чтобы спасти и защитить себя от необоснованного распоряжения, касающегося выдачи комиссионеру Иванову крупной суммы денег, они выступают с клеветой и обвинением против Ивана Ивановича. Аббакумов поддерживает их. Начинается тяжба. Все имение Пироговых вместе с домом, мебелью и прочими вещами описывается инспекторами и объявляется принадлежащими государственной казне. Как известно, Иван Иванович, кроме службы, занимался и частной практикой, то есть был поверенным и вел разные дела у некоторых лиц. Одним из таких был генерал Николай Мартынович Синягин, женатый на богатой княгине Всеволожской. Генерал вступает в защиту Ивана Ивановича, хотя Аббакумов и комиссариат продолжают настаивать на своем. Мало того, Аббакумов угрожает Пирогову тюрьмой. Семья Пироговых оказывается в тяжелом материальном положении. Жалованья Иван Иванович, хотя и числится на службе, не получает. Дожидаясь окончательного решения тяжбы, он зарабатывает на хлеб лишь ведением частных дел своих старых клиентов. Неожиданно все от Пироговых отворачиваются. Они становятся неинтересными даже священнослужителям, ибо прежнего хлебосольства в их доме нет. Лишь один бедный псаломщик Никита почти каждый вечер заходил к ним после службы и успокаивал взрослых и детей.

В семье вводится экономия. Мать считает копейки, продает оставшиеся неописанные вещи.

Как ни любила семья Николая, но из-за отсутствия лишних денег его после двух лет обучения забирают из пансиона Кряжева. Получив от Кряжева аттестат и табели с оценками, Иван Иванович вместе с ним вышел из кабинета.

— Зря вы все это делаете... — произнес Кряжев. — В крайнем случае я мог бы продлить учение в долг, разумеется, с процентами. Уж больно мальчик хороший...

— В долг не могу... — грустно произнес Иван Иванович. — Сами ведь понимаете, может так получиться, что и долга некому будет отдавать... Меня посадят, а семью на улицу выбросят.

— Вот так ситуация!.. — хмыкнул Кряжев и, остановившись, не стал больше уговаривать Пирогова.

Отец нашел сына в саду играющим с ребятами в войну. Сюртучок на груди его был разорван, а на лице красовался огромный синяк.

— Папка, я победил!.. — радостно прокричал сын и кинулся к отцу. Наклонившись, отец обнял его.

— Что это?.. — удивленно спросил Николай, принимая из рук отца бумаги.

— Аттестат... — растроганно произнес отец. — Ты уж прости, сынок, но так надо... Только прошу тебя, не расстраивайся, учебу твою, я слово даю, не прервем. Или в гимназию, или в университет отдам тебя, обязательно отдам... — И со слезами на глазах отец, обняв сына, прошептал: — Прости, я не виноват...

Николай держал в руках твердую розовую бумажку-аттестат, в котором чернилами под тиснением двуглавого орла с портретом царя было написано: «Комиссионер<sup>[12]</sup> девятого класса сын Николай Пирогов обучался в пансионе моем с пятого февраля 1822 года: катехизису<sup>[13]</sup>, изъяснению литургии, священной истории, российской грамматике, риторике<sup>[14]</sup>, латинскому, немецкому, французскому языкам, арифметике, алгебре, геометрии, истории всеобщей и российской, географии, рисованию, танцеванию, с отличным старанием при благонравном поведении; в засвидетельствование чего и дано ему сие.

Надворный советник и кавалер Василий Кряжев».

— Папка, зачем? Зачем ты все это сделал?.. — заплакал Николай.

Подошел Кряжев с учителями и, быстро успокоив отца с сыном и предупредив их, чтобы они больше не нарушали покой, вывели их за ворота пансиона.

— На меня Войцехович обидится... — шептал всю дорогу Николай отцу. И тот молчал, не зная, что ему и сказать.

Отец понимал сложность своего положения и трагичность ситуации. Однако даже в этой тяжелой и нелегкой для него ситуации он не растерялся и начал беспокоиться о дальнейшем образовании сына. Можно было отдать его в гимназию, но гимназии в то время в Москве не славились, учеба велась в них кое-как и знания давались поверхностные.

Переживая за дальнейшую судьбу сына, он решил обратиться за

советом к своему бывшему знакомому, которого не раз вызывал к себе и к больным детям, профессору Московского университета Ефрему Осиповичу Мухину. Тот принял Ивана Ивановича очень радушно и внимательно выслушал его. А затем сказал:

— Прошу вас духом не падать. Я хорошо знаю вашего сына. Парень он грамотный. Поэтому готовьте его в университет.

— В университет?... — удивился Иван Иванович. — Да вы что?

— Я еще раз прошу вас не волноваться... — успокоил Мухин. — Я сам лично буду просить ректора, чтобы он принял от вас документы. Только прошу для подготовки к вступительным экзаменам нанять студента-медика, чтобы он, так сказать, направил его в нужное русло.

— Но ему ведь нет еще и шестнадцати... — прошептал Иван Иванович. — Всего-навсего четырнадцать.

— Пустяки... — сказал Мухин. — В науке года особой роли не играют. Главное — знания и старание, и, конечно, желание учиться.

— Понял... — обрадованно произнес Иван Иванович. Он послушался совета профессора Мухина и на последние деньги по рекомендации университетского секретаря нанял студента медицины для подготовки Николая к вступительным экзаменам в университет. Василий Феклистыч Феоктистов, так звали и величали студента-учителя, был очень веселый юноша. Он приходил на занятия к Николаю с целой горой медицинских книг, здесь были физиология, биология, анатомия, терапия с рецептами и даже хирургия брюшной полости. Василий Феклистыч готовил Николая по всем предметам, хотя и шутил, но был очень требователен. А однажды он принес с собой большой каталог университетских лекций, и Николай, впервые рассматривая его, узнал о новых для него науках. Лекции по анатомии человеческого тела читал Юст Христиан Лодер, физиологию по Лонгоссеку читал Ефрем Осипович Мухин.

— Ура-а!.. — закричал Николай, увидев знакомую фамилию. — Да здравствует Ефрем Осипович Мухин. Что бы он ни читал, я буду его слушать.

— Ишь ты какой!.. — удивился Василий Феклистыч. — Как будто ты такой один. На лекции Ефрема Осиповича не протолкнешься. Его все уважают.

В каталоге были лекции по фармакологии, или врачебному веществословию. Да и каких тут только не было лекций. Николай жаждал их слушать. И это желание во что бы то ни стало поступить в университет придавало ему силы и старание в освоении подготовительных уроков, которые были намного сложнее пансионных.

Иван Иванович, упросив священника за определенную мзду изменить возраст, в котором крестился его сын, добился через канцелярию, чтобы в формулярном списке Ивана Пирогова «значился в числе прочих его детей законно прижитый в обер-офицерском звании сын Николай, имеющий ныне от роду шестнадцать лет». И вслед за этим документом 11 сентября 1824 года «в Правление Императорского Московского Университета от Николая Пирогова» поступило «Прошение», в котором говорилось:

«Родом я из обер-офицерских детей, сын комиссионера 9-го класса Ивана Пирогова. От роду мне имеется 16 лет, обучился напервое в доме родителей моих, а потом в пансионе г-на Кряжева: закону божью, российскому, латинскому, немецкому и французскому языкам, истории, географии, арифметике и геометрии. Ныне же желаю учение мое продолжить в Университете, в звании студента; посему Правление Императорского Московского Университета покорнейше прошу допустить меня, по надлежащим испытаниям, к слушанию профессорских лекций и включить в число своекоштных<sup>[15]</sup> студентов медицинского отделения. Свидетельство же о роде моем и летах при сем прилагаю.

К сему прошению Николай Пирогов руку приложил.

Сентября 11 дня 1824 года».

Провожать Николая на экзамены вышла вся семья, все желали ему успеха. Мать вынесла икону. И псаломщик, одетый в белую отцовскую рубаху, громко запел: «Помоги рабу Николаю...»

Осеннее солнышко ласково припекало. И разноцветная листва с деревьев, кружась, непрерывно неслась по дороге.

Младшая сестренка обняла Николая и незаметно сунула ему кренделек.

— Все надо... — прошептала она. — В учении приспособится. Съешь его, и голова перестанет болеть.

Няня дала Николаю новый носовой платок. Кучер, громко чихнув, спросил ее:

— Есть ли крест на парне?

— Есть, есть... — перекрестилась та.

— Ну тогда и бояться ему, кроме Бога, некого! — улыбнулся он и, крякнув, натянул вожжи.

— Ты уж шибко под гору не кати, — наказала она ему. — И лошадок не хлещи. Коля маленький еще, не дай Бог по дороге вывалится.

— А я никогда их не хлещу, — засмеялся тот и, поправив на кафтане красный кушак, гордо добавил: — У меня оси без подмазки горят. А коней



надорвешь — по миру пойдешь... — И, посмотрев на провожающих, сказал: — Я вижу, все вы маненько замешкались. А ну сажайте своего постреленка, распрекрасные вы мои.

А когда коляска, в которой сидел Николай вместе с отцом, тронулась, псаломщик<sup>[16]</sup>, упав на колени, запел: «Мы придем к нему и обитель у него сотворим!»

— Сынок, сынок... — кричала мать вослед. — Как зайдешь на экзамен, так сразу же три раза произнеси: «Господи, помилуй!»

И вот уже позади остался приход церкви Святой Троицы, исчезли сады и пошли густонаселенные, полные народа московские улицы. Приход Святой Троицы в Сыромятниках в отличие от пансиона Кряжева неблизок к университету, если пехом к нему идти, то затратится более часа. Отец специально нанял извозчика, чтобы сын не устал в ходьбе и не разволновался.

Вот уже сияет белоснежными колоннами Большой театр, почти рядом шумит рынок — Охотный ряд. Скоро, очень скоро будет Моховая. А вот уже виднеется и здание русского университета, слава которого была велика, и каждый желал в нем учиться.

Коляска остановилась у подъезда с высокими колоннами. Отец, сойдя первым, подал Николаю руку.

— Ну, с Богом, сынок!.. — произнес он волнительно. И Николаю в эти минуты он показался, как никогда, строгим и торжественным.

«Вступление в университет, — вспоминал Пирогов, — было таким для меня громадным событием, что я, как солдат, идущий в бой на жизнь или смерть, осилил и перемог волнение и шел хладнокровно. Помню только, что на экзамене присутствовал и Мухин как декан медицинского факультета, что, конечно, не могло не ободрять меня; помню Чумакова, похвалившего меня за воздушное решение теоремы (вместо черчения на доске я размахивал по воздуху руками); помню, что спутался при извлечении какого-то кубического корня, не настолько, однако, чтобы совсем опозориться.

Знаю только наверное, что я знал гораздо более, чем от меня требовали на экзамене. В приемной меня ожидали после окончания экзамена отец, секретарь правления Кондратьев и рекомендованный им мой приготовитель — Феоктистов. Отец повез меня из университета прямо к Иверской и отслужил молебен с коленопреклонением. Помню отчетливо слова его, когда мы выходили из часовни: «Не видимое ли это божие благословение, Николай, что ты уже вступаешь в университет? Кто мог этого надеяться!»

22 сентября 1824 года экзаменаторы — ординаторные профессора

университета Мерзляков, Котельницкий и Чумаков донесли в Правление университета следующее:

«По назначению господина ректора университета мы испытывали Николая Пирогова, сына комиссионера 9-го класса, в языках и науках, требуемых от вступивших в университет в звание студента, и нашли его способным к слушанию профессорских лекций в сем звании, о чем и имеем честь донести Правлению Университета».

Радости Николая, как и всей семье Пироговых, не было конца.

— Сынок, поздравляю тебя! — обняла его мать.

Успешное поступление Николая в университет облегчило моральное положение семьи, внесло искорку радости. Кроме описания имения и дома, над Иваном Ивановичем висела угроза суда.

Надеясь на то, что, может быть, все обойдется благополучно, вся семья Пироговых молилась, прося у Бога защиты для ее хозяина Ивана Ивановича. Особенно мать проводила целые часы за молитвою. А за ней и все остальные читали по требнику, Псалтырю и часовнику положенные молитвы, псалмы, акафисты и каноны. В праздничные и воскресные дни не пропускались ни одна заутреня, всенощная и обедня. Все искали защиты и спасения у Бога. Все надеялись и верили, что он заступится за отца и справедливость восторжествует. Николаю велено было учить акафист сладчайшему господу нашему Иисусу Христу. И хотя он очень трудно ему давался и многое было непонятно, Николай учил его. «Иисусе, сыне божий, помилуй моего отца... — шептал по утрам Николай. — Иисусе пресладкий, патриархов величие; Иисусе преславный, царей укрепление, Иисусе предивный, мучеников крепость. Иисусе претихий, монахов радости; Иисусе пресладостный, Иисусе сыне божий, помилуй отца моего!»

И, моля Бога, Николай плакал. Как никто, он был благодарен отцу. Отец всегда беспокоился за него, никогда не кричал и не ругал его. А все время только и говорил:

— Сынок, пока я жив, учись...

Отец привел его в университет. Как можно не благодарить его?

И все же беда в некоторой степени, хотя и ненамного, смилоствовала над Иваном Ивановичем. Судить его не стали, но деньги выплатить заставили. Чтобы не остаться на улице, так как в любой момент могли забрать и дом, Иван Иванович влезает в долги. Одновременно уходит в отставку и занимается только частными делами. Но прежней энергии и оптимизма в нем уже не было. Он прекрасно понимал, что семью ждет бедность.

Большая часть одежды была продана. И отец, выйдя в отставку, стал каким-то задумчивым и молчаливым. Иногда начинал плакать.

— Папа, о чем ты плачешь?.. — спрашивал его Николай.

А он, ничего не отвечая, тут же куда-нибудь уходил, стараясь от всех уединиться. Все жители в округе, считая, что он проворовался, перестали его уважать. Человек нужен, пока есть у него деньги. Поэтому когда банщики и торговцы дровами из-за отсутствия денег начинали кричать на пего, как на мужика, то Николай заступался за отца и выталкивал грубиянов на улицу.

Николай и года не проучился в университете, как отец неожиданно слег. Его начали мучить одышка и головокружение. А внезапные подъемы температуры вдруг стали сменяться ознобами. Лекарь из воспитательного дома Кашмадамов вызвал для консилиума Ефрема Осиповича Мухина. Ефрем Осипович прописал сернокислую магнезию, чтобы понизить давление, которое у больного было повышено. Но и это не помогло. Буквально через педелью Иван Иванович, пытаясь поднести ложку с лекарством ко рту, вдруг весь побагровел, захрипел и повалился на пол. Прибежали мать, служанка, но он уже был мертв.

Накануне отец, словно предсказывая свою смерть, говорил, что ему во сне кто-то сказал: «Слышал ли, что Иван Иванович Пирогов умер?» Но никто не придавал этому особого значения. Да и по соннику, когда вдруг снится, что, если при жизни человек сам себя хоронит, жить он будет долго. Сонник оказался не прав. Когда Николай уходил в университет, отец был жив, он даже пообещал сыну его дожидаться и вместе с ним сходить за город и полюбоваться весенней зеленью природы. Но когда Николай, возвращаясь из университета, приблизился к дому, то почувствовал что-то недоброе. Ворота были отперты. У крыльца дома толпились какие-то незнакомые люди. Во дворе был шум, беготня. И сквозь приоткрытое окно в зале слышно было, как кричала мать. Почувствовав страх, Николай, расталкивая всех, пробежал сени и переднюю и, отворив дверь в залу, замер. На столе в новом мундире лежал отец, неподвижный и белый как снег.

— Папочка... — закричал Николай и, кинувшись к отцу, стал целовать его руки.

Смерть отца, который хотя и болел, но работал, поставила всю семью в крайне бедственное положение. Старший брат, который проигрался в карты, без денег совсем опустился. И если бы не жена-пьяница, неизвестно, какими средствами кормившая его, то он бы стал нищим. Один раз он даже загорелся желанием стать на паперть и начать просить

копеечку. Но сестры и мать отговорили его. Иногда придя домой выпившим, он, со слезами на глазах подойдя к Николаю, говорил:

— Да, я подлец... Я хам... И мне один шаг до ниществования... Была бы моя воля, я в крепостные записался или в рекруты, на всю жизнь в рекруты, чтобы за царя где-нибудь от шальной пули погибнуть... — А затем, выплакавшись, вдруг с какой-то горечью хватал Николая за плечо и шептал: — Пусть я такой, душа-калека... Но ты... Но ты, поклянись мне сейчас же, что не будешь никогда играть в карты! Они погубили меня! Они убили меня! И я не хочу, чтобы это было и с тобой... Поклянись, я тебе говорю, поклянись... Пусть я тебе не тятка, но я все же старше тебя...

— Клянусь!.. — видя невероятные страдания брата, шептал Николай.

— Во имя отца клянись!..

— Во имя отца, клянусь!.. — гордо произносил Николай.

После смерти отца не прошло и месяца, как на семью Пироговых накнулись кредиторы<sup>[17]</sup> и инспектора военного ведомства, для которых главным была не семьям выбрасываемая на улицу, а деньги. Долги ликвидировались, а точнее, заменялись домом и всем тем, что в нем находилось. Мать с Николаем и двумя его сестрами оказались на улице. Благо было лето и можно было переночевать в сарае. Но долго ведь длиться так не могло. Мать обратилась за помощью к близким и родным. Но у всех были свои семьи. От родных ей не удалось получить материальной помощи. И в эти крайне трагичные дни для семьи Пироговых неожиданно руку помощи протянул троюродный брат отца, Андрей Филимонович Назарьев. Он работал заседателем в московском суде близ Иверских ворот. Жил небогато, так как имел трех дочерей, которые жили вместе с ним. Его собственный маленький домик находился у Пресненских прудов в приходе Покрова в Кудрине. Мезонин<sup>[18]</sup> с тремя комнатами и чердачком он предоставил Пироговым, а сам перебрался вниз, где было четыре маленькие комнатенки. Окна из комнат, в которых расположились Пироговы, выходили на Девичье поле, где виднелись Воробьевы горы. И, смотря на этот ландшафт, Николай вспоминал подобный же вид из родного дома на Андроньев монастырь. Слезы подкатывали к горлу, когда начинало вспоминаться пережитое горе.

«Нет ни денег, ни вещей, ни родного угла... Словно инвалиды двенадцатого года с паперти...» — И необыкновенная грусть охватывала Николая, и порой не хотелось жить.

Андрей Филимонович, сочувствуя горю Пироговых, отнесся к ним по-доброму. Чем мог, помог. Устроил сестер Николая на службу. Матери

подыскал частных лиц, которым она могла шить и вязать. Но все, что они зарабатывали, хватало лишь на еду и на самую дешевую одежду. За жилье Андрей Филимонович с Пироговых не брал. Когда мать принесла ему деньги после первого прожитого месяца, он вернул их обратно, при этом сказав:

— Ни в коем случае.

— Но ведь положено... — попыталась возразить мать.

— С родственников не положено брать... — сказал Андрей Филимонович и добавил: — И не стыдно тебе, Лиза, после всего, что у вас произошло, деньги предлагать. На детишек их лучше потратить или себе что-нибудь купи...

Андрей Филимонович был добрейшим человеком. Жил тихо, незаметно. Небольшого роста и сгорбавшийся от постоянного писания, он походил на чиновника-муравья. Ибо, кроме писанины, он в суде и дома ничего не делал. Даже в воскресные дни его можно было видеть с огромной кипой бумаг, которые он приносил из суда и которые подписывал или, наоборот, по нескольку раз переписывал. За писанину был награжден Владимирским крестом и очень ценил и уважал эту свою единственную награду. Иногда, показывая ее Николаю, говорил:

— Когда вызвали меня в канцелярию его Императорского Величества, гляжу, крест Владимирский несут. Так я чуть было в обморок не упал. Это мне, служивому заседателю, который приказов не издает, а только переписывает их, и крест, да не простой, Владимирский! Мне великий князь прикалывает его, а затем сама княгиня вышла и хор запел: «Многие лета!...»

Рассказав все это Николаю, Андрей Филимонович приглашал его на чай. Николаю подавался и сахар, и мед, и печенье, то есть пир был горой. Сам же Андрей Филимонович чай не пил, сидел напротив Николая и, счастливо улыбаясь, покуривал табак из длинного чубука с перышком вместо мундштука. Иногда, когда разговор о награде возникал на улице, Андрей Филимонович, в который раз расхвалив процедуру его награждения, вел Николая в ближайший трактир, где устраивал ему точно такой же пир, как и дома. А если случалось после занятий в университете зайти Николаю в суд у Иверских ворот, то Андрей Филимонович вез его домой на извозчике. А один раз, заметив у него отставшую подошву на обувке, купил ему новые сапоги. На всю жизнь запомнил Пирогов эти новенькие, блестящие и пахнущие кожей сапоги.

## ПУТЬ В МЕДИЦИНУ

Почти целые дни проводил Николай в университете. Дом находился далеко, и в обеденное время он часто приходил к студенту старшего курса, бывшему своему учителю Феоктистову, который жил вместе с пятью другими студентами в 10-м номере корпуса квартир для казеннокоштных.

Перед выдачей Николаю зачетной книжки в секретариате Правления университета от него потребовали подписку следующего содержания:

«Я, нижеподписавшийся, сим объявляю, что я ни к какой масонской ложе и ни к какому тайному обществу ни внутри империи, ни вне ее не принадлежу и обязываюсь впредь к оным не принадлежать и никаких сношений с ними не иметь. В чем подписываюсь. Студент медицинского отделения Николай Пирогов».

Эта подписка бралась от каждого студента.

Общение со студентами 10-го номера было для Николая своеобразной школой жизни. Ибо, кроме официальной науки, у студентов была и другая наука — «наука жить». О чем только не говорили студенты в этом номере! Запретных тем не было. Обсуждалось и осуждалось все открыто, резко и порой неліцеприятно. А прогрессивность и злободневность мыслей студенчества просто поражали. Не менее прогрессивно рассуждали они и о своей будущей профессии, при этом прилежно и старательно занимаясь. Николая студенты встретили в своем номере дружелюбно, для отдыха выделили ему место и даже койку, А сколько они предоставили ему рисунков и наглядных пособий по анатомии. От них он получил конспекты лекций и учебники, которые не у каждого начинающего студента были. Ведь старшекурсники были не только студентами, многие из них уже и подрабатывали в пансионатах и гимназиях.

«На первых же порах после вступления моего в университет, — вспоминал Пирогов, — 10-й номер снабдил меня костями и гербарием; кости конечностей, несколько ребер и позвонков были, по всем вероятиям, краденые из анатомического театра от скелетов, что доказывали проверченные на них дыры, а кости черепа, отличавшиеся белизной, были, верно, украдены у Лодера, раздававшего их слушателям на лекциях остеологии.

Когда я привез кулек с костями домой, то мои домашние не без душевной тревоги смотрели, как я опораживал кулек и раскладывал драгоценный подарок 10-го номера по ящикам пустого комода...»

Многим студентам анатомия давалась с трудом, а Николай в ней преуспевал. Латинские названия заучивал с ходу, потому что латынь знал хорошо. Название любого бугорка на кости, связки и даже расположение того или иного нерва мог произнести точно и грамотно. Анатомией не брезговал и в анатомический театр ходил с большим удовольствием. И хотя на практические часы по анатомии времени почти не выделялось, а все зубрилось по конспектам и учебникам, Пирогов в свободное время набирался анатомического опыта в своей любимой игре — игре в лекаря. Камнесечение он осваивал следующим образом. Найдя где-нибудь бычий пузырь, набивал его кусками мела и, подвязав его к животу подопытного по доброй воле товарища, мастерски освобождал пузырь от мела, соблюдая при этом все Цельзовы подходы и разрезы. Он прятал щепку, обозначавшую ту или иную мышцу, в рукав старого сюртука, набитого тряпками, и, осторожно орудуя скальпелем, медленно распарывая ткани, находил ее и выделял.

Анатомию в университете преподавал известный не только в России, но и во всей Европе Христиан Иванович Лодер. Он имел степень доктора медицины и хирургии. Несколько лет работал во Франции, Англии, Голландии и Германии, где знакомился с работами выдающихся анатомов и физиологов того времени. В 1812 году он организовал военные госпитали для 6000 офицеров и для 31 000 нижних чинов и руководил ими до окончания войны. Много лет был главным доктором Московского военного госпиталя. Так что опыта и практики ему было не занимать. В университете он издал для студентов первую часть «Анатомии тела человека» на латинском языке и организовал анатомический театр, пожертвовав в него принадлежавшую ему анатомическую коллекцию. Он сразу же отметил отличные теоретические знания Николая Пирогова. И однажды в беседе с ним сказал:

— Познавший анатомию до конца может добиться в медицине многого.

— Но на одной теории далеко не уедешь, нужна практика... — смело произнес Николай.

— Я делаю, что могу... — сказал Лодер. — Совсем недавно я с трудом отстоял у его императорского величества государя императора анатомический театр и демонстрацию препарирования <sup>[19]</sup> трупов... — и, вздохнув, добавил: — Была бы теория, а практика со временем к вам придет, обязательно придет. Когда я начинал учиться, препарирование трупов было запрещено. Но время идет, и все меняется.

Лодер был смел и настойчив. Он отстоял анатомический театр в

университете, как и отстоял практическое преподавание анатомии на трупах, хотя в это же время по всей стране шло массовое уничтожение анатомических музеев и театров. Чиновник Министерства народного просвещения М. Л. Магницкий, ярый реакционер, по благословению Александра I поднял вопрос об отказе «мерзкого и богопротивного употребления человека, созданного по образу и подобию творца, на анатомические препараты». Высочайшее духовенство поддержало его. Многие неподчинившиеся ученые-анатомы подверглись гонениям. На медицинских факультетах началось преподавание анатомии без трупов, например, учение о мышцах иллюстрировалось на платках и на вырезках из бумаги. Особенно перед Магницким «отличились» профессора Казанского университета, «они решили предать земле весь анатомический кабинет с подобающей почестью; вследствие сего, — рассказывает современник, — заказаны были гробы; в них поместили все препараты, сухие и в спирте, и после панихиды, в параде, с процессией, понесли на кладбище».

Лодер был противник всех этих распоряжений Магницкого. И в своих действиях был смел и решителен. Когда в очередной раз надвинулась угроза закрытия анатомического театра, он, не застав попечителя университета князя Оболенского в собственной его канцелярии, помчался на закрытый парад, на который тот отбыл. Попасть на него было невозможно. Вся площадь была оцеплена. Но Лодер прорвался. Увидев его карету, обер-полицмейстер<sup>[20]</sup> закричал:

— Пошел назад, назад!

Лодер, не слушая его, прокричал кучеру:

— Вперед, только вперед!..

Тогда обер-полицмейстер, выстрелив в воздух, перегородил солдатами дорогу.

— Не велю, я обер-полицмейстер...

Лодер высунулся из кареты и, подозвав его к себе, во всю глотку гаркнул:

— А я Юст-Христиан Лодер... Вас знает только Москва, а меня — вся Европа...

— Что же вы раньше не сказали? — улыбнулся обер-полицмейстер. — В 1812 году я в госпитале лежал, и вы мне ногу прооперировали... И, как видите, удачно... — И, браво топнув ногой, обер-полицмейстер велел пропустить Лодера. И Лодер вновь отстоял свой анатомический театр и добился разрешения во время лекций препарировать трупы. Мало того, на стене возле окон анатомического театра велел написать огромными



буквами: «Познай самого себя». А в анатомической аудитории, расположенной полукруглым амфитеатром, вверху, у самого потолка, чтобы не каждый ее мог стереть, вдоль всей стены появилась из огромных золотых букв надпись: «Руце твоя создает мя и сотвориста мя, вразуми мя и научуся заповедем твоим». Сотворена она была по его приказу. Что и говорить, смелый был анатом Лодер.

Любимыми лекциями Николая Пирогова в университете были лекции по физиологии Ефрема Осиповича Мухина. Этого человека Николай боготворил и считал своим духовным отцом. За четыре года он не пропустил ни одной лекции по физиологии. Ефрем Осипович старательно готовился к своим лекциям и при чтении их был совестлив и пунктуален, аккуратно, со знанием дела прочитывал материал. Если какую-нибудь из своих лекций он и откладывал, то затем в объявленный им заранее день переноса обещанную лекцию все равно прочитывал. Как и все профессора, человеком он был верующим. И поэтому часто откладывал чтение лекций о половых органах, приходившееся обычно в великий пост. Извиняясь перед аудиторией за такое «недоразумение», он говорил: «Дорогие мои, нам следовало бы сейчас говорить о деторождении и половых женских органах, но так как это предмет скоромный, то мы и отлагаем его до более удобного времени». На лекциях его всегда было полно народа. Говорили, что он лично знал Суворова, что и было на самом деле. В 1788 году он был отправлен в главную квартиру генерал-фельдмаршала князя Потемкина, где работал в главном госпитале. А во время битвы под Очаковым работал на поле боя, спасая и перевязывая раненых. В Московском университете Ефрем Осипович, кроме физиологии, преподавал анатомию, токсикологию<sup>[21]</sup> и многие другие предметы. Студенты за его разносторонность прозвали его универсалом.

Во время учебы в университете Ефрем Осипович часто вызывал к себе Николая, ведь он, кроме всего, был деканом и интересовался его успехами. Несколько раз он давал свои деньги семье Пироговых для того, чтобы Николаю был куплен мундир. Мухин предложил матери Николая сделать сына стипендиатом или казеннокоштным. Мать посчитала это унижительным. И, когда сын попросил ее согласия на это, она сказала ему:

— Неужели тебе не стыдно будет чужой хлеб есть?.. Пока хоть какая-нибудь есть копейка, живи на нашем...

Вот и приходилось Николаю перебиваться на свои средства. К счастью, в то время не платили за лекции, в первые годы не носили мундиры, и даже когда они были введены, то чтобы сэкономить мухинские деньги для еды, сестры сшили Николаю из старого потертого фрака

мундирную куртку с красным воротником. И, чтобы не обнаружить себя несоблюденцем формы, Николай сидел на лекциях в шинели, выставляя на вид светлые пуговицы и красный воротник. Жарко и душно было в шинели. Пот разъедал тело. Но Николай терпел. И, если ему делали замечание, почему он так одет, он отвечал, что болен и его знобит.

Студенческая жизнь в Московском университете до кончины императора Александра I была свободной. Однако с вступлением на престол Николая I, после восстания декабристов, началось ужесточение порядков. Был назначен новый попечитель, ничего не смыслящий в воспитании, военный генерал Писарев. Новый государь, прибыв в Москву с визитом ознакомления, в один из дней неожиданно, никого не предупредив, посетил университет и университетский пансион и очень рассердился, увидев имя Кюхельбекера, написанное золотыми буквами на Доске почета в зале университетского пансиона. Ректор Прокопович-Антоновский не догадался снять доску или хотя бы стереть ненавистное имя бунтовщика, бывшего отличным учеником.

— Как смеее восхвалять вы этого смутьяна, бандита, убийцу?.. — закричал император на ректора, — Уничтожьте доску сейчас же.

А затем вдруг увидев в коридоре Николая Пирогова в шинели, удивленно спросил:

— Что это значит, почему он в шинели?.. У вас что здесь, квартирует рота солдат?

— Он болен, ваше императорское величество государь император... — пролепетал ректор.

— Если болен, в лазарет его... — грозно прокричал император и, не в меру разозлившись на ректора, прекратил осмотр. А на следующий день под видом простачка он, на старых дрожках приехав в университет и никем не узнанный, кроме сторожа и отставного гвардейского солдата, пошел прямо в студенческие комнаты, где приказал неожиданно появившимся своим помощникам перевернуть тюфяки<sup>[22]</sup> на студенческих кроватях. И под одним из тюфяков он нашел тетрадь стихов Полежаева<sup>[23]</sup>. Раскрыл ее, и, прочитав:

— *Навсегда решена  
С самовластьем борьба,  
И родная страна  
Палачу отдана,*

пришел в ужас.

— Какой позор!.. — закричал он. — Не университет, а рассадник крамолы. Пансион по подготовке цареубийц... — И, не попрощавшись, ушел.

На следующий день ректор был смнен, а вслед за ним и попечитель. После этого посещения университета Николаем I и были введены студенческие мундиры. Нового попечителя, генерала Писарева, ярого солдафона и приверженца впечатляющего внешнего вида и формалистики, среди студентов тут же прозвали Фаготом<sup>[24]</sup>. Зайдя в студенческую аудиторию, он орал: «Встать — сесть!.. Встать — сесть!» И, когда все садились, он начинал осмотр внешнего вида. Вот за эти отрывистые, резкие крики и бестолковые солдатские приказы его и прозвали Фаготом. Он мог зайти на любую лекцию, невзирая на то, заканчивается она или только началась, и устроить скандал.

На одну из лекций профессора химии Геймана «Фагот» ворвался с шумом, сопровождаемый своими приближенными инспекторами. Заставив Геймана замолчать, он быстро осмотрел всех студентов и, найдя жертву, остановился. Это был студент Жемчужников, тихий, скромный и очень порядочный, хотя вид у него был все же какой-то странный. Из-за двух отсутствующих пуговиц мундир его был не застегнут. А панталоны вообще были немундирные, ярко-желтые и по бокам с красными лампасами. Вместо фуражки была круглая соломенная шляпка.

— Что обозначает эта клоунада?.. — заорал «Фагот» на него и, повернувшись к профессору Гейману, делавшему химический опыт, прохрипел: — Как вы можете пускать на свою лекцию студентов в таком виде? Почему вы молчите как рыба?.. Я, кажется, спрашиваю вас, а не стену...

Профессор Гейман, прекратив делать опыт, вежливо поклонился попечителю и произнес:

— Я ценю в своих учениках не одежду, а знания...

— Что вы сказали?.. — взорвался попечитель, весь побагровев. — Повторите...

И Гейман, уже не кланяясь, гордо произнес:

— Я ценю в своих учениках не одежду, а знания...

— Дурак, вы есть дурак... — заорал на него попечитель. — С сегодняшнего дня я лишаю вас лекций. Уходите из университета, вон... вон...

Гейман стоял у кафедры белый как мел. Однако «Фагот» не успокаивался. Подойдя к Жемчужникову, он вывел его из-за стола.

— Таким клоунам, как ты, не место в университете... Это в высшей степени хулиганство. Ну, что же ты молчишь?

Жемчужников, вздохнув, с грустью посмотрел на заплывшее жиром лицо попечителя и сказал:

— А я чхал на ваш университет. Я не дорожу им, как вы не дорожите нами... — И с гордо поднятой головой покинул зал.

«Фагот» не ожидал такой выходки. Растерявшись, тут же смолк и, приказав Гейману продолжать лекцию, торопливо вышел.

Не боялся «Фагота» профессор Матвей Яковлевич Мудров, который читал в университете лекции по внутренним болезням, военной гигиене и другим предметам, включая и анатомию. Если «Фагот» заходил к нему на лекцию, он тут же покидал зал, ссылаясь на то, что ему становится плохо с сердцем. «Фагот» бежал за ним следом, кричал и ругался на него. Но Мудров был равнодушен ко всем этим крикам. И в ответ на длинные речи «Фагота» произносил:

— Прошу вас, ваше величество, не горячитесь!..

«Фагот» кричал на него:

— Почему вы не подчинились моему приказу читать дополнительные лекции по анатомии в анатомическом амфитеатре?

И тогда Мудров не выдерживал:

— А почему я должен их читать в амфитеатре, если там круглосуточно читает Лодер. Тем более он на столах раскладывает кости и препараты. Я могу ему помешать, все кости спутаются...

— Учтите, за неподчинение мне я вас накажу... — орал «Фагот». — А вашего Лодера я самого разложу по костям. Никаких наглядных пособий, был мой приказ. Если он не подчинится, я сожгу все его препараты и кости.

И в который раз Мудров, глядя на взбесившегося генерала, произносил:

— Я прошу вас, не горячитесь!

— Отстаньте, вы ничего не понимаете... — орал генерал. — А чтобы не было между нами неприятностей, не попадайтесь мне больше на глаза.

Матвей Яковлевич Мудров был прекрасным врачом-терапевтом, и авторитет его как в стране, так и за рубежом, был велик. Он был членом многих европейских академий, а также членом-корреспондентом Петербургской медико-хирургической академии. Параллельно с преподаванием в университете был ординарным<sup>[25]</sup> профессором патологии и терапии Московского отделения медико-хирургической академии, где впоследствии организовал и открыл собственный институт. Его лекции были очень наглядными, и Николай Пирогов их всегда посещал. Если

другие терапевты считали внутренние болезни строго теоретической наукой, то Мудров, наоборот, требовал, чтобы студенты изучали терапевтические болезни в анатомичке, на трупах. Заметив тягу Николая к препарированию, он первому ему разрешил вскрытие кишок у больного, умершего от тифа. И, когда Николай мастерски это сделал и нашел очаги поражения ткани, Мудров похвалил его:

— Молодец, Пирогов, ты на правильном пути... Только через патологическую и общую анатомию мы можем прийти к прогрессу русской медицины. Всем нам надо побольше вскрывать трупов больных и через анатомию узнавать и изучать болезни...

Мудров так же, как и Лодер, приблизил Пирогова к анатомии. Мало того, постоянно напоминал ему о великой пользе для будущего врача анатомического препарирования. Однако, пропагандируя студентам анатомирование, ученый к старости неожиданно увлекся бруссеизмом. Это учение, названное по имени ее создателя Франсуа Жозефа Виктора Бруссе (1772–1838), не было особо распространенным среди русских медиков. Но Мудров почему-то им увлекся. По бруссеизму считалось, что в основе всех заболеваний лежит воспаление, вызываемое раздражением. И это воспаление локализуется в пищеварительном канале. Если по Броуну, этой точки зрения раньше придерживался Мудров, лечение почти всех болезней заключается в применении возбуждающих средств, и в первую очередь вина, то по Бруссе, лечение сводилось к борьбе с воспалением путем применения расслабляющих средств, и в первую очередь кровопускания. Впоследствии ученые отмечали, что система Бруссе стоила миру больше крови, чем все наполеоновские войны.

Лодер узнал о том, что «Фагот» в присутствии Мудрова пообещал разложить его на косточки. А вскоре о том, что какой-то тупой генерал собирается уничтожить великого ученого за современное преподавание анатомии, узнала и вся Европа. Свое возмущение этому факту выразили многие выдающиеся анатомы Франции, Англии и Голландии. Сам король прусский доложил государю о несправедливых гонениях на Лодера. И генерал получил такой нагоняй, что стал не только избегать Лодера, но даже прятаться от него. После этого происшествия Лодер был награжден Анненской звездой. Мудров, с радостью узнав об этом, отменил свою лекцию и повел студентов к Лодеру. Лодер с сияющей Анненской звездой на фраке проводил занятие по анатомии, как вдруг к нему входит Мудров с целой толпой студентов и, попросив на минутку передохнуть, вынимает из кармана листок и голосом проповедника громко читает:

— «Красуйся светлостью звезды твоей, но подожди еще быть звездой

на небесах!...» — А следом за ним все студенты закричали:

— Да здравствует анатомия! Да здравствует Христиан Иванович Лодер!

Как рад был Николай Пирогов, что Лодер в который раз отстоял себя. В университете преподавалась и хирургия. Лекции читал Федор Андреевич Гильдебрандт, очень искусный и опытный практик. Но, кроме чтения, ничего студентам больше не давал. За все обучение Николая в университете ему пришлось увидеть, как делается разрез нагноившегося фурункула и ампутация голени. Поэтому хирургия показалась ему поначалу наукой неприглядной и непонятной.

Прожив у Андрея Филимоновича Назарьева год, семья Пироговых переехала на наемную квартиру. В одной половине квартиры решили жить сами, а другую сдавать. Как студент университета, Николай уже мог давать частные уроки, но ему не хватало времени. На одну ходьбу в университет с Пресненских прудов (квартира была снята рядом с домом дяди) уходило туда и обратно четыре часа. Из-за отсутствия денег об извозчиках и розвальнях даже и думать было нельзя. Летом и в сухую погоду ходить по уличным тротуарам было терпимо, но с наступлением весны и осени приходилось брести по колено в грязи.

Из всей массы студентов Николай Пирогов выделялся не только прилежным поведением, но и тем, что очень часто приходил на занятия в сапогах и шинели. Не имея возможности где-либо подзаработать, он находился на содержании матери и сестер, доходы которых были очень крохотными. Николаю часто приходилось жить впроголодь. Ужин, обед и завтрак ему заменял слегка подслащенный чай. Иногда его угощали хлебом студенты из 10-го номера. И как он радовался этой корочке хлеба, как благодарил их!

«Как я или, лучше, мы пронищенствовали в Москве, — вспоминал Пирогов, — во время моего студенчества, это для меня осталось загадкой. Квартира и отопление были, правда, даровые у дяди в течение года, а содержание, а платье? Две сестры, мать и две служанки и я на прибавку. Сестры работали; продавались кое-какие остатки, но как этого доставало — не понимаю. Иногда, только, иногда, в торжественные праздники, присылались через меня или другим путем вспомоществования; помогал иногда мой крестный отец, Семен Андреевич Лупутин; помогали кое-какие старые знакомые. Однажды матушка, узнав, что генерал Синягин женится на второй жене после вдовства, уговорила меня пойти к нему с поздравлением и поднести хлеб-соль на новоселье. Синягин был одно

время патроном отца, заведовавшего некоторое время его делами по имениям; я было заказал большой крендель и явился поутру к генералу, поздравил его, передал хлеб-соль, а он, поблагодарив довольно любезно, приказал своему казначею выдать мне 25 рублей, но не сказал: ассигнациями, а просто: 25 рублей. И каково же было мое изумление, когда этот казначей потребовал с меня 2 рубля (четвертак) сдачи с белой бумажки, ходившей в то время с лажем<sup>[26]</sup> и стоившей потому не 25, а 27 рублей!...»

Один раз поздней осенью Николай пришел домой босиком, без сапог. Возвращаясь из университета, он провалился в грязную яму в глухом закоулке, да мало того, на него неожиданно напали собаки. Отбиваясь от них бросанием грязи и плача во все горло, он выкарабкался из ямы и побежал. И лишь дома заметил, что на ногах нет сапог.

— Мама... — заплакал Николай. — В чем же я теперь завтра на учебу пойду?

И мать в растерянности, не зная, чем помочь сыну, разводила руками. Однако вскоре был найден выход. У старшей сестры были сапоги. Они подошли Николаю. И хотя положение исправилось, но из-за их большого размера идти было трудно, по грязной дороге они в любой момент могли слезть с ног.

Пережитое горе сказывалось на характере Николая. Он часто был задумчив и молчалив. Ни о каком счастье и мечте не могло быть и речи. Как дальше жить, он не знал. Ночами снился ему отец, радостный и веселый. Николай гулял с ним, разговаривал. И так хотелось, чтобы сон этот никогда не кончался.

Где проводил свободное время Николай? Конечно, в 10-м номере. Он приходил сюда и в обеденное время, и после занятий. В отличие от университетских здесь были свои особые лекции, так называемые «разговорчики». Что не читалось в Москве и во всей стране, здесь читалось. В суждениях была полная демократия. А смелости и критичности взглядов 10-го номера, да и всех других студенческих номеров, мог позавидовать любой греческий философ. Здесь, в 10-м номере, Николай за десять рублей приобрел у студента Лобачевского старинный гербарий, в котором было засушено, наклеено и подробно описано более полутысячи лекарственных растений. Рассматривание этого гербария доставляло Николаю большую радость. И вскоре, буквально через месяц, он заучил на память наружный вид почти всех растений.

В 10-м номере все отрицалось: и бог, и религия, и царь, со всеми своими попечителями и преподавателями. Не отрицались только свобода,

вольность и буйство при получении жалованья. Из литературных произведений студенты любили читать только запрещенные. Самым любимым поэтом был Рылеев. Его стихи, такие, как «Ода на вольность», «К временщику» и сатирическая песня «Ах, где те острова», ходили по рукам, читались с жадностью, переписывались и перечитывались при каждом удобном случае. Больше всего Николаю нравилось стихотворение «К временщику», в котором подвергался осмеянию «временщик» — граф А. А. Аракчеев (1769–1834), всесильный фаворит Александра I, организатор и начальник военных поселений. Это стихотворение, подписанное Рылеевым его полной фамилией, было напечатано в октябрьской книжке журнала «Невский зритель» за 1820 год. В 1821 году журнал был закрыт, отчасти из-за опубликования «Временщика». Стихотворение Николай выучил наизусть. Строки его, полные патриотизма и боли за Россию, захватывали дух.

*Надменный временщик, и подлый и коварный,  
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный.  
Неистовый тиран родной страны своей,  
Внесенный в важный сан пронырствами злодей!  
Ты на меня взирать с презрением дерзаешь,  
И в грозном взоре мне свой ярый гнев являешь!*

Особенной болью за русский народ потрясали такие строки стихотворения:

*Ты заблуждаешься в несчастном ослепленьи,  
Как ни притворствуешь и как ты ни хитришь,  
Но свойства злобные души не утаишь:  
Твои дела тебя изобличат народу;  
Познает он — что ты стеснил его свободу,  
Налогом тягостным довел до нищеты,  
Селения лишил их прежней красоты...*

Это стихотворение студенты не один раз незаметно приклеивали к спине «Фагота». Когда тот узнавал об этом, он разъярялся не на шутку. Держа в руках стихотворение, он бегал по аудиториям и кричал:

— Мерзавцы, подлецы, кто это сделал?.. Я спрашиваю вас, кто это



сделал? Я Аракчеевым никогда не был и не буду...

Оказывается, не только студентам, но даже самому генералу был ненавистен Аракчеев. Профессор Мухин на одной из своих лекций, когда студент хитро спросил его: «Ефрем Осипович, а вы случайно не лечили графа Аракчеева?», ответил вдруг так громко, чтобы его слышали присутствующие на задних рядах инспектора: «Я тиранов, питающихся русской кровью, никогда не лечил и лечить не буду!» И студенты, встав со своих мест, дружно зааплодировали ему. Безусловно, отвечая так, профессор Мухин рисковал. Однако следует отметить, что некоторые вольности в те годы в студенческой жизни допускались.

Песню Рылеева «Ах, где те острова», полную сатиры на правящую верхушку, в 10-й комнате распевали в полный голос. Особенно ее любили петь в первых числах месяца, когда выдавалось жалованье.

— Привет, Пирогов!.. — заходя в номер, приветствовали Николай студенты и, поставив бутылки с вином на стол, добавляли: — Не желаешь с нами выпить?..

— Нет... — отвечал Николай. И тогда они, сами выпив вино, угощали его чаем с сахаром и печеньем.

— Да не грусти ты... — успокаивали они его и, развеселившись, хором пели:

*Ах, где те острова,  
Где растет трын-трава,  
Братцы!  
Где читают Пуцелле,  
И летят под постель  
Святцы.*

А затем после песни опять разговорчики. Да какие разговорчики. Студент Петров, вскочив со стула, ударяет кулаком по столу.

— Ребята, вы знаете, когда я покупал сегодня в лавке хлеб, то мне торговец сказал, что всей страной и правительством командуют масоны <sup>[27]</sup>  
...

— Вот так дела! — восклицает студент Лобачевский. — Дожились... Наверху одни общества, а на низах другие...

— А кто это такие, масоны?.. — спрашивает его Николай.

— Любители делать ревизию... — отвечает тот.

— Кому?.. — Николаю так хочется все узнать о масонах.

— Правительству, царям, интеллигенции... — объясняет Лобачевский и кисло корчит рожу. — Да ну их всех к черту... Были бы мы с тобой, Пирогов, живы. И родители наши, и дети...

— Нет, ни к черту их... — взрывается Петров. — Они кровь русскую пьют, народ грабят, родной дух уничтожают... — И, налив стакан вина, залпом его выпивает. — А еще мне торговец сказал, что у них и в Москве, и в Петербурге ложи есть... Их даже сам царь боится... А еще у них книги в зеленых переплетах. В Европе скрытые масонские ложи основали Орден иезуитов, который организовал убийство Генриха IV и покушался на жизнь Людовика XV, убили шведского короля Густава III, чтобы заменить его масоном, спровоцировали штурм Бастилии...

— Не верь ему, Николай, не верь... — смеется Лобачевский. — Выше Бога никого нет. Бога все боятся, и масоны в том числе...

— Вот увидишь, что дальше будет... — перебивает его Петров.

— Но ты же вчера говорил, что Бога нет... — говорит Николай Лобачевскому. — Помнишь?.. А еще ты сказал, что ко всему божественному ученый человек должен относиться с пренебрежением.

— Да, говорил, — вздыхает Лобачевский. — Все говорят, и я говорю... Короче, дожились, ни Бога, ни царя, одна смертная душа...

Каждый день из 10-го номера приносил Николай домой новые мысли. Почти все студенты в Бога не верили хотя и ходили на богослужение и пели «Отче наш». Продолжал ходить на богослужение и Николай. По совету матери соблюдал посты и обряды. Хотя мысли в голове были совсем другие. «Если бы был Бог на земле, то он не допустил, чтобы оклеветали отца... — думал он. — И нищих бы калек он не обидел... И все бы люди жили долго-долго и не умирали».

И когда по вечерам у Николая с матерью заходил разговор о богопочитании, то он говорил:

— Рассудите, маменька, сами... Как же это может быть? Ведь Бог, вы знаете, всеведущ, всевидящ, правосуден, милосерден; поэтому он, наверное, знал, что мы будем злы, и все-таки накажет нас потом за то, что мы были злы, где же тут справедливость и милосердие?

— Да ведь тебе Бог дал волю, — объясняла мать. — Выбирай, не делай зла.

— А к чему мне эта воля, — возражал Николай, — когда Богу заранее известно, ведь он всеведущ, что я согрешу и буду грешником?

— Нет, ты все равно не прав... — вздыхала мать. — Все в Бога верят, и нам тоже надо верить.

— А послушали бы вы, мамань... — продолжал Николай, — что

поповские сынки в университете говорят о своих батюшках, стыд и срам. Ведь это жрецы.

— Что ты, Бог с тобой! — всплескивала она руками. — Ведь они у нас бескровная жертва.

— Какая бескровная?.. — перебивал ее Николай. — Все наши попы надувают народ, как жрецы прежде надували.

— Как можно так сравнивать?.. — возмущалась мать.

— Да отчего же не сравнивать?.. — спокойно и со знанием дела отвечал он и произносил выражение, слышанное накануне разговора от одного старого семинариста на лекции. — Ведь религия везде, для всех народов была только уздой, а попы и жрецы помогали затягивать узду.

— Религия, сынок, это вера! — гордо произносила мать. — Так неужели же теперь, по-вашему, и верь! не надо иметь?

— Послушали бы вы, маменька, что говорит немецкий философ Шеллинг.

— Да читала я его «Угроз Светоотоков».

— Да это не Шеллинга, а Штиллинга вы читали, — поправляет ее Николай, одновременно удивляясь материнскому мировоззрению. — Шеллинга вам не понять, он натурфилософ.

— Да ты, Николаша, уж не хочешь ли сделаться масоном?.. — улыбается мать.

— А что же такое масон?.. — смеется Николай. — У нас, там, в университете, между нашими студентами есть и масоны... — Говоря это, он подразумевает разговоры в 10-м номере.

— Ну Бог с тобой! — крестится мать. — С тобой теперь не сговоришься. Вот время-то какое настало! И куда это только свет идет?

— Да куда же ему идти, и что такое время? — подражая профессору Мухину, важно произносит Николай. — Прошедшее невосвратимо; настоящего не существует; его не поймашь — оно то было, то будет, а будущее неизвестно.

Эти слова понравились матери. И она часто их при откровенных разговорах с сыном вспоминала.

— Сынок, а помнишь ли, как ты мне говорил, что прошедшее не возвратишь, настоящего нет, а будущее неизвестно. Это так, так.

Беседы Николая с матерью были теплыми и задушевными, хотя в чем-то порой они и расходились в своих взглядах. Да и так ли уж активны, смелы и деятельны были студенты 10-го номера в своей самостоятельной жизни? Конечно, пет. Студенческий их пыл порой тут же исчезал, стоило им только столкнуться с реалиями жизни.

«Что вышло из всех этих энтузиастов вольности, — вспоминал Пирогов, — этих отрицателей божества, веры и поклонников Вольтера, натурфилософии, революций и т. п.? То же самое, что выходит из всех ультрабуршей в германских и в нашем Дерптском университетах. Я встречался не раз в жизни с прежними обитателями 10-го номера и с многими другими товарищами по Московскому и Дерптскому университетам, закоснелыми приверженцами всякого рода свободомыслия и вольнодумства, и многих из них видел потом тише воды и ниже травы, на службе, семейных, богомольных и посмеивавшихся над своими школьными (как они называли) увлечениями. Того господина, например, из 10-го номера, который горланил во всю ивановскую «Оду на вольность», я видел потом тишайшим штаб-лекарем, женатым, игравшим довольно шибко в карты и служившим отлично в госпитале».

Делая такое заключение, Пирогов, может быть, и не прав. Ведь многие студенты университета и впоследствии оставались вольнодумцами, например, декабрист Кюхельбекер, поэт Полежаев и многие другие. Да и сам Пирогов, пройдя школу жизни 10-го номера, до последнего вздоха боролся за справедливость и как врач, и как гражданин.

Много было горьких и тяжелых минут у Николая Пирогова во время обучения в университете, но были радостные, полные задора и студенческой веселости.

Василий Михайлович Котельницкий читал в университете фармакологию. Его лекции нельзя было слушать без смеха. Он жил при университете и никогда на лекции не опаздывал. Зайдя в зал, он первым делом спрашивал аудиторию:

— Николай Пирогов здесь?..

— Здесь... — хором отвечали студенты.

— Хорошо... — облегченно вздыхал он. — Тогда приступим к фармакологии...

Николай Пирогов был для Котельницкого любимцем, ибо лучше Пирогова никто на курсе фармакологии не знал.

В шерстяных, фиолетового цвета штанах, сшитых по последней моде, в сапогах с кисточками, с кульком в одной руке и с учебником фармакологии под мышкой Василий Михайлович взбирается на кафедру. Присев на стул, вынимает из карманов очки и табакерку и, звучно с прихрапом нюхнув табаку, ставит свечку перед собой и начинает читать одну из глав фармакологии «Клещевинному маслу китайцы придают горький вкус...». Закрыв книгу, он вновь с прихрапыванием нюхает табак и произносит по памяти: «Китайцы придают клещевинному маслу горький

вкус...» Все смеются. Потому что Василий Михайлович не прав, не китайцы придают клещевинному горький вкус, а кожицы.

— Кожицы, кожицы... — поправляют его студенты.

— Ладно, пусть будут кожицы... — соглашается Василий Михайлович. — Но самое главное, масло-то клещевинное... — И, вдруг грозно осмотрев передние ряды и отыскав среди примерных Николая Пирогова, спрашивает его: — А ну-ка, Пирогов, скажи мне, как французская водка будет звучать по-латыни.

— Спиритус галликус! — с ходу отвечает тот.

— Молодец!.. — хлопает в ладоши Василий Михайлович и, встав из-за стола, произносит: — Благодарю вас всех за внимание, на этом наша лекция окончена.

Да, были и такие лекции в университете, нечасто, но все же были.

А до чего смешон был профессор естественной истории Алексей Леонтьевич Ловецкий, адъютант знаменитого зоолога Фишера. Проводя ботанические экскурсии со студентами на Воробьевых горах, он просил всех срывать цветы и лепестки трав, чтобы, придя затем в университет, в спокойной обстановке назвать их.

После экскурсии все протягивают Алексею Леонтьевичу цветы и просят определить их. А он уперся и ни в какую. Всем отвечает одно и то же: «Отдайте их моему кучеру, я потом дома у себя определю».

Но смешнее всего было, когда выгоняли с медицинских лекций чужаков, студентов с других факультетов, ради любопытства пришедших слушать особенности строения человеческого организма. Профессора не любили, если на их лекциях присутствовали чужие студенты. Зная об этом, студенты использовали «чужачество» в своих целях. Мирно, своим чередом читается лекция. Аудитория сидит тихо и смирно, давая возможность войти в зал нескольким чужакам. А затем вдруг в самом разгаре профессорского чтения кто-нибудь из студентов на весь зал крикнет:

— Господин профессор, есть много чужаков.

Профессор вздрагивал. Лекция прекращалась. Начинался розыск. А вместе с ним и шум. Студенты гонялись друг за другом: «Ищите чужаков и, найдя их, выгоняйте». Время шло, и лекция, а вместе с ней и занятие срывались. Некоторые профессора просто ненавидели чужаков, которым ничего не стоило раскритиковать профессора в пух и прах, а заодно при этом дать ему какое-нибудь смешное прозвище. Особенно не переносил чужаков профессор Гаврилов, который был глуховат. Однажды к нему набилось очень много студентов. А чтобы к ним не проникли чужаки, на лекцию из деканата был приведен гарнизонный офицер-надзиратель (в

мундире серого цвета с желтым воротником). Чтобы лучшим был обзор зала, он уселся на задний ряд. Как только началась лекция, студент, державший список слушателей для переключки, подходит к глухому профессору и кричит ему на ухо:

— На лекции чужак.

— Где? — возмущается профессор.

Задние ряды раздвигаются, и перед профессором появляется военный чин, смирно сидящий на скамье.

— Скорее вставайте! — шепчут хором ему студенты. Гарнизонный офицер вытягивается в струнку.

— Как вы оказались здесь?.. — рассердившись не на шутку, спрашивает его профессор.

— Говорите, — подсказывают студенты офицеру, — лекции в университете публичные, и всякий имеет их право посещать.

Офицер бормочет подсказанное. Профессор ничего не слышит. Студенты громко во всеуслышанье передают ему слова офицера.

— Он говорит, что лекции публичные.

— Так что же, что публичные, — разъяряется тот, — в аудиториях для порядка не должны быть терпимы чужаки.

Офицер, растерявшись, не знает, как ему дальше быть. На помощь приходят студенты. Они шепчут: «Уходите, уходите, от греха подальше».

Ряды раздвигаются, и гарнизонный офицер марширует петухом через всю аудиторию мимо кафедры к выходу. Студенты, пользуясь глухотой наставника, провожают офицера громогласным пением: «Изыдите, изыдите, нечестивии!» Минут через пять все успокаиваются. И профессор продолжает читать.

На другую лекцию слушатели приводят нескольких выздоравливающих больных из клиники. Ничего толком не понимающих, их сажают в задние ряды. А в середине лекции вдруг объявляют, что какие-то больные опять забрались на лекцию из госпиталя. Поднимается страшный гам. Профессор хватается за сердце. Неразбериха и возмущение нарастают. В итоге больные изгоняются с шумом и скандалом. У профессора на целый день расшатаны нервы, а студенты, наоборот, ходят в приподнятом настроении.

Не все профессора в университете были известными учеными и педагогами. И не все читали добросовестно лекции, поэтому студенты, видя такое равнодушие преподавателей к предмету, чудили на их лекциях и занятиях, чего невозможно было даже себе представить на лекциях Лодера и Мухина. Однако, как бы то ни было, большая часть профессоров и

преподавателей добросовестно исполняла свой учительский долг, стремясь зародить в душах студентов любовь к знанию и стремление к дальнейшему образованию. Вот как, например, вспоминал впоследствии о профессоре Мудрове Пирогов. «Он много мне принес пользы тем, что беспрестанно толковал о необходимости учиться патологической анатомии, о вскрытии трупов, об общей анатомии Бине и тем поселил во мне желание познакомиться с этой тэrrа инкоgnита»<sup>[28]</sup>.

Не менее уважительно он говорит и о лекциях Лодера. «Но, несмотря на комизм и у меня от пребывания моего в Московском университете, вместе с курьезами разного рода остались впечатления глубокие, на целую жизнь врезавшиеся в душу и давшие ей известное направление на всю жизнь. Так, лекции Лодера, несмотря на мое полное незнакомство с практической анатомией, поселили во мне желание заниматься анатомией, и я зазубривал анатомию по тетрадкам, кое-каким учебникам и кое-каким рисункам. Даже обычные выражения Лодера: «Мудрейшая природа, вернее, создатель мудрейшей природы пожелал» — не оставались без влияния на меня.

Я и теперь еще, через 50 с лишком лет, как будто слышу их. Но и самые надписи на стенах анатомического театра и клиники слились у меня как бы в одно целое с начатками моих научных сведений в Москве. Мистического и мистицизма никто не искоренит из глубины человеческого духа. Монотонность и односторонность никогда не будут ему свойственны, и я не верю, чтобы человеческое общество когда-нибудь остановилось на одном избранном им направлении, и всего менее верю, чтобы оно когда-нибудь сделалось позитивистом»<sup>[29]</sup>.

После этого можно с уверенностью сказать, что университет дал Пирогову много хорошего и зародил «искру божью». Под конец университетского курса у него появилось неотступное желание учиться дальше.

Один раз Матвей Яковлевич Мудров приехал на лекцию раньше обычного. Медлительной походкой взойдя на кафедру, поправил темные волосы и, с какой-то тайной улыбкой осмотрев зал, начал говорить:

— Друзья мои, если бы вы знали, как прекрасна Европа! Природа там первозданна, а замки и следы древних военных дорог свидетельствуют о бурном прошлом. А самое прекрасное удовольствие в мире для молодого человека — это восхождение на ледники альпийских гор. Воздух там чудесный, красота ландшафта неопиcуема.

— Что это с ним?.. — толкнул Николая сосед. — Античную историю, что ли, вздумал читать?

— Да нет, о современности говорит... — ответил ему Николай, сам находясь в каком-то недоумении. Лекция по внутренним болезням, а Мудров читает бог весть что.

— А возьмите Англию... — продолжал Мудров. — Какую необыкновенную торжественность и пышность вы почувствуете, увидев короля, выходящего в сопровождении почетного караула из Букингемского дворца. На нем фельдмаршальский мундир с тысячью бриллиантов, на плечах красная бархатная мантия, опушенная горностаем. Впереди герцог несет корону. А по бокам принц и принцесса... А как красив город Дерпт, когда вы въезжаете в город с юга, перед вашими глазами открывается сказочная панорама старинных замков.

«Что с ним?.. — зашумели студенты. — Вместо болезней о желудке какой-то вздор о Европе порет...»

И тут же с первых рядов самые смелые студенты начали кричать профессору:

— Матвей Яковлевич!.. Матвей Яковлевич, не случилось ли с вами что?.. Сегодня вы обещали про катары говорить...

Но Мудров, не обращая на них внимания, говорит и говорит. А упрямые студенты продолжают шуметь:

— Катарры!.. Катарры!..

Наконец умолкнув, Мудров потянулся.

— Друзья, я не случайно сегодня водил вас по Европе...

Зал замер. Голос Мудрова необычно торжествен.

— Я рад и очень счастлив доложить вам следующее. По высочайшей воле его императорского величества государя императора для получения дальнейшего образования за границей из наших русских учащихся призываются желающие. Обучение и содержание за счет государства. После трехлетней учебы обязательная защита докторской диссертации.

Многие студенты обрадовались этому сообщению. Всем хотелось учиться дальше. Сразу же после лекции Николай Пирогов был вызван в деканат к профессору Мухину.

— Слышал приказ?.. — спросил он Николая.

— Да... — ответил тот.

— Вот и поезжай... — ласково произнес Ефрем Осипович. — Приглашаются только одни русские; надо пользоваться случаем.

— Хорошо, Ефрем Осипович... — ответил Николай. — Если вы советуете, я поеду.



Мухин что-то записал в свой журнал, а затем сказал:

— Ну, а теперь, друг ты мой, выбери какую-нибудь науку.

— Разумеется, медицина, Ефрем Осипович.

— Нет, так нельзя... — поправил его профессор. — Требуется объявить конкретно, какой именно медицинской наукой ты желаешь заниматься.

— Конечно, физиологией... — воскликнул Николай. — Я хочу, как и вы, заниматься в дальнейшем физиологией...

Николай думал, что профессор похвалит его за такой выбор. Но он, вдруг нахмурившись, тихо сказал:

— Нет, физиология не подходит, выбери что-нибудь другое...

— Ефрем Осипович, почему?.. — растерянно произнес Николай. — Ведь вы... сами раньше мне говорили, что лучше физиологии нет ничего на свете...

Профессор ласково, как на сына, посмотрел на Николая. А затем сказал:

— Понимаешь, ты молод, и заняться физиологией у тебя еще будет время. А сейчас я советую тебе выбрать что-нибудь такое, больше связанное с практикой и с жизнью...

— Согласен послушать вашего совета... — сказал Николай, все еще находясь в какой-то растерянности от предложенной им физиологии. — Только позвольте мне денек подумать.

— Хорошо, как только надумаешь, сразу же приходи... — и крепко пожал Николаю руку. Перед ним был уже не маленький мальчик, которого он когда-то видел в семье Пироговых в Троицком приходе, а семнадцатилетний стройный юноша, со смелым, решительным взглядом.

«Бегу в университет, — вспоминал Пирогов, — справляюсь, прислушиваюсь, советуюсь; наконец кое-что узнаю и решаюсь: так как физиологию мне не позволили выбрать, а другая наука, основанная на анатомии, по моему мнению, есть одна только хирургия, я и выбираю ее. А почему не самую анатомию? А вот поди узнай у самого себя — почему? Наверное не знаю, но мне сдается, что где-то издавека, какой-то внутренний голос подсказал тут хирургию. Кроме анатомии, есть еще и жизнь, и, выбрав хирургию, будешь иметь дело не с одним трупом».

С этой минуты выбора 2 ноября 1827 года и можно начать отсчет хирургического поприща великого русского ученого Николая Ивановича Пирогова.

Как тонко и умно подсказал выбор профессии Николаю Ефрем Осипович Мухин. Он не стал навязывать свое мнение и даже первым

ничего не предложил ему. Известный профессор, видимо, интуитивно чувствовал, что юноша выберет, хирургию. На другой день Николай» зайдя в кабинет к Мухину, сказал:

— Выбрал хирургию!

Мухин радостно улыбнулся.

— Это неплохо... — и обнял Николая. — Рад за тебя... Выбор сделан правильный.

Затем профессор прямо здесь же, в своем кабинете, подверг Николая предварительному испытанию. Так как основная цель отправки за границу была подготовка к профессорской деятельности, а профессорам, как известно, для чтения лекций необходимо было иметь громкий голос и хорошие дыхательные органы, то это и проверялось в первую очередь. Спирометров — аппаратов, определяющих дыхательную емкость легких, в то время не было, поэтому Ефрем Осипович заставил Николая громко, не переводя дух прочесть длинный отрывок в издана ной: им физиологии Ленгоссека.

— Отлично... — сказал в конце чтения Ефрем Осипович. — Через неделю можешь получить деньги на дорогу в Санкт-Петербург. А завтра обязательно явись в Совет университета.

И вот. 4 ноября 1827 года в Московском университете «под самой строгой ответственностью Совета, университета» был произведен отбор студентов для подготовки к профессорской деятельности. Среди кандидатов были лекаря Иван Шиховский, Петр Корнух-Троицкий, Григорий Сокольский; кандидаты Петр Редкин и Николай Коноплев; своекоштные студенты Александр Шуманский и Николай Пирогов. Кандидаты обязаны были выехать 27 мая 1828 года, в чем они и расписались. Последней в списке стояла подпись: «Читал и исполнить обязуюсь, Николай Пирогов». Отобранные кандидаты перед отправкой в Дерптский университет должны были подвергаться экзаменам в Петербурге.

О том, что он собирается ехать учиться за границу в Дерпт, Николай сообщил матери лишь тогда, когда были утверждены списки. Последнее время он сильно переживал за то, что он, семнадцатилетний юноша, уже умеющий физическим трудом зарабатывать, из-за своей учебы на лекаря является нахлебником, бедной матери и бедных сестер. Поэтому он рад был, что своей поездкой в Дерпт, при условии удачной сдачи экзаменов в Петербурге, освободит мать от расходов и хлопот. Даже если бы он и остался с дипломом лекаря в Москве, то устроиться на работу было не так просто. Ведь у него не было ни средств, ни связей. После двухлетнего

пребывания в Дерпте студенты должны были отправляться еще на два года на стажировку в заграничные университеты, а затем уж принимались на службу в качестве профессоров в ведомства Министерства народного просвещения. То есть путь получения знаний был очень заманчив и интересен. Мало того, он был бесплатен. На годовое содержание студента в Дерпте выделялось 200 рублей ассигнациями, это несколько более 300 рублей серебром. Если студент на предварительном экзамене в Петербурге получал неуд, то из казенных списков он исключался. Однако права учиться в Дерпте за свой счет не лишался.

Придя домой радостным и веселым, Николай прямо с порога сказал матери:

— Мама, я еду учиться за границу за казенный счет...

— Вот так сынок!.. — воскликнула мать. — Неужели на самом деле?

— Знаю, знаю, слыхал... — произнес сосед портной, зашедший в дом Пироговых, чтобы починить Николаеву шинель. С солидностью крикнув, он добавил: — Туда не каждого берут. Открывать науки дело нешуточное. Голову нужно иметь умную. А еще упрямство и волю... — И, с завистью посмотрев на Николая, портной улыбнулся. Нежно расправил шинель на коленях: — Боже мой, дыра на дыре... Но не волнуйся, я ее как следует поправлю, и ты еще в ней походишь.

Мать, сильно постаревшая и поседевшая за последнее время, удивленно смотрела на сына и не знала, то ли радоваться ей, то ли плакать. Со вчерашнего дня нет в доме хлеба. Запасы перловой крупы и пшена на исходе.

— Мне уже и деньги на дорогу дали... — И он протянул матери сорок рублей. — Это для семьи, а я и так доеду, на мою долю Шуманский обещал хлеба взять. Он богатый, у него отец помещик.

Мать, взяв деньги, разглаживает их на руке, а затем прячет в кармане фартука.

— Свет мой яшенький! Благослови тебя Бог! — произносит она и, обняв сына, гладит его по голове. А затем тихо, участливо спрашивает: — И когда же ты, сынок, поедешь?..

— После лекарского экзамена, месяца через два.

Сердце у матери колотится быстро-быстро. Николай рад, что вовремя принес деньги, в их доме вновь появится свежий хлеб.

В мае начались лекарские экзамены. Николай сдал их успешно, и ему был вручен диплом лекаря. Соседи, узнав, что в семье Пироговых появился лекарь, попросили оказать помощь больному чиновнику. Когда Николай

пришел на вызов, перед ним был умирающий человек, находившийся без сознания и дышавший с трудом. Он как медик понимал, что помочь больному ничем уже не может. Но облегчить страдание можно было. А как их облегчить, если Николай вдруг неожиданно растерялся у постели больного. Чтобы протянуть время, он начал расспрашивать родственников, чем парализованный болел. Оказалось, что он ничем не болел, а пил запоями. Но и этот опрос ничего Николаю не дал. Родственники ждут от него хоть каких-нибудь действий. Ведь он как-никак лекарь. Вдруг больной захрипел, и тогда Николай неизвестно для чего попросил родственников пригласить цирюльника. Тот пришел очень быстро, принес с собой клистирную трубку. Цирюльник, поздоровавшись со всеми, спросил Николая:

— Разрешите, я осмотрю его...

Николай разрешил. Ощупав живот больного, он хмыкнул:

— Все ясно, у него запор...

А Николаю сказал:

— Пощупайте живот хорошенько, если мне не верите. Он так вздут, что вот-вот лопнет.

Николай внимательно осмотрел живот и полностью согласился с цирюльником. У больного действительно был запор. Переполненный и вздутый живот давил на диафрагму<sup>[30]</sup> и она, напирая на легкие, нарушала нормальное дыхание. Цирюльник попросил разрешения сделать больному клистир. Оказывается, он и раньше ставил его этому больному при сильных запоях, чтобы очистить кишечник. Клистир был поставлен и в этот раз мастерски, и больной, успокоившись, задышал нормально. Страдание больного облегчилось. И хотя исполнителем был цирюльник, но командиром и ответственным лицом был Николай. Поэтому в знак благодарности за облегчение страдания больного родственники подарили молодому лекарю черный фрак большого размера. Николай рад был этому подарку. В этом фраке, очень ловко переделанном соседом-портным на соответствующий размер, Николай поехал в Дерпт, да мало того, проносил этот фрак целых пять лет.

Это был первый больной молодого лекаря. А самым первым лекарством был клистир. Клистиром он спас и свою старую няню Катерину Михайловну, которая собралась умирать. Николай, внимательно осмотрев ее чуть вздутый, но нормальный живот, решил для профилактики поставить ей клистир. О своей идее он объявил всей семье и попросил его поддержать. Мать и сестры согласились. Да и как не соглашаться, если Николай дипломированный лекарь.

Няня клистира боялась.

— Батюшка ты мой, — начала она объяснять Николаю, — ведь я ничего не ем, не пью, две недели крохи во рту не было. Какой может быть клистир...

— С вами согласен, особой нужды в нем нет... — успокаивал ее Николай. — Но все же для страховочки поставим...

— Да как же это?.. — вздыхала няня. — Да кто же поставит? Где этот клистир взять?

— Не беспокойтесь, я вам сам его и поставлю.

— Доверьтесь, Катерина Михайловна... — стала уговаривать няню мать. — Николай все же как-никак лекарь, совсем недавно он соседу помог и за это фрак получил.

Няня молчит. Это обозначает, что она соглашается. И Николай, боясь, как бы она не передумала, быстро достает из своего чемоданчика трубку, а резиновую грушу наполняет ромашкой с мылом и постным маслом. Затем, надев на себя фартук, с важным видом поворачивает старуху на левый бок и первый раз в жизни самостоятельно ставит клистир. Чтобы успокоить себя и поднять свой авторитет, Николай, отойдя от няни, говорит всем, что процедура эта очень сложная и не каждому лекарю удастся. Все, соглашаясь с ним, молча кивают. Вскоре клистир выходит, да не один... Но не это главное. На следующий день няня начинает поправляться. К ней возвращается аппетит, сон и желание жить. О смерти нет даже и речи. А через десять дней она уже прежняя, бойкая и подвижная. Колин клистир няню спас. Завел, возбудил ее организм, дал встряску. Вот так постепенно, шаг за шагом и овладевал Николай Пирогов практической наукой врачевания.

Наступило 27 мая, день отъезда на экзамен в Петербург. Каждому студенту безвозмездно выдали по мундиру и шпаге. Сопровождать студентов велено было адъюнкт-профессору математики Щепкину. В каждом экипаже ехало по два студента. Пирогов ехал с Шуманским, умным и эрудированным студентом. Все остальные также были разбиты на пары. Щепкин должен был ехать впереди в отдельном экипаже.

Когда все собрались в университете, Щепкин, одетый в свой новый мундир, с множеством блестящих на солнце различных наград, громко произнес:

— Ну а теперь лучшие русские умы, прощайтесь!..

Провожать Николая пришли мать, сестры и няня со служанкой. Приехал и дядя Андрей Филимонович с ярко начищенным Владимирским

крестом.

— Главное, Николай, не волнуйся... — сказал Мухин. — Буш очень добрый и справедливый... — и отошел к толпе преподавателей и профессоров.

— Поклонись матери... — шепнула няня. Николай поклонился, и мать перекрестила его. Затем обняла и поцеловала.

— Постой, постой за отца... — сказала она. — Мы молить за тебя будем царицу небесную. Она не должна обидеть, она внемлет, сынок!

Над головой деревья шумели ярко-зеленой листвой. И ветер звал за собой в простор и в голубое небо. Заиграл прощальный марш. Извозчики сели на облучки.

— Машенька, не плачь... — прощался Николай с сестренкой.

Андрей Филимонович, весь какой-то взволнованный, подбежав, сунул ему сверток.

— Возьми сахарок и носочки...

— Шабаш, бабы, шабаш... — прокричал извозчик, и телега тронулась.

— Маменька, Машенька... — махая рукой, закричал Николай. — Я обо всем напишу.

Телега набирает ход. И вот уже все уменьшается. Привстав, Николай все равно смотрит. Как быстро летит жизнь.

Шуманский дергает его за рукав:

— Слушай, да хватит тебе...

— Что верно, то верно... — поддакивает ему возница. — Улетевшего из гнезда не поднять, нет, не поднять... и не вернуть...

Вскоре дома, купола церквей и вся Москва остаются позади. Остановившись, прохожие удивленно смотрят на гуськом едущие телеги. Лошади дружно идут на подъеме. Кто это все время стоит на последней телеге и машет рукой? Он что-то кричит и даже кого-то зовет. «Это молодой орел... — отвечает гордо зеленая, переполненная весенними цветами дорога. — Сегодня он покидает на веки вечные родное гнездо». И чтобы поддержать дух парня, стоящего в телеге, прохожие, сняв кепки, машут ему и кричат:

— Ей, погоняй-й!.. Ей, погоняй-й!

«Признаюсь, я не мог хладнокровно вынести такое прощанье, — вспоминал Пирогов, — слезы навернулись на глазах моих, и я сел наивозможно скорее в повозку. Выехав из заставы, я в последний раз обратил взоры свои на гостеприимную Москву, увидел позлащенные главы ее, увидел в стороне место моего жительства, вспомнил то, чем я наслаждался, вспомнил все те горести, те перевероты судьбы, коим мы

были несколько лет подвержены».

На экзамене в Петербургской медико-хирургической академии Николай волновался. Преподавание в академии отличалось от преподавания в Московском университете. В клиниках широко проводились различные оперативные вмешательства. В академии работали такие известные ученые, как анатом и практик-хирург И. В. Буяльский. Занятия по хирургии вел профессор Буш, славившийся своими операциями на всю Европу. Академия была центром хирургии. И вот в этот центр из Москвы, где хирургия преподавалась лишь теоретически, и попадает на экзамен Николай Пирогов. Безусловно, в такой ситуации любой разволнуется. По учебному пособию Буша он проходил хирургию в университете. И вот Буш, строгий и крайне требовательный к подчиненным профессор, сидит перед оробевшим и побелевшим Пироговым и говорит:

— А теперь я прошу вас, молодой человек, ответить мне, можно ли производить ампутацию без предварительного наложения жгута?

— Можно... — лепечет Николай и оглядывается. Чуть левее от Буша сидят при всех регалиях и наградах президент академии Виллие и профессор Буяльский. Они молча дожидаются, что же скажет дальше студент, а точнее, лекарь.

— Что же вы молчите?.. — удивленно произносит Буш. — Одно слово сказали, и словно язык у вас оторвался.

«Если не сдам экзамен... — думает Николай, — то я вернусь обратно. Что скажет мне тогда Мухин, мать, сестры... Хуже позора нельзя и придумать...»

Собравшись с духом, Николай вытирает потный лоб и, смотря в глаза Буша, отчеканивает:

— Ампутацию можно производить и без предварительного наложения жгута. В этом случае перед ампутацией обнажают кровеносные сосуды и перевязывают их.

— А о грыжах вы что-нибудь читали? — не заметив отличного ответа, спросил Буш.

— Читал... — ответил Николай.

— Какие бывают паховые грыжи?

— Косые и прямые.

— Расскажите их анатомическое строение и границы.

Буш спрашивал очень быстро, и со стороны казалось, что он собирается завалить лекаря.

Николай начал рассказывать границы и неожиданно ошибся, а точнее,

обмолвился, прилепив к латинскому слову созвучную приставку. Вместо артерия эпигастрика<sup>[31]</sup> произнес артерия гипогастрика<sup>[32]</sup>. Буш его тут же поправил, а затем, обратившись к присутствующей комиссии, сказал:

— Пирогов выдержал экзамен... — и, посмотрев на Николая, впервые за все время улыбнулся. — Только учти, следующий раз не трусь. Русский хирург должен быть смелым!

— И бойким, — добавил президент академии Виллие. — Россия обнищала родными кадрами. Государь надеется на вас. России нужны русские ученые.

Президент встал, а за ним и все остальные.

Почти все кандидаты из Московского университета сдали экзамен за исключением Петра Редкина, собиравшегося в Дерпте совершенствоваться по римскому праву. На него напал академик Грефе, начав вдруг гонять его не по римскому праву, а по российскому. Кроме всего, он в экзаменационном бланке написал, что Редкин некогда не сможет освоить римского права. Решение было варварским и несправедливым, но жаловаться было некому, авторитет академика Грефе был огромен. Однако Редкин не пал духом, выведенный из числа казенных кандидатов, он поехал учиться в Дерпт за свой счет и там доказал, что он может познать римское право.

После экзамена всех кандидатов собрали в актовом зале, где перед ними с речью выступил президент академии Виллие. Шотландец по происхождению, доктор медицины и хирургии, крупный военно-медицинский администратор, более полувека занимавший пост главного военно-медицинского инспектора русской армии, Баронет Яковлевич постоянно заботился об усовершенствовании врачей. Благодаря его настойчивости в 1811 году вышел первый номер «Всеобщего журнала врачебной науки», после прекращения которого в 1823 году начал издаваться «Военно-медицинский журнал». Баронет Яковлевич Виллие напутствовал кандидатов следующими словами:

— Дорогие друзья! Дабы в знании врача сделаться действительным членом общества, для сего необходимо по выходе из училища изучить, по крайней мере, все, что относится к практике, и знать все, что время к усовершенствованию науки производит. Поскольку медицина есть наука, на опытах, основанная, и источники, из коих почерпает она познания, заключаются единственно во врачебной практике, то усовершенствование может только тогда совершиться, когда все, произведенное врачами в пользу искусства, сообщается во всенародное известие. Без сего невозможно и помышлять об усовершенствовании врачебного искусства, и



государство никогда не увидит от врачей той пользы, в какой имеет надобность. Помните это, мои дорогие друзья! В добрый и счастливый путь!.. — И Виллие поклонился студентам.

Все зааплодировали. Хотелось учиться. Осваивать премудрости науки. И, освоив их, поскорее вернуться в Россию.

В Дерпте Николай Пирогов квартировал в снятой университетом квартире с Шиховским и Корнух-Троицким. Профессорский институт, в котором учились кандидаты, при Дерптском университете организовал в 1827 году Егор Иванович Паррот, профессор физики, затем академик, он же был вначале и первым ректором Дерптского университета. Паррот (родом из Эльзаса и сотоварищ знаменитого Кювье) был очень рад назначению князя Ливена, бывшего попечителя Дерптского университета, на место адмирала Шишкова — министром народного просвещения при начале царствования Николая. Это назначение содействовало успеху проекта Паррота, целью которого была подготовка русских молодых людей, кончивших курс в разных университетах, в Дерптском университете для дальнейших занятий наукой за границей. Бывший же до этого министр просвещения адмирал Шишков всякий прогресс науки мастерски удавливал, он считал, что «обучать грамоте весь народ принесло бы более вреда, нежели пользы». Поэтому проект Паррота был своевременным и прогрессивным явлением. В Дерпте русские кандидаты попадали в распоряжение профессора русского языка Василия Михайловича Перевозщикова, человека самолюбивого, своенравного и крайне обидчивого. Для него неважны были знания кандидатов, для него важно было уважение к нему. Все старались угождать ему, ибо от его характеристики, которую он обязан был дать абсолютно всем после окончания профессорского института, зависело, поедет кандидат для прохождения практики за границу или нет. Мало того, каждый месяц на всех кандидатов Перевозщиков посылал в Петербург донесения, в которых одних хвалил, а других ругал.

В Дерпте Николай Пирогов, начав усиленно заниматься анатомией и хирургией, неожиданно сблизился с профессором хирургии Иваном Филипповичем Мойером. Дом его находился наискосок против дома, где квартировал Пирогов. Мойер был поражен жадностью к знаниям молодого юноши. За всю свою жизнь он не видел на свете студента, который бы по несколько суток кряду проводил в анатомичке, где занимался препарированием и приобретением практических хирургических навыков. Профессор стал приглашать Николая Пирогова к себе домой, и вскоре они

подружились. Мойер немного зачах в Дерпте, то есть стал угасать в желании делать операции, но с появлением Пирогова, а также таких русских медиков, как Иноземцев, Даль и Лингардт, оживился. Особенно возбудил его вновь к хирургии Николай Пирогов. И к удивлению всех профессоров, Мойер, как и в молодые годы, загорелся работой, у него появился научный интерес. Он, как и Пирогов, начал по несколько часов кряду препарировать трупы. Нет, он не набивал, как студенты набивали свою руку, он просто не давал ей забыться.

Мастером Мойер был отменным. Никто лучше его не делал операции. Владея необыкновенной хирургической ловкостью, он проводил операции несуетливо и неспешно. Разрезы тканей делал очень аккуратные, потому что знал анатомию как свои пять пальцев. Он сразу же привлек кандидатов к работе. Оперировал вместе с ними и часто доверял им в ходе операции произвести под его наблюдением то или иное хирургическое вмешательство.

Семейство Мойера состояло из трех членов: самого Мойера, его тещи Екатерины Афанасьевны Протасовой (урожденной Буниной) и восьмилетней дочери Кати. Жена Мойера умерла рано, и он был вдовцом. В доме Мойера Пирогов познакомился с Василием Андреевичем Жуковским. Поэт был незаконный сын (от пленной турчанки) отца Екатерины Афанасьевны. Воспитываясь в доме Екатерины Афанасьевны, поэт влюбился в свою старшую племянницу, которая вышла замуж за Мойера. С Мойером он был дружен. Один раз, когда Пирогов был у профессора, Жуковский привез манускрипт<sup>[33]</sup> Пушкина «Борис Годунов» и начал страстно и выразительно его читать. Юноша был в восторге от стихов и от мастерского чтения Жуковского. Впервые он видел великого поэта близко. Когда тот прочел: «и мальчики кровавые в глазах», у Пирогова пробежала дрожь по спине.

— Василий Андреевич, как вы здорово читаете! — воскликнул восхищенный Пирогов.

— Это не я, это Пушкин во всем виноват... — ответил Жуковский. — Поэма «Борис Годунов» одна из лучших его поэм...

— А теперь, дорогой Василий Андреевич, прочтите что-нибудь свое... — попросила Жуковского Екатерина Афанасьевна.

— С удовольствием... — ответил тот. И в тот же миг лицо его изменилось, из нежного стало строгим и мужественным. И он начал читать стихотворение «Вождю победителей», посвященное М. И. Кутузову и написанное после сражения под Красным. Это стихотворение часто читали студенты 10-й комнаты. Но, чтобы услышать его из уст автора, Пирогов

даже не мог себе этого представить. Голос Жуковского решителен. Слова полны патриотизма и любви к Родине.

*О, возждь славян, дерзнут ли робки струны  
Тебе хвалу в сей славный час бряцать?  
Везде гремят отмщения перуны,  
И мчится враг, стыдом покрытый, вспять,  
И с россом мир тебе рукоплескает...  
Кто пенью струн средь плесков сих внимает?  
Но как молчать? Я сердцем славянин!*

После чтения стихотворения Жуковский спросил Николая:

— Скучаете по Москве?..

— Очень... — ответил он.

— Ничего, мы ему здесь скучать не дадим... — вступил в разговор Мойер. — Так загрузим операциями, что и передохнуть ему будет некогда...

Жуковский вздрогнул. С беспокойством посмотрев на Мойера, а затем на Николая, произнес:

— Очень мало среди медиков русских... А так хотелось бы иметь свою, родную, российскую величину...

Пирогов молча поклонился ему, выказывая тем самым согласие с его словами.

После адского, изматывающего труда в анатомичках и операционных молодой юноша нуждался в духовной пище. Она просто была ему необходима.

За всю историю существования Дерптского университета еще не было фанатика-медика, жаждущего так много оперировать и анатомировать.

— Дорвался парень... — говорили в университете о Пирогове. — Словно с того света свалился...

Пирогов работал не покладая рук. После общего вскрытия трупа сразу же приступал к выделению обозначенных ранее сосудов и крупных магистральных нервных стволов. А сколько пришлось переделать опытов по перевязке артерий на собаках и телятах. На покупку и содержание животных он тратил последние деньги и к концу месяца, перед получением жалованья, оставался не то что без хлеба, но и без чая и сахара. Чай ему заменял отвар ромашки, мяты и шалфея.

«В воспоминаниях сохранилось у меня, — писал Пирогов, —

несмотря на протекшие уже с тех пор 50 с лишком лет, с каким рвением и юношеским пылом принялся я за мою науку; не находя много занятий в маленькой клинике, я почти всецело отдался изучению хирургической анатомии и производству операций над трупами и живыми животными. Я был в то время безжалостен к страданиям. Однажды, я помню, это равнодушие мое к мукам животных при вивисекциях поразило меня самого так, что я, с ножом в руках, обратившись к ассистировавшему мне товарищу, невольно воскликнул:

— Ведь так, пожалуй, легко зарезать и человека!»

После таких физических перенапряжений пребывание Пирогова в семье Мойера действовало освежающе. Да и сам Мойер, замечая за учеником чрезмерную фанатичность, старался отвлечь его. Ведь Пирогов в Дерпте был, кроме всего, одинок и все так же беден. Особенно нравилось ему в семье Мойеров слушать музыку. Известный хирург был разносторонним и талантливым человеком. Прекрасно играл на фортепьяно. А при исполнении пьес Бетховена превосходил в игре профессионалов. С большим наслаждением слушал Пирогов его игру. Высокий ростом, с крупными чертами лица, Мойер был статен и солиден. Среди учеников пользовался авторитетом. В лечении лекарственные средства не признавал. Только операция могла спасти человека от любой болезни, считал он. И лишь изредка при лечении ран применял припарки. Несколько раз он заступался за Пирогова, когда на него нападал Перевозчиков, посылая доносы о якобы неуважительном отношении к нему как к надсмотрщику и попечителю всех русских кандидатов. Один раз Пирогов, зайдя к Перевозчикову, не скинул с головы шапки. Тому было достаточно это расценить как неуважение к начальству. Мойер послал в Петербург письмо, в котором полностью защитил и поручился за Пирогова.

Уважительно относилась к Пирогову и теща Мойера Екатерина Афанасьевна. Узнав о его прежней нелегкой жизни в Москве, она на несколько месяцев, когда срок найма его квартиры, в которой он до этого квартировал, вышел, пустила его бесплатно жить к себе.

Обучившись анатомическим и хирургическим навыкам, Пирогов по заданию факультета начинает целенаправленно заниматься изучением состояния организма после перевязки артерий. Свою работу он так и назвал: «О перевязке артериальных сосудов». Что происходит при перевязке артерий в организме? Как реагируют ткани? Нарушается ли при этом циркуляция крови? Пирогов разрешает все эти вопросы кропотливым трудом путем экспериментирования на животных и работой над трупами.

Кроме всего прочего, работа должна быть написана на латинском языке с соблюдением правил грамматики. Филологи Крюков и Шкляревский соглашаются помочь Пирогову в отделке красоты латинского слога.

Перевязывал сосуды Пирогов лигатурой, которую он сплетал из четырех прочных шелковых нитей. Перевязав сосуд, он внимательно наблюдает за функцией коллатерального, то есть побочного кровообращения. Перед этим надо умело, не повредив его, выделить сосуд. Сделать это одному Пирогову трудно, поэтому на помощь он всегда брал студента-медика Георгия Шульца, который любил с интересом наблюдать за опытами Пирогова. Иногда перевязка не получалась, срывалась или обрывалась лигатура. Кровь хлестала фонтаном, обдавая руки и лицо.

— Николай, сдавливай сосуд пальцем... — кричит Георгий.

Пирогов передавливает раненый сосуд и, когда кровотечение останавливается, вновь его перевязывает.

— Лигатура подвела... — вздыхает он.

За окном ночь. Но спать не хочется.

Сосуд перевязан, и теперь кровь должна идти к тканям по сопутствующим тоненьким веточкам, так называемым коллатералям<sup>[34]</sup>. Чтобы подготовить коллатерали к превышающему в несколько раз прежнему напору крови и объему, возникает вопрос: как лучше перевязывать сосуд, медленно или внезапно?

Один за другим следуют вопросы. С большими трудностями сталкивается Пирогов, выделяя сосуды из окружающих тканей. Опыт следует за опытом. Перевязка за перевязкой. При перевязке большого артериального ствола напряжение стенок от напора крови выше перевязки бывает так велико, что кажется, сосуд вот-вот лопнет или разорвется. При перевязке сосудов, окруженных воспаленными тканями, у Пирогова возникает очень много сложностей и недоразумений. Проводя практические эксперименты, он одновременно изучает все труды о перевязке сосудов. Большое влияние на него оказывают работы выдающегося английского анатома и хирурга Эстли Купера, который первым в мире произвел перевязку общей сонной артерии.

Наконец все эксперименты и опыты закончены, и Пирогов, описав на пятидесяти листах все свои замечания и предложения о перевязке артерий, дополняет работу красочными рисунками, выполненными с натуры, и представляет ее профессорскому совету. Научную работу писал не только он. Одновременно работало несколько студентов, хотя темы были разные. Но происходит чудо. Решением факультета в 1829 году работа Пирогова удостоивается золотой медали. О молодом студенте начинают говорить

студенты и профессора. Мойер рад без ума. В знак поощрения за грамотно выполненную работу декан освобождает Пирогова от некоторых лекций. Теперь у него будет больше времени для анатомирования и изучения хирургии. Хотя и раньше, уставая от работы в анатомичке или в операционном зале, он пропускал лекции по другим предметам.

«Но меня смущало то, — писал Пирогов, — что, слушая лекции, я неминуемо краду время от занятий моим специальным предметом, который как ни специален, а все-таки включает в себе, по крайней мере, три науки. А сверх того, я действительно тяготился слушанием лекций, и это неумение слушать лекции у меня осталось на целую жизнь. Посвятив себя одиночным занятиям в анатомическом театре, в клинике и у себя на дому, я действительно отвык от лекций, приходя на них, дремал или засыпал и терял нить; демонстративных лекций в то время на медицинском факультете, за исключением хирургических и анатомических, вовсе не было; ни физиологические, ни патологические лекции не читались демонстративно. Зачем же, думал я, тратить время в дремоте и сне на лекциях? Наконец я дошел до такого абсурда, что объявил Мойеру о моем решении не держать окончательного экзамена, то есть экзамена на докторскую степень, так как в то время от профессоров не требовали еще докторского диплома; а если понадобится, думал я, так дадут и без экзамена дельному человеку».

Узнав об этом, Мойер вызвал к себе Пирогова.

— Что вы делаете? — сказал он. — Вы так помешались на своей анатомичке, что перестали признавать институтские законы. Порядок есть порядок, и вы обязаны его соблюдать. И учтите, я не прошу вас, а я приказываю вам сдавать экзамен...

— Иван Филиппович, я работаю над докторской... — начал оправдываться Пирогов. — Тему вы прекрасно знаете: перевязка брюшной аорты при аневризме паховой области. Время рассчитано по минутам... А докторский экзамен, мало того, что отберет время, но может выбить меня из колеи...

— Я думаю, что готовиться вам к экзамену особо не придется... — сказал Мойер. — Хирургию, анатомию и физиологию вы прекрасно знаете...

— Иван Филиппович, поймите, у меня сейчас вся голова забита перевязкой брюшной аорты...

— А у меня чем забита?... — вспыхнул Мойер. — Ишь какой ловкий. Не один ты думаешь, все думают, весь свет думает... Я тоже не сплю ночами после своих операций. Хожу как шальной из угла в угол...

— Простите... — попытался извиниться Пирогов, поняв наконец, что оп погорячился.

— Бог простит... — строго произнес тот. — Тебя университет наградил золотой медалью за научную работу, соблаговолил, так сказать, выразить уважение и внимание. А ты, чтобы отблагодарить профессоров, отказываешься от экзамена ради брюшной аорты. Смешно, очень смешно получается. Выходит, и работа у тебя есть, и медаль, а докторского диплома нет. Если в Петербурге об этом узнают, смеху не оберутся...

И, чуть притихнув, Мойер добавил:

— Я уважал тебя и продолжаю уважать. Так что не волнуйся и спокойно сдавай экзамен.

Мойер убедил Пирогова. И тот пошел и сдал экзамен, получив докторский диплом.

После первого года учебы, в 1828 году, неожиданно началась турецкая война. Некоторых кандидатов, более или менее смыслящих в военном деле, послали на войну. Среди них был и бывший офицер флота Владимир Иванович Даль, с которым Пирогов подружился. Даль также осваивал хирургию и порой удивлял Пирогова быстротою оперирования. А в свободные минуты он писал сказки. Да какие сказки! Когда он начинал их читать, собиралась такая масса народа, что нельзя было протолкнуться. Даль поражал всех своею простотой. Он хорошо знал природу и жизнь народа. Когда он начинал петь русские песни, что делал очень мастерски, затихали даже немецкие студенты. Его голос звучал торжественно и проникновенно.

— Николай, подмоги... — часто просил Даль Николая.

И вот уже два голоса дружно поют:

*Молодой солдат на часах стоит,  
Стоючись, солдат да расплакался,  
Кинул ружье солдат во сыру землю:  
Ты раздвинься, раздвинься, мать — сыра земля...*

Особое духовное родство чувствовал Пирогов к Далю. Необыкновенная любовь к русской истории и народу объединяла и сплавивала их. Пирогов и познакомился с Далем благодаря русской песне.

«Первое наше знакомство с Далем было довольно оригинально, — вспоминал он. — Однажды, вскоре после нашего приезда в Дерпт, мы слышим у нашего окна с улицы какие-то странные, но не незнакомые

звуки; русская песнь на каком-то инструменте. Смотрим — стоит студент в вицмундире<sup>[35]</sup>, всунул он голову чрез открытое окно в комнату, держит что-то во рту и играет: «Здравствуй, милая, хорошая моя», не обращая на нас, пришедших в комнату из любопытства, никакого внимания. Инструмент, оказывается, органчик (губной), а виртуоз В. И. Даль; он действительно играл отлично на органчике».

С собой Даль носил тетрадку, в которую записывал прибаутки, пословицы и частушки. А сколько он без записи знал всяких легенд и сказов, стоило его только завести, сказать, например:

— Иван, а ты знаешь, например, былину, как Василий Буслаев молиться ездил?

— А как же... — спокойно отвечал он и начинал наизусть читать целые куски из нее.

Перед отъездом на войну Пирогов с Далем обнялись и по русскому обычаю троекратно расцеловались.

— Просвещайся, Николай... — сказал тихо Даль и смахнул с глаз слезу. — А я поеду, долг велит. Кто-то же должен защищать Россию.

Чувствовалось, что он тоже был полон желания учиться дальше. Но вида не показывал. В повозку сел с улыбкой и радостью.

В Дерпте Пирогов познакомился с поэтом Николаем Языковым. Стихи и песни его знал весь университет. Написанное им в Дерпте стихотворение «Из страны, страны далекой» стало гимном русских кандидатов, а затем, переведенное на другие языки, гимном всего студенчества Дерпта. Вначале оно распевалось вольно, затем к нему написал музыку композитор Алябьев. И после этого песня, зазвучав еще сильнее, получила всенародную известность. Лучше русских кандидатов ее никто не пел. Вот ее слова.

*Из страны, страны далекой,  
С Волги-матушки широкой,  
Ради славного труда,  
Ради вольности веселой  
Собралися мы сюда.  
Вспомним горы, вспомним доли,  
Наши храмы, наши селы,  
И в стране, стране чужой  
Мы пируем пир веселый  
И за родину мы пьем.  
Пьем с надеждою чудесной  
Из бокалов полновесных.*



*Первый тост за наш народ,  
Первый тост за наш народ,  
За святой девиз вперед.  
Вперед, вперед, вперед,  
Вперед, вперед!*

— Не забывай Москву, люби Москву... — часто говорил Языков^ Пирогову. — Там русский дух! Там Русью пахнет!

Языков был другом абсолютно всех. Ни одна студенческая попойка не обходилась без него.

Видя, как усиливается дружба Пирогова с Языковым, один из студентов-харьковцев Иноземцев доложил Мойеру, что Пирогов начал пить водку. Как раз в это время Пирогов простудился и заболел. Зайдя проведать его, Мойер сразу же заявил ему:

— Я никогда не мог подумать, что вы портите себя питьем водки... — и обиженно добавил: — Какой позор! Я так на вас надеялся...

— Я водку не пил... — начал возражать ему Пирогов. — Я простудился в анатомичке, третий день кряду не топят.

Мойер внимательно посмотрел на него и с прежним возмущением добавил:

— Это вы сейчас не пили, а перед простудой приняли...

— Кто вам донес на меня?.. — вспыхнул Пирогов.

— Это не имеет значения... — оборвал его Мойер. — Вы собираетесь стать хирургом. И разум у вас должен быть всегда чистым, ясным. А руки цепкими и ни в коем случае не дрожать...

— Иван Филиппович, вы абсолютно сейчас не правы... — начал доказывать Пирогов. — Я и сейчас трезв и до этого был трезв. И, руки у меня, как видите, не дрожат... — Пирогов вытянул вперед руки. — Смотрите... Ну, что же вы молчите, Иван Филиппович?

— Я не молчу... — замешкался Мойер. — Просто, уважая вас, решил предупредить, что это зелье ни в коем случае нельзя употреблять...

И, пожелав скорейшего выздоровления, Мойер вежливо поклонился и вышел.

Выздоровев, Пирогов через Екатерину Афанасьевну узнал, что на него наклеветал Иноземцев. Для чего он это сделал, Пирогов так и не понял. Может, завидовал ему. Ведь Иноземцев тоже занимался хирургией, и неплохо. Еще до Дерпта, обучаясь в Харьковском университете, показал большие способности, самостоятельно произведя на III курсе

ампутацию<sup>[36]</sup> голени. А может, Иноземцев добра желал. Видя, как спиваются порой студенты, он в качестве профилактического предупреждения дал знать Мойеру. А тот, недолго думая, дал разгон Пирогову, пристращав его тряской рук.

Мойер учил Пирогова хирургии. А осваивать анатомию помогал ему доктор Вахтер, австриец по происхождению. Он был фанатик своего предмета и всегда преподавал анатомию весело и с юмором. В анатомическом театре он работал всегда без помощников, так как считал, что они при чтении лекции будут ему только мешать. Заметив интерес Пирогова к анатомии, он начал объяснять ему сложности препарирования тех или иных частей человеческого тела, при этом ведя объяснение только на латинском языке.

— Анатом без латинского языка не анатом!.. — говорил он.

Пирогову не страшен был латинский, он его знал превосходно.

Подружившись с доктором Вахтером, он перенимает его навыки анатомирования трупов, познает секреты скорейшего доступа к различным органам человеческого организма. Пирогов делается постоянным его ассистентом. Кроме всего, доктор Вахтер был не только анатомом, но и врачом-практиком, и лечил в основном простых ремесленников, рабочих, бедных и нищих. Часто с ним на вызовы выезжал и Пирогов. Вахтер был очень внимателен и ласков с больными и в своем лечении пропагандировал отвары трав. Самым любимым средством, которое он назначал при простудах и заболеваниях желудка, был ромашковый чай. Если у больного не было отвара ромашки, то он привозил его с собой.

— Пейте ромашковый чай, станет лучше! — говорил он и советовал Пирогову почаще назначать больным ромашковый чай.

— Это великая трава... — добавлял он. — Сила в ней таится необыкновенная. Вроде и внешне она невзрачна, а спас я ею больных более сотни.

Вахтер поражал Пирогова своей начитанностью, культурой и тактом. Читал лекции громко и внятно, обложив при этом свой стол массой препаратов.

«Но пусть верят или не верят мне, — вспоминал Пирогов, — а я полагаю, что он, Вахтер, принес мне своими анатомическими демонстрациями пользы не менее знаменитого Лодера. Немало из слышанных мной в немецких и французских университетах частных лекций не принесли мне столько пользы, как учеба у Вахтера в первый же семестр моего пребывания в Дерпте. Вахтер прочел мне одному только вкратце весь курс анатомии на свежих трупах и спиртовых препаратах. С

тех пор мы и стали приятелями».

Основой хирургии является анатомия. Поэтому не зря Пирогов во время учебы в Дерпте уделяет ей так много внимания. Из местных студентов ему был близок Карл Липгардт, увлекающийся одновременно математикой и анатомией. Иногда, когда занятия заканчивались, они вдвоем приходили в анатомический театр и, пользуясь новым самым лучшим анатомическим атласом, который был в то время лишь у Карла, быстро и без всякого труда выделяли сосуды. Они соревновались друг с другом в знаниях. Каждый старался подловить другого на незнании какой-нибудь детали. А сколько они друг другу задавали вопросов! Сын богатого лифляндского помещика, Карл Липгардт имел огромную и очень богатую библиотеку. В ней были книги и по медицине и по искусству. Пирогов не раз брал самые последние новинки из этой библиотеки. Педантичность и скрупулезность Липгардта в изучении наук, помноженная на необыкновенную жадность и страсть, заражали Пирогова. Талантливый Липгардт поражал всех многосторонностью знаний и кругозором, оставаясь при этом очень скромным и вежливым человеком.

«Я остановился в моем дневнике на Липгардте в особенности потому, — писал Пирогов, — что из знакомых мне людей Карл Липгардт всех более доказал мне, как различны между собой две способности человеческого духа: емкость ума и его производительность (возможность и производительность), от первой зависит способность приобретать самые разносторонние сведения, от второй — способность извлекать из приобретенных сведений нечто свое самодельное несамостоятельное».

Таких товарищей у Пирогова было мало. Студенческая жизнь, как и обычно, весела и беззаботна. Не все студенты стремились к профессорскому званию, многие учились просто так, для себя. Как говорится, «не выгоняют и ладно». И если русские студенты хоть как-то старались осваивать науки, то немецкие студенты, по целым годам не беря в руки книги, кутили и веселились. Случались и драки. А иногда дело кончалось и смертями, особенно на дуэлях, где применялись шпаги и пистолеты.

В сложной студенческой жизни Пирогов сумел сохранить себя и посвятить науке. А ведь многие русские кандидаты, порой с трудом добивавшиеся поездки в Дерпт и вначале как будто показывающие хорошие успехи в учебе, неожиданно выходили из колеи.

«За исключением нас, присланных в Дерпт, уже по окончании курса в русских университетах, и двух или трех других русских, всем прочим пребывание в Дерпте не пошло впрок. Карамзины и Соллогуб едва ли

вынесли что-нибудь из дерптской научной жизни, кроме знакомства с разными студенческими обычаями; другие, как, например, Языков, воспитанники из учреждений императрицы Марии и приезжие из Москвы и Петербурга полурусские и полунемцы, просто спивались в кругу и уезжали чрез несколько лет в весьма плохом виде; только двое из них, Федоров Василий Федорович и Кантемиров, вышли было в люди, но ненадолго. Федоров, весьма дельный астроном-наблюдатель, сделал экспедицию с Парротом на Арарат, потом в Сибирь, потом сделался профессором астрономии в Киеве и ректором университета, но не оставил привычки попивать и скоро умер, еще далеко не старый; Кантемиров вышел доктором медицины, был за границей, но, до крайности бескровный и худосочный, также скоро умер еще в молодых летах».

Пирогову вообще не хотелось думать об отдыхе. Увлеченность будущей профессией захватывала. После успешно выполненной университетской работы в 1829 году Пирогов приступает к работе над докторской диссертацией по теме «Перевязка брюшной аорты». Первым долгом Пирогова заинтересовал вопрос о влиянии, перевязки на весь организм. Перевязку брюшной; аорты и раньше пытались производить при аневризмах<sup>[37]</sup> артерий паховой области, однако она приводила к смертельным исходам. Первым ученым, перевязавшим брюшную аорту в 1817 году, был выдающийся английский анатом и хирург Эстли Купер. После перевязки причину смерти своего больного он считал в резком нарушении кровообращения в нижних конечностях. Изучив все его труды и заинтересовавшись, а как весь организм реагирует и что происходит в нем после перевязки брюшной аорты, Пирогов приступает к опытам над животными. Для опытов выбирает телят, собак и кошек. Покупает их на свои деньги. Нелегко даются опыты. Много не получается. Особенно часто из-за увеличения напора крови рвались при перевязке шелковые нити. Постепенно он увеличивает их толщину до четырех. А сколько им было проведено бессонных ночей! Ведь как только он сделал опыт, то есть перевязку аорты, нужно оставаться рядом с животным и наблюдать, что с ним происходит, как он реагирует, как изменяется цвет конечностей, когда появляется и исчезает пульсация. Но и этого мало. Надо было дожидаться смерти животного и тут же приступить к его вскрытию, чтобы сразу же изучить послеперевязочные изменения в органах и тканях. Выяснить причину смерти. И притом; вскрытие надо делать не части органов, а всего организма. Силы для такой работы требовались немалые. Чтобы полностью проследить за ходом всего эксперимента, Пирогову приходилось не спать по двое, а то и трое суток. Для докторской диссертации одного-двух опытов

мало. Только скрупулезное и тщательное наблюдение на десятках и сотнях опытов может что-то дать. Да мало заметить изменения, надо еще их и объяснить. Доказать и обосновать свою точку зрения.

Замечая, как мучается Пирогов, Мойер вздыхал: «Зря я ему тему такую предложил. Надо было посоветовать что-нибудь полегче». Но в то же время где-то в душе рад был, что юноша работает с необыкновенным азартом. Студенты, видя, как истощал и исхудал от нервного напряжения и недосыпа Пирогов, говорили друг другу:

— Пропади она пропадом, эта наука... Здоровье важнее. Да и всего не откроешь...

А если вдруг видели, как медленно поднимался из подвала анатомички уставший Пирогов, вздыхали:

— Возился бы он лучше с лягушками, чем с телятами и собаками...

Однако ни о каких лягушках не могло быть и речи. Организм подопытных животных по теме диссертации должен был приближен к человеческому. Его предшественник Эстли Купер делал перевязку брюшной аорты только на собаках, но Пирогов увеличивает число различных животных. Условия, в которых проводил он опыты, были не из лучших. Ни о каком эфирном наркозе не могло быть и речи, он не был еще открыт. Операции выполнялись без всякого обезболивания, боль считалась неизбежным спутником любого хирургического вмешательства.

В подвале при сумрачном свете фонарей Пирогов привязывал веревками к деревянному столу теленка или собаку и приступал к очередному опыту. Помочь было некому, в основном приходилось работать одному. Иногда, правда, заходил эстонец Георгий Шульц, чтобы дать тот или иной совет или помочь поддержать телка или собаку при производстве первого разреза. Давал советы и Мойер. Видя, как мучается Пирогов, он говорил:

— В этом деле самое главное — терпение. Начатое всегда старайся закончить.

Когда намордник с собаки слетал, в анатомичке поднимался страшный вой. Прооперированные собаки бывают очень злы. Пирогову от них доставалось. Извиваясь и изгибаясь под фиксирующими веревками, они все же умудрялись укусить. А один раз теленок ударил его в живот, и Пирогов чудом удержался на ногах. Были у него и такие минуты, когда хотелось все бросить. Однако жажда докопаться до истины все же преобладала над кратковременной растерянностью. «Я обязательно объясню все моменты перевязки аорты», — преодолевая усталость, говорил сам себе Пирогов и продолжал делать опыты.

Вот он, обнажив у теленка брюшную аорту, подводит под нее шелковую нитку и постепенно ее затягивает, пока не прекращается пульсация в нижних от аорты<sup>[38]</sup> артериях. После этого зашивает рану и приступает к наблюдению за животным, одновременно производя запись в журнале. Описывает все подробно, стараясь не упустить малейшей детали.

«Вскоре после операции теленок лежал на земле; однако спустя некоторый промежуток времени поднялся, затем упал на задние конечности и стал волочить их за собой; температура этих конечностей оставалась почти такой же, как и температура передних конечностей. Вечером — те же симптомы; стул — один раз. Пищи теленок не принял. Утром следующего дня теленок мычал; а затем с понурым видом лежал в изнеможении на земле, как бы в оцепенении. Пульс едва ощутим, как бы волнообразен; дыхание — затрудненное, совершается преимущественно за счет брюшных мышц. Морда и полость рта — холодные. Сонные артерии не пульсируют. Вечером того же дня (спустя 19 часов после операции) животное погибло. Смерть наступила в состоянии резкого беспокойства. Трупное окоченение. При вскрытии я отметил следующее: 1) Венозные стволы подкожного слоя инъецированы<sup>[39]</sup> кровью. В грудной полости; 2) Излившаяся кровянистая жидкость; 3) Диафрагма несколько подтянута кверху».

Зафиксировав каждое чуть заметное изменение в организме, он на следующий день приступает к новому опыту. Записи в журнале открываются следующими наблюдениями: «У собаки я подвел лигатуру<sup>[40]</sup> под брюшную аорту... Обнажил у теленка обе бедренные артерии... Перевязал брюшную аорту у собаки средней величины... У довольно большой собаки перевязал аорту, не повредив брюшины... Перевязал аорту у кошки... У двухмесячной собаки наложил лигатуру».

Постепенно после сделанных опытов Пирогов замечает, что, кроме нарушения кровообращения, в нижних конечностях у животных после перевязки брюшной аорты происходит значительный прилив крови к сердцу, нарушение дыхания и скопление крови в венозной системе. При этом отмечается усиленный прилив крови к мозгу и понижение аппетита. Проанализировав собранный материал, Пирогов приходит к выводу, что после перевязки брюшной аорты смерть возникает не от нарушения циркуляции крови в нижних конечностях, а от огромного притока крови к сердцу и легким. В ходе этого он также доказывает несостоятельность внезапной перевязки аорты и рекомендует сужать аорту постепенно. Объяснив изменения в органах и тканях на патологоанатомическом уровне, Пирогов заключает, что разные животные реагируют на перевязку по-

разному.

Назвав диссертационную работу «Является ли перевязка брюшной аорты при аневризме паховой области легко выполнимым и безопасным вмешательством?», Пирогов 31 августа 1832 года выносит ее на заседание Совета профессоров Дерптского университета и успешно защищает ее. В самом начале своей диссертации на титульном листе приводит в качестве эпиграфа слова выдающегося французского физиолога и фармаколога Мажанди, одним из первых разработавших технику выделения сосудов. Пирогов солидарен с Мажанди в том, что в науке не может быть места догадке или выдумке. Прогресс науки построен только на открытиях, на практических изысканиях. Другого пути нет. Вот как говорит об этом Мажанди:

«...В науках высказывать мнение, верить — то же, что не знать. И в самом деле, что в сущности выражают словами: я верю, я думаю, мое мнение таково, что данное явление происходит таким образом? Это означает только: я подозреваю, я полагаю, что явление имеет такого рода происхождение. А когда подозревают, когда строят догадки, то не знают. Можно было бы сказать с достаточной точностью: ты веришь, значит — ты не знаешь. Всякий раз, когда автор приводит свое мнение, свою манеру наблюдать явления природы, он выдает подлинное свидетельство своего незнания; это все равно, как если бы он сказал: я не знаю того явления, о котором хочу вам сказать, но вот мои предположения о его причине. Если быть твердо убежденным в этой истине, то можно избежать утомительных изысканий, направленных к выяснению того, что думали те или иные авторы по тем или иным вопросам. Наука составляется не из того, что думали люди, а из того, что они открыли, то есть из того, что есть...»

Только путем глубочайшего и тончайшего практического исследования: можно добиться успеха в науке. Для этого нужны сила воли, настойчивость и необыкновенное трудолюбие. Пирогов понимает и уясняет это сразу же после первого своего научного труда. Наука не мед и не сладость. Наука адский труд.

Написанная на латинском языке диссертация была переведена на немецкий язык. После получения звания доктора медицины в план подготовки будущих профессоров входило обязательное посещение зарубежных университетов. Но срок пребывания в Дерпте Пирогову, как и всем другим русским кандидатам, неожиданно продлили. Из-за вспыхнувших польской и французской революций Николай I воздержался от посылки докторов в Западную Европу.

Вслед за польской революцией в 1831 году в России началась страшная эпидемия холеры. Постепенно она добралась и до Дерпта. Неожиданно заболевает русский студент Шрамков из Харькова. Как лечить холеру, в то время никто не знал. Почти весь медицинский факультет боролся за жизнь студента. Заставляли его пить отвары трав и прочие очищающие желудок жидкости. Его тело непрерывно растирали и грели. Но болезнь не отступала. Вначале больной пожелтел. А потом вдруг после сильного озноба ночью на глазах Пирогова и многих студентов умер. Всем было жаль товарища, с которым учились несколько лет и который собирался стать фармацевтом.

После смерти студента холера вначале появилась в инвалидном лазарете, а затем перекинулась и на весь город. Количество умерших больных начало возрастать. Рискую заразиться страшным заболеванием, Пирогов, стараясь познать причины болезни, после занятий начинает посещать инвалидный лазарет, где почти ежедневно вскрывает холерные трупы. Вскоре холера прекратилась, и из-за малого количества трупов Пирогов так и не смог разобраться в болезни. Один раз на вскрытие зашли французские врачи. Они были очень изумлены тем, как мастерски производил вскрытие Пирогов.

— Первый раз видим, чтобы русский мог так отлично анатомировать!.. — воскликнули они. — Неужели и они могут?

— А почему бы и нет... — сказал им Мойер, находящийся в это время в анатомическом зале.

Впоследствии, вспоминая об этом случае, Пирогов писал: «Желая отличиться и похвастаться пред иностранцами, принялся препарировать узлы сочувственного нерва, солнечное сплетение и т. п. Французы не ожидали, что русский в состоянии будет легко и скоро обнаружить пред ними для исследования почти все главные узлы груди и живота. Они выразили мне свое удовольствие тем, что начали приглашать в Париж».

После защиты докторской диссертации Пирогов много времени отдает оперированию в клиниках. Операции производит самые разнообразнейшие, начиная от удаления аневризм и кончая операциями на опухолях. Мойер почти всегда рядом с ним. При сложных операциях ассистируя ему, Пирогов старается перенять его навыки. Профессор стремится обучить своего ученика не только технике производства операций, но и неторопливости и рассудительности при выборе окончательного вмешательства. Почти все молодые хирурги жаждут сделать как можно больше операций. Порой они гонятся не за качеством, а за количеством. Заметив и у Пирогова эту хирургическую жилку начинающих, Мойер после



окончания одной из операций пригласил его к себе в ординаторскую и рассказал следующий случай.

— Один раз, когда я приехал в Вену от доктора Скарна из Италии... — начал неторопливо Мойер, — знаменитый хирург Руст показал мне в госпитале больного с небольшой опухолью под коленом и спросил: «А что бы в таком случае сделал твой друг итальянец Скарп?» Я внимательно осмотрел опухоль и сказал, что Скарп, наверное, предложил бы ампутацию. Присутствующие вместе с нами ассистенты и помощники засмеялись и начали уговаривать Руста вырезать опухоль в знак доказательства неправоты Скарпа, а заодно и моей, прямо тут же на моих глазах. Руст, поддавшись влиянию своих помощников и не подумав как следует, принялся за выделение опухоли. Поначалу операция шла удачно, но затем вдруг при дальнейшем разъединении тканей оказалось, что опухоль крепко срослась с костью. Попробовал Руст ее тронуть скальпелем, а кровь из нее фонтаном как хлынет. Ассистенты, испугавшись, схватились за головы и бегом из операционной. Я один помогал Русту перевязывать артерии, но кровь остановить не удавалось, костная опухоль, неудачно затронутая, кровила не только из сосудов, но из всей своей поверхности. Больной стал кричать, задыхаться. От сильной кровопотери у него начал развиваться шок. И тогда Руст взволнованно сказал мне: «Этих подлецов мне не надо было бы слушать. Они первые же и разбежались, а вы отсоветовали мне и все-таки меня в беде не оставили, я этого никогда не забуду...»

Его добрые слова придали мне силы. Да и он сам вдруг стал пошевеливаться. С трудом мы остановили кровотечение, и больной, пролежав в госпитале более месяца, был все же спасен. К чему я все это говорю вам... — Мойер снял с головы шапочку, и строгие до этого его голубые глаза стали добрыми. — Запомните, мой дорогой, главный закон хирургии — никогда никого не надо слушать и никогда не спешить. Перед вами не животное, а больной человек. Вы ответственны за его жизнь. Так зачем же и ради чего своим поспешным и неоправданным поступком убивать его? Это великий грех. И если в дальнейшем вы почувствуете, что не можете унять в себе эту прыть-торопливость, то лучше бросьте хирургию и уйдите в анатомию или в крайнем случае в терапию.

Совет Мойера подействовал на Пирогова. Он перестал спешить и гоняться за числом операций. «Если бы не Мойер, кто бы мне подсказал?..» — часто думал он. Но как впоследствии заметил он, этот случай с Рустом сильно повлиял и на Мойера. Из всех операций он больше всего избегал удаления опухолей и обычно поручал это делать другим профессорам или

же, если опухоль была небольшой, Пирогову или Иноземцеву. Последний также защитил диссертацию, но на год позже Пирогова, в 1833 году.

Когда они ассистировали Мойеру вдвоем, Иноземцев, ссылаясь на то, что знаменитый московский хирург Венедиктов всегда перед операцией крестился и клал земные поклоны, советовал и учителю делать то же самое, а заодно и ученикам.

— Что же, это не худо... — отвечал Мойер.

И для приличия крестился в угол и совершал земные поклоны. Но затем, вдруг подойдя к операционному столу, задумчиво произносил:

— Эх, братцы, мои братцы, на Бога-то надейтесь, во и сами не плошайте, — и добавлял: — Для хирурга самое последнее дело — это суеверие. Хирург должен верить только себе, больше никому. Да еще своим рукам... — И, отложив в сторону инструмент, с гордостью посмотрев на свои руки, восклицал: — Десять шевелящихся пальцев — это и есть хирургия. Пока они шевелятся, ты Бог, а перестанут — баба...

Иноземцев, восхищенный ответом Мойера, не знал, что и сказать. Молчал и Пирогов. В душе он гордился учителем.

Один раз во время каникул Пирогов вместе со своими товарищами Шиховским и Котельниковым съездили в Ревель (Таллинн), просто так, ради любопытства. Здесь они впервые увидели море и искупались в нем. Но что больше всего запомнилось им в Ревеле? Конечно, люди. Здесь Пирогов познакомился с учителем русского языка Бюргером, бывшим студентом Московского университета. В Ревеле они зашли к стародавнему аптекарю, и тот, узнав, что перед ним медики, начал показывать старинные препараты. Они давно уже не применялись, и пользовались ими лишь в каменном веке. Но зато как интересно было рассматривать меловые узорные таблетки с дырочкой посередине или. кору дуба, запеченную в; воск. Сушеные грибы, пчелиные лапки, все виды животных жиров, чего только не было у старого аптекаря.

— А травы у меня со всего мира... — похвалился аптекарь. — Сорок лет собирал.

И когда он открыл дверцы у старомодного шкафа, то на полочках Пирогов увидел массу самых различных трав и корней, аккуратно уложенных в маленькие коробочки.

— Ни одной нет ненужной, все лекарственные... — улыбнулся старик. Он был добрый. И, кроме аптечного дела, в своей жизни ничего не знал. Своим гостям он прочитал целую лекцию о старинных секретах лечения травами. Кроме лекарственных средств, все столы в его комнатах были заставлены анатомическими препаратами и чучелами животных. Был у

аптекаря даже кусочек от бивня мамонта. Но больше всего Пирогова поразила бутылка с невской водой от петербургского наводнения 1824 года.

— Если что потребуется или какое-нибудь название лекарства призабудете, обращайтесь ко мне; пока жив — помогу... — сказал с улыбкой старик, каждому вручив по самодельному атласу трав. Пальцы у аптекаря были тонкие и теплые.

— И учтите, я никогда денег за лекарство не брал, никогда... — добавил он. — Люди сами чем могли, тем и благодарили.

Жители Ревеля уважали своих врачей и преклонялись перед их нелегким трудом. Ревельские врачи были мастерами своего дела. Пирогова больше всего поразило в них очень чуткое и заботливое отношение к больному. Врачи разговаривали с больным на равных, как близкие ДРУГ другу люди. И это прямо у постели больного возникающее доверие во многом способствовало благоприятному исходу в лечении болезни.

Поразили Пирогова в этом плане ревельские врачи Винклеры, отец и сын. Сын, следуя совету отца, даже в самых нелегких и экстремальных ситуациях никогда не грубил больному. И всегда в кругу врачей он любил произносить следующую фразу: «Спаси одну человеческую жизнь лучше, чем построить семиэтажную пагоду»<sup>[41]</sup>.

Винклер-младший, с которым подружился Пирогов, при лечении той или иной болезни всегда рассуждал сам с собой, не стесняясь присутствия больного. Например, расспросив больного о болезни и осмотрев его как следует, Винклер вслух произносил: «Что же я должен вам прописать?..» И, тут же схватившись за голову, добавлял: «Ага, кажется уловил! Если я вам дам камфару, то, пожалуй, беду наживу, а если пропишу каломель<sup>[42]</sup>, то, может статься, еще и хуже будет. Как вы думаете? А?» — и очень внимательно и настороженно смотрел на больного. Больной, не зная, что ему и ответить, доверчиво молчал. И тогда Винклер продолжал: «Спешить не будем. Подождем-ка лучше, а что, если попробовать вот это средство, старинное: отец очень любил его и велел мне всегда в таких случаях назначать».

Такая доверчивость и откровенность врача нравились больным. Они понимали, что врач к ним относится с душой. Ревельцы любили и уважали Винклера. Он был Честнейший и добрейший врач. Ревель понравился Пирогову чистотой и уютностью. Море по вечерам было красиво. Тихие, едва заметные волны манили за собой. Хотелось уйти в плавание, посмотреть далекие страны и узнать, как там живут люди. Однако больше всего Пирогова поразили ревельские врачи, их особенный, душевный

метод врачевания. Из поездки в Ревель он понял, что врачевание есть высокое искусство, где роль слова очень высока.

Приехав в Дерпт, он отыскиал в своем столе лекции Матвея Яковлевича Мудрова, которые тот читал в Московском университете, и с жадностью накинулся на них.

«Профессия врача — подвиг, — читает вслух он. — И поэтому не каждый может быть врачом».

Перелистывая страницу за страницей, останавливается вдруг на разделе, где Мудров говорит о способе учить и учиться медицине.

«Не сам ли я лечу болезни перед вашими глазами? — И перед глазами Пирогова предстает Мудров, всегда спокойный и уверенный. — Так, соглашаюсь, я учу лечению болезней по общепринятому образу выражения, а на деле я лечу больных». «Больных...» — повторяет задумчиво Пирогов и продолжает: «Ибо одна и та же болезнь часто высказывается в людях противных сложений, и сии больные врачуются противоположными средствами».

«Каждый больной строго индивидуален... — вспоминает Пирогов слова Мудрова, которые он ему говорил не один раз. — И у каждого болезнь протекает по-разному».

— До чего же мудр Мудров!

«Познание болезни есть половина лечения... — читает он далее. — Врач смотрит на три вещи: первое — на свойство больного, второе — на действие причин болезненных, находящихся в природе; третье — на самую болезнь, и по сим трем отношениям учреждает свои врачебные действия.

В болезнях надобно с корня начинать лечение, то есть с причин, тогда и ветви ее или припадки болезни сами по себе иссохнут и пропадут. Например, камень в пузыре; надобно его вынуть, и болезнь кончилась.

Имеются и «душевные лекарства, которые врачуют тело. Сим искусством сообщается больным та твердость духа, которая побеждает телесные болезни, тоску, метание и которая самые болезни тогда покоряет воле больного».

— Матвей Яковлевич, спасибо тебе! — шепчет Пирогов, и тоска по Москве охватывает его. — Где ты сейчас? И как твои дела, мой дорогой учитель?

Этот вечер, проведенный за чтением лекций Мудрова, показался вдруг Пирогову самым лучшим и самым памятным в его жизни. Поездка в Ревель и слова старого учителя об искусстве врачевания очень сильно подействовали на него. Не в эти ли минуты окончательно сформировался врачебный характер Пирогова. Его душа. Его образ мышления.

«Я должен всегда быть честным в работе! — произносит Пирогов. — Всегда и везде!»

После четырех лет учебы в Дерпте, когда уже не за горами была двухгодичная поездка за границу, Пирогов решается в зимнее время съездить в Москву и проведать мать. Сильно постаревшая и ослабевшая, она постоянно в письмах звала к себе сына. Уж больно долго не приезжал сын. «Учеба учебой, но надо и долг, сынок, знать, — писала она и в конце почти всех писем добавляла: — Очень хочется на тебя посмотреть, какой ты стал».

«Я утешал, обещал в письмах скорое свиданье, — вспоминал Пирогов тот период. — А время все шло да шло. Нельзя сказать, чтобы я писал редко. У матушки долго хранился целый пук моих писем того времени. Денег я не мог посылать, собственно, по совести, мог бы и должен бы был высылать. Квартира и отопление были казенные; стол готовый, платье в Дерпте было недорогое и прочное. Но тут явилась на сцену борьба благодарности и сыновнего долга с любознанием и любовью к науке. Почти все жалованье я расходовал на покупку книг и опыты над животными, а книги, особливо французские, да еще с атласами, стоили недешево; покупка и содержание собак и телят сильно били по карману. Но если, по тогдашнему моему образу мыслей, я обязан был жертвовать всем для науки и знания, а потому и оставлять мою старушку и сестер без материальной помощи, то зато ничего не стоившие мне письма были исполнены юношеского лиризма.

...И вот прошло целых 4 года. Как не повидать мест, где мы «впервые вкусили сладость бытия», и к тому же как не показать и себя, и свое перерожденное и перестроенное на другой лад «я»? Пусть-ка посмотрят на меня мои старые знакомые и родные и подивятся достигнутому мной прогрессу; пусть воочию на мне убедятся, что значит культурная западная сила!»

Для поездки в Москву нужны были деньги. Чтобы собрать их, Пирогов делает из своих вещей студенческую лотерею, куда вошли серебряные часы, «Илиада» Гнедича, самовар, русские и французские книги. В лотерею включалось и угощение чаем. Проведение лотереи оказалось удачным. Пирогов собрал более сотни рублей. Теперь надо было выбрать самый дешевый путь перемещения из Дерпта в Москву. Подворачивается удобный случай. В городе объявляется подводчик<sup>[43]</sup> Московской губернии, привозивший что-то в Лифляндию и отправляющийся обратно порожняком. Пирогов находит подводчика. И они начинают торговаться.

— Лошадей тройка, и все бойкие... — расхваливает подводчик.

— А экипаж? — спрашивает Пирогов.

— Есть кибиточка. Я вас как следует укрою и доставлю, как пить дать, вовремя.

— А цена?..

— Двадцать рублей... — отвечает подводчик. — Куда еще меньше.

— Согласен... — удовлетворенно произносит Пирогов.

— Ну тогда по рукам, — смеется довольно тот. — Тебя как звать?

— Николай.

— А меня Макар.

И вот в пасмурный, морозный декабрьский день в послеобеденное время Пирогов, одетый в нагольный полушубок, прикрытый сверху вывезенной еще из Москвы форменной, серой с красным, университетским воротником, шинелью на вате и в валенках садится в кибитку и выезжает из Дерпта.

Через некоторое время подъехали к покрытому льдом озеру Пейнус. Неожиданно все небо заволкло тучами, и наступила страшная темнота. Чуть-чуть на середине озера, где была самая большая глубина, не въехали в полынью. Макар выругался.

— И как это я мог с дороги сбиться. Ведь-столько раз по ней летал...

— И, оставив Пирогова, побежал искать дорогу. Час проходит, два, а его все нет.

В доме тепло, всю горит камин. Николай в который раз рассказывает матери, как он добирался к ней с Макаром. Голос молодого хирурга звучит звонко. Мать, подперев рукой голову, внимательно слушает. Рядом сестры. То и дело вздыхая, они шепчут: «Как же так!»

— А вот так, — продолжает он. — Остаюсь я, значит, один с лошадьми. Сижу жду... После некоторого времени становится не по себе. Вдали кто-то стреляет. А тут еще вдруг в темноте почти рядом огоньки показались. Ну точь-в-точь волчьи глаза. Лошади заржали, дергаться стали. Я тогда, значит, выскакиваю из кибитки и, крича «Помогите!», начинаю стучать палкой о кибитку что есть мочи. Мороз, как назло, стал крепчать. Чтобы не замерзнуть, я начал вокруг кибитки бегать. А Макара моего даже и не слышно. Неужели, думаю, в прорубь провалился. Наконец, часа через четыре слышу где-то вдали, в стороне, как будто человеческий голос. Я тут же начинаю кричать. Голос приближается. А затем и огоньки, вначале так напугавшие меня, появляются. От страха я вновь начинаю колотить палкой по кибитке. Наконец появляется Макар, весь мокрый и страшно уставший. Сев передо мной на снег, вздыхает: «Ох, не могу». — «Ну что? —

спрашиваю я его. — Дорогу нашел?» — «Да какая тут может быть дорога... — растерянно произносит он. — Тут леший так все накуролесил, что куда ни повернешь, везде ад...» И предлагает мне повернуть немного вбок и по берегу озера добраться до первой попавшейся деревушки. Оказывается, что не зря блукал все это время. Найдя первую попавшуюся деревушку, решили к ней ехать. Если бы он к этому времени не пришел бы, то я бы, наверное, замерз. Мороз, как назло, крепкий был, и с ветром.

— Не дай Бог... — вздохнула мать и перекрестилась. — Лучше бы вам было в темень не ехать, а переждать.

— Да разве все предугадаешь... — соглашается с ней Николай и продолжает: — Поблукали мы около часа. Наконец, доехали до жилья. Стали стучать в какую-то лачугу. Вскоре дверь открылась. Встретили нас косматые, обвязанные лоскутами люди.

— Дикари небось! — вскрикнули сестры.

«Это и были обитатели глухих и отдаленных побережий Пейпуса, — вспоминал Пирогов в «Дневнике старого врача», — финского племени; полагали, однако же, что между ними встречались и выродившиеся наши раскольники, загнанные полицейским преследованием с давнего времени в самые глухие и непроходимые места.

Все занятия этого заглохшего населения заключались в рыболовстве; они питались только рыбой; понимали только то, что касалось до рыбной ловли, и могли говорить только о рыбе и рыболовстве. Язык их, состоявший из ограниченного числа слов, был помесью финского и испорченного русского. Вот к этому-то племени судьба в виде подводчика Макара и занесла меня на несколько часов. Но эти несколько часов до рассвета показались мне вечностью.

На дворе начинало морозить, а в лачуге непривычному человеку невозможно было оставаться: грязь, чад, смрад; какие-то мефитические испарения делали из лачуги отвратительнейший клоак. Я видел и самые невзрачные курные чухонские и русские избы, но это были дворцы в сравнении с тем, что мне пришлось видеть на побережье Пейпуса. Как я провел часа четыре в этой клоаке, я не знаю; помню только, что я беспрестанно ходил из лачуги на двор и дремал, стоя и ходя. Любопытно бы знать, насколько современные веяния изменили жизнь в трущобах того давнего времени?

На другой день, при свете, легко объяснилось наше блуждание по необозримому озеру, на котором зимой, кроме неба и снежной поверхности с огромными трещинами и сугробами, ничего не было видно; только целые стаи ворон с хриплым карканьем носились над прорубями и полыньями,

высматривая себе добычу.

Гораздо труднее было бы объяснить незнакомому с русской натурой, как решился москвитянин Макар переезжать по льду Пейпуса ночью, проехав чрез него, как я узнал потом от самого же Макара, только один раз в жизни, и то в обратном направлении, то есть от Пскова к Дерпту.

Мудрено ли, что мы ночью сбились, когда и днем мой Макар постоянно у каждого встречного спрашивал о дороге в Псков.

Но земляк мой, москвитянин Макар, ознаменовал нашу поездку не одним только геройским переездом чрез Пейпус.

Избегнув неожиданно гибели в полыньях Пейпуса, Макар ухитрился-таки погрузить нас, то есть меня, кибитку и лошадей, в полынью какой-то речонки. Это было на рассвете, кажется, на пятый день моей Одиссеи. Я спал, закутавшись под рогожей кибитки. Вдруг пробуждаюсь, — чувствую, что по шею в воде, Макара нет, кибитка — также в воде, и холодная струя добирается чрез стенки кибитки и к моим ногам.

Не понимая спросонок, что все это значит, я инстинктивно бросаюсь из кибитки вон и попадаю по пояс в воду; в это мгновение являются откуда-то Макар с людьми с берега. Вытаскивают и меня, и кибитку, и лошадей. Пришлось залечь на печь, раздеться донага, вытереться горелкой и сушиться.

Так шло время в путешествии на долгих с Макаром; оно продолжалось чуть не две недели: в эти дни и ночи я насмотрелся на жизнь на постоянных дворах.

Случалось ночевать вместе с подводчиками в том же покое постоялого двора. Всего более удивляла меня необыкновенная емкость желудка этих добрых людей. Ели они напропалую, и еда была на славу. То были рождественские праздники, и на стол подавалась всегда громадная деревянная чаша с жирными, густыми щами из свинины; чаша опростовывалась чуть не залпом, когда принимались черпать из нее 10 или 12 ложек; снова наполнялась, снова опростовывалась; потом являлась не менее жирная свинина, а затем гречневая каша со свиным салом. При этом выпивался штоф<sup>[44]</sup> сивухи, и все общество, 10, 12 и более дюжих подводчиков, вставало из-за стола, молилось на образа и укладывалось спать по лавкам и на печи. Начиналось громкое и неумолкаемое храпенье, и вместе с ним происходила поочередно то там, то здесь, шумная эксплуатация газов, заставлявшая меня невольно просыпаться и громко смеяться. На границах Московской губернии Макар предложил мне заехать на ночлег, вместо постоялого двора, к его отцу, церковному старосте одного придорожного села. Я согласился.



На ночь явились к старосте сельский поп, дьячок и еще пара крестьян. Принесен был штоф сивухи. Пили, ели, болтали и пошли все спать. Рано утром уехали поп и дьячок, а потом и гости-крестьяне. Мы с Макаром тоже снарядились в путь; только вижу, мой Макар что-то суетится и ищет.

— Что пропало?

— Кнут.

— Куда девался?

— Да где ему быть, — вопит Макар, — как не у попа. Уж известно: у попов глаза большие, а кнут был новенький, с иголки, только что в Торжке купил, и то все приберегал.

Так первое подозрение о краже 20-копеечного кнута мужик, да к тому еще сын церковного старосты, свалил на попа, хотя вместе с попом угощались и мужики. Меня, отвыкшего в Дерпте от нравов родины, поразила глубоко эта история с кнутом; я принялся увещевать Макара и наставлять его. Но он остался непреклонен.

— Уж я знаю, не миновал мой кнут поповских рук, — повторял Макар, не соглашаясь ни на какие разглагольствования об уважении к старшим и священнослужителям.

Наконец я в Москве, у Калужских ворот, на квартире матушки, жившей у отставного комиссариатского чиновника, называвшего себя полковником».

И только Николай заканчивает рассказ о том, как он добирался в Москву, как мать тут же говорит ему:

— Молодец, сынок, правильно ты его одергивал. Батюшки люди добрые, они никогда не воруют... Они богу за нас молятся, грехи наши отмаливают...

И, произнеся все это, она, встав из-за стола, крестилась на икону. Вслед за ней крестились и сестры.

— Знала бы я, что Макар тебя так вез, я бы деньги у него обратно отобрала... — тихо сказала она опосля. — Деньги-то взял за извоз. А, оказывается, он не вез тебя, а морил... И чуть было не погубил. Креста на нем, видно, нет.

Мать дает наставление. Пирогов внимательно слушает ее. Как сильно постарела она и осунулась. Видно, смерть отца и последовавшую за этим неожиданную бедность она так и не смогла пережить. Зато как она рада приехавшему сыну. Она говорила с ним и не могла наговориться. Расспрашивала о Дерпте, о людях, о профессоре Мойере. Радовалась успехам сына в науке. И все время наказывала: «Сынок, когда кончится твоя заграникомандировка, обязательно приезжай к нам в Москву. Не

терпится мне увидеть тебя здесь профессором. А чтобы ты не скучал, я тебе к тому времени барышню подготавливаю...»

Мать уважительно и с пониманием относилась к сыну. Она сразу заметила, что он сильно повзрослел. Стал подтянутым и современным. Хотя ей и не очень порой нравилось, если сын, иногда сравнивая в каком-нибудь деле московское с прибалтийским, отдавал предпочтение последнему.

— Москву надо любить, — говорила она. — Ты в ней родился. Да и отец твой, сколько я помню, Москву никогда не ругал.

Житье-бытье матери и сестер было чуть лучше прежнего. Одна из сестер уже работала смотрительницей в женском сиротском доме. Другая давала на дому уроки. Одна из знакомых выхлопотала матери небольшую пенсию. Брат, ранее проигравший в карты занятые у матери деньги, взялся за ум и постепенно, хотя и крохами, но выплачивал долг. Своего дома мать не имела, все так же снимала квартиру. Кроме этого, она держала двух крепостных служанок. Пирогов попросил мать, чтобы она их отпустила на волю. Мать и раньше хотела это сделать, но у нее не было на этих служанок никаких документов на крепость, за что в любой момент можно было попасть под суд. Впоследствии это дело разрешилось само собой. Одна из служанок вышла замуж без всяких документов. А другая, старушка Прасковья Кирилловна, та самая, которая любила рассказывать маленькому Николаю сказки, была с помощью его, теперь уже значительно повзрослевшего, за двадцать пять рублей, которые он дал квартальному надзирателю, отпущена с вновь выданным документом на волю.

Во время своего пребывания в Москве Пирогов мало был дома. В основном делал визиты. Хотелось увидеть прежних преподавателей, товарищей и поделиться с ними своими мыслями, планами и, конечно, рассказать о городе Дерпте и о профессорском университете. К сожалению, Пирогов не застал в Москве Матвея Яковлевича Мудрова. Его уже не было в живых. 7 июля 1831 года, неожиданно заболев холерой, он на следующий день умер. Это горестное известие сильно потрясло Пирогова. Придя в гости к профессору хирургии Альфонскому, ставшему впоследствии ректором и экзаменовавшему его когда-то на лекаря, он сказал:

— Ну почему, почему Матвей Яковлевич не уберег себя?.. Я не могу, вы представляете, не могу себе даже представить, что такой человек умер.

— Я тоже не могу... — вздохнул Альфонский. — Проклятая холера, и откудова она только взялась. Как только появились первые случаи в Петербурге, его сразу же и вызвали. Ему было велено возглавить временные больницы по лечению холерных больных. А он сам ничего не

боялся. Проклятая холера, если бы кто знал, как ее лечить.

Помянув Мудрова добрым словом, они начинают вспоминать учебу в Московском университете. Затем Альфонский начинает расспрашивать Пирогова о Дерпте. Пирогов, отвыкший от нравов Москвы, начинает хвалить Европу и доказывать, что она почти во всем ушла от России намного вперед. Альфонский непрошибаем, всякий прогресс он считает кознями и временным явлением.

— Если бы вы знали, какая в Дерпте необыкновенная обсерватория!.. — с восхищением говорит Пирогов.

— Знаете что... — равнодушно отвечает Альфонский. — Я, признаться, не верю во все эти астрономические забавы. Кто их там разберет, все эти небесные тела!

— Ну а как вы, Аркадий Александрович, относитесь к перевязкам больших артерий? — спрашивает его восторженно Пирогов, надеясь, что тот вдруг даст «добро». Ведь Аркадий Александрович хирург известный и опытный. И хотя нет у него научных трудов, зато славится он удачными операциями, и в особенности искусными литотомиями — операциями по удалению камней. К удивлению Пирогова, он этим его сообщением не восторгается. А говорит:

— Знаете что, я не верю всем этим историям о перевязке подвздошной, наружной сонной или там подключичной артерий. Дела эти все бумажные. А бумага, сами знаете, все стерпит.

— По-вашему, Аркадий Александрович, выходит, — обиженно произнес Пирогов, — что и Астлей Купер и Эбернети, и наш Арендт все лгуны? Почему вам кажутся эти операции невозможными? Я пишу диссертацию о перевязке брюшной аорты и уже несколько раз перевязывал ее у собак, которые после не умирали, а жили.

— Но это же у собак, а не у людей, — оборвал его гордо тот.

А когда Пирогов зашел в гости к своим бывшим соседям по квартире, где собралось несколько офицеров, и слово за слово, постепенно начал описывать слушателям высокое состояние прибалтийской науки, обогнавшей Москву, по крайней мере, на четверть века, то один толстый гарнизонный майор, вежливо перебив его, с необыкновенным восторгом и для себя, и для окружающих, произнес:

— Позвольте заметить, господин Пирогов. Вот я лечился у разных докторов, везде побывал, советовался с разными знаменитостями, но толку не было, а вот у нас, в Москве, мне один старичок посоветовал принять лекарство «Леру». Так я вам скажу, оно меня так прочистило, что все, что во мне за десять лет скопилось, наружу вывело; с тех пор, слава Богу, как

видите, здравствую.

Возражать Пирогову в этом случае было нечего. Старый знакомый отца, помещик Матвеев, радовался абсолютно всем известиям Пирогова о прогрессе науки в Дерпте и даже пожелал туда отправить учиться своего сына. Но как только он закончил говорить с Матвеевым, как к нему тут же обратилась его жена.

— Здравствуйте, господин Пирогов!.. — радостно произнесла она, подав юноше руку. И, отведя его в свою половину, торопливым шепотом начала спрашивать:

— Скажите, вы из Дерпта? Вы говорили с мужем? Видели сына? Неужели вы посоветуете отправить сына в Дерпт? Ведь там студенты все якобинцы. Это ужасно! Он может совсем пропасть.

Раздосадованный Пирогов принялся доказывать помещице, что слухи ее абсолютно неоправданны и все то, о чем она говорит, есть ложь. Но, увы, убедить ее было невозможно.

А когда уже в конце своего пятинедельного пребывания в Москве зашел к профессорше, жене преподавателя Терновского, у которого он раньше целый год слушал лекции по остеологии<sup>[45]</sup> и синдесмологии<sup>[46]</sup>, то она, внимательно и с удовольствием выслушав его, вдруг с необыкновенной гордостью заявила:

— А вы разве не слышали, что мой муж есть известный всей Европе муж? Жаль, очень жаль...

Пирогов после этих ее слов с трудом сдержался, чтобы не рассмеяться. Муж ее, Терновский, был рядовым анатомом и, к сожалению, в Европе ничем не отличился. Единственной заслугой его было то, что он в Москве первым сделал вскрытие холерного трупа.

Здесь же у профессорши Пирогов встретил господина, сидевшего за картами. Это был его дядя по матери, купец Новиков. При жизни отца постоянно посещавший Пироговых, а после смерти его неожиданно забывший о существовании бедствующей семьи. Чтобы избежать заключения в его жирные объятия, Пирогов покинул профессоршу.

«Это был финал моего пребывания в Москве, — вспоминал Пирогов. — Оно убедило меня окончательно в преимуществе и высоте нравственного и научного уровня в Дерпте.

В Дерпте не водятся профессора, считающие астрономические наблюдения пустой забавой; хирургические операции, давно вошедшие в практику, невозможными, всех своих коллег — подлецами; нет и дам, усматривающих в каждом студенте якобинца, а в своих супругах — европейские знаменитости! Пред отъездом из Москвы я старался

уничтожить тягостное впечатление мое, оставшееся в душе от глупых пререканий с матушкой; но только потом, приехав в Дерпт, я просил искренно прощения в письме к матери и сестрам. Назад возвратился из Москвы на почтовых, уже на второй неделе великого поста».

Но, несмотря на все эти «научные» несогласия, Пирогов был очень рад Москве, матери, сестрам и всем знакомым, которых удалось ему увидеть.

«Я обязательно вернусь в Москву! Обязательно!..» — говорил он на прощанье матери.

— Время — птица... — тихо улыбнулась она. — Два года, что два дня... Будем ждать тебя все. Приезжай скорее...

Тройка лошадей, всхрапнув раз-другой, приподняла копытами только что выпавший снег. Присвистнув, ямщик отпустил вожжи. И кони, перейдя с рыси на галоп, дружно понеслись, оставляя позади златоглавую Москву.

В мае 1833 года русским кандидатам, обучающимся в Дерпте, разрешено было для повышения уровня знаний и практических навыков отправиться в двухгодичную заграничную командировку. Медики отправлялись в Берлин, естествоиспытатели — в Вену. Вместе с Пироговым поехали дерптец Самсон фон Гиммельштерн и русский студент Котельников. Учеба за границей была платной. Кандидаты из своего жалованья должны были оплачивать посещение лекций и практических занятий.

«Можно себе представить, — писал Пирогов, — как приятен был мне путь из Дерпта в Ригу. Будущее, розовые надежды, новая жизнь в рассадниках науки и цивилизации, приятное общество двух товарищей, прекрасная весенняя погода — все веселило и радовало молодую душу».

Путь в Берлин, кроме Риги, лежал через Копенгаген и Гамбург.

## ЗА ГРАНИЦЕЙ. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕРПТ

Из Риги в Копенгаген добирались морем, на датском судне. Пирогову, как и всем другим восьми кандидатам, такое путешествие показалось нелегким. Качка, то и дело возникающий шторм дали о себе знать, и на молодых юношей напала морская болезнь.

«На другой день, — вспоминал Пирогов, — все мы лежали в лежку, проклиная тот час, когда решена была эта поездка. Еще день — и еще хуже. Поднимается шторм и страшная качка; кажется, что вот-вот и наше судно развалится, лопнет, разобьется в щепки. Кто-то из нас выполз на палубу и умоляет капитана воротиться назад куда-нибудь к берегу; другие, несмотря на плачевную обстановку, смеются вместе с капитаном над наивным предложением товарища.

...Ужас да и только! Тянется, тянется и нескончаема кажется ночь, а ночью — треск, вой, свист, плеск волн кажутся еще страшнее и зловещей! Целых три дня длилась буря, а потом целый день был штиль<sup>[47]</sup>, и только через неделю мы приехали в Копенгаген».

Пирогов впервые оказался в этом городе. Копенгаген поразил его опрятностью и культурой. Вежливостью и пунктуальностью жителей. Первым долгом Пирогов стремится посетить в городе госпитали и клиники. Местные медики встречают его радушно, разрешают присутствовать на операциях. Лишь в одной клинике хирург, узнав, что он едет учиться к немцам, отказал ему в приеме. Это было связано в большой степени с тем, что большинство датчан почему-то не переносило немцев, считая их конкурентами как в науке, так и в жизни.

— Всех мы готовы принять... — говорили они, — но только не немцев — наших злейших врагов.

А немцы, зная об этом, не любили датчан. Но вот уже Копенгаген позади, и перед взором Гамбург, от которого до Берлина рукой подать. Чтобы выглядеть покультурнее и посолиднее, Пирогов покупает в Гамбурге с десятков фуляров<sup>[48]</sup>, шелковых носовых платков. Мойер и почти все профессора Дерпта в обязательном порядке носили их в своих карманах.

Прибывшие в Берлин все русские по распоряжению министра народного просвещения Ливена должны были находиться в административном подчинении у профессора гигиены Берлинского

университета Фридриха-Вильгельма-Георга Кранихфельда. Кроме преподавания, он заведовал частной глазной клиникой. Первым долгом он познакомил всех медиков с немецкими профессорами и втайне начал следить за ними. Доходя порой до того, чтобы квартиросъемщики сообщали ему приход и уход его подопечных. По его распоряжению хозяева квартир перестали выдавать на руки медикам ключи от входных дверей. Когда один из докторов, Крюков, впоследствии профессор филологии в Москве, узнал об этом, то потребовал объяснить Кранихфельду такое его непонятное распоряжение. На что Кранихфельд ответил:

— Я узнал, что вы часто отлучаетесь из дома ночью. А это, извините меня, для нынешних времен очень нехорошо... — и добавил вдруг с необыкновенной помпезностью, — вот такие-то русские, господин Крюков, как вы, и дошли до самого страшного из преступлений: до цареубийства!

Крюков не растерялся и ответил:

— Цареубийство! Да мы, русские, никогда и не слыхивали о таком преступлении.

— А смерть Павла I, — удивленно произнес Кранихфельд, — разве вы не знаете?

— Как! Что вы говорите, господин профессор! — наивным голосом произнес Крюков, хотя прекрасно все знал о цареубийстве. — Да разве это могло быть? Мы об этом ничего не знаем и никогда не слыхали.

Кранихфельд подумал: «А может, действительно, эти юноши ничего не знают? От ежедневной учебно-муштры белый свет не видят...»

И после этого разговора-откровения он перестал притеснять их. Продержался Кранихфельд на посту инспектора-надзирателя недолго. Неожиданно сменился министр просвещения Ливен, а вновь назначенный С. С. Уваров заменил Кранихфельда генералом Мансуровым. Он хоть и солдафон был, но всем прибавил жалованье и после двух месяцев тщательного изучения обстановки понял, что особых хлопот с учащимися у него не будет, поэтому освободил их от чрезмерной опеки.

В 1830 году наука в Берлине была в «превосходном» состоянии. В основном верили только философу-идеалисту Гегелю и на все научные процессы смотрели только через призму его мировоззрения. В то время популярный в Европе естествоиспытатель Гумбольдт их мало волновал.

И лишь медицина в силу своей строго материальной сущности противилась этому учению, но и то очень незначительно.

В приезд Пирогова в Берлин практическая медицина, к его удивлению, была изолирована от таких ее основ, как анатомия и физиология. Даже

великие хирурги, Руст, Грефе и Диффенбах, оперировали вслепую, наугад. Их знания анатомии были мизерными. И поэтому в проведении хирургических операций их выручала интуиция, опыт и техника. Из-за незнания анатомии они часто попадали впросак.

Например, Руст, рассказывая на одной из своих лекций об операции французского хирурга Шопара, вдруг, в растерянности посмотрев на сустав, сказал:

— Извините, но я забыл, как называются эти две кости стопы: одна выпуклая, как кулак, а другая вогнутая в суставе; так вот от этих двух костей отнимается передняя часть стопы.

И это говорил Руст, известный во всей Европе как великолепный мастер производства абсолютно всех операций, блестящий теоретик, издатель медицинского журнала. А иногда он вообще не мог назвать те или иные основные, хорошо известные учащимся, мышцы конечностей или груди.

Грефе, великий Карл Грефе, хирург и офтальмолог, впервые введший в Германии пластические операции на лице и изобретший большое число инструментов и аппаратов, при производстве сложных операций всегда приглашал к себе профессора анатомии Шлемма. По ходу операции то и дело спрашивал его:

— Скажите, а не проходит ли тут ствол или ветвь артерии? А то, не дай Бог, рассеку.

И Шлемм объяснял ему и советовал, как обойти тот или иной сосуд, чтобы его не повредить. Из всех хирургов Диффенбах в Берлине был величиной непревзойденной. Он создал целый ряд пластических методов в хирургии. В 1828 году с успехом провел переливание крови холерному больному. Оперативные приемы его были превосходны, а техника производства операций точной и ювелирной. Но хуже его к анатомии никто, наверное, не относился. Когда ему делали замечание по этому поводу, он заявлял: «Эта материя мне не нужна».

Диффенбаху до такой степени был чужд мир поверхностных анатомических понятий, что однажды он послал физиологу и биологу Иоганну Мюллеру кусочек, вырезанный им из языка, чтобы тот определил, какой это мускул.

Такое игнорирование анатомических основ было характерно не только для хирургии. Даже терапевты и те почти не слушали и не осматривали больных. Диагноз болезни ставили в основном на основании жалоб. А трубку для прослушивания легких и сердца носили для вида.

Вскрытие трупов профессора не только не делали, но и даже и не



присутствовали при этом. А если и присутствовали, то вряд ли что понимали. Один раз Пирогов, вскрывая труп, заметил образец аневризмы легочной артерии, который ему захотелось показать профессору терапии Горну. Он попросил студента позвать профессора. На что тот сказал:

— С удовольствием. Но разве тут наш Горн что-нибудь поймет.

И тогда Пирогов, выделив аневризму, собрал студентов и сам стал объяснять причину ее возникновения.

В Берлине Пирогов, еще ранее заявивший о себе как страстный любитель анатомии, сближается с анатомом Шлеммом.

«С первого же раза я, еще молокосос (23 лет), и пожилой профессор Шлемм полюбили друг друга. Он видел во мне иностранца, любившего его любимые занятия, и притом знавшего многое из той части анатомии, которой он мало занимался. Он очень хвалил мои работы о тазовых и паховых фасциях, артериальных влагищах и пр.

Шлемм был первостепенный техник: его тонкие анатомические препараты (сосудов и нервов) отличались добросовестностью и чистотой отделки».

— Прежде чем делать разрез, хорошенько подумай... — строго наказывает Шлемм Пирогову и, выбрав нужную линию для разреза, с таинственной аккуратностью и точностью разрезает ткань. — Если будешь уважать органы, которые рассекаешь, то и они тебя будут уважать;.. — добавляет анатом и, отвлекшись от разрезов, спрашивает Пирогова: — Случайно не мешает тебе анатомия как хирургу?

— Нет, нет... — успокаивает его тот. — Почти все операции, которые я собираюсь делать на живом человеке, я вначале произвожу на трупе. Отрабатываю все до иголки...

— Молодец!.. — удовлетворенно произносит Шлемм. — Я вас покорнейше благодарю за анатомию. Спасибо, что вы похвалили ее.

В этом же здании анатомического театра работал по соседству великий биолог Иоганн Мюллер. Он обладал в Германии невероятной славой и почетом. Мюллер придал физиологии новое направление. Кроме идей, ввел в нее обязательное микроскопическое исследование, точный физический эксперимент и химический анализ. Он придал физиологии строго научную основу. Его опыты над лягушками, доказывающие различие двух таких функций, как двигательная и чувствительная, всех поражали. Как практики Шлемм и Мюллер были очень дружны и часто помогали друг другу советами. Если Шлемм внешне был спокоен, широк и полон лицом, то лицо Иоганна Мюллера «поражало нас своим классическим профилем, высоким челом и двумя межбровными бороздами, придававшими его

взгляду суровый вид и делавшими несколько суровым пронизательный взгляд его выразительных глаз. Как на солнце, неловко было новичку смотреть прямо в лицо Мюллера».

Пирогова удивляло необыкновенное трудолюбие Мюллера. Над своими опытами над лягушками он просиживал до самого утра. Честность и любовь к науке сочетались в нем с неугасаемой энергией первооткрывателя. В обхождении был очень прост. Таких слов, как «учитель» и «ученик», избегал. Считал, что в науке должны быть все равны. Пирогову все его лекции и практические занятия посетить не удалось, так как приходилось уделять основное внимание работе в клинике и анатомичке. Однако те кратковременные встречи, которые происходили у него с великим физиологом, подзаряжали его энергией творчества, желанием работать и делать открытия.

Часто Мюллер, закончив опыты, спускался в анатомичку и смотрел, как работает Шлемм. А ведь он не только прекрасно анатомировал, но и не менее отлично делал операции на трупах, при этом успевая окружающим рассказывать о расположении органов.

«Никогда не вредите сознательно», — любил говорить Шлемм учащимся. И если Мюллер находился рядом, он тут же вслед повторял эту фразу.

Кроме анатомички Шлемма, Пирогов ходил на вскрытия трупов и в клиники. В госпитале «Шарите», в качестве гостя присутствуя на вскрытиях, он неожиданно познакомился с госпожой Фогельзанг. Впервые видел он, чтобы женщина так мастерски препарировала трупы, не говоря уже о самой специфике избранной ею профессии. Ведь анатомами в основном были только мужчины.

На вид она была сухощавая. На голове белый модный чепец. В клеенчатом переднике и в точно таких же нарукавниках она, ловко орудуя ножом, препарировала один труп за другим, переходя от стола к столу. Когда все покинули морг, Пирогов, подойдя к ней, вежливо поклонился.

— Что вам угодно?.. — настороженно спросила она.

— Мне очень хотелось бы присутствовать на ваших вскрытиях, — сказал Пирогов. — Я приехал из России на два года. И мне так хочется все освоить.

Госпожа Фогельзанг внимательно посмотрела на незнакомого юношу. А потом спросила:

— Вы уже доктор?..

— Да... — ответил Пирогов.

Лицо у госпожи было смелым и решительным. Взгляд мужественным.

Но более всего его удивили ее руки, мускулистые, жилистые, со вздутыми венами, что говорило о физическом их перенапряжении.

— Лично мне все равно, — вдруг равнодушно произнесла она. — Пожалуйста, приходите хоть каждый день и смотрите. Я одна здесь работаю..

— А профессора с вами бывают?

— Какие профессора, — усмехнулась госпожа. — Разве они что понимают в этом деле. Вот еще вчера никто из них мне не верил, что я при вскрытии трупа найду огромное количество жидкости в груди. А ведь за милую видно было, что вся половина груди растянута. И лишь после того, как я сделала вскрытие, они мне поверили.

Госпожа рассказывала все это с необыкновенной радостью. Чувствовалось, что она влюблена в анатомирование как в познавательный процесс.

— Вы меня не поняли... — сказал ей вдруг Пирогов. — Я хочу у вас не присутствовать на вскрытиях, а своими руками вскрывать.

— Ну и что же, пожалуйста, можете и вскрывать... — спокойно произнесла она. — Ко мне раньше приходили иностранцы, и я им показывала операции на трупах. У меня для этого есть даже лишние хирургические инструменты.

— И как много вы берете за вскрытия?

— Да сущий пустяк. Один талер<sup>[49]</sup> за труп, и делаете с ним что угодно. Пятнадцать зильбергрошей<sup>[50]</sup> я беру за перевязку артерий на конечностях и за вылушивание суставов, но при условии, что поддерживающие связки будут сохраняться и конечности не будут отрываться. Ну что, согласны?

— Согласен... — обрадованно произнес Пирогов и достал из кошелька монеты. — Пожалуйста, вот вам три талера вперед.

— Отлично... — удовлетворенно произнесла госпожа. — Можете приходить сюда с завтрашнего числа каждый день.

— Каждый день?.. — удивленно переспросил Пирогов. — Неужели?..

— А как же вы думали... — строго, со знанием дела произнесла она. — Один раз в неделю позанимались, и все? Нет уж, настоящий анатом должен непрерывно заниматься. Тем более вы, как я поняла, по хирургии в дальнейшем начнете практиковаться. А чтобы успех у вас в этом деле произошел, надо несметное количество вскрытий сделать.

И вот, окончательно договорившись с госпожой, Пирогов начинает посещать клинику «Шарите».

Мадам Фогельзанг особого медицинского образования не имела. Когда-то она была повивальной бабкой, а затем, вдруг увлекшись врачеванием, решила посвятить себя анатомии. Да не просто посвятить себя, а стать фанатом этого дела. В клинике про нее так и говорили, что она «чокнулась» на анатомировании. Почти все профессора завидовали ее мастерству. Никто из них не мог лучше ее выделить сустав по всем правилам искусства или же найти самую глубокую артерию. Мало того, она обладала даром учителя, умело разъясняя и объясняя таким любителям анатомии, каким был у нее Пирогов, особенности препарирования и анатомирования самых сложных, участков человеческого тела.

«Никто не был так вхож ко мне, как мадам Фогельзанг, — вспоминал Пирогов. — И рано утром, и поздно вечером она являлась ко мне с каким-нибудь препаратом в руках или с известием о предстоящем упражнении на трупе в Шарите.

Я не знал ни одного женского лица менее красивого и более оригинального физиономии госпожи Фогельзанг. Уже лет за сорок, с волосами, похожими на паклю, с сухим, изрытым глубокими бороздами, но необыкновенно подвижным лицом, мадам Фогельзанг очень смахивала на проворную, юркую обезьяну.

Но она доставила мне для упражнений не одну сотню трупов, и потому я ее считал дорогим для себя человеком».

— Господин Пирогов, посмотрите, как я ловко нашла артерию, — то и дело звала его к отпрепарированному органу Фогельзанг. — Мышцы целы, нервы целы... И все благодаря маленькому секрету.

Пирогов бежал к ней и, внимательно слушая, запоминал ее объяснения.

В Берлине Пирогов поначалу жил на частной квартире и питался где попало. Но в один день, на одной из лекций Шлемма он встретил студента Дерптского университета Штрауха, сына богатого петербургского аптекаря. Штраух в Берлине оказался не по своей воле. На одной из пистолетных дуэлей в Дерпте он ранил в шею одного из студентов, впоследствии чудом оставшегося живым. И вот, чтобы избежать наказания, он, не окончив медицинского факультета, едет на собственные деньги в Берлин, где и доучивается, частным образом посещая лекции и занятия.

Встреча для обоих оказалась взаимовыгодной. Штраух предлагает Пирогову квартиру у себя, всего лишь при одном условии, тот обязан его поднатаскать по анатомии и хирургии. Пирогов согласился и вскоре переехал жить к нему. Штраух очень хорошо знал Берлин, И почти каждое воскресенье водил Пирогова в театр, где с большим успехом шли пьесы

Шекспира, Шиллера, Лессинга и Гёте.

Сблизился с Пироговым в Берлине и вятич Владимир Караваев, прибывший сюда на учебу после окончания Казанского университета, где хирургия в то время преподавалась поверхностно. Караваев в Берлине был самым слабым доктором из русских. Однако был полон желания учиться. Пирогов, заметив в нем тягу к знаниям, стал брать его с собой в анатомичку и в операционные. Вместе с ним он посещал и морг госпожи Фогельзанг. Караваев был первым учеником Пирогова, впоследствии пошедшим по его стопам и успешно защитившим докторскую диссертацию.

Кроме анатомички, Пирогов усиленно занимается хирургией, посещая лекции и практические занятия таких знаменитостей, как Руст и Диффенбах. Клиники Руста считались едва ли не самыми образцовыми в Германии. Руст не только прекрасно оперировал, но и мастерски ставил диагнозы. Это его умение только на одних объективных признаках болезни поставить точный диагноз было присуще только ему. Он его развивал и пропагандировал. От своих студентов всегда требовал, чтобы они прежде всего доверялись своим чувствам и рукам. Ибо жалобы, особенно малограмотного больного, не всегда могут все сказать. Основываться в постановке диагноза только на объективных признаках, исключая при этом субъективные и прочие другие, тоже нельзя. Конечно, в чем-то Руст ошибался. Однако, несмотря на недостатки, Рустов способ диагноза был в то время очень привлекателен. В первые годы работы даже сам Пирогов придерживался Рустова способа и увлекал им молодежь. А затем, уже по ходу приобретения практики, пришел к выводу, что, кроме объективного осмотра больного, нужно всегда его расспрашивать и внимательно прислушиваться к его жалобам. Когда Пирогов попал в Берлин, Руст почти не оперировал, а в основном читал лекции и вел объяснительные занятия на препаратах. Оперативную же часть своего курса он поручил Иоганну-Фридриху Диффенбаху, ставшему впоследствии крупнейшим хирургом своего времени. Своей изобретательностью в ходе проводимых операций он поражал абсолютно всех. Когда Руст увидел, с какой высокой техникой и совершенством проводит Диффенбах операции, то сказал: «Да, теперь мне, видно, придется загаснуть». И в душе стал страшно завидовать и злиться невероятным успехам своего ученика. Диффенбах был мастер своего дела, и всего этого он добивался при ограниченных научных сведениях и при плохом знании анатомии и физиологии. Очень умело делал Диффенбах грыжесечение. А в шитье ран его абсолютно никто не мог превзойти. Его ровесники врачи говорили, что шить он научился еще студентом, исполняя роль так называемого штопальщика, зашивая раны у пострадавших на

дуэлях студентов. Свои новые методики пластических операций он не утаивал, а пропагандировал и абсолютно всем показывал. Пирогов был поражен его высоким профессионализмом и посещал абсолютно все его практические занятия. Когда в Париже в клинике Лисфранка Диффенбах перед парижской аудиторией произвел операцию искусственного образования нижнего века, то вся аудитория, потрясенная его успехом и новизной, бурно рукоплескала ему. Он делал такие пластические операции, какие никто не мог делать.

Были в учебном процессе для докторов и трудности. Например, Рустовых больных посещать в палатах не всегда разрешалось. Больных приводили только на лекцию. Студенты, осмотрев их, ставили диагноз и назначали лечение. Но после этого больных уводили, и студенты их больше никогда не видели.

Кроме Руста и Диффенбаха, хирургию преподавали также известные профессора Грефе и Юнгкен. Оба они, кроме хирургии, преподавали и глазные болезни.

Грефе был учтивым и вежливым профессором. К студентам он обращался: «Высокоуважаемые, высокопочитаемые господа!» или же «Любезнейшие друзья!» — в отличие от Руста, который мог в пылу сказать: «Черт возьми, вы одурели!» Не отставал от него и Юнгкен, говоря порой: «Я сломаю палку о голову того врача, который не в состоянии вылечить такую бленнорею<sup>[51]</sup>» Грефе был виртуозом-оператором. Его операции удивляли аккуратностью и чистотой. Главный его ассистент, доктор Ангельштейн, знал наизусть все его требования и постоянно держал в руках инструменты, придуманные Грефе. Многими этими инструментами мог владеть только Грефе, и никто другой.

«В клинике Грефе, — вспоминал Пирогов, — было в особенности что хорошо, что практиканты все могли следить за больными и оперированными и сами допускались к производству операций, но не иначе, как по способу Грефе и инструментами его изобретения.

Мне как практиканту досталось также сделать три операции: вырезать два липома<sup>[52]</sup> и вылущить большой палец руки из сустава. Грефе был доволен, но он не знал, что все эти операции я сделал бы вдесятеро лучше, если бы не делал их неуклюжими и мне несподручными инструментами.

Грефе был, без сомнения, от природы ловок и сноровист; иначе без всякого знания анатомии, без упражнений над трупами, которые Грефе считал совершенно не подходящими к операции на живых, как мог бы он сделаться истинным виртуозом хирургии?»

Один раз Грефе, чем-то сильно расстроенный и взволнованный, вызвал Пирогова к себе в кабинет и спросил, не знает ли он русского окулиста Орешникова в Петербурге, приобретшего такую известность, что его сам император Николай рекомендует как отличного специалиста для наследного ганноверского принца. Пирогов ответил, что не знает. Грефе был завистливым врачом и считал, и даже абсолютно был уверен в том, что русские никогда не смогут в силу своей хронической безграмотности добиться успехов в медицине.

«Грефе, несколько, как мне казалось, встревоженный настойчивой рекомендацией как будто из земли выросшего конкурента такой особой, как император всероссийский, потом успокоился, когда узнал, что Орешников не был оператор, а в Германии давно и всем уже было слишком известно, что только операцией можно восстановить зрение принца».

Профессор Юнгкен, окулист и клиницист, поразил Пирогова знанием в лечении глазных болезней. И хотя свои назначения он считал безупречными и не поддающимися сомнению, однако при промахах признавал свои ошибки и никогда не скрывал от аудитории.

«Что же поделаешь... — говорил он в таких случаях. — Видно, не судьба...» — и добавлял: — Сделал ошибку, не сердись, подтянись... На ошибках мы учимся!»

Он был честным и добросовестным врачом.

Свой летний отпуск 1834 года Пирогов полностью использует для поездки в Геттинген. В этом городе работал профессор Конрад Лангенбек. Все, кто встречался с Лангенбеком, отзывались о нем с необыкновенной похвалой. Хвалила его и госпожа Фогельзанг. Услышав из чьих-нибудь уст его имя, она говорила:

— Германия должна молиться на Лангенбека. Этот человек никогда не ошибался потому, что он хирург-анатом.

Одной из первых она посоветовала Пирогову съездить к знаменитому хирургу. Лангенбек делал операции очень быстро. За это его прозвали хирургом-молнией. Скорость при производстве операций в то время была просто необходима. Обезболивающих средств не было. Операции проводились на живом, то есть все чувствующем человеке, или, как говорилось в народе, «резали живьем». И очень часто больные умирали от нестерпимой боли в ходе операции, особенно это касалось очень чувствительных натур. Для наглядности производства операций в период отсутствия обезболивания можно привести одну из картин работы палаточного госпиталя в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».

«В палатке было три стола. Два были заняты, на третий положили

князя Андрея. Несколько времени его оставили одного, и он невольно увидал то, что делалось на других двух столах. На ближнем столе сидел татарин, вероятно казак, судя по мундиру, брошенному подле. Четверо солдат держали его. Доктор в очках что-то резал в его коричневой, мускулистой спине.

— Ух, ух, ух!.. — как будто хрюкал татарин и вдруг поднял кверху свое скуластое, черное, курносое лицо, оскалив белые зубы, начинал рваться, дергаться и визжать пронзительно-звонящим, протяжным визгом. На другом столе, около которого толпилось много народа, на спине лежал большой, полный человек с закинutoю назад головой (вьющиеся волосы, их цвет и форма головы показались странно знакомыми князю Андрею). Несколько человек фельдшеров навалились на грудь этому человеку и держали его. Белая, большая, полная нога быстро и часто, не переставая, дергалась лихорадочными трепетаниями. Человек этот судорожно рыдал и захлебывался. Два доктора молча — один был бледен и дрожал — что-то делали над другою, красною ногой этого человека».

Страшно было представить, что операция, целью которой было облегчить состояние больного, из-за сильного болевого эффекта приводила к смерти. Поэтому почти все хирурги того времени работали над усовершенствованием своей техники. Но многим это не удавалось. А иногда получалось, что чрезмерная спешка в ходе операции приводила к плачевному исходу. Противником скоростного метода производства операций в Германии был профессор кафедры хирургии в Вюрцбурге Текстор. Он, можно сказать, мучил больных своей чрезмерной медлительностью. «При медленном оперировании невозможно ошибиться, — говорил он. — Я рассчитываю каждый шаг, каждый взмах своего ножа». К сожалению, Тексторову медлительность поддерживали некоторые известные хирурги, особенно плохо знавшие анатомию. Когда Текстор показывал операцию на больном студентам, те просто приходили в ужас от страшных, невероятных мучений больного. Скальпель Текстор вводил, словно он не резал, а ковырял ткани, очень медленно и тихо. И тогда докторам казалось, что перед их глазами совершается не операция, а пытка. Пирогов был противником такого метода оперирования.

«И это все делалось без анестезирования<sup>[53]</sup> — вспоминал он, — при воплях и криках мучеников науки или, вернее, мучеников безмозглого доктринерства!<sup>[54]</sup>

Что касается до меня, то мой темперамент и приобретенная долгим упражнением на трупах верность руки сделали мне поистине противной



эту злую медленность по принципу.

И впоследствии, когда анестезирование, по-видимому, делало совершенно Цельсово «быстро», — и тогда, говорю, я остался все-таки того мнения, что напускная медленность может оказаться вредной продолжительностью анестезирования и травматизма».

Метод Текстора поддерживали и английские хирурги. Однако французские хирурги, и среди них особенно известный Ру, выступили против такой методики оперирования. В Германии за скоростное производство операций на основе блестящего знания анатомии выступил Лангенбек и своим грамотным и точным производством операций доказал это. Его поддержал Грефе, знания которого в анатомии были посредственны и скорости он достигал благодаря своей какой-то необыкновенной врожденной ловкости и особыми техническими приемами, которые он придумал сам. Грефе оперировал скоро, ловко и гладко. Лангенбек скоро, научно и оригинально.

Пирогов был поражен Лангенбеком. Высокий, атлетически сложенный, он был очень подвижен у операционного стола. Каждое движение его ног и туловища было строго согласовано с оперирующей рукой. И все это делалось не как-нибудь, а по известным правилам, указанным опытом. То есть у Лангенбека Пирогов впервые отметил важность при производстве операции позы оператора, ее удобного расположения и сохранения при этом максимальной подвижности.

Встречи Пирогова в Геттингене с Лангенбеком были плодотворны. Он ходит смотреть почти все операции, помогает ассистировать, слушает и запоминает секреты хирургического мастерства.

Когда Пирогов в ходе одной из операций перед разрезом ткани взял нож в кулак, Лангенбек, заметив это, спросил:

— Где это вас так научили нож держать?

— В Берлине... — растерянно ответил он.

— Я прошу вас ни в коем случае не держать больше так нож. Вы не мясник и не убийца. Вы врач! Понимаете вы это?.. Жаль, что вы молоды, а то бы я вас... — И, расходившись не на шутку, Лангенбек, постепенно утихнув, начал объяснять Пирогову: — Всегда держите нож нежно и аккуратно. Нож должен быть в руке не топором, а смычком... И ни в коем случае чрезмерно не давите на него, режьте ткани быстро и плавно.

Советы Лангенбека Пирогов использовал всю свою жизнь и был всегда верен им.

Лангенбек вел аскетический образ жизни. Вставал рано и занимался почти целый день то в анатомическом театре, то в клинике, то на дому. Его

любимым афоризмом были слова: «Будь добр в жизни!» А выражение «Без легкомыслия, но с бодрым духом» — правилом жизни. Иногда он не прочь был похвалиться своей силой и ловкостью. Однажды Пирогову он рассказал, как удивил одного английского хирурга во время французской кампании. Тот никак не хотел верить Лангенбеку, что он удаляет плечевой сустав за три минуты. «Хорошо... — сказал ему Лангенбек. — При первом же удобном случае, как только поступит такой больной, я позову вас в операционную...» И вот через некоторое время, после одной из битв, случай такой представился. Раненого француза посадили на стол. Был вызван англичанин. И не успел он надеть очки, чтобы как следует рассмотреть операцию Лангенбека, как перед его глазами вдруг что-то пролетело. Тот, выронив очки, восхищенно прошептал: «Вот это да! Быстрее трех минут плечо вылутил».

Ни у кого не видал впоследствии Пирогов и такой мускульной и хорошо натренированной кисти, какой она была у Лангенбека. Чтобы добиться нужных ему движений, он делал специальные физические упражнения для пальцев обеих рук. Иногда рука служила ему тарелкой. Раздвинув свои длинные пальцы, Лангенбек клал на них отпрепарированный или выделенный орган и, мастерски разрезав его ножом, объяснял студентам, из чего он состоит.

Лангенбек не любил, когда иностранные и другие любопытные врачи приходили в его клинику лишь для того, чтобы повосторгаться его молниеносным «резаньем». Видя такой их интерес, он нарочно отказывался от операций и не делал их.

— Эти парни хотят, чтобы я резал... — говорил он Пирогову. — А я не режу, а лечу. Запомните и вы также, что Лангенбек не режет, а лечит...

Когда в Геттингене болезнь ангиной у Пирогова затянулась и на месте одной из миндалин образовалось нагноение, то на помощь пришел Лангенбек. Он рассек опухоль, и из нее вышла кровь с гноем. На другой день в месте разреза нарыв разорвался окончательно, и Пирогову полегчало.

В лице Лангенбека Пирогов впервые встретил ученого-хирурга, страстно любившего анатомию, как и он сам.

Истратив почти все свои деньги, Пирогов из Геттингена отправился обратно в Берлин пешком через Гарц. Он побывал в Броккене. Ему понравились здания и церкви Роостракта, построенные в стиле барокко<sup>[55]</sup>. Искусство пространственной композиции интерьеров немецких зданий поразило Пирогова.

«Архитектор — это тот же хирург...» — глядя на эту красоту, подумал

он. А затем, вдруг увидев красочные фрески<sup>[56]</sup>, где был праздник всех цветов, прошептал: «И художник тот же хирург. Их объединяет всех то, что они творят свое искусство руками...» Понравилась Пирогову и сталактическая пещера Баумана и растительность гор и долин.

Жить в Германии в то время было намного свободнее, чем в России. Например, в Берлине никому не запрещалось носить бороду и усы, курить на улице табак и жить без полицейского надзора. Немецкие торгаши абсолютно доверяли во всем русским, давая им кредиты. При этом время долга не определялось. Векселя и гарантий также никаких не требовалось. В Германии студент мог обратиться с письмом к королю и получить от него ответ.

«Чем более знакомился с немцами и духом германской науки, — вспоминал Пирогов, — тем более учился уважать и ценить их. Я остался русским в душе, сохранив и хорошие и худые свойства моей национальности, но с немцами и с культурным духом немецкой нации остался навсегда связанным узами уважения и благодарности, без всякого пристрастия к тому, что в немце действительно нестерпимо для русского, а может быть, вообще для славянина. Неприязненный, нередко высокомерный, иногда презрительный, а иногда завистливый взгляд немца на Россию и русских и пристрастие ко всему своему немецкому мне не сделались приятнее, но я научился смотреть на этот взгляд равнодушнее и, нисколько не оправдывая его в целом, научился принимать к сведению, не сердясь и без всякого раздражения, справедливую сторону этого взгляда».

Немцы не особо любили русскую нацию. И русского государя уважали лишь чисто внешне, отмечая его осанку, мужественную твердость и семейную добродетель. Хотя и своим королем они не особо восхищались, возлагая надежды на наследного принца.

Заканчивался срок пребывания Пирогова за границей. За несколько недель до отъезда из Берлина все русские учащиеся получили из министерства Уварова запрос об обязательном указании университета, в котором бы они пожелали получить профессорскую кафедру. Пирогов указал Москву и, сообщив о своем желании матери, попросил ее заблаговременно снять ему квартиру.

И вот наконец в мае 1835 года наступил день отъезда. Прощай, Берлин. Прощай, Германия. Вместе с математиком Котельниковым Пирогов садится в почтовый русский дилижанс, отправляющийся в Кенигсберг и Мемель. Еще за два дня до отъезда Пирогов вдруг почувствовал в себе какую-то слабость и недомогание. Но особого внимания на это не обратил, связав незначительное расстройство здоровья с переменой весенней погоды.

«В дороге развеюсь», — решил он. Он все время скучал по родине. Жажда как можно скорее увидеть Россию была превыше всего. Какой-то господин посадил им молоденькую швейцарку, наивную и добрую. Она строила Пирогову глазки и развлекала рассказами о природе и об исторических местах, по которым пролегала дорога.

Однако болезнь стала неожиданно прогрессировать.

К слабости присоединилась неимоверная жажда. А горло так пересохло, что казалось, вот-вот нечем уже будет дышать. С трудом Пирогов выдержал ночь, а наутро понял, что дальше в таком состоянии не сможет продолжить путь.

«Меня высадили на станции в каком-то, не помню, городке. Все пассажиры засвидетельствовали, что я действительно заболел на пути. Это было необходимо для того, чтобы иметь право на бесплатный проезд до места назначения, то есть за проезд уплаченного уже мной в Берлине пространства. Котельников не хотел оставить меня одного на дороге и высадился вместе со мною. На станции для утоления жажды я просил Христом Богом дать мне скорей чаю и в забытьи от утомления и бессонной ночи с нетерпением жаждал промочить чашкой чая засохшее горло.

Принесли наконец чайник. Я бросаюсь налить себе чашку, с жадностью пью, но, не успев выпить и половины, начинаю чувствовать тошноту и отвратительнейший вкус во рту».

С горем пополам Котельников вместе с хозяйкой отпаивают Пирогова и приводят в чувство. После чего он успокаивается и крепко засыпает. Сон немного освежает его, и на следующий день он решается продолжить путь.

Вместе с Котельниковым он садится в первый попавшийся проходной дилижанс<sup>[57]</sup> и, добравшись до Мемеля и отдохнув там немного, нанимает извозчика до Риги. За версту до Риги болезнь вновь дает знать о себе. Пирогова начинает мучить сильный и непрерывный кашель, доходящий порой до судорог грудной клетки. А слабость развилась до того, что он не мог передвигать ноги. Из-за болезни эта верста<sup>[58]</sup> показалась Пирогову целой вечностью. Наконец он добрался до Риги. Котельников неотлучно при нем, дает питье, растирает грудь.

«Я чувствовал, что далее мне ехать невозможно, а между тем деньги и у меня, и у Котельникова вышли, вышли все до последней копейки. Непредвиденные обстоятельства, как известно, не берутся в соображение в молодости или только на словах берутся. Но в Риге жил попечитель Дерптского университета и он же остзейский генерал-губернатор. Пишу письмо к нему и посылаю с письмом самого Котельникова. Не помню что,

но, судя по результату, я, должно быть, в этом письме навалил что-нибудь очень забористое. Не прошло и часа времени, как ко мне прилетел от генерал-губернатора медицинский инспектор, доктор Леви, с приказанием тотчас принять все меры к облегчению моей участи.

Доктор Леви привез деньги и тотчас же послал за каретой для переезда в большой загородный военный госпиталь. Там велено было отвести для меня особое отдельное помещение, приставив ко мне особого фельдшера и служителей».

В госпитале Котельников распрощался с Пироговым и поехал дальше.

Болезнь не утихала. Неожиданно у Пирогова исчез аппетит. Сильная слабость начала чередоваться с потерей сознания. Предположительно Пирогову ставится диагноз тифа<sup>[59]</sup>, хотя в окончательной постановке диагноза врачи не уверены. Почему болезнь накинута на юношу, никто не мог понять. Одно время у него уже было предсмертное состояние, пульс еле прослушивался, и дыхание было крайне поверхностным. Фельдшера кинулись обматывать его, как ребенка, теплыми влажными простынями. И может быть, это спасло его от смерти. Наконец, после двух месяцев неимоверно мучительных страданий, у него появился аппетит. Однако из-за сухости глотки он из всей пищи мог принимать только молоко. Весь госпиталь, начиная от больных и кончая врачами, спасали Пирогова. Все несли ему молоко, теплое, прокипяченное, готовое к употреблению. И он, весь страшно исхудавший и осунувшийся, с неимоверной жадностью пил его днем и ночью. Когда сухость в горле исчезла, он стал принимать и другую пищу. Слабость и недомогание пропали. И хотя кашель еще был, чувствовалось, организм крепчает не по дням, а по часам. Заметив, что больной идет на поправку, врачи с облегчением говорили друг другу:

— Слава Богу, спасли... Коллега как-никак все же наш, хирург.

А когда Пирогов встал на ноги и начал самостоятельно ходить, к нему явился генерал-губернатор при всех крестах и регалиях<sup>[60]</sup>. Врачи ему что-то на ухо шепнули, и он, bravo выпалив:

— Честь имею кланяться будущему русскому профессору! Слава и почет русской медицине! — крепко пожал Пирогову руку.

— Спасибо вам за все... — произнес Пирогов и заплакал. — Спасибо.

Генерал-губернатор важно приосанился и, не скрывая от удовольствия улыбки, спросил докторов:

— Каши ему много даете?

— Много, — хором ответили те.

— А масла?..

— И масла кладем вволю.

— Молодцы, я рад за вас... — И всем докторам пожал руки. — Вы спасли хирурга. А уж я был на фронтах и знаю, как они мастерски возвращают раненых в строй.

И генерал-губернатор, вновь вытянувшись перед Пироговым, словно не он, а Пирогов был генералом, сказал:

— Извините, конечно, за беспокойство, но у меня к вам будет после вашего выздоровления маленькая, так сказать, индивидуальная просьба общественного значения. — И, разгладив усы, продолжил: — В наших госпиталях хирургов раз-два, и обчелся. Власть в основном захватили терапевты. А народ, требующий оперативных вмешательств, как мне на днях доложили, поднакопился. Вот я и прошу вас как будущего русского профессора навести в этом деле посильный порядок. Как вы смотрите на это дело, господин Пирогов? — И, умолкнув, генерал-губернатор насторожился, дожидаясь ответа.

— Посчитаю за великую честь, ваше сиятельство, выполнить такое почетное для меня поручение... — вытянувшись в струнку, произнес ему Пирогов.

— Вот что значит русский человек! Немец бы так не сказал... — И генерал-губернатор с удовлетворенной гордостью покинул палату.

После выздоровления Пирогов приступил к поправке оперативного дела в Риге. Цирюльнику<sup>[61]</sup>, ухаживавшему за ним в госпитале, он сделал пластическую операцию по поводу формирования искусственного носа. Операция получилась удачной. С этой же просьбой обратилась к нему одна из рижских дам. Пирогов и ей сделал точно такую же операцию. А затем пошли больные, которым надо было вырезать опухоли, удалять камни мочевого пузыря, делать ампутации конечностей. Все эти операции Пирогов проводит с большим успехом. Местные врачи, ассистирующие ему, восхищаются его знаниями и техникой.

«Ординаторы госпиталя, познакомившись со мной, стали просить меня показать им некоторые операции на трупах и прочесть несколько лекций из хирургической анатомии и оперативной хирургии. Один из старых ординаторов, немец, кончивший курс в Иене, сделал мне за мои лекции следующий комплимент, тогда очень польстивший почему-то моему самолюбию и потому оставшийся у меня в памяти: «Вы нас научили тому, чего и наши учителя не знали».

В беседах и разговорах с рижскими врачами Пирогов говорил о важности знания анатомии. Она есть основа основ не только хирургии, но и всех других медицинских наук.

Однако дорога звала в путь. В сентябре 1835 года, попрощавшись с Ригой, Пирогов отправился в Петербург, где он ожидал получить направление в Московский университет. По пути решил заехать на несколько дней в Дерпт, поблагодарить Екатерину Афанасьевну за материальную помощь, которую она оказала ему во время болезни. Когда Пирогов сообщил ей о своей болезни, она тут же прислала ему пятьдесят рублей и пук белья. Заодно он хотел увидеть и Мойера. Но как только Пирогов переступил порог дома Мойеров, то услышал следующую новость. Оказывается, он из-за своей болезни прогулял свое место в Москве и остался покудова за штатом. Мало того, попечитель Московского университета граф Строганов отклонил кандидатуру Пирогова и настоял у министра о назначении на кафедру хирургии в Москве Иноземцева. А Иноземцев вместо того, чтобы отказаться от этой кафедры, он ведь прекрасно знал, что на нее мечтал попасть Пирогов, согласился.

— Неужели это правда?.. — все еще не верил Пирогов, обращаясь то к Мойеру, то к Екатерине Афанасьевне.

— Правда... — отвечал хмуро Мойер.

— Правда истинная!

— Да, правда истинная...

И, сев за стол, Пирогов закрыл лицо руками. Слезы текли по его щекам. И никто его не мог успокоить. Трагичнее ситуации у него еще не было в жизни. Все мечты и все его планы разрушились. Мать и сестры так надеялись, что сын их вернется в Москву, они просили его об этом, умоляли, Да и ему некуда было больше возвращаться, нале в Москву. Этот город он любил больше всего на свете.

«Сколько счастья доставляло и им, и мне думать о том дне, когда наконец я явлюсь к ним, чтобы жить вместе и отблагодарить их за все их попечения обо мне в тяжкое время сиротства и нищенства! И вдруг все надежды, все счастливые мечты пошли прахом!

Но чем же тут виноват Иноземцев?

Да разве он не знал моих намерений и надежд? Разве он не слышал от меня, что старуха-мать и две сестры ждут меня с нетерпением в Москву? Разве ему не известно было, что я отвечал на последний вопрос в Берлин из Москвы?

Но он не мог устоять против требования и желания Строганова? Во-первых, это, верно, не так: Иноземцев умел сделать себя приятным, и от природы был снабжен средствами для этой цели, а во-вторых, разве совесть и долг чести не требовали от товарища, чтобы он отказался от предлагаемого, если на это предложение имел гораздо более прав не он, а

другой?»

Пирогов, желая разобраться в таком неожиданном для него поступке Иноземцева, который до этого говорил ему, что собирается ехать только в Харьков и никуда более, открыто осуждает и равнодушное отношение вышестоящего начальства к его просьбе, которая была в высшей степени справедлива, ведь направлял на учебу Пирогова Московский университет с таким расчетом, что он обязательно вернется и займет специально сохраняемую для него профессорскую кафедру. Оказывается, даже при самом благоприятном исходе, когда Иноземцев сам бы отказался от Московского университета, граф Строганов мог лично отказать Пирогову в московской кафедре, если бы тот даже и прибыл в Москву.

«И какова заботливость начальства! — писал Пирогов. — Оно само назначает человека, само узнает от него, что он желает действовать именно в том университете, где он получил образование и где он был избран для дальнейшего усовершенствования, и что же: лишь только пришла беда, болезнь, его забывают и спешат его место заменить другим! Да, этот другой понравился, имел счастье понравиться его сиятельству, а кто знает, понравился ли бы еще я? Пожалуй, могло быть и еще хуже, — могло быть, что мне, и здоровому, и прибывшему в Петербург, влиятельный граф предпочел бы моего товарища. Слава Богу, что еще это не случилось. Ну, пусть будет, что будет».

«Всем управляет слепой случай; утешения искать негде, если не найдешь его в самом себе. Вот сюда, к себе, и обратись».

«Так я рассуждал в то время. Провидения для меня тогда не существовало. Идеала богочеловека, поправшего через воплощение юдоль человеческих бедствий, также не существовало. Оставалось, конечно, одно прибежище — собственное «я». И хорошо еще, что это было «я», по милости божьей, не дюжинное и не слишком высокомерное. Оно знало себе меру».

Пирогов пишет письмо-объяснение матери. Он извиняется перед ней, просит прощения. Он обещает ей помогать, высылать деньги. Хотя денег у него еще нет никаких. Он винит себя и проклятую болезнь, которая привязалась к нему в пути. В письме вспоминает отца, Троицкое подворье, проводы из Московского университета на учебу. В конце добавляет: «Меня нельзя простить. Потому что из-за меня все произошло. Однако, маменька, я еще не убит, не убит...»

Впоследствии Пирогов назовет эти дни самыми горькими и тяжелыми в его жизни. Впервые он сталкивался с несправедливостью. Безысходность положения тяготила и мучила. Сознывая свою беспомощность и



беззащитность, он начинает всего страшиться. Мойер утешал и успокаивал его как мог.

— Забудьте все... — говорил он. — Главное — вы очень молоды и имеете цель...

— Какая может быть цель без места?.. — вздыхал Пирогов. И столько тревоги и горечи было в его глазах, что опытный и мужественный Мойер терялся. Однако как бы то ни было, но он не оставил Пирогова в беде. Умными советами поддержал его и вывел из тяжкого состояния. Мойер в то время из-за служебных обязанностей был только ректором университета и хирургией почти не занимался. Поэтому, чтобы занять Пирогова, он доверил ему часть своих больных.

И тот постепенно втягивается в работу. Мастерски делает операции по удалению опухолей и камней. Возвращающиеся из Берлина студенты стали рассказывать всем о скоростных операциях Пирогова, особенно по удалению камней, которые он производил, учась за границей. Появился в Дерпте и Штраух, с которым Пирогов жил в Берлине. Когда его дерптцы спросили: «Правда ли это говорят о Пирогове или нет?» — он ответил: «А вы сходите на одну из его операций и сами посмотрите». Наставничество Пирогова над Штраухом во время учебы в Берлине оказалось очень полезным. Успешно сдав экзамен в Дерпте, он писал диссертацию.

В один из дней Пирогову предстояла операция по удалению камней из мочевого пузыря. Пришло очень много врачей посмотреть, как он будет делать ее. Пирогов волновался. Поручив своему ассистенту держать каждый инструмент между пальцами строго по порядку, он взял в руки скальпель. Доктора, посмотрев на часы, замерли. Пирогов делает очень нежно и быстро разрез, вскрывает мочевой пузырь, щипцами подхватывает камень и тут же извлекает его. Никто не успел даже разглядеть весь ход операции, так все быстро произошло. Мойер, присутствовавший на операции, удивился мастерству Пирогова.

— Вот так дела!.. — стали восклицать доктора. — В две минуты, даже менее двух, управился. Это просто удивительно. Самого Лангенбека переплюнул...

Быстрая и умелая операция Пирогова всех привела в неописуемый восторг. Врачи, воочию увидев настоящее врачебное искусство, поняли, что перед ними не зеленый медик, а талантливый хирург, обладающий высочайшей техникой.

На другой день Пирогов также всех удивил, произведя сложнейшую операцию по тем временам. Через большой разрез носа он извлек громадный полип<sup>[62]</sup>. А место разреза так ловко зашил, словно и не было

никакой операции. После этих двух случаев клиника ожила. Все самые сложные и интересные операции стал производить только Пирогов. Делая их, он одновременно учил и других. Мойеру все уши прожужжали Пироговым. Весь университет, вся клиника только о нем и говорили. Больные желали оперироваться только у него. Буквально через неделю Мойер вызывает к себе Пирогова и говорит ему:

— Не хотите ли вы занять мою кафедру в Дерпте?

Тот вздрогнул. Удивленно смотрит на Мойера и не понимает, шутит тот или нет.

— Да как же это может быть? Это немыслимо. Это невозможно.

А Мойер серьезнее прежнего.

— Я хочу только знать, желаете ли вы?

Наступило молчание. Седой учитель уважительно смотрел на ученика.

Собравшись с духом, Пирогов ответил:

— Кафедра в Москве для меня потеряна. Поэтому вашему предложению я просто рад.

— Ну вот и отлично... — произнес Мойер. — Дело, можно сказать, в шляпе. Сегодня я представлю вас факультету, затем извещу министра. Если он решит все положительно, мое предложение пойдет в совет. Поэтому все время будьте в Дерпте, а затем, по мере продвижения вашего дела, я сообщу вам о поездке в Петербург, где вы получите окончательное решение... — И, помолчав, добавил: — Это все, что я могу сделать, пока я жив.

— Я счастлив услышать это из ваших уст... — прошептал Пирогов и, поклонившись, добавил: — Буду стараться не подвести вас. И свято исполнить порученное мне дело.

Пирогов был счастлив, что Мойер доверил ему свою кафедру.

«Я написал о случившемся матушке, стараясь ее утешить: по сам я не получал ни от кого писем, как будто меня уже и на свете не было. Поехал, мол, занемог в дороге, да так и сгинул, и концы в воду».

По предложению Мойера медицинский факультет Дерптского университета единогласно выбрал Пирогова в экстраординарные <sup>[63]</sup> профессора. Вскоре пришло «добро» и от министра народного просвещения Уварова.

Пирогов отправляется в Петербург, чтобы представиться министру и там уже дожидаться окончательного решения об избрании его на кафедру хирургии Советом университета.

Метельной морозной ночью Пирогов приехал в Петербург. Город этот был для него абсолютно чужим. В поисках свободного номера он объездил

почти все гостиницы и заезжие дома. Мест нигде не было. Окончательно отчаявшись, он хотел уж было ночевать в кибитке ямщика на холоде. Но, к счастью, в захолустном солдатском дворе на Петербургской стороне нашлась грязная, но теплая комната с голой кроватью и рогожей. Упав на кровать, Пирогов тут же заснул. А утром разыскал приехавшего раньше по делам из Дерпта доктора Штрауха, который помог ему снять маленькую комнатку на третьем этаже в доме близ Казанского собора. Внутри комната была более или менее приличной. Но вход с улицы — безобразный; лестница узкая, грязная. Пирогов был рад и этому. Главное — было где укрыться от холода. Морозы, как назло, с каждым днем становились все сильнее и сильнее.

Министр Уваров принял Пирогова рано утром. Сильно чем-то озабоченный, он рассеянно посмотрел на него и сказал:

— Я слышан о вас как о подающем надежды хирурге. Ну, что же вы стоите? Садитесь...

Пирогов присел. Напротив, с огромного портрета, на него лукаво смотрел граф Шереметев. Уваров, заметив интерес Пирогова к портрету, сказал:

— Этот величайший человек безнадежно болен. И все вы, врачи, виноваты. Лечить как следует не умеете, друг друга хвалите... — И, достав из кармана шелковый платок, осторожно вытер слезинки с глаз. — Горе, горе мне. Стоило Пушкину выстрелить по мне из пушки, как граф начал поправляться. А ведь я был единственный наследник графа... Если бы мне достались все его богатства, я бы их сохранил для пользы и славы отечества... — Затем вдруг Уваров встrepенулcя и, осторожно оглянувшись по сторонам, поспешно проговорил: — Запомните, доктор Пирогов, при вступлении вашем на новое поприще следующее. Министр народного просвещения в России не я, Сергей Семенович Уваров, а император Николай Павлович. Знайте это и помните. А теперь до свидания!

И, пожав Пирогову руку, проводил его к двери. Что обозначала эта шутка министра, Пирогов так и не понял. Но то, что Уваров был не в своей тарелке, было видно даже невооруженным глазом. Да и чему ему было радоваться, если Пушкин своим сатирическим стихотворением «На выздоровление Лукулла» потешился над ним. Под Лукуллом, римским полководцем, славившимся необычайной роскошью своих пиров и празднеств, Пушкин подразумевал богача, графа Д. Н. Шереметева, который неожиданно поправился после опасной болезни. Уваров должен был по жене наследовать бездетному Шереметеву. Заранее уверовав в его неизбежную смерть, он поспешил опечатать и описать все его имущество.

Эта скандальная история стала известна всему Петербургу. На основе этих событий Пушкин и написал стихотворение, которое имело успех среди студенчества и передовой интеллигенции.

Да и где это было видано, чтобы министр народного просвещения, президент Академии наук, граф Уваров всенародно был обличен и уличен в неблаговидных делах. Стихотворение «На выздоровление Лукулла» Пирогов прочитал на дверях министерства, видно, кто-то из врагов Уварова специально приклеил его. Начиналось оно так:

*Ты угасал, богач молодой!  
Ты слышал плач друзей печальных.  
Уж смерть являлась за тобой  
В дверях сеней твоих хрустальных.  
Она, как втершийся с утра  
Заимодавец терпеливый,  
Торча в передней молчаливой,  
Не трогалась с ковра.*

И далее высмеивался сам Уваров.

*А между тем наследник твой,  
Как ворон, к мертвечине падкий,  
Бледнел и трясся над тобой,  
Знобим стяжанья лихорадкой.  
Уже скупой его сургуч  
Пятнал замки твоей конторы;  
И мнил загресть он злата горы  
В пыли бумажных куч.*

*Он мнил: «Теперь уж у вельмож  
Не стану нянчить ребятишек;  
Я сам вельможа буду тож;  
В подвалах, благо, есть излишек.  
Теперь мне честность — трын-трава!  
Жену обсчитывать не буду  
И воровать уже забуду  
Казенные дрова!»*

*Но ты воскрес. Твои друзья,  
В ладони хлопая, ликуют;  
Рабы, как добрая семья,  
Друг друга в радости целуют;  
Бодрится врач, подняв очки;  
Гробовый мастер взоры клонит;  
И вместе с ним приказчик гонит  
Наследника в толчки.*

Стихотворение Пирогову очень понравилось.

Цензор Никитенко в своем дневнике от 20 января 1836 года писал: «... весь город занят «выздоровлением Лукулла». Враги Уварова читают пьесу с восхищением...» Но никто, ни Никитенко, ни главный цензор, не знал, что Пушкин использовал в стихотворении подзаголовок «Подражание латинскому» лишь для того, чтобы обойти их всех.

В молодости Уваров и Пушкин на некоторое время сблизились по своим взглядам на жизнь, посещая общество передовой литературы молодежи «Арзамас». Но затем, после того, как Уваров, став министром, придумал «великую» спасительную формулу «Православие, самодержавие и народность» и заодно начал притеснять поэта цензурой, их пути разошлись. В феврале 1835 года Пушкин писал в своем дневнике: «В публике очень бранят моего Пугачева, а что хуже — не покупают. Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении... это большой негодяй и шарлатан».

Пирогову впоследствии не раз приходилось встречаться с Уваровым, и всегда он отмечал в нем чрезмерное высокомерие и пренебрежительность к окружающим людям. Студенчество, особенно дерптское, ненавидел. А произошло все из-за пустяка. Один раз поехал он в Дерпт с проверкой. Остановился в квартире попечителя, близ рынка. Ночью ему не спалось. На рассвете, услышав шум на улице, вышел на балкон. В это время возвращались с пирушки студенты. Двое из них, увидев на балконе господина в ночной одежде и с лорнетом в руке, вынули ключи из дверей своих квартир, навели их и стали смотреть на балкон через кольца ключей, заменявших им лорнет. Это не понравилось Уварову. Разве могли вообще люди иметь право на него так смотреть? Конечно, нет. Ему казалось, что его приезд в Дерпт вызовет неописуемый восторг, а на него, оказывается, смотрят как на рядового чиновника. Именно за это и невзлюбил Уваров вначале дерптских, а затем и всех остальных студентов.

Зато в профессоров влюбился без ума. И вот за что. Знаменитый астроном Струве, чтобы уговорить министра Уварова открыть обсерваторию в Пулкове, пригласил его посетить дерптскую обсерваторию. Вот как описывает это посещение Пирогов.

«К сожалению, — говорит ему Струве, — все это время стоит плохая погода, и потому я не осмелился утруждать вас посмотреть в наш рефрактор ночью; теперь же взглянуть в него можно разве только для того, чтобы составить себе понятие о чрезвычайной чувствительности инструмента к малейшему движению.

Уваров остановился и смотрит.

— Позвольте, однако же, — говорит он, — я что-то вижу; мне кажется, звезду.

— Не может быть, ваше превосходительство! — восклицает Струве.

— Да вот, посмотрите сами, — возражает Уваров.

Струве, в свою очередь, смотрит, молчит, еще смотрит и, приняв изумленный и восторженный вид, громко зовет:

— Позвольте принести вам мое поздравление, вы сделали открытие. Необыкновенно, непостижимо, как это случилось, что вам суждено было увидеть в первый раз одну из неизвестных еще звезд; отныне она будет включена в список новооткрытых неподвижных звезд. — И в этот же вечер, в собрании профессоров на ученом вечере, куда был приглашен и министр, Струве читал о новооткрытой его высокопревосходительством неподвижной новой звезде.

Не знаю только, окрестил ли ее Струве именем Уварова (как окрещен этим именем один минерал — уваровик) или новая звезда осталась безымянной. Уваров, конечно, был на седьмом небе и не воображал, да и не хотел воображать, что он вовсе не был случайным открывателем, а звезда была уже прежде подмечена тонким дипломатическим гением Струве».

Дождаясь решения Совета университета, Пирогов в Петербурге не сидел сложа руки. После аудиенции у министра Уварова он на следующий день начал посещать госпитали. Первым делом зашел в Обуховскую больницу, где работало много выпускников Дерптского университета.

Обуховская больница в то время была крупным общегородским лечебным учреждением, сквозь которое проходил большой поток больных.

Один из бывших дерптцев, доктор Гёте, занимавшийся в хирургическом отделении больницы, познакомил Пирогова с главным доктором К. А. Майером и главным консультантом госпиталя лейб-медиком<sup>[64]</sup>, известным хирургом Арендтом. Радужно принял Пирогова и

профессор Иван Тимофеевич Спасский.

Медицина и хирургия в Петербурге в то время были на хорошем уровне благодаря таким ее представителям, как Буш, Арендт, Саломон, Буяльский, Зейдлиц, Раух, Спасский.

В первые дни Пирогов сблизился с Николаем Федоровичем Арендтом. Этот хирург хотя был и в годах, но отличался исключительной предприимчивостью и смелостью в сочетании с глубокой любовью к больному. В Петербурге он был первым русским хирургом, производившим самые тяжелые операции. На его счету было более 800 ампутаций конечностей. Внимательно выслушав Пирогова и ознакомившись с его интересами, он предложил прочитать ему для врачей курс лекций по хирургической анатомии.

— Интересно послушать, чему вас научили в Германии... — улыбнулся Арендт и добавил: — Я слышал, вы любитель анатомии. Я рад этому. Все анатомы впоследствии становятся прекрасными хирургами.

Разрешение на чтение лекций Пирогову Арендт добился у самого государя. В то время курс анатомии в больницах читался только с его благословения. В разрешении указывалось, что Пирогов имеет право употреблять для демонстрации трупы только тех больных, к которым при жизни не являлись никакие родственники в больницу. Это были так называемые «безродные» умершие.

Удивленные врачи, собравшиеся на первую лекцию, то и дело спрашивали его:

— А что это такое, хирургическая анатомия? Для чего, зачем она нам?..

— Хирургическая анатомия, — отвечал Пирогов, — это когда операция производится с учетом строения и расположения тканей человеческого организма.

— Никогда не слыхали, — удивленно произносили те. — Впервые об этом слышим.

Лекции Пирогов читал шесть недель. Кроме врачей, его слушателями были сам Арендт и профессор Медико-хирургической академии Саломон. Арендт не пропустил ни одной лекции и слушал при этом очень внимательно. Лекции читались в покойницкой Обуховской больницы, очень грязной и плохо вентилируемой небольшой комнате. Днем Пирогов готовил препараты, обычно сразу на нескольких трупах. На одном он демонстрировал расположение органов, на другом делал операции, касающиеся только что им показанного органа. Такой наглядный способ преподавания правился врачам, и они с интересом слушали лекции.

«Из чистокровных русских врачей никто не являлся на мой курс. И я читал по-немецки. Да в то время в с. — петербургских больницах между ординаторами редко встречался русский: все были или петербургские, или остзейские немцы. Да и откуда было взяться русским? Русские студенты медико-хирургической академии того времени (из единственного, как и теперь, высшего учебно-медицинского учреждения) были почти все казеннокоштные, бедняки и поповичи; окончив курс, они поступали тотчас на службу, в полки, уездные города и т. п. В Петербурге же оставались сыновья петербургских обывателей, а из петербургских обывателей только немцы посылали своих учиться в академию, и это были дети докторов, чиновников, учителей, ремесленников, вообще более культурных классов.

И между практиками-врачами в С.-Петербурге того времени нельзя было насчитать более дюжины известных русских имен, включая сюда и имена некоторых профессоров-практиков медико-хирургической академии».

Кроме лекций, Пирогов в госпиталях Обуховском и Марии Магдалины производит операции. Завидуя числу операций, сделанных Арендтом, он порой гонится за количеством. Делает одну операцию за другой, часто не дожидаясь окончательного результата. Этот молодой пыл сверхоператорства, присущий почти всем начинающим хирургам, Пирогов впоследствии осудил и признал свою ошибочность того времени.

Дома он почти не бывал. С утра до поздней ночи находился в больницах. Оперировал, перевязывал, готовил препараты. И лишь когда темнело, бежал в трактир на углу Сенной, где ел пироги с подливкой. Затем опять в больницу, помогать какому-нибудь врачу. И так до двенадцати ночи.

Однажды Пирогова один из докторов пригласил посетить большой сухопутный военный госпиталь на Выборгской. Госпиталь и особенно главный врач представились молодому хирургу в крайне неприглядном виде. Такого он в своей жизни не видел. Засилье иностранщины здесь сочеталось с открытым пренебрежением ко всему русскому и особенно к больным.

Осмотр палат производил главный врач Флорио, принятый на русскую службу еще в 1812 году, любимец директора медицинского департамента <sup>[65]</sup> Министерства внутренних дел Виллье. Все трепетали перед Флорио, ведь он, кроме всего, был действительный статский советник и кавалер. На одном из обходов Пирогов был свидетелем следующей картины. Между рядами коек с больными шел задом наперед фельдшер, нараспев докладывая Флорио название болезни и назначенное лекарство.



«Плеврит<sup>[66]</sup> — отвар алтея!» — кричал он на всю палату, пугая больных своим мощным голосом. Навстречу фельдшеру, то опуская, то поднимая палку в руке, на которую была надета форменная фуражка, шел сам Флорио при всех знаках отличия. Фуражка от встряхиваний вертелась на палке, а Флорио, не обращая внимания на доклады фельдшера, браво притопывал ногой и в такт, громким голосом с итальянским акцентом припевал: «Сею, вею, Катерина! Сею, вею, Катерина!»

Флорио был в высшей степени некультурен и допускал по отношению к своим подчиненным любые вольности.

Проходит, например, мимо него старик ординатор в мундире. Он в присутствии всех кричит ему: «Остановитесь! — А затем высокомерно, на ломаном русском языке произносит: — Вот рекомендую вам, господа, статский советник Сим...; думает еще жениться и уверен, что в первую ночь исполнит свои обязанности; но это он, уверяю вас, напрасно так думает!» И что есть мочи Флорио смеется. Старик ординатор в растерянности смотрит на Флорио, не зная, что и сказать тому. Да и что он, рядовой доктор, может сказать главному доктору, действительному статскому советнику.

Посещение Выборгского госпиталя потрясло Пирогова. Он впервые видел, чтобы иностранцы так смело и вольготно могли себя вести на русской земле. Это было насмехательством высшей степени. И не где-нибудь на площади, или в театре, а в больнице, среди страждущих и надеющихся на выздоровление людей. Пирогов пожаловался на Флорио Арендту. Но у Арендта, хотя он и был еще лейб-медиком, неожиданно появился за границей конкурент — Мартын Мандт, бывший профессор Грейдфельского университета. По желанию Николая I он был назначен профессором кафедры практической медицины, а затем стал его личным врачом. Приехав в Петербург, он сразу же унизил Арендта перед государем, сказав тому, что его бывший врач выжил из ума.

Арендт был недостаточно хитер и пронырлив, чтобы удержать до конца нравственную власть в своих руках. А Мандт, наоборот, показал всем лейб-медикам мастерство лести и угодничества, оставаясь при этом абсолютно бездарным и ничего не смыслящим в науке.

Перед вступлением на кафедру, по существующему тогда закону, Пирогов должен был прочесть пробную лекцию в Академии наук. Спасский сказал Пирогову, что он волен выбрать тему сам. И Пирогов темой лекции избирает пластику носа по индийскому способу в

модификации Диффенбаха. «Я выбрал ринопластику<sup>[67]</sup>; купил у парикмахера старый болван из папье-маше<sup>[68]</sup>, отрезал у него нос, обтянул лоб куском старой резиновой калоши и отправился с этим сокровищем в академическую залу, чтобы продемонстрировать ринопластику».

Лекция прошла удачно. Пирогов подробно рассказал операцию и с большим искусством воспроизвел ее на своем фантоме.

И все же утверждение Пирогова в должности профессора затягивалось. Пирогов волнуется, пишет письма Мойеру, но тот почему-то медлит с ответом. Тогда Пирогов стал писать Мойеру, что, если в Дерпте ничего не получится, он по рекомендации Арендта отправится принимать кафедру в Харькове ибо больше ждать нет сил. Мойер лично приезжает в Петербург и идет на прием к Уварову. Пирогов волнуется. Выйдя от Уварова, очень рассерженный, Мойер, не сдерживаясь, откровенно говорит ему о министре следующее: «Этот человек — страшный льстец и на него нельзя положиться». И просит Пирогова подождать еще некоторое время, пока вопрос о его назначении окончательно не решится. Наконец, в марте 1836 года, из Дерпта приходит сообщение, что Совет университета утвердил Пирогова в качестве экстраординарного профессора Дерптского университета.

Оказывается, Мойер, чтобы не расстраивать Пирогова, скрыл от него, что выборы в Совете были бурей в стакане воды. Узнав, что русский православен; будет избран на медицинскую кафедру, профессора университета и особенно теологи (богословы) возмутились. Откопав закон первого основателя Дерптского университета Густава Адольфа Шведского, по которому профессорами университета могли быть только протестанты, они на кандидатуру Пирогова наложили вето. Мойер и весь медицинский факультет начали оказывать богословам сопротивление. Для борьбы потребовалось время. Вот поэтому и пришлось Пирогову на некоторое время задержаться в Петербурге и поволноваться.

«Матушку и сестер я не решался перевезти из Москвы в Дерпт. Такой переход, мне казалось, был бы для них впоследствии неприятен. И язык, и нравы, и вся обстановка были слишком отличны, а мать и сестры слишком стары, а главное, слишком москвичи, чтобы привыкнуть и освоиться».

В апреле Пирогов был уже в Дерпте. Его приезд совпал с назначением нового попечителя Дерптского университета, генерал-майора Крафтштрема.

«Я предстал пред очами этого сына Марса и был им очень любезно принят. Он приветствовал меня как первого русского, избранного

университетом в профессора чисто научного предмета. До сих пор русские профессора в Дерпте избираемы были только для одного русского языка, и то за неимением немцев, знакомых хорошо с русской литературой».

— Я всякого народа за всю жизнь повидал... — поприветствовав Пирогова, произнес Крафтштрем. — Солдаты — черти, офицеры — дьяволы. Чудесный народ. Вишь звезды-то на моей груди как горят. Учти, не то еще будет, я генерал не простой, я генерал гвардейский. Понял, черт тебя возьми... И учти, я как некоторые фельдмаршалы, гусей не пас. Я за расейскую землю точно Илья Муромец дрался. Бывало, на французов саблей как замахнусь, так они точно горох рассыпаются на четырнадцать дорог. Вот и ты должен быть таким, мало выучиться, надо чтобы боялись тебя в науке; знаний, ума, мысли твоей боялись. Трудно, конечно, таким стать, но хныкать не надо. Надо драться за науку, зубами знания рвать. Как волки или медведи овец рвут. Ухватить науку, не лапоть сплесть. Смекай, Пирогов, про тебя все это. Русской вотчине черед наступил. Какой-нибудь Степка, Ванька или вот, как ты, Николай, долго ждать себя не заставит. Придет да как разгуляется, что весь Запад многие века будет русскому уму дивиться.

Крафтштрем хлопнул Пирогова по плечу.

— Бумагомарателей, щелкоперов и похвальбишек не люблю. Зато перед трудягами преклоняюсь, потому что сам таким был. Чувствую, парень ты не олух, разум, вижу, свой, не купленный. — Генерал пожал Пирогову руку. — И рукой ты крепок... — И, с солидностью сев в красное кресло, Крафтштрем разрешил Пирогову покинуть кабинет.

Попечитель с уважением отнесся к Пирогову, хотя при первой подходящей возможности старался тому всегда напомнить, что первый пример назначения русского профессором совпадает с его попечительством. Генерал был солдафоном и о науке имел самое что ни на есть поверхностное представление.

Однажды ехал Крафтштрем вместе с профессором русского языка Росбергом из Дерпта в Петербург. Была ночь, и небо было в звездах. Спать не хотелось. Росберг, чтобы занять Крафтштрема, говорит ему:

— В нашей дерптской обсерватории рефрактор<sup>[69]</sup> самые маленькие вулканы на Луне замечает. Сила у него убийственная. Я сам через него видел горы и пропасти на Луне.

Крафтштрем вздохнул, а затем фыркнул:

— Послушайте, любезный, неужели вы верите этим бредням?

— Как! — воскликнул удивленно Росберг. — Да ведь это все неоспоримые факты, дознанные наукой!

А Крафтштрем в ответ:

— Успокойтесь, пожалуйста. Какие могут быть факты, когда никто еще не бывал на небе, и никто поэтому ничего и знать не может.

Росберг, поняв, что с научной стороны Крафтштрема не прошибешь, зашел с другой стороны.

— Да как же это, ваше превосходительство, — начал он, — стал бы сам государь заботиться о постройке Пулковской обсерватории и отпускать такие громадные суммы, если бы он не был уверен, что астрономы действительно сделали чрезвычайно важные открытия?

— Э, любезнейший, — упрямо заметил Крафтштрем, — разве вы не знаете, что у государей, как и у нас всех, есть свои забавы? У нас небольшие, по средствам. А у царей, не по-нашему, дорогие. Почему же и нашему царю не потешить себя громадной, дорого стоящей обсерваторией.

Таким был Крафтштрем, хотя мог быть порой и хуже. Но как бы то ни было, к Пирогову на первых порах его профессорства Крафтштрем не придирался, иногда даже ставил в пример другим.

Приняв кафедру Мойера, Пирогов становится профессором теоретической, оперативной и клинической хирургии.

Он волнуется, ведь ему всего-навсего двадцать шесть лет.

Одного желанья стать профессором мало. Человек в этой должности становится не только ученым, разрабатывающим то или иное направление, но и учителем, а заодно и руководителем.

На первых порах Пирогова волнует учительство. Быть учителем хирургии дело ответственное. Здесь мало знаний. Здесь нужен талант педагога и опыт преподавания. В то время на кафедры назначались большей частью заслуженные профессора, старые и очень пожилые люди, имеющие богатейший опыт и практики, и преподавания. А молодые, только окончившие курс наук, хотя и стремились на кафедры, часто не оправдывали свое назначение в плане преподавания и постигали эту вторую науку в ходе работы. Да и сама молодость в силу своего максимализма, заносчивости и самолюбия сбивала начинающего ученого с толку, и он начинал заботиться лишь о своей репутации, торопясь приобрести имя и почет лишь только внешне.

Пирогов боялся этого. И постоянно боролся с собственными страстями и слабостями.

«Как самоед я не мог не видеть и не чувствовать, как много мне недостает знания, опытности и самообладания, чтобы быть настоящим наставником хирургии. Я не был так недобросовестлив, чтобы не понимать, какую громадную ответственность пред обществом и пред самим собой

(Бога и Христа у меня тогда не было) принимает на себя тот, кто, получив с дипломом врача некоторое право на жизнь и смерть другого, получает еще и обязанность передавать это право другим...

Но молодость легко устраняет нравственные затруднения и мирит противоречия в себе».

Пирогов стремится определиться во вновь занятой им должности. Не ради оклада он должен ее занимать, ради святой любви к науке. Редко где можно встретить такие образцы ответственности начинающего ученого за доверенное ему дело.

«Мог ли же я, молодой, малоопытный человек, быть настоящим наставником хирургии?! Конечно, нет, и я чувствовал это. Но раз поставленный судьбой на это поприще, я что мог сделать?

Отказаться? Да для этого я был слишком молод, слишком самолюбив и слишком самонадеян. Я избрал другое средство, чтобы приблизиться сколько можно к тому идеалу, который я составил себе об обязанностях профессора хирургии. В бытность мою за границей я достаточно убедился, что научная истина далеко не есть главная цель знаменитых клиницистов и хирургов.

Я убедился достаточно, что нередко принимались меры в знаменитых клинических заведениях не для открытия, а для затемнения научной истины.

Было везде заметно старание продать товар лицом. И это было еще ничего. Но с тем вместе товар худой и недоброкачественный продавался за хороший, и кому? — молодежи — неопытной, незнакомой с делом, но инстинктивно ищущей научной правды.

Видев все это, я положил себе за правило при первом моем вступлении на кафедру ничего не скрывать от моих учеников, и если не сейчас же, то потом и немедля открывать пред ними сделанную мною ошибку, будет ли она в диагнозе или в лечении болезни».

Весной 1836 года состоялась первая лекция молодого русского профессора в Дерптском университете. Поначалу студенты предвзято вели себя с Пироговым. Это их неприязненное отношение усиливалось тем, что он недостаточно совершенно знал немецкий язык. Однако мастерство Пирогова как лектора проявилось сразу же. Читая «Учение о суставах», он все азы демонстрировал на специально приготовленных им препаратах. «Воды» в лекции было мало, плотность мысли сочеталась с необыкновенным знанием предмета, где на первое место выдвигалось изучение практических навыков. И если поначалу студенты шутили над Пироговым из-за его ошибок в произношении тех или иных немецких слов,

то на пятой лекции сидели уже как замороженные. Пирогов покори́л и расположил их желанием передать свои знания и опыт. Всем студентам он разрешил эксперименты над животными и открыл перед ними клиники.

— Большую часть времени старайтесь проводить у постели больного... — постоянно говорил он им и учил чуткости и вниманию к человеческим страданиям.

Почти каждый студент по несколько раз в месяц ассистировал на его операциях. Пирогов, насколько только можно, приблизил учащихся к делу. Вскоре все забыли про его трудности с немецким языком. Пирогов сразу же после первой лекции сказал студентам следующее: «Господа, вы слышите, что я худо говорю по-немецки, по этой причине я, разумеется, не могу быть так ясным, как бы этого желал, почему прошу вас, господа, говорить мне каждый раз после лекции, в чем я был недостаточно вами понят, и я готов повторять и объяснять любые препараты».

Впервые так откровенно и честно обращался учитель к своим ученикам.

В обязанности Пирогова как заведующего кафедрой входило следующее: 1) держать клинику и поликлинику по малой мере 2,5–3 часа в день; 2) читать полный курс теоретической хирургии 1 час в день; 3) оперативную хирургию и упражнения на трупах — 1 час в день; 4) офтальмологию<sup>[70]</sup> и глазную клинику — 1 час в день: итого — 6 часов в день.

Шести часов не хватало. На клинику и поликлинику уходило больше времени, чем полагалось. Расход времени вместо шести доходил до восьми. Кроме этого, Пирогов занимался и научной работой, делал эксперименты над животными, препарировал трупы, оперировал как практикующий врач, писал монографию. Работы было невпроворот. Каждый день расписывался по минутам.

Многие дерптские профессора относились к Пирогову пренебрежительно. Все никак не могли смириться с мыслью, что среди них появился русский. По их мнению, считалось, что русские вообще не могут заниматься наукой. И часто Пирогов слушал, как вослед ему с пренебрежением и злостью несло́сь: «Смотрите, русский пошел. Ишь, как храбрится... В люди, что ли, надумал выбиться?»

Нелегко было слушать Пирогову такие слова. Порой он даже ничего не мог возразить на такие насмешки. Он был один среди сплоченной и единой массы иностранцев. И если часть профессоров, отмечая старание и прилежание Пирогова, постепенно меняла к нему свое отношение, приглашая его на встречи и конференции, однако богословы, многие из

которых были членами университетского совета, по-прежнему были упрямы. Они не то что не здоровались с ним, но и не разговаривали. Не исключено, что Пирогов в такой морально неприятной для него обстановке навряд ли долго продержался бы в Дерпте. Противники могли его выжить буквально через год. Единственной поддержкой в университете был Мойер. Профессора не только его побаивались, но и зависели как от ректора.

С попечителем университета Крафтштремом Пирогов неожиданно поссорился. В одной из студенческих дуэлей был тяжело ранен студент. Кроме раны в груди, у него началось сильное воспаление плевры. Пирогов два дня лечил этого студента. По существующему тогда положению Пирогов обязан был доложить во все инстанции, и в первую очередь попечителю, что оказывает помощь дуэлянту. Увлечшись лечением, он позабыл об этом. Разъяренный Крафтштрем вызвал к себе Пирогова.

— Вы лечили раненного на дуэли?.. — строго спросил он.

— Я, — ответил Пирогов.

— Вы знали, что он был ранен на дуэли?.. — заорал вдруг Крафтштрем.

— Я мог бы вам ответить, что не знал, — как можно спокойнее произнес Пирогов, — так как никто мне не докажет, что я знал; но я не хочу лгать и потому говорю: знал.

Крафтштрем побелел, глаза его налились.

— А когда знали, почему не донесли по закону? Вы будете отвечать... — Он произнес все это по-солдатски браво, с необыкновенным знанием дела. — Учтите, назначается суд, не университетский, а уголовный.

Через некоторое время Пирогов был вызван в суд.

«На суде я сказал то же самое, — вспоминал Пирогов, — что мне никто не докажет, что я знал о дуэли, но я сознаюсь, что знал, а не донес потому, что, во-первых, твердо был уверен в существовании доноса о дуэли и помимо меня, а во-вторых, считал для раненого вредным судебное дознание, неизбежное, если бы я донес при жизни больного, находившегося в опасности; по смерти же я действительно доносил по начальству и приключившейся от грудной раны смерти вследствие воспаления в плевре.

Итак, эта дуэль расстроила меня с Крафтштремом. Мы не кланялись друг другу. Я получил через Совет выговор от министра».

В таком нелегком для себя окружении Пирогов продолжал работать. Работа была единственным спасением. Увлекаясь ею и получая от нее удовлетворение, он забывал все обиды. На основании анатомических и экспериментальных исследований в 1837 году Пирогов издает крупнейшую

по тем временам, а сейчас являющуюся основой современной прикладной анатомии, работу «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций», где он впервые обращает внимание на особенности строения фасций, тонкой соединительной оболочки, покрывающей отдельные мышцы и группы их, а также сосуды, нервы и некоторые органы. Для каждой фасции дает определенную характеристику, указывает на особенности строения этих образований, на их исключительно важное значение как основных ориентиров, учитывая которые хирург в ходе операции проникает в глубину тела и отыскивает нужные ему образования. Кроме этого, Пирогов определил их значение при распространении воспалительного процесса и нагноений в человеческом организме. Гной, сдерживаемый ими, может распространяться в любые, порой самые недоступные участки тела.

Эта работа Пирогова была красочно иллюстрирована. Он нанял на свои деньги художника-рисовальщика, который, в ходе работы одновременно освоив литографию, блестяще выполнил рисунки. Эта работа вышла вначале на латинском и немецком языках, а затем была переведена и на русский. А вскоре она разошлась по всей Европе и принесла молодому профессору заслуженную славу.

В этой работе анатомические факты получили практическое освещение, этим основательно было доказано, что без анатомии хирургия развиваться не может.

«С какой точностью и простотой, — писал он в своей работе, — как рационально и верно можно найти артерию, руководясь положением этих фиброзных<sup>[71]</sup> пластинок (фасций)! Каждым сечением скальпеля разрезается известный слой, и вся операция оканчивается в точно определенный промежуток времени. Сравните же теперь с этим перевязку артерий по грубым эмпирическим<sup>[72]</sup> правилам. Не зная, что он режет, как глубоко проник его скальпель, хирург беспрестанно ощупывает пальцем рану, разрывает соединительную ткань и вытягивает, наконец, артерию, но так, как он не отсепаровал ее (не отделил от близлежащих слоев), то захватывает лигатурой (ниткой) вместе и артерию и фасцию! И, кроме того, скажите, каким иным путем, кроме хода фасций мышечных волокон, можно легче и скорее убедиться в том, что вы ошиблись в месте разреза (а кто только в этом не ошибался!), что вы разрезали слишком много кнутри или кнаружи?

Выходя из таких положений, я счел необходимым приготовить для иллюстрации каждой перевязки два или три рисунка: один представляет



положение фасций относительно артерий; второй и третий — отношение к ним мышц, вен и нервов. Нервы и артериальные ветви, иногда лимфатические железы и фиброзные перемычки — словом, все, что характеризует топографию или иной области, все, что может служить указателем при отыскивании артерий, сохранено на моих препаратах...»

Мойер был рад за своего ученика. О Пирогове неожиданно заговорили как о талантливом русском ученом. Притихли университетские богословы. Но Пирогов не останавливается на достигнутом. Он продолжает работать не покладая рук. Ради научных экспериментов недоедает и недосыпает. Его неимоверному трудолюбию поражаются абсолютно все. «Как бы этот русский не умер от разрыва сердца...» — то и дело слышит он за своей спиной.

Под руководством Пирогова защищает докторскую диссертацию вятич Владимир Афанасьевич Караваев, который учился вместе с ним в Берлине. Диссертация Караваева была посвящена травматическому воспалению вен. Защита проходит успешно. Караваев становится доктором наук.

В 1837 году Пирогов, кроме своей основной работы, издает и первую часть «Анналов<sup>[73]</sup> хирургического отделения клиники Дерптского университета», где с тщательной добросовестностью и в доступной форме, на основании бывших в его жизни случаев, впервые открыто говорит о своих ошибках клинициста:

«Анналы» — своеобразная хроника хирурга-практика, где в сжатой форме Пирогов описывает самые различные истории болезней. Каждый случай сопровождается выводами и размышлениями. «Анналы» Пирогова не простое умиротворенное описание. В этом научно-педагогическом труде нет места ни для лжи, ни для самовосхваления. «Анналы» поражают обнаженной исповедальностью, а порой даже и безжалостностью хирурга к самому себе.

«Я только год состою директором Дерптской хирургической клиники, — пишет Пирогов, — и уже дерзаю происшедшее в этой клинике сообщить врачебной публике. Поэтому книга моя необходимо содержит много незрелого и мало основательного; она полна ошибок, свойственных начинающим практическим хирургам... Несмотря на все это, я счел себя вправе издать ее, потому что у нас недостает сочинений, содержащих откровенную исповедь практического врача и особенно хирурга. Я считаю священною обязанностью добросовестного преподавателя немедленно обнародовать свои ошибки...»

Пирогов приводит случаи, где он слишком поторопился с операцией и тем самым способствовал смерти больного. Каждый описываемый случай

полон врачебного откровения.

«В нашем лечении была совершена только одна ошибка, в которой я хочу чистосердечно признаться. При этом я не заметил, что... глубокая артерия бедра... не была перевязана».

«Больного, описанного в случае 16, я таким образом буквально погубил... Я должен был быть менее тщеславным, и если я уже однажды совершил ошибку, решившись на операцию, то мог хотя бы спасти больному жизнь ценою жертвы конечности».

Очень часто врачебные ошибки умалчивались. А Пирогов взял и неожиданно вынес сор из избы. Поэтому большая часть врачей встретила «Анналы» в штыки. Пирогова открыто ругали и проклинали за откровенное признание своих ошибок.

— Что же это получается... — говорили некоторые. — Теперь, выходит, нас будет каждый смертный критиковать.

Другие же врачи, хотя их и было намного меньше первых, считали, что Пирогов своими «Анналами» предостерегал ученый люд от еще не совершенных ошибок.

Зато студенты встретили «откровения» Пирогова восторженно. Пирогов стал любимцем всех аудиторий. Честность и смелость учителя поразили молодежь. В знак уважения к нему студенты поднесли Пирогову его портрет, под которым он сделал следующую надпись: «Мое сокровеннейшее желание, чтобы мои ученики отнеслись ко мне с критикой; цель моя будет достигнута лишь тогда, когда они будут убеждены, что я действую последовательно; действую ли я правильно, это другое дело, которое выяснится временем и опытом». После чего портрет был помещен в операционной хирургической клиники.

Из университетских профессоров «Анналы» поддержал профессор минералогии<sup>[74]</sup> Морис Энгельгардт. Он открыто выступил в их защиту. А Пирогову сказал:

— Ваши «Анналы» — отличная вещь! Врачебная честность необходима как воздух. Только она может спасти нас, образумить и снять гордыню.

Эпиграфом к «Анналам» Пирогов поставил слова Руссо<sup>[75]</sup>: «Пусть труба страшного суда зазвучит, когда ей угодно, — я предстану перед высшим судьей с этой книгой в руках. Я громко скажу: вот что я делал, что думал, чем был!»

Впоследствии Пирогов выпустил вторую часть «Анналов». В целом он описал в них опыт работы клиники за период 1836–1839 годов. Кроме

клинических случаев, в «Анналах» были описаны операции, которые он производил и вне ее, ибо, кроме Дерпта, он очень много оперировал в близлежащих городах и селениях. В его же дерптской клинике было всего двадцать две койки.

«Анналы» подействовали на Крафтштрема. Прочитав их, он вновь начал относиться к Пирогову с уважением. И в разговорах с влиятельными людьми хвалил его за правду и не лицемерие.

В Дерптском университете существовал специальный фонд для поездок ученых за границу. Пирогов был наслышан об известных французских хирургах Вельпо, Амюссе, Ларрейе, Бландере и многих других. Французская хирургическая школа была у всех на устах. Привлекала она и Пирогова. Спросившись разрешения у Мойера на поездку и получив от него согласие, он отправляется за счет университетских средств на четыре месяца в Париж. Главная цель поездки — осмотр французских госпиталей и ознакомление с состоянием хирургии и анатомии. И если там что покажется Пирогову очень нужным и полезным, он обязан перенять и доложить об этом на университетском совете.

Тринадцать суток добирался Пирогов до Парижа. Приехав, сразу же кинулся осматривать город. Дворцы и магазины его интересовали мало. Посетив первые попавшиеся госпитали, он удивляется их серости, мрачности, духоте в палатах. К своему разочарованию, узнает, что смертность в них очень высокая.

Пирогов жаждет увидеть знаменитого хирурга Вельпо, автора многих трудов по хирургии, анатомии и акушерству, члена Парижской медицинской академии и почетного члена Петербургской медико-хирургической академии.

С трепетом Пирогов вошел в кабинет великого ученого. Вельпо, читавший какую-то книгу за широким столом у окна, встал. Поправив очки, посмотрел на вошедшего. Пирогов, сняв головной убор, поклонился.

— Кто вы такой?.. — тихо спросил Вельпо. Серые волосы его были аккуратно расчесаны. Белоснежная рубашка, особенно ворот ее, искрились на солнце, он, видно, только что ее надел.

— Я русский, уважаемый господин академик, — ответил бойко Пирогов. — Прибыл к вам из Дерпта за знаниями...

— Из Дерпта... — удивился Вельпо. — Русский... вот так штука... — и пригласил Пирогова к столу. — Ну что же вы стоите, садитесь.

И, закрыв окно, тут же присел сам.

— Очень рад... — улыбнулся он. — Признателен, что дерптцы меня не забывают... — Затеям вдруг как-то напрягся и, внимательно посмотрев на Пирогова, сказал: — Кстати, у вас в Дерпте есть интересный профессор, мистер Пирогов. Случайно незнакомы вы с ним?

— Это я и есть, Пирогов... — ответил Пирогов.

— Вот так штука!.. — воскликнул Вельпо. — Совершенно верно, он русский... — Ив каком-то восторге, хлопнув руками, добавил: — Если бы вы знали, как я счастлив видеть вас. — И Вельпо показал Пирогову книгу, которую он читал. Это была «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фиброзных фасций».

— Замечательная книга, второй день ее читаю. Как превосходно все написано. При встрече я обязательно доложу вашему государю... Ваше учение о фасциях перевернуло всю хирургию. Фасции все опутывают, они как капсулы, они есть почти во всех органах. Это здорово! Вы на правильном пути. Я рад за вас! Я поздравляю вас! Подумать только, сам мистер Пирогов сидит у меня! Мне так хорошо! Если бы вы знали, как я счастлив...

И Вельпо в этот же день познакомил Пирогова с профессором Томсоном, англичанином, из-за участия в революционном движении английских рабочих он скрывался в Париже. Но главным было не это. Томсон был одним из самых известных специалистов по фасциям, у него даже кличка была «Фасция Том». Пирогову он рассказал много нового о фасциях, а главное, показал секреты исследования фасций на изготовленных им самим препаратах.

Вельпо свел Пирогова и с известным хирургом и анатомом Амюсса. В домашних условиях тот начал читать Пирогову свои лекции о мочевыводящих путях. Но Пирогову слушать их было трудно, он любил, чтобы слова подтверждались делами. Кроме всего, Амюсса начал доказывать ему, что направление мочевого канала у мужчин строго прямое. Пирогов заявил ему, что он не прав, и привел данные своих экспериментов на замороженных трупах. Возник спор.

«...Я предложил ему состязание на следующей лекции, для которой я взялся и изготовить препараты, которые должны доказать справедливость моего убеждения. Я и притащил на следующую лекцию разрезы таза, которыми я доказывал ему нелепость его воззрений на отношение мочевого канала к предстательной железе<sup>[76]</sup>.

Конечно, Амюсса, несмотря на всю наглядность моих доказательств, не соглашался. Люди, а особенно ученые и еще особенно тщеславные французы, с предвзятым мнением никогда не признаются в ошибках и

заблуждениях. Но для меня довольно было того, что я видел, как нов был для Амюсса мой способ исследования. Я доволен был еще и тем, что остальная часть присутствовавших на этом состязании молодых врачей не была на стороне его».

Пирогов ехал в Париж, чтобы удивиться хирургическим новшествам. А оказалось, что не Франция его удивляет, а он Францию. Разочаровало Пирогова и преподавание на медицинских факультетах. Лекции профессоров состояли из одной говорильни, а некоторые доходили даже до того, что анатомию читали не в анатомическом зале, а у камина за кружкой чая. Ни одну из таких лекции Пирогов до конца так и не дослушал, он уходил с них раньше времени. Такую лекционную «тепличность», насыщенность теорией, а не практикой, Пирогов считал-отсталостью.

Об этом он не раз говорил французским профессорам, но они его не слушали. Иногда, правда, Амюсса проводил занятия по выделению вен на бойне. Прочитав лекцию, сам опыты не делал, а поручал ассистенту. Эту бойню называли «живодерней». Почти все иностранцы-врачи, приезжавшие в Париж, посещали ее. Здесь Пирогов познакомился с молодыми американскими врачами, жадно старающимися все впитать в себя.

«И вот, чтобы воспользоваться редким у нас случаем вивисекции, на больных животных, я и несколько молодых американских врачей устроили между собой маленькое общество с тем, чтобы производить вивисекции в живодерне на общий счет».

Американцы удивили смелостью и бойкостью своего характера. Однако Пирогову не понравилась их чрезмерная гордость и высокомерие.

В один из дней Амюсса познакомил Пирогова; с патриархом французской и мировой хирургии Жан-Доминик Ларрейем. Когда Пирогов родился, этому человеку было сорок четыре года. В детстве он видел его только на картинках. Его портрет висел и в пансионе Кряжева, и в Московском университете. В то время не было знаменитее хирурга, чем Ларрей. Он был не только крупнейшим деятелем военно-полевой хирургии, но и бессменным спутником Наполеона, участником всех наполеоновских войн. Вместе с Наполеоном Ларрей проделал весь путь до Москвы и обратно. Даже в эпоху «Ста дней», когда император 1 марта 1815 года, бежав с острова Эльба, вновь захватил власть, великий хирург был рядом с ним. В знаменитой битве 18 июня 1815 года при Ватерлоо, где Наполеон был полностью разбит, Ларрей получил ранение и попал в плен. Все знали, что он являлся лечащим врачом Наполеона, поэтому его тут же без суда и следствия, заточив в тюрьму, приговорили к расстрелу. И лишь ходатайство

влиятельных лиц спасло его от неминуемой смерти. Очень добрый, отзывчивый и незлопамятный, старик Ларрей активно работал в клиниках и преподавал.

Семидесятидвухлетний хирург крепко пожал руку Пирогову и, улыбнувшись, на корявом русском языке сказал:

— Рад, что вы не побрезговали мною и посетили меня. Я люблю гостей, тем более из России... — И, подведя Пирогова к увешанному самыми различными наградами мундиру, с горечью произнес: — Вот этот крест я получил за Аустерлиц.

Затем Ларрей, помолчав, добавил:

— Сколько крови было, ну просто ужас. В первую же ночь после Бородинской битвы я сделал двести ампутаций. А утром, когда, обессиленный, вышел из шалаша, страшный ужас предстал перед моими глазами. Вся земля была запружена трупами, а вода окрасилась кровью. Безногие, безрукие из последних сил ползут к лазарету, то и дело крича: «Барон Ларрей, помогите!...»

Ларрей вздохнул, а затем, посмотрев на Пирогова, с каким-то оправданием произнес:

— Я врач, и моя обязанность выполнять долг... Я лечил людей как мог. И многих я спас... И если вы вдруг, не приведи, конечно, бог, когда-нибудь окажетесь на войне, то всегда старайтесь максимально приблизиться к полю боя. Прямо тут же, недалеко от траншей, и производите операции, оказывайте помощь...

Пирогов внимательно слушал основоположника военно-полевой хирургии, прозванного во Франции «королем военной хирургии».

— Только за эту приближенность к полю боя меня любил и ценил Наполеон. Утром он, бывало, только встанет и первым долгом у приближенных спрашивает: «Господа, а барон Ларрей еще жив?»

Чем раньше вы окажете помощь раненому, тем лучше и для него и для вас. Меньше осложнений, кровопотери... Мою раннюю ампутацию на поле боя поддержали все английские хирурги. А передвижные лазареты это просто прелесть. Я приближался с ними к полю боя вплотную. Конечно, рисковал, мог быть убитым или взятым в плен. Не это было главным. Я хотя и был врачом, но представлял себя солдатом, который всегда должен быть впереди. Солдаты, зная, что я нахожусь за их спиной, приободрялись. Ох, как же я рисковал, трудно себе даже представить. Один раз чуть было кавалеристы всего не изрубили. А сколько ядер падало... Но вот, как бы то ни было, я, слава Богу, жив остался, и вы меня навестили... — И Ларрей засмеялся. А затем вдруг слезы появились на его глазах. — Один вот

доживаю... — сказал он и, прощаясь с Пироговым, добавил: — А русских я уважаю, очень добрый народ.

Ларрей обнял Пирогова. Почему-то с первых минут они чем-то понравились друг другу. То ли общностью взглядов, то ли уважением к истории. Эту встречу со стариком Ларреем Пирогов запомнил на всю жизнь. Великий военный хирург напутствовал его на большие дела. В целом же поездка во Францию Пирогову дала мало пользы. Почти все достижения французской хирургии были ему известны. И многие он уже испытал на практике.

Во время профессорства в Дерпте Пирогов побывал в Риге и Ревеле, а также съездил в Москву к матери для оказания ей необходимой материальной помощи.

Больше всего ему понравился Ревель (Таллинн). В этом культурном морском городке Пирогов отдыхал и телом и душой. В Ревеле жил его хороший приятель по университету доктор Эренбуш. Вместе с ним Пирогов проводил время в его загородном доме, где порой собирались интересные личности, приезжавшие на отдых из Петербурга. Здесь Пирогов познакомился с известной русской графиней и поэтессой Евдокией Петровной Ростопчиной. Свою встречу с Пушкиным она описала в своем знаменитом стихотворении «Две встречи».

— Это было в 1826 году, на гулянье в Подновинском... — восторженно начала рассказывать Ростопчина Пирогову. — Он как вошел в залу, я так и обомлела. Два раза я посылала ему свои стихи. И он не ответил мне. А тут вдруг первым долгом подошел ко мне и говорит: «Графиня, мне нравится ваша метафоричность...» — и руку так нежно-нежно поцеловал.

Ростопчина на некоторое время умолкла, затем, собравшись с духом, произнесла:

— Ну а теперь слушайте строки, которые я в знак благодарности посвятила ему.

*Вдруг все стеснилось, и с волненьем,  
Одним стремительным движеньем  
Толпа рванулася вперед...  
И мне сказали: «Он идет!  
Он, наш поэт, он, наша слава,  
Любимец общий!» Величавый,  
В своей особе небольшой,*

*Но смелый, ловкий и живой...*

— Нравится?.. — закончив читать, спросила она Пирогова.

— Очень!.. — ответил он графине. Обладая нежным, пластичным голосом, графиня своим мастерским чтением поражала абсолютно всех.

— Ну а вы сейчас чем занимаетесь?.. — неожиданно спросила она Пирогова.

— Пишу научную работу... — И Пирогов запнулся. — Вам хирургия, видно, мало интересна?

— Нет, нет, что вы, говорите... — попросила его графиня. И, на некоторое время смутившись ее взгляда, он продолжил:

— Моя работа касается перерезки ахиллова сухожилия... Постоянно приходится экспериментировать, делать опыты. И я думаю, что добьюсь своего...

— Как все здорово!.. — засмеялась графиня. — Ахилл и его ахиллесова пята... Вы сделаете новое открытие и тем самым облегчите страдания людей, исцелите их, продлите жизнь. Вы не представляете себе, как это здорово! И как необходимо!

Здесь, у Ростопчиной, Пирогов познакомился с одним из самых близких друзей Пушкина, князем, известным поэтом и критиком Петром Андреевичем Вяземским. Он приходил к Ростопчиной с известным офицером, участником войны 1812 года Федором Ивановичем Толстым, страстным балагуром и шутником, который дважды был разжалован в солдаты. За свои авантюрные похождения на Камчатке и среди населения Алеутских островов получил прозвище «Американец». Грибоедов запечатлел его образ в своей комедии «Горе от ума». Толстого прекрасно знал Пушкин и не раз ссорился с ним. Толстой был в высшей степени весельчак. Он принимал непосредственное участие в сватовстве Пушкина к Наталии Николаевне Гончаровой. Он же по воле Пушкина под именем Зарецкого попал в роман «Евгений Онегин».

Особенно большое впечатление на Пирогова произвел князь Вяземский, который был очень эрудированным и культурным человеком. А смелостью его Пирогов был просто удивлен. Вяземский в своих стихах открыто критиковал самодержавие и крепостное право. В 1820 году он подписался под запиской об освобождении крестьян, поданной Александру I. Пирогов любил Вяземского и по несколько раз перечитывал его едкие эпиграммы и басни. А многие строки из оды «Негодование» знал наизусть.

В начале войны 1812 года Вяземский поступил в военное ополчение и



участвовал в Бородинском сражении. Еще в юности читал Пирогов его стихи о событиях 1812 года. В то время они были у всех на устах. Вяземский происходил из древнего княжеского рода и обладал большим состоянием. Его знало и любило все высшее общество. Разочаровавшись в политике императора, он сблизился с оппозиционными кругами.

— Ну, как вам нравится Ревель?.. — спросил Пирогова Вяземский.

— Очень... — ответил тот.

— А мне вот нет... — вздохнул Вяземский. — Мне Русь мила, и приезжаю я сюда лишь для того, чтобы хоть немного развеяться...

— Неправда... — вмешался в разговор Толстой. — Ты здесь не развеиваешься, а прячешься от тайного полицейского надзора. После твоей последней басни министр внутренних дел чуть было не повесился... — И Толстой прочитал Пирогову стихи Пушкина, посвященные Вяземскому.

*Язвительный поэт, остряк замысловатый,  
И блеском колких слов, и шутками богатый,  
Счастливый Вяземский, завидую тебе,  
Ты право получил, благодаря судьбе,  
Смеяться весело над злобою ревнивой,  
Невежество разить анафемой игривой.*

В последние месяцы жизни Пушкина Вяземский был рядом с ним. Он присутствовал также и при его кончике. Свою скорбь к великому поэту он выразил в стихотворении 1837 года «На память».

*...скорбь моя превыше сил моих,  
И, верный памятник сердечных слез и стона,  
Вам затвердит одно рыдающий мой стих:  
Что яркая звезда с родного небосклона  
Внезапно сорвана средь бури роковой,  
Что песни лучшие поэзии родной  
Внезапно замерли на лире онемелой...  
Что навсегда умолк любимый наш поэт,  
Что скорбь постигла нас, что Пушкина уж нет!*

Вяземский интересовался у Пирогова настроением студентов, условиями их жизни. Осуждал засилье неметчины в российских

университетах. А в одной из откровенных бесед сказал:

— Если бы я не стал поэтом, то обязательно стал хирургом. Настроил больниц и лечил бы только бедных. Ведь вы сами небось прекрасно знаете, сколько у нас мучается народа.

16 октября 1840 года работа Н. И. Пирогова «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фиброзных фасций» (1837–1838 гг.) была представлена в Петербургскую Академию наук на соискание Демидовской премии. В то время это была одна из самых почетных научных наград, присуждаемая Петербургской Академией наук, в которую в 1841 году в качестве второго отделения присоединилась Российская Академия, существовавшая с 1783 года. Фонд премии создали известные всему миру русские горнозаводчики и землевладельцы Демидовы. Выпускаемое ими русское железо с уральской маркой «Старый соболь» превосходило европейское. В 1828 году после смерти Н. Н. Демидова оставшиеся огромные богатства, с которыми не могли тягаться знаменитейшие европейские монархи, достались его сыновьям — Павлу (1798–1840 гг.) и Анатолию (1812–1870 гг.). В апреле 1831 года Павел Николаевич Демидов учредил ежегодные премии, цель которых была «содействовать к преуспеянию наук, словесности и промышленности в своем отечестве». По завещанию учредителя (1840 г.) деньги на премии выделялись в течение 25 лет. Ежегодно в академию переводились по 20 000 рублей «на награды за лучшие по разным частям сочинения в России». На полные премии выделялось 5000 рублей ассигнациями (1428 рублей серебром), на половинные — 2500 (714 рублей серебром). Кроме Демидовских премий, были и другие премии, например, Уваровские (с 1857 г.), но Демидовские были самые почетные.

По «Положению о наградах, учрежденных П. Н. Демидовым», их решено было присуждать Академии наук «как первому ученому сословию в государстве».

Представленная на премию работа Пирогова была отправлена на рецензию академикам П. А. Загорскому, Ф. Ф. Брандту и К. М. Бэру. В своем заключении они единогласно отметили, что исследования Пирогова «по всей справедливости поставляют труд его наряду с лучшими произведениями новейшей хирургической литературы». В 1841 году «Хирургическая анатомия» Пирогова получила Демидовскую премию. Забегая вперед, следует отметить, что научные открытия великого хирурга были отмечены рекордным числом Демидовских премий: три полные и одна половинная. Такого количества премий за все время их существования

не достаивался ни один ученый.

Весь Дерпт поздравлял молодого ученого с премией. А он, не останавливаясь на достигнутом, в этом же году публикует новую работу «О перевязке ахиллова сухожилия в качестве оперативно-ортопедического <sup>[77]</sup> лечебного средства», которая по актуальности и значению не уступала первой. Пирогов предлагает свой метод лечения косолапости <sup>[78]</sup>, объясняя при этом роль экстракта выделяющегося при разрезе ахиллова сухожилия. Он впервые доказывает, что ахиллово сухожилие окружено не одним сухожильным влагалищем, а двумя, из которых первое, внутреннее, примыкающее к сухожилию, а второе, наружное, образовано собственной фасцией голени. Сгусток крови, появляющийся при разрезе сухожилия и окружающих тканей, проникнув во влагалище, тут же раздражает его, возбуждая тем самым деятельный пластический процесс.

Эта работа Пирогова, относящаяся к важному разделу хирургической патологии — учению о восстановлении тканей, вошла в золотой фонд хирургической мысли.

Анализ многочисленных экспериментов, критический разбор литературы, посвященный рассечениям сухожилий и искривлениям стопы, а также подробный разбор клинических фактов позволили Пирогову правильно понять механизм действия рассечения. После основательного изучения его Пирогов разрабатывает свой план лечения больных, у которых рассечено сухожилие по поводу косолапости.

На протяжении четырех лет Пирогов проводил опыты на животных, одновременно совершенствуя технику операции на трупах и тщательно изучая в клинике результаты вмешательств, произведенных на больных. Для работы им было использовано более восьмидесяти разнообразных экспериментов на животных различных видов, в основном это были собаки, овцы, телята и жеребята. Кроме этого, сюда включался и опыт нескольких сот операций на трупах и на животных, наблюдения над сорока больными, у которых Пирогов произвел ахиллотомию (то есть рассечение сухожилия) в клинике. Только через практику можно прийти к тому или иному выводу, так считал молодой ученый.

Во введении к своей монографии Пирогов писал: «Быть может, некоторым практическим врачам покажется все же излишним много говорить о механизме действия лечебного средства, если все убеждены в хороших и надежных результатах этого действия. Я считаю, однако, что операция лишь тогда может рассматриваться как действительное приобретение для науки, когда теория этой операции прочно обоснована

опытами, анатомо-физиологическими и патологоанатомическими исследованиями; Поэтому к важнейшим задачам настоящей работы относится разработка теории тенотомии (рассечения сухожилия. — *Прим, авт.*); однако именно в этом вопросе я должен был выступить не только как беспристрастный исследователь, но и как критик. Взгляды ученых, которых я считаю превосходными врачами и уважаю, во многих отношениях слишком резко противоречат моим опытам; я предпочел бы обойти молчанием теневые стороны их сочинений. Но так как авторитет этих ученых в медицинском мире и особенно среди начинающих врачей слишком высок, я счел своим долгом выявить и опровергнуть те их взгляды, которые я признаю ошибочными.

Теория тенотомии не только проливает яркий свет на природу и лечение косолапости, но с ней связана и теория другого, не менее значительного страдания — разрыва сухожилий. В то же время теория тенотомии раскрывает истинное значение того средства, которое либо слишком превозносилось, либо совершенно вычеркивалось из анналов оперативной хирургии, — я имею в виду шов сухожилий».

В этом предисловии, как и во всей последующей работе, Пирогов остается верен своим «Анналам» дерптской клиники. Он подвергает критике труды уважаемых ученых и доказывает их неправоту. Честность для Пирогова в науке превыше всего. Эта вторая крупная научная работа была с интересом воспринята всеми хирургами Европы. В течение пяти лет профессуры в Дерпте Пирогов издал:

1. Хирургическую анатомию артериальных стволов и фасций (на латинском и немецком).
2. Два тома клинических «Анналов» (на немецком).
3. Монографию о перерезании ахиллесова сухожилия (на немецком).

Кроме этого, он подготовил материалы для диссертаций, которые были защищены в Дерпте под его непосредственным руководством по следующим темам:

1. О скручивании артерий.
2. О ранах кишок.
3. О пересаживании животных тканей в серозные полости.
4. О вхождении воздуха в венозную систему.
5. Об ушибах и ранах головы.

Перечень проделанной Пироговым работы говорит о его необыкновенном трудолюбии. А о значении этих работ даже и говорить не приходится. Они были в авангарде медицинской науки того времени.

Мойер, наставник и учитель Пирогова по Дерпту, неожиданно оставляет ректорство и уходит на покой. Вскоре он вообще покидает Дерпт и перебирается на постоянное местожительство в свое личное имение в Орловской области. Пирогов остается в Дерпте один. Неожиданно в самом конце 1839 года он получает письмо от профессора Медико-хирургической академии К. К. Зейдлица из Петербурга, в котором тот приглашал его занять освободившуюся кафедру хирургии. Зейдлиц окончил Дерптский университет и некоторое время работал ассистентом Мойера. Карл Карлович Зейдлиц прославился описанием первой холеры в Астрахани. Затем он издал интересную монографию о воспалении околосердечной сумки, возникающем в результате недостатка в человеческом организме витамина С. Зейдлиц первый в России применил при обследовании больного перкуссию<sup>[79]</sup> и аускультацию<sup>[80]</sup>. Однако Зейдлиц никогда бы не смог пригласить Пирогова в Петербург, если бы сам он не попал в академию совершенно случайно. Хотя он и был профессором, но исполнял не особо важную должность главного доктора Морского госпиталя. Он считался «воякой», так как участвовал в русско-турецкой войне с 1828 по 1829 год в качестве старшего врача второй армии. Неожиданному назначению его профессором терапевтической клиники Петербургской медико-хирургической академии помог следующий, можно сказать, невероятный и непредсказуемый казус, случившийся в стенах академии.

10 сентября 1838 года студент-фармацевт из поляков Иван Сочинский из-за провала на экзамене, доведенный до отчаянья профессором химии Нечаевым и принявший предварительно яд (по другой версии — напившись коньяка), ворвался в зал заседаний конференции Медико-хирургической академии и, пытаясь нанести профессору Нечаеву удар перочинным ножом, ранил в живот вступившегося за него профессора Калинского. Сочинский был тут же схвачен. Узнав об этом, Николай I возмутился. Академия моментально, буквально на следующий день, была передана в руки новому попечителю, генералу Клейнмихелю, бывшему адъютанту и сподвижнику Аракчеева. В первом же своем обращении к студентам разъяренный попечитель-солдафон пообещал им военную дисциплину и надзор.

Следствие и суд постановили в качестве наказания Сочинского трижды прогнать его сквозь строй в пятьсот шпичрутен<sup>[81]</sup>. Это нечеловеческое наказание было равносильно смерти. Все студенты должны были присутствовать при этом. Их согнали на огромный плац. Солдаты, все какие-то черные и страшно равнодушные, держа в руках длинные прутья,

построились в две шеренги. Когда во двор въехал на белом коне Клейнмихель, заиграла флейта и трое солдат браво ударили в барабаны.

Солдаты, все так же стоя двумя рядами друг против друга, вытянулись в струнку. К генералу Клейнмихелю подбежал полковник и, нервно дергаясь, что-то торопливо доложил. «Только не мазать...» — донесся голос Клейнмихеля, и, соглашающе кивнув полковнику, он снял белые перчатки. Барабаны затарахтели пуще прежнего. И флейта, завизжав вдруг немилосердно громко, усилила и без того нагнетенный обстановкой страх. Наконец появился во дворе Сочинский. Оголенный по пояс, он был привязан ремнями-кандалами к ружьям двух солдат, идущих впереди него. Когда те подвели его к строю, он вдруг дернулся и, глянув в сторону Клейнмихеля, прокричал:

— Ваше высокопревосходительство, я не виноват. Нечаев ненавидел меня, издевался... Обещал выгнать. Понимаете вы, не утерпе-е-ел-с...

Клейнмихель, не слушая его, прокричал:

— Подать шпицрутенгов!

А вслед за ним и полковник, натянув на глаза фуражку, передал приказ солдатам:

— Подать шпицрутенгов!

— Ваше высокопревосходительство, что вы делаете?.. — нечеловеческим голосом заорал Сочинский, разом весь как-то побелев. — Я не виноват-с!

Один из солдат, закричав на него, замахнулся палкой. Студенты в страхе замерли. Флейта засвистела. Клейнмихель, радостный и не в меру разругавшийся, пристально смотрел на оголенную спину Сочинского.

Солдаты потянули на себя ружья, и Сочинский оказался между двумя черными рядами.

— Я не виноват-с. Уважьте сиротку, всю жизнь ведь... — закричал он.

На спину и плечи студента со всех сторон посыпался град ударов. Он извивался и дергался от боли, из последних сил что-то несвязно хрипя. Позади солдат стоял полковник. Если кто промахивался, он кричал:

— Не мазать!

Многие студенты, не выдерживая такого ужаса, попадали в обморок. Почти у всех на глазах были слезы. Вот как описывает один из свидетелей избиения смерть Сочинского:

«...Когда он упал, будучи не в силах больше идти под ударами палок, его положили на телегу и возили перед строем, продолжавшим наносить удары. Со многими из присутствующих делались обмороки. У несчастного Сочинского, умершего под ударами, оказались пробиты межреберные

мышцы до самой грудной плевры, которая была видна и в некоторых местах разрушена до легкого».

Такую вот произвел расправу над студентом Клейнмихель, согласовав ее с Николаем I. Сочинский был убит, а профессор химии Нечаев награжден орденом.

Ни о каком свободомыслии при Клейнмихеле не могло быть даже и речи. В некоторой степени поступок Сочинского требовал наказания, но, конечно, не такого, какое было устроено ему генералом.

Клейнмихель, стремясь поскорее навести порядок в академии, начал производить и чистку профессоров. Поговаривали, что главный инспектор академии, баронет Виллье, самолично разобравшись с делом Сочинского, отметил, что и профессор химии в некоторой степени был виновен в развитии конфликта. Однако дело его вскоре заглохло.

Коалиция немецких профессоров, собравшаяся было засесть в академии на многие лета, стала трещать по швам. Клейнмихель начал чистку преподавательского состава.

«Он намеренно захотел внести новый, — вспоминал Пирогов, — и прежде неизвестный элемент в состав профессоров академии и заместить все вакантные места профессорами, получившими образование в университетах.

Подсказал ли кто Клейнмихелю эту мысль, или она сама, как Минерва из головы Юпитера, вышла в полном вооружении из головы могущественного визиря, — это осталось мне неизвестным. Только в скором времени в конференции вместо одного профессора, получившего университетское образование, явилось целых восемь, и это я считаю важной заслугой Клейнмихеля».

На фоне этого профессорского обновления и попал Зейдлиц в академию на кафедру терапии.

Вслед за новым попечителем в академию пришел и новый президент, назначенный самим государем, И. Б. Шлегель, занимавший до этого пост главного доктора Московского военного госпиталя. Профессор Буш, вице-президент академии, возраст которого уже приближался к семидесяти годам, неожиданно вышел в отставку, освободив одновременно кафедру хирургии, которую занимал много лет.

Именно на место Буша и приглашал Зейдлиц Пирогова. Приглашение было очень солидным и почетным. Но только не для Пирогова, потому что кафедра хирургии в академии была без хирургической клиники, без практики и больных. Пирогов не представлял жизни без лечебного процесса и без больных. Хирургическая клиника была при академии, но

существовала от кафедры отдельно, и заведовал ею профессор Саломон, не собиравшийся уходить со своего поста.

Основательно обдумав приглашение Зейдлица, Пирогов отказывается от него и неожиданно предлагает создать в академии новую кафедру госпитальной хирургии, которую бы он с удовольствием возглавил. Зейдлиц одобряет предложение Пирогова и обещает похлопотать о нем перед Клейнмихелем. В своем проекте Пирогов доказывает, что хирургия как наука без клиники и без практики развиваться не может.

«Молодые врачи, — говорит Пирогов в своем проекте, — выходящие из наших учебных учреждений, почти совсем не имеют практического медицинского образования, так как наши клиники обязаны давать им только главные, основные понятия о распознавании, ходе и лечении болезней. Поэтому наши молодые врачи, вступая на службу и делаясь самостоятельными, при постели больных, в больницах, военных лазаретах и частной практике не приносят ожидаемой от них пользы и не достигают цели своего назначения. Имея в виду устранить этот важный пробел в наших учебно-медицинских учреждениях, я и предлагаю сверх обыкновенных клиник учредить еще и госпитальные.

Для казенноштатных воспитанников, поступающих потом на военную службу, учреждение госпитальной клиники я считаю совершенно необходимым».

И далее Пирогов объясняет, как практически он собирается осуществить свой проект.

«В С.-Петербургской медико-хирургической академии я видел возможность тотчас же приступить к этому нововведению, так как при академии, почти в одной и той же местности, находится 2-й военно-сухопутный госпиталь, и оба заведения — и Медико-хирургическая академия, и 2-й военно-сухопутный госпиталь — принадлежат одному и тому же военному ведомству. Весь госпиталь с его 2000 кроватями мог бы, таким образом, обратиться в госпитальные клиники...»

Пирогов обращается к Клейнмихелю с личным письмом-призывом. Оно полно боли и переживаний за свой любимый предмет. В нем он также излагает и свой взгляд на преподавание хирургии.

«Ничто так не может способствовать к распространению медицинских и особливо хирургических сведений между учащимися, как прикладное направление в преподавании; с другой стороны, ничто не может так продвинуть науку вперед, как средство единственно положительное — госпиталь. Только в госпитале могут быть отделены шарлатанизм, обман, слепой предрассудок от истины, составляющей основу науки: это видим мы



особливо в наше время, когда беспристрастный наблюдатель с прискорбием замечает, что вместе с высокими открытиями и блестящими изобретениями в их науке корыстолюбие, ложная слава и все низкие страсти как будто нарочно соединились для того, чтобы заградить и без того узкую тропу к истине. Нам в нашем отечестве... предстоит великое назначение — сохранить науку для человечества».

Проект Пирогова был прогрессивен. Он улучшал постановку не только лечебного дела, но и подготовку студентов-медиков. В конце проекта Пирогов добавил, что он будет также заниматься со слушателями патологической анатомией и готов создать в госпитале анатомико-патологическое и анатомико-хирургическое «собрание».

По настоятельной просьбе Зейдлица конференция академии на своем внеочередном заседании внимательно рассматривает проект Пирогова и в своем послании к попечителю Клейнмихелю пишет, что «она вполне разделяет мнение г. Пирогова, что учреждение новой кафедры при академии для преподавания патологической и хирургической анатомии и для руководства студентов 5-го класса в госпитальной хирургии, равно и умножение анатомико-патологического и анатомико-хирургического собрания, принесет обучающимся в здешней академии величайшую пользу».

И происходит чудо. Клейнмихель, ярый аракчеевец и солдафон, принимает проект Пирогова, несмотря на критику его со стороны некоторой части немецких профессоров.

Однако дело этим не кончается, Дерптский университет, в котором Пирогов занимал профессорскую кафедру, относился к министерству просвещения, а Медико-хирургическая академия — к военному министерству. Между ними неожиданно начинается тяжба. Министр просвещения Уваров отказал военному министру, графу Чернышеву в переводе Пирогова в Петербург. Между министерствами началась переписка, и каждое было по-своему право. По существующему тогда положению, Пирогов обязан был отработать за полученную в годы учения стипендию в системе народного просвещения двенадцать лет.

Когда Клейнмихель вместе с президентом академии Шлегелем обратились по поводу перевода Пирогова лично к Уварову, тот накричал на них и громогласно заявил, что ни о каком переводе не может быть и речи. Узнав об этом, граф Чернышев пообещал пожаловаться на грубость Уварова, тогда еще не имеющего графского титула, самому государю. Но почему-то не пожаловался. И решение судьбы Пирогова неожиданно затянулось.

Приближались рождественские каникулы. Пирогов решает использовать их для поездки в Москву к матери. По пути он заезжает в Петербург. Хочется узнать, как продвигаются его дела. В день приезда он идет на прием к президенту академии Шлегелю.

«Как бы рано кто ни приходил к Шлегелю, всегда находил его в военном мундире, застегнутом на все пуговицы, с Владимиром на шее. В таком наряде и я застал его. Он и подействовал на меня всего более своей чисто внешней оригинальностью, военной выправкой, аккуратной прической волос, еще мало поседевших, огромным носом и глазами, более наблюдавшими, чем говорившими.

Шлегель был довольно сдержан со мной и посоветовал представиться Клейнмихелю, что я и сделал. Клейнмихель был очень любезен со мной, уже слишком, что к нему не шло; сквозь ласковую улыбку на лице оловянные глаза так и говорили смотрящему на них: «Ты, мол, смотри, да помни, не забывайся!»

Клейнмихель пригласил меня к себе в кабинет, посадил и очень хвалил мой проект».

Ничего конкретного о своем переводе Пирогов у Клейнмихеля не узнал. Попечитель посоветовал ему ждать и надеяться. Тогда Пирогов обратился за разъяснением своего положения к доверенному лицу Уварова, Ивану Трофимовичу Спасскому, с которым подружился еще до своего назначения в Дерпт.

Спасский, чтобы не расстраивать Пирогова, ничего ему не сказал о скандале, возникшем между двумя министерствами, хотя и намекнул, что Уваров не желает оголять кафедру в Дерпте.

— Но ведь я нашел себе замену... — сказал Пирогов. — Он прекрасно об этом знает. Да и совет университета будет очень рад, если я покину Дерпт.

— Его сиятельство много хорошего о вас говорил... — как-то немножко наигранно произнес Спасский. — Он очень уважает энергичных хирургов.

— А я уважаю его... — произнес Пирогов и, вздохнув, добавил: — Однако с собой ничего не могу поделаться. Двадцати двух коек в Дерпте мне не хватает, мне нужен объем работы, клиника минимум мест на шестьсот. Я предложил проект. Я живу им. Мало того, военное министерство утвердило его. Академия ждет меня...

— Извините... — ласково произнес Спасский, — я бы рад был помочь, но я ведь не Уваров... — И, вновь улыбнувшись, спросил Пирогова: — Да,

кстати, когда вы отправляетесь в Москву?

— Завтра...

— Ну вот и отлично... — И Спасский обнял Пирогова. — Главное, не расстраивайтесь и ждите... А сейчас я очень вас прошу по пути заехать в Тульскую губернию к одному богатому помещику, приятелю директора департамента Министерства народного просвещения. Его внучке надо сделать какую-то операцию. Заодно передайте и от меня привет. Но самое главное, постарайтесь... Если директор департамента присоединится к графу Чернышеву я думаю, они победят Уварова.

Побыв в Москве десять дней, Пирогов отправился в Тульскую губернию к столбовому помещику<sup>[82]</sup> Нацепину. Такого огромного, богатого поместья, какое было у Нацепина, Пирогов никогда в своей жизни не видел. Впервые перед его глазами предстала не сила ума и знаний, а какое-то вопиющее засилье богатства и преклонения человека перед ним.

«Великолепный старинный дворец в огромном парке. В доме, где мне отвели помещение, было 150 номеров, в каждом не менее 2 комнат, и одна из них с большущей двуспальной кроватью из красного дерева с золотыми украшениями.

Над кроватью — широкая кисейная<sup>[83]</sup> розово-зеленоватого цвета палатка; вместо досок в головах и ногах у кровати — по большому зеркалу. Пара, ложившаяся в постель, могла созерцать свои тела в разных положениях, отраженными на зеркальных поверхностях и притом отсвеченными зеленовато-розовым колером. Можно представить, что творилось во времена оны в этих 150 номерах, когда съезжались сюда на охоту и на барские оргии разного рода пары».

Помещик принял Пирогова радушно.

— Я люблю молодых хирургов!.. — воскликнул он и завел его в огромную залу-спальню. — Ну а теперь я представлю вас моей барыне... — И прокричал: — Аня, где ты?..

Из огромного числа перин и подушек выкарабкалась на свет восьмилетняя худенькая девочка. Это и была та самая барыня, а точнее, внучка помещика, с которой он собирался познакомить Пирогова.

— Здеся я... — пролепетала девочка.

— Да не бойся ты... — И, взяв ее на руки, помещик добавил: — Видишь дядю, он специально приехал, чтобы вылечить тебя.

Девочку беспокоили огромные миндалины в горле.

— И это все?.. — спросил Пирогов помещика, внимательно осмотрев девочку.

— Да, — вздохнул тот. — Я уж было хотел ее к заграничным докторам отвезти. А вот вы взяли и неожиданно от Спасского приехали. Чудной он какой-то. Обещал немца прислать, а прислал почему-то русского. Ладно, пусть будет по его. Он благочестив, и я ему верю... А если что случится, то я и тебя, и его застрелю. И суд мне тогда не указ будет, потому что я прав, всегда прав.

Почти на всех пальцах помещика красовались перстни и кольца. Он то и дело курил трубку из слоновой кости, которую ему подарил сам государь император.

— А если удачно прооперируете... — сказал помещик, — то я вам стайку борзых подарю... Вы охотник?..

— Нет.

— А жаль... — вздохнул помещик. — Если бы не охота, я бы давным-давно повесился. Как начнешь стрелять направо и налево, так умней тебя, кажется, и нет никого на свете. Ствол накаляется... Цыгане пляшут. Спьяну, глядишь, к тебе медведя с каланчу ростом в цепях подведут. И ты его возьмешь и из двух стволов не глядя во славу окружения и убьешь... Прелесть. Так что приглашаю, браток, ко мне через месяц на охоту... Я к тебе двадцать слуг прикреплю во фраках и белых перчатках, чтобы ты не обмишулился<sup>[84]</sup>. А собак у меня больше сотни, если пожелаешь, гоны устроим.

Помещик был разговорчив. Пирогова поразила его вольготная сытая жизнь. «Ему не надо и профессором быть...» — подумал он, глядя в окно, за которым на маленькой горке ютились серые хибарки-лачуги крепостных, топившиеся по-черному и от своей ветхости готовые вот-вот развалиться.

Пирогов вырезал миндалины у девочки в тот же день. Операция прошла удачно, без кровотечения и осложнений.

Переночевав еще одну ночь в усадьбе, Пирогов на следующее утро отбыл в Орловскую губернию. Он жаждал увидеть Мойера, а точнее, его дочь Катю. Еще в Дерпте познакомившись с ней, он полюбил ее. И теперь решил сделать предложение девушке. Вот только как его сделать, он не знал. Необыкновенное волнение охватило его, когда он подъехал к дому Мойеров. И вот уже сам старик Мойер со слезами радости на глазах обнимает его.

— Катя, Екатерина Афанасьевна... — кричит он со двора в дом. — Скорее накрывайте на стол, профессор Пирогов приехал.

— Какое счастье!.. — восклицает Екатерина Афанасьевна, ветер развивает и пушит ее волосы. На ходу надевая фартук, она выходит на крылечко. Пирогов, низко поклонившись, целует ей руку.

— А я знаю, что вы скоро переберетесь в Петербург... — раздается рядом звонкий голосок. Пирогов замирает. Перед ним стоит не прежняя щупленькая девочка Катя, а стройная, длинноволосая красавица. — А еще мне папа говорил, что Петербург вас может испортить... — смеется она. — Хирургию и науку вы забросите и станете чиновником. Как папа на старости лет стал...

— Ишь ты какой критикан... — улыбается Мойер. — Если так будешь гостя встречать, то он вообще перестанет к нам заезжать.

— Мы с Николаем друзья... — ласково произносит Катя и прижимается к нему. — Правда?

Он молча взял ее руку и замер. Красота и нежность этой девушки ошеломили его. В Дерпте она была совсем другой, шаловливой, озорной. А здесь вдруг разом как-то повзрослела, стала задумчивой и серьезной. После обеда он до самого вечера гулял с ней в саду. И здесь она все также была необыкновенно приветлива и нежна. Правда, один раз, подойдя к нему очень близко и положив свои теплые руки ему на плечи, тихо спросила: — Скажи, а зачем ты приехал к нам?

Руки ее пахли загаром. А глаза смотрели на него ясно и живо, беззаботно и счастливо. Он тронул пальцами ее волосы, коснулся щеки.

— Что с тобой? Почему ты молчишь?.. — Катя, ничего не понимая, смотрела на него. В эти минуты и надо было бы ему все сказать. Но он растерялся. Вместо слов «Я тебя люблю» сказал облегченно:

— Находясь в Туле по делам, решил заодно побывать и у вас.

— Ну и врун... — прошептала она и, вдруг крепко обняв его, поцеловала в губы.

— Катя... — задыхаясь от волнения, произнес он.

— Я все, я все знаю... — закричала она, убегая от него по садовой тропинке.

Эти десять дней, проведенные Пироговым в имении Мойера, были для него самыми счастливыми. И хотя объяснения в любви у него с Катей не произошло, но все уже шло к этому. «Я обязательно, обязательно женюсь на ней...» — так думал Пирогов.

В день отъезда Екатерина Афанасьевна попросила Пирогова заехать в Москву к своей племяннице, госпоже Елагиной и передать ей от всех Мойеров горячий привет и записку. В дороге Пирогов под впечатлением от пребывания в имении Мойеров пишет письмо Екатерине Афанасьевне, в котором открыто говорит о своей любви к Кате и просит ее руки.

«Письмо это мое, как выпуклое зеркало: чем больше смотрю в него, тем меньше узнаю себя; хладнокровные руки, проникавшие доселе с

железом бестрепетно к сокровеннейшим источникам жизни, теперь от какого-то сокровенного чувства дрожат... Я отдал бы теперь, кажется, целые полжизни, если бы в состоянии был все мои ощущения выразить одним словом на бумаге.

...Моя судьба, мое счастье теперь в ваших руках... намерения мои чисты и ясны, как весеннее небо, я не боюсь их излить перед всем светом... При ней, в ее присутствии, у меня не было слов для чувств... Я надеялся, что послушное перо лучше изобразит полноту моих чувств...

...Коротко — я заклинаю вас всем, что ни есть священного в свете, напишите мне, могу ли я надеяться получить сердце и руку Екатерины Ивановны... Еще одна просьба: если Екатерина Ивановна, вспомня нашу дружбу, захочет мне сделать одно из величайших одолжений, то я прошу ее посетить уединенное жилище моей доброй старухи-матери в Москве; зная вас всех только заочно, она всех вас любит... Она не может никогда без слез вспомнить, как вы в Дерпте покровительствовали ее Николаю. «Люби и уважай до гроба, — сказала она мне, — тех, которые лелеяли на чужбине твою безродную юность». Ваш навеки Пирогов».

Навестив Елагину и передав ей привет от Мойеров, Пирогов вручает ей свое письмо к Екатерине Афанасьевне. При этом он чистосердечно признается ей о своем намерении жениться на Кате. Поведение Елагиной показалось Пирогову странным. Однако, принимая письмо, она пообещала в самое кратчайшее время передать его Мойерам.

Через месяц, в один из дождливых дней, Пирогов получает ответ от Екатерины Афанасьевны и от самого Мойера. Читая его в присутствии двух товарищей, находившихся в комнате, он плакал. «За что?» — хотелось крикнуть ему. Руки дрожали как в лихорадке, и земля, такая близкая и ощутимая раньше, казалась мягкой и уплывающей из-под ног. Оказывается, Катя уже давным-давно обещана сыну Елагиной. И отец, и бабушка, сожалея об этом, сообщали о своем отказе Пирогову. Придя в себя, Пирогов сразу же вспомнил странное поведение Елагиной. Оказывается, она даже не соизволила его об этом предупредить. Отказ потряс Пирогова. Письмо Мойера, которое было вместе с ним, его шокировало. Он не ожидал, что учитель, всегда заботившийся о нем, в качестве одной из причин отказа указывал на бедность Пирогова и его матери. Именно в силу этих обстоятельств Пирогов никогда не сможет стать настоящей опорой для Катеньки. Окончательно расстроенный и выбитый из колеи, Пирогов все же находит силы собраться и написать вежливый и очень благородный ответ теще Мойера Екатерине Афанасьевне.

«...Несчастьем моим я не могу найти слова; я потерял в одно время и

ту, которую я считал моим будущим провидением; я ошибся самым жестоким образом в чувствах того, которого считал самым лучшим моим другом... Я знаю, что слова мои теперь нисколько не подействуют, но я не могу удержаться: я считаю за обязанность всякого благородно мыслящего человека отвечать на такое письмо, которое я получил от Мойера. Если бы он мне сказал просто «нет», без причины и без приветствий, то я бы снес этот удар без ропота... если бы дочь мне отказала, слушаясь голоса сердца, я бы счел это за такое несчастье, на которое нельзя сетовать, потому что голос сердца священен. Но Мойер хотел в письме своем доказать мне, что он должен поступить так, что он не может поступить иначе. Эти причины-то, которые он приводит, волнуют всю кровь мою...

Послушайте, он говорит, что он слаб и потому хочет, чтобы зять его служил ему опорой, что я не могу быть этой опорой, потому что цели наши различны. Какой опоры хочет он от своего зятя? Разумеется, чисто материальной, эгоистической. Зять его должен быть помещик, должен быть сельский хозяин. Скажите откровенно, может ли человек с высокими взглядами, с душой благородной, человек, занимавшийся некогда наукой, как Мойер, иметь такие требования от мужа своей единственной дочери? Кто играет в этих требованиях большую роль — отец или дочь?

Скажите, разве опора для слабости родителя состоит только в том, чтобы дочь его была достаточна, разве люди доставляют друг другу опору и утешение только через материальные выгоды... Если мать моя называет меня опорой и утешением ее старости, то это, верно, не потому, что я ей помогаю моими деньгами; что бы сделалось со светом, если бы мы искали друг в друге только одни прикладные выгоды? Неужели для отца не будет составлять внутреннего утешения, которое выше материальной опоры, видеть дочь свою женою человека, которого благородные, высокие стремления известны всем, который в состоянии понять ее и сделать счастливой?

Я вижу, что я совсем несчастлив, я не умел доказать, что я могу быть опорой человека, которого любил и уважал. Правда, я небогат: я не помещик, но я думаю, что у Ивана Филипповича довольно уже, чтобы прожить старость без забот и спокойно, а от дочери его я не требую ни деревень, ни денег; он их может употребить в свою пользу, как хочет, мне ничего не нужно, кроме ее чистого сердца, ее прекрасной души...»

Любила ли Катя Пирогова, трудно сказать. Прочитав эти письма, понимаешь, что, к сожалению, она послушалась не саму себя, а отца и бабушку. Негативный настрой по отношению к Пирогову в ее душе создал отец. Буквально через год одна из высокопоставленных дам поведала

Пирогову, что она встретила на одном пароходе, отплывающем за границу, Катю Мойер. И когда между ними зашел разговор о Пирогове, Катя сказала: «Я не знаю, кто только сможет жить с ним... Его жене надо будет постоянно опасаться, как бы он не начал делать эксперименты над ней».

1840 год в моральном отношении оказался самым трудным для Пирогова и самым горьким. Кроме отказа Катеньки, неожиданно затянулось назначение на кафедру в Петербурге. Пирогов волнуется, переживает. Он пишет из Дерпта министру просвещения Уварову: «...Если бы угодно было вам сделать предписание совету здешнего университета о дальнейшем распоряжении, то я, по крайней мере, знал что-нибудь положительное о том, когда я могу надеяться поступить на новую должность; неизвестность не только действует убийственно на мою моральную сторону, но вместе с тем расстраивает и планы моих будущих ученых занятий. Самое мучительное состояние духа вынуждает меня утруждать вас еще раз этой просьбой».

Уваров не отвечает. Тогда Пирогов обращается к директору департамента Министерства народного просвещения, князю Ширинскому-Шихматову, который прекрасно знал о поездке молодого профессора к его другу-помещику.

«Пребывание в Дерпте сделалось для меня теперь по многим причинам совершенно нестерпимым; предвидя угрожающее мне расстройство и нравственных и физических сил, я наконец решился просить у вас помощи. Я осмеливаюсь надеяться, что труды, предпринятые мною для пользы общей, и то самопожертвование, с которым я служил университету, дают мне некоторое право надеяться, что справедливое начальство не пожелает довести расстроенного моего состояния до последней крайности, присудив мне остаться в Дерпте вопреки моим склонностям и моему расположению».

Через некоторое время Пирогов опять обращается к Уварову.

«...Напряженное состояние духа, в котором я беспрестанно нахожусь теперь, чувствую, не может продолжаться долго; оно должно окончиться — я это предвижу — или потерей рассудка, или совершенным изнурением, и уже самосохранение заставляет меня теперь утруждать вас этой покорной просьбой об удалении меня из Дерпта... Ежели я раз имел несчастье моей поспешностью возбудить ваше негодование, то, думаю, что целый мучительный год... мог загладить мою ошибку...»

Уваров тянет с ответом. За Пирогова хлопочет Спасский, но все безрезультатно. Зейдлиц дважды является на прием к Уварову и доказывает



необходимость перевода Пирогова в Петербург.

Министр непробиваем. Он ссылается на свою беспомощность и доказывает, что это дело не от него зависит, а от государя. Тогда неожиданно за Пирогова вступается попечитель Дерптского университета, гвардейский генерал-майор Крафтштрем. Он посылает Уварову несколько официальных писем, в которых требует незамедлительного перевода Пирогова в Петербург. Уваров начинает затягивать ответы и ему. И тогда разъяренный генерал заявляет, что он будет добиваться личной аудиенции у государя, на которой расскажет о всех, выявленных им за последнее время недостатках в работе Министерства народного просвещения. Под давлением президента академии Шлегеля и совета академии вдруг зашевелился и военный министр Чернышев. В официальном письме Уварову он заявляет, что тот является противником проекта, подписанного самим государем, который предусматривает развитие новых военных дисциплин в академии. Уваров, не выдержав натиска, сдается. После одиннадцати месяцев борьбы наступает мир. 18 января 1841 года Уваровым утверждается перевод Пирогова из Дерпта в Петербург в качестве ординарного профессора госпитальной хирургии, патологической и хирургической анатомии при одновременном исполнении обязанностей главного врача хирургического отделения во втором военно-сухопутном госпитале.

После стольких месяцев отчаянного ожидания и пренебрежения высокопоставленных вельмож к судьбе одинокого и бедного профессора, перенесшего накануне тяжелое моральное потрясение, наконец наступила радость. Когда пришла телеграмма от Уварова с положительным решением его дела, Пирогов поначалу даже не поверил ей.

— Неужели все кончилось?.. — шептал он. — Зван, призван... Министерство народного просвещения при императорском дворе соизволило разрешить вам перевод... — Выпустив из рук телеграмму, Пирогов раскрыл настежь окно. Холодный ветер обдал его. За окном было снежно. Мела поземка. И птицы ютились под крышами зданий. Пристально посмотрев вдаль, Пирогов неожиданно начал шептать:

*А между тем наследник твой,  
Как ворон, к мертвечине падкий,  
Бледнел и трясся над тобой,  
Знобим стяжанья лихорадкой.  
Уже скупой его сургуч  
Пятнал замки твоей конторы;*

*И мнил загресть он злата горы  
В пыли бумажных куч.*

Внезапно дверь в кабинет раскрылась, и на пороге появился студент. Сняв фуражку, он горячо воскликнул:

— Николай Иванович, вас попечитель срочно вызывает. Он рад за вас... И мы все тоже рады...

В голосе юноши было столько радости и сочувствия, что Пирогов улыбнулся.

Очень много было отдано сил ожиданию. Пирогов ослаб, его нервная система была истощена до предела. И хотя весть была радостной, на душе все равно было горько.

«Когда я приготовился совсем к отъезду и опорожнил мою квартиру (4 комнаты) от всей подвижной собственности и остался совершенно один, от скуки, предстоявшей мне в течение 2–3 дней, я начал читать романы Гофмана<sup>[85]</sup>, и лишь только начинался вечер, невыразимый страх овладевал мной, и до того сильно, что я не мог преодолеть себя, чтобы выйти в другую комнату. Мне все казалось, что там кто-то сидит или стоит».

Пирогова беспокоило одиночество, неустроенность жизни и бедность. Некоторое время он не мог даже заниматься наукой, так сильно подорвало его письмо Мойера. Однако дорога и наступление весны немного приподняли его настроение.

## В ПЕТЕРБУРГЕ

3 марта 1841 года, приехав в Петербург, Пирогов сразу же приступил к исполнению своих обязанностей. Как профессор он читает лекции и ведет практические занятия в академии. А как главный врач хирургического отделения при втором военно-сухопутном госпитале налаживает и реорганизует хирургическую службу госпиталя. Если в Дерпте в его подчинении находилось двадцать две койки, то теперь была тысяча. Мало того, Пирогов в своих врачебных и учебных действиях в палатах госпиталя был независим. Лишь по административной линии он был связан с главным доктором госпиталя, бывшим статским советником Лоссиевским. С приходом Пирогова госпиталь получил двойное подчинение. По учебной линии он подчинялся академии, а по организационно-хозяйственной главному военно-медицинскому департаменту.

Лоссиевский воспринимал все замечания Пирогова в штыки.

— Горе-то какое, горе! — сказал он своему секретарю. — Не хватало нам еще и его. Да мало того, говорят, он при всех обозвал меня хамом.

— С ним покоя не будет... — ехидно, сквозь зубы произнес тот. — Чувствую, взбаламутит он всех против нас. От него ничего не припрячешь. Под землей найдет.

— Это мы еще посмотрим... — гордо выпятив грудь, произнес Лоссиевский.

— Если надо, мы его к себе подпустим, а потом опозорим. Подумаешь, птица важная. Я пятнадцать лет служу отечеству. Под моим надзором строились все госпиталя. При освящении хирургических палат ее императорское величество государыня императрица сказала, что я есть одни из самых талантливейших главных докторов. Вся власть у меня. И если злоумышление у кого в голове против меня появляется, то недобровать тому.

— А палаты для привилегированных?.. — вздохнул секретарь и перекрестился. — А личные, так сказать, особые ваши палаты. А двухгодичное отсутствие хинина и рыбьего жира... На одном обходе он сказал, что грязнее наших госпитальных палат нет никаких других на свете и что вас, да, да, именно вас посоветовал сунуть носом в эту грязь... А еще он сказал, что вы лекарства воруете, а все грелки продали французам. Инструментарий весь ржавый. А клеенки с решетками сходство имеют.

— Прекратите, сейчас же прекратите! — закричал на секретаря

Лоссиевский. — Уж больно нравится вам, как я погляжу, перечислять все это. Как бы не переусердствовал. Погонять погоняй, но и меру знай.

— Виноват, извиняюсь. Но это ведь не я... — промямлил тот. — Это Пирогов про вас и про госпиталь так говорит. Что ни день, то докладная. И почти в каждой вы упоминаетесь. Места живого в них нет. Все так густо исписано.

— Где, где они, эти докладные?.. — вспыхнул Лоссиевский.

— Да вот, целых десять штук... — И секретарь подал бумаги главному доктору.

Лоссиевский, схватив их, с каким-то омерзением и необыкновенной жадностью начал рвать их.

— А эти казенные бумаги куда девать? — И секретарь начал читать. — «Пригоспитального скота, езжих лошадей сорок: все престарелые. Примечание. Все пали в трудах. Рогатого скота: старых и молодых коров, быков двухлетних и подтелков малых, всех 60. Примечание. — Кстати, опять ваше. — По приговору: госпитальному, братскому, за неимением чем кормить, проданы».

Солома для тюфяков вся сгнила. Йод, корпий, хинин — саморазложились, остатки дождь побил, а то, что не само разложилось, по приговору братскому англичанам продали.

— Уничтожь, все уничтожь... — в каком-то исступлении прохрипел Лоссиевский. — Мальчишка! В Дерпте поучился и уже порядки решил наводить. — И, вытерев пот с лица и ногою отбросив клочки бумаги, добавил: — Ведь жили как и все люди, тихо, покойно. И вдруг на тебе, язва появилась. Так, чего доброго, он до казенных денег доберется.

— Это все он, это все он... — по-бабски завизжал секретарь. — Министра надоумил, а тот государя. Просвещать, так сказать, Россию вздумал, а заодно и придать славу русским докторам всемирную... Британию и Францию он не признает, не нравятся они ему.

— Не будет этого... — дико заорал Лоссиевский. — Не будет... либо я, либо он... — И, вдруг замолкнув, в каком-то испуге посмотрел на секретаря: — Что же ты стоишь?

— А что же мне еще делать, ваше превосходительство?.. — непонятливо прошептал тот.

— С этого дня я освобождаю тебя от секретарства. Иди сейчас же к нему и ходи, следи и все, что он говорит, записывай... — И Лоссиевский, вздохнув, прошептал: «Либо я, либо он!..»

Пирогов был прав. Состояние хирургического отделения госпиталя было просто ужасным. «Вся вентиляция огромных палат (на 60—100

кроватей) в главном каменном корпусе основывалась на длинном коридоре, а вентиляция коридора — на ретирадниках<sup>[86]</sup>. Действительно, в коридор несло постоянно из ватерклозетов. Другие отделения госпиталя, в некотором отношении еще лучшие, помещались в деревянных отдельных домах, в каждом до 70 и более кроватей. Вентиляция в них была натуральная, без коридоров; сырость неисправимая. В гангренозном отделении, содержавшем в себе еще больных, оставшихся после лечений доктора Флорио громадными меркуриальными<sup>[87]</sup> втираниями, сердце надрывалось видом молодых, здоровых гвардейцев с гангренозными бубонами, разрушавшими всю брюшную стенку. Палаты госпиталя были переполнены больными с рожистыми воспалениями, острогнойными отеками и гнойным заражением и крови.

Для операционных не было ни одного, хотя плохого помещения.

Тряпки под припарки и компрессы переносились фельдшерами без зазрения совести от ран одного больного к другому. Лекарства, отпускавшиеся из госпитальной аптеки, были похожи на что угодно, только не на лекарства. Вместо хинина, например, сплошь да рядом отпускалась бычачья желчь, вместо рыбьего жира — какое-то иноземное масло. Хлеб и вся вообще провизия, отпускавшиеся на госпитальных, были ниже всякой критики.

Воровство было не ночное, а дневное. Смотрители и комиссары проигрывали по несколько сот рублей в карты ежедневно. Мясной подрядчик на виду у всех развозил мясо по домам членов госпитальной конторы. Аптекарь продавал на сторону свои запасы уксуса, разных трав и т. п. В последнее время дошло и до того, что госпитальное начальство начало продавать подержанные и снятые с ран: корпию<sup>[88]</sup>, повязки, компрессы и пр. — и для этой торговой операции складывало вонючие тряпки, снятые с ран, в особые камеры, расположенные возле палат с больными».

При осмотре отделения Пирогов нашел большое количество запущенных больных, требующих срочного оперативного вмешательства. После лекций в академии он шел в госпиталь как в ад.

Пирогов стремится наладить порядок в отделении. Однако, впоследствии анализируя начало своей деятельности в госпитале, он считает, что им в результате чрезмерного оперирования больных с целью «расчистки» их, был сделан большой промах. Больные, которых он оперировал, были залежавшиеся, с массой осложнений. Кроме этого, грязная обстановка комнат, где проводились операции, часто

способствовала новым осложнениям у больных, нередко приводящим к смерти. Хотя многие больные все же были вовремя спасены.

Первым помощником и соратником Пирогова по реализации его планов становится хирург Петр Юльевич Неммерт. Узнав, что при втором военно-сухопутном госпитале Пирогов организует клинику, Неммерт, работавший до этого при кафедре теоретической хирургии, добивается своего перевода в клинику. 2 февраля 1842 года Неммерт по рекомендации конференции (ученого совета) академии как «отличный молодой врач, подающий надежду со временем быть достойным членом академии», был «перемещен репетитором к кафедре госпитальной хирургии и патологической анатомии». В самые трудные и горькие минуты жизни Пирогова Неммерт всегда был на его стороне и защищал и отстаивал его интересы как свои. Они сразу же подружились. Когда Пирогов поделился с Неммертом о безобразиях, которые творятся в отделении по вине главного доктора, тот полностью согласился с его оценкой.

— Это не палаты, а постоянный двор... — сказал Неммерт. — Ощущение такое, словно Лоссиевский специально губит больных, не чувствуя за собой никакой ответственности. Он взятками подкупил всех сановников<sup>[89]</sup> и думает, что ему все сойдет с рук.

— Я решил осудить на ближайшем ученом собрании деятельность Лоссиевского... — сказал Пирогов. — Вы поддержите меня?

— Обязательно... — ответил Неммерт.

А тем временем Лоссиевский не дремал. Мысль во что бы то ни стало «упекти» Пирогова не давала ему покоя. Пирогов расходился не на шутку. Он развернул такую лечебную деятельность в госпитале, которая главному доктору даже и не снилась. Помощники Пирогова начали требовать у Лоссиевского новый инструментарий, лекарства, грелки, вату, бинты. А где он это мог взять, если все выделенные средства на приобретение медикаментов и инструментария он растратил, а точнее, присвоил себе в карман в самом начале года. С появлением Пирогова в госпитале он перестал спокойно спать.

Посоветовавшись с секретарем, Лоссиевский решил действовать. Не зная о том, что ординатор госпиталя Неммерт подружился с Пироговым, он вызвал его к себе в кабинет и очень вежливо спросил:

— Уважаемый господин Неммерт, а вы случайно не заметили в поведении Пирогова странностей?

— Нет... — спокойно ответил тот.

— Хорошо... — улыбнулся главный доктор. — Тогда как можно объяснить то, что Пирогов увлекся назначением наркотических средств в

крайне больших дозах?

— Пирогов делает в день по десять операций. Он труженик... — произнес Неммерт, по, заметив, что главный доктор очень зло на него посмотрел, запнулся. — Я не знаю... А если вам это так интересно, спросите лучше самого Пирогова. Он сейчас в отделении, делает обход...

— Только без советов... — вспыхнул Лоссиевский. — Благодаря мне вы попали к Пирогову. Я ходатайствовал о вас перед самым министром... А вы начинаете раньше времени идеализировать способности Пирогова, которого и сами толком еще не знаете.

— Виноват, ваше благородие!..

— Ха-ха... — засмеялся Лоссиевский. — Какой ответ. А вы, Неммерт, как я погляжу, благородны. Для поддержания госпитальной дисциплины это очень хорошо. Однако я вынужден вам сообщить следующее, а точнее, передать бумагу, только что полученную мною от инспектора полиции. Прошу вас расписаться в ее получении.

Неммерт покорно расписался в красном журнале особых поручений главного доктора и взял пакет с надписью «Секретно».

Выйдя из кабинета, Неммерт вскрыл конверт. На розовом бланке с тем же грифом «секретно» было написано: «Заметив в поведении г. Пирогова некоторые действия: свидетельствующие об его умопомешательстве, предписываю вам следить за его действиями и доносить об оных мне. Главный доктор Лоссиевский».

— Пирогов не виноват! Это клевета... — прошептал Неммерт. И ему вдруг показалось, что все это придумал сам Лоссиевский. — Этой клеветой он может убить Пирогова. Надо срочно защитить его. До чего же бездушен главный доктор. Оказывается, он не только вор, но и подлец.

И, обдумывая план действий, Неммерт побежал к Пирогову.

Буквально в этот же день Пирогов получил от Лоссиевского послание следующего содержания: «Заметив, что в вашем отделении издерживается огромное количество йодовой настойки, которой вы смазываете напрасно кожу лица и головы, я предписываю вам приостановить употребление столь дорогого лекарства и заменить его более дешевым. Лоссиевский».

В это время в кабинет вошел Неммерт, страшно взволнованный и с бумагой в руке. Так получилось, что ученик и учитель одновременно получили от главного доктора по листку указующего предписания. Даже не поинтересовавшись, чем так взволнован Неммерт, Пирогов произнес:

— Неужели он не может понять, что весь йод уходит на обработку ран... Столько сделано операций.

— Если раньше до этого в госпитале не делались операции, конечно,

он не поймет... — вспыхнул Неммерт, руки его дрожали и лицо было белым как мел. — Он всю жизнь йод продавал немцам и французам. Поэтому не знает и знать не желает о его употреблении для истинных, благотворных медицинских целей... Ну а вот теперь, Николай Иванович, прошу вас ознакомиться с поручением, которым он меня только что обязал.

Пирогов, взяв из рук ученика листок, бегло прочитал его.

— Вот и познакомились... — вздохнул Пирогов. — Я все время обращаюсь к нему по существу дела, беспокоюсь о больных... Забота о госпитале не мое дело, я должен только лечить. Так он, чтобы разобраться, бьет меня кулаком, да мало того, плюет мне в лицо. Вот осел... — От волнения у Пирогова перехватило дух. С какой-то болью он посмотрел на инструментарий, который приобрел за свои деньги, и вдруг, не смотря на Неммерта, как-то раздраженно спросил его: — Вы верите тому, что он обо мне написал?..

— На сотую долю не верю... — произнес Неммерт. — Он врет. И все потому, что вы у него как петля на шее. До вас здесь скущища была, больные живьем сгнивали. А вы пришли, и все зашевелилось, операции начались...

Пирогов молча слушал.

— Только вот я не знаю, как дальше мне быть?.. — сказал вдруг Неммерт.

Пирогов вздрогнул.

— Спасибо вам за доверие, — глаза его гордо сверкнули, и он, будто соболезнуя самому себе, произнес: — Ступайте к президенту Шлегелю и спросите его, как вам дальше быть...

— Как?.. К самому президенту?.. — удивленно произнес Неммерт. — Вы хотите, чтобы и он все узнал...

— Мой друг... — сказал Пирогов. — Я очень рад, что вы признались в том, что вам поручено за мной следить. Но, увы, снять шпионство с вас я не в силах...

Когда Неммерт вручил президенту академии Шлегелю бумагу Лоссиевского, тот, прочитав ее, спросил его:

— А что вы думаете на этот счет?.. Только прошу быть искренним.

Президент учтиво посмотрел на Неммерта. От его умных глаз ничего нельзя было скрыть.

— Это не правда... — произнес Неммерт. — Лоссиевский не любит русских людей, и медицину он также не любит.

— А вот это уже не надо... — одернул его президент с прежней строгостью и солидностью. — Я спросил вас по существу вопроса, и вы,



как я понял, ответили мне по существу. А ваша характеристика Лоссиевского меня не интересует. Поняли?..

— Понял... — опустил голову Неммерт, а затем спросил: — Господин президент, а как же мне дальше быть? Ведь мне приказано шпионить...

Президент улыбнулся.

— Мне нравится ваша честность... — и добавил: — Как я понял из вашего ответа, вы абсолютно ничего не заметили дурного за Пироговым. Поэтому, любезнейший, оставьте бумагу при себе и никому ее не показывайте...

Пирогов в ответ на послание по поводу расходования йодовой настойки написал Лоссиевскому следующее: «На Ваше отношение честь имею уведомить Ваше высочордие, что Вы не вправе делать мне никаких предписаний относительно моих действий при постели больных.

Если же Вы находите, что я расходую лекарства не по госпитальному каталогу, то Вам следует обратиться с извещением о том к нашему общему начальнику, господину президенту Медико-хирургической академии».

Неммерт рассказал Пирогову о его посещении президента. Пирогов, немного успокоившись сообщением Неммерта, попросил у него на некоторое время секретное предписание Лоссиевского.

— Зачем оно вам?.. — спросил его растерянно Неммерт.

— Я сию минуту должен его показать попечителю... — Лицо у Пирогова дрожало, чувствовалось, что он вновь возбуждается. — Я человек здесь новый, и если Лоссиевский всех оповестит о моем сумасшествии, то кто-нибудь обязательно ему поверит. В последнее время я заметил, что мои операции здесь многим не нравятся. У меня ничего нет в жизни, кроме хирургии. Я существую и живу благодаря ей. У меня можно отнять что угодно, но только не скальпель. Все мои мысли и планы, касающиеся процветания русской медицины, необходимы народу как воздух. Нам некуда более отставать. Иностранцы заводят нас в тупик и, заведя, смеются над нами, дурачат и экспериментируют только лишь для выгоды своей нации... За что возненавидел меня Лоссиевский?.. За правду... Так что я хочу до конца быть правдивым. Я положу это секретное предписание на стол попечителю и скажу ему, что с меня достаточно... Пусть господин Лоссиевский становится за операционный стол и оперирует как вол, а заодно и кафедру организует, и все остальное.

К этому времени Клейнмихель, наведя порядок в академии, перешел на другую работу и его место попечителя занял дежурный генерал Веймарн. Зайдя к нему, Пирогов заявил, что он не может вынести позора со стороны Лоссиевского и поэтому в самое кратчайшее время просит

удовлетворить его просьбу об отставке.

— Что вы делаете? — возмутился Веймарн. — Как вы смееетесь?.. Ни о какой отставке даже не думайте. Вами довольны министр, император. И если бы мне сейчас сто фельдмаршалов заявили, что вы сумасшедший, я никогда бы не поверил. Обещаю вам разобраться с Лоссиевским, мало того, если вы окажетесь недовольны моим урегулированием дела, я обещаю вам оказать возможное содействие в законном ходе дела в вышестоящие от меня инстанции.

Сообщением Пирогова Веймарн был смущен и обеспокоен. После его ухода был послан фельдъегерь за Лоссиевским, который тут же был доставлен в штаб. Веймарн знал о проделках Лоссиевского еще до Пирогова. Поэтому Лоссиевскому ничего не оставалось делать, как пасть на колени и чистосердечно во всем раскаяться и признаться в клевете.

«На другой день, — вспоминает Пирогов, — в госпитале получена бумага, в которой предписывалось Лоссиевскому в присутствии президента Шлегеля, ординатора Неммерта, писаря, писавшего бумагу, и всех видевших ее членов госпитальной конторы просить у меня прощения в убедительнейших выражениях, и если я (Пирогов) не соглашусь извинить дерзкий поступок Лоссиевского, то всему делу будет дан законный ход. На другой день утром меня пригласили в контору госпиталя, и там разыгралась истинно позорная, и притом дерзки позорная, сцена. Лоссиевский, в парадной форме, со слезами на глазах, дрожащим голосом и с поднятием рук к небу, просил у меня извинения за свою необдуманность и дерзость, уверяя, что впредь он мне никогда не даст ни малейшего повода к неудовольствию.

Тут же, в присутствии президента, я ему показал на мерзейший хлеб, розданный больным, и заметил, что это его прямая обязанность в госпитале — наблюдение за порядком, пищей и всей служебной администрацией.

Тем дело о моем умопомешательстве и кончилось. С тех пор Лоссиевский сделался тише воды, ниже травы...»

А когда зашел вопрос о наркотических средствах, то Пирогов сказал Лоссиевскому:

— Велите-ка ваши экстракты<sup>[90]</sup> готовить действительно из наркотических средств, а не из золы разных растений.

Поняв, что Пирогова ему не «упечь», Лоссиевский начал подыскивать себе тепленькое местечко. Лоссиевскому негласно покровительствовал Виллие, занимающий ноет главного военно-медицинского инспектора русской армии, одно время он также был президентом академии. Смотрители и комиссары госпиталя, так сказать, подопечные главного

доктора, стали всячески угождать Виллие и задаривать ценными подарками, что он страсть как любил. Подбрав удобный момент, комиссары в открытую заявили Виллие, что он обязан спасти Лоссиевского, а именно похлопотать перед фельдмаршалом<sup>[91]</sup> Паскевичем для перевода его главным доктором в Варшаву. Это место было намного солиднее петербургского. Паскевич пользовался большим расположением Николая I, и любое его желание или просьба выполнялись со стороны императора беспрекословно.

Во время путешествия в Арзрум Пушкин пробыл некоторое время в армии Паскевича, когда тот находился на Кавказе в 1826 году. Поначалу Паскевич уважительно относился к поэту. Но, затем, узнав, что за ним установлен, по приказу Бенкендорфа, секретный надзор, Паскевич предложил Пушкину немедленно покинуть армию.

«Главнокомандующий, видя, что Пушкин явно удаляется от него, — рассказывал офицер Н. Б. Потокский, — призвал его к себе в палатку (во время доклада бумаг Вольховским) и резко объявил: «Господин Пушкин! Мне вас жаль, жизнь ваша дорога для России; вам здесь делать нечего, а потому я советую немедленно уехать из армии обратно, и я уже велел приготовить для вас благонадежный конвой». Вольховский передавал мне, что Пушкин порывисто поклонился Паскевичу и выбежал из палатки, немедленно собрался в путь, попрощавшись с знакомыми и друзьями, и в тот же день уехал».

Вот таким осторожным был по отношению к интеллигенции Паскевич. Зато к казнокрадам и хапугам был чрезмерно добр и ласков. Виллие, передав от комиссаров госпиталя фельдмаршалу ценный подарок, попросил его сделать маленькую услугу. И вот когда Паскевич заехал в госпиталь, ему выставили напоказ двух главных докторов для Варшавы. Паскевич, недолго думая, сразу же указал на Лоссиевского. «Вот этого!..» — сказал он.

В знак благодарности Лоссиевский устроил Виллие шикарный обед, на котором был весь цвет петербургской иностранщины. Однако в Варшаве Лоссиевский продержался недолго. Николай I, находясь в Варшаве, надумал вдруг посетить госпиталь, где обнаружил целую массу воровства и злоупотреблений. Лоссиевский был посажен на гауптвахту и отдан под суд. После чего был разжалован в ординаторы.

Когда дело с Лоссиевским было улажено, на Пирогова и на Неммерта рассердился президент академии Шлегель. Он недоволен был тем, что они без его ведома пожаловались попечителю, вынеся тем самым сор из избы.

— Извините, а что бы вы сделали на моем месте? — резко спросил его

Пирогов.

— Вы, быть может, профессор Пирогов, и правы... — побагровел Шлегель. — Но вот доктор Неммерт, вместо того чтобы все утаить, поспешил...

«Моему ассистенту Неммерту пригрозил было при мне Шлегель, после того, как Лоссиевский извинился. Но я остановил президента словами: «Профессор Неммерт поступил тут как честный и благородный человек, и я не вижу, за что вы так несправедливо относитесь с выговором к Неммерту; я мог бы принять ваш неуместный выговор на мой счет и не согласиться в таком случае на извинение Лоссиевского».

Шлегель прикусил язык, и с тех пор я не замечал никаких притеснений по службе».

Неммерт поступил по отношению к своему учителю благородно. Он вовремя предупредил его о беде.

Нелегко, ох как нелегко приходилось Пирогову защищать самого себя. В Петербурге он, как и в Дерпте, был одинок. Зейдлиц так же, как и он, был всего-навсего заведующим отделением. Неммерт и подавно был рядовым.

Среди остальной же медицинской, научной среды царили антирусские настроения. По их мнению, русский человек не мог претендовать на звание передового человека. Пирогов чувствовал, что все эти гонения на русского проводились в академии организованно и целенаправленно. Мало того, эта пропаганда антирусских чувств творилась не только открыто, но и совершенно сознательно. Ученые-западники, занимающие крупные посты, для этих целей не брезговали никакими средствами. В их устах все русское проклиналось и ругалось. Пирогова удивляло и то, что все эти действия были как бы узаконены и считались нормой. В их речах Россия открыто проклиналась и считалась каким-то неясным и малосимпатичным миром. Хотя все они прекрасно жили в ней и, разрушая ее, обогащались.

Не секрет, что пребывать Пирогову и расти как ученому, в такой атмосфере было нелегко. Однако, оставаясь патриотом своей родины и питаясь богатством своего национального духа, Пирогов невероятным трудом стремился доказать силу русского человека, его независимость, прозорливость и величие ума.

Почти все свое свободное время он отдает работе. Спит по три-четыре часа в сутки. Он задумывает издать «Полный курс прикладной анатомии человеческого тела».

— Учащиеся должны знать анатомию, а для этого им нужно пособие... — доказывает он Зейдлицу. — Первое русское пособие по анатомии.

Пирогова избирают в члены Медицинского совета, председателем

которого является лейб-медик государыни императрицы Меркурий Алексеевич Маркус. Одновременно он также был назначен директором технической части Петербургского инструментального завода и членом Комитета при Министерстве народного просвещения по преобразованию медицинской учебной части в университетах. Членство в комитете позволило Пирогову протолкнуть во всех русских университетах, имеющих медицинские факультеты, обязательное демонстративное испытание по анатомии, терапии и хирургии. Добился он частичного сокращения и медицинских степеней. Вместо ранее существовавших шести было решено оставить три степени (лекарь, доктор медицины, доктор медицины и хирургии).

В январе 1842 года Пирогов представляет в конференцию академии предложение об издании полного курса прикладной анатомии.

«Цель автора прикладной анатомии, — пишет он, — состоит в том, чтобы сообщить врачам посредством с натуры снятых изображений прикладную сторону анатомии, потому три отделения будут составлять полный курс издания: анатомия, физиологическая, хирургическая и патологическая».

Такой труд издавался в России впервые. Издание должно было рассчитано на два с половиной года и состоять из ста высокохудожественных таблиц с натуры. Предполагалось ежегодно выпускать по восемь тетрадей с пятью таблицами и текстом на латинском и русском языках. Цена атласа сто рублей ассигнациями. Для издания необходимы были деньги в сумме тридцати тысяч. Пирогов попросил у академии взаимнообразно полторы тысячи для издания первого выпуска. Академия поддержала Пирогова и выделила деньги. Пирогов с необыкновенным рвением приступил к работе. Когда он приготавливал препарат нужного органа, нанятый художник тут же его срисовывал в натуральную величину.

Вот как описывал эту работу один из свидетелей, доктор А. Л. Эберман: «Этот великий муж (Н. И. Пирогов) работал не нам чета, работал без усталости. Бывало, проходя поздно вечером мимо анатомического здания, — старого невзрачного деревянного барака, я не раз видел стоявшую у подъезда занесенную снегом его кибитку. Н. И. работал в своем маленьком кабинете над замороженными распилами частей человеческого тела, отмечая на снятых с них рисунках топографию распилов. Боясь порчи распилов, он не щадил ни себя, ни времени и работал до глубокой ночи».

Пирогову приходится заниматься в непригодных помещениях военно-сухопутного госпиталя и в сырых и грязных банях этого же

госпиталя. «В них, за неимением других помещений, я производил вскрытия трупов, иногда по двадцать в день, в летние жары, а зимой, во время ледохода (ноябрь — декабрь) переезжал ежедневно по два раза на Выборгскую, пробиваясь иногда часа по два между льдинами.

В конце лета я начал замечать небывалые прежде явления после каждого госпитального визита. Я стал чувствовать то головокружение или легкую лихорадочную дрожь...

Так длилось до февраля 1842 года. В этом месяце я вдруг так ослабел, что должен был слечь в постель».

Адский труд и невероятные перегрузки дали о себе знать. Во многом способствовали этому и условия, в которых приходилось работать ученому. Вслед за моральным истощением неожиданно наступило физическое. Пирогов слег.

«Что ни делали доктора Лерхе, Раух и Зейдлиц — ничто не помогало. Никто из них не мог определить мою болезнь. Один Раух еще более других, должно быть, угадал, приписав ее моим госпитальным и анатомическим занятиям. Трудно, в самом деле, сказать, что это было за страдание и какого органа.

Жара почти не было. Пульс был скорее медленный, чем учащенный; полное отвращение к пище и питью...»

За Пироговым ухаживали переехавшие к этому времени в Петербург мать и сестры. Он лежал не шелохнувшись. Лишь едва заметное дыхание говорило о том, что он жив.

— И на кой тебе сдалась такая работа... — шептала мать. — Все профессора как профессора, сытые, здоровые. А ты голову на этой анатомии потерял. Погубила, ох и погубила же она тебя.

Пирогов все слышит, что она говорит. Но ответить нет сил. Какая-то вода несет его тело. Впереди бездна... Вот к нему подходит младший ординатор, худой, покрасневший и с расширенными зрачками. Кладет Пирогову на лоб тряпку с уксусом и насильно заставляет выпить стакан теплого хереса<sup>[92]</sup>. Ему помогает толстенький фельдшер с пухлыми влажными губами.

Когда они уходят, мать с сестрами тут же начинают молиться. Пирогов прислушивается. Женские голоса, полные силы душевной, в отчаянии произносят: «Иисусе преславный, царей укрепление; Иисусе прелюбимый, пророков исполнение; Иисусе предивный, мучеников крепосте...»

Чуть приподнявшись на локтях, он хочет обрадовать мать тем, что он еще жив. Но она не видит его. И тогда он, упав на постель, следом за ними шепчет: «Иисусе предвечный, грешников спасение. Иисусе, Сыне Божий,

помилуй мя!»

После пяти недель болезни Пирогов попросил мать и сестер сделать ему теплую ванну из трав.

После ванны он неожиданно начал бредить и при этом все так же отказываться от какой бы то ни было пищи. А когда поздно вечером появился озноб, был вызван доктор Зейдлиц. Он осмотрел Пирогова, но так и не поняв, что с ним происходит, заставил впервые за все время болезни принять порошок хинина. Пирогов кричал, вырывался. С помощью пришедшего из госпиталя фельдшера Зейдлицу удалось высыпать в рот больного хинин и заставить запить его хересом. После хинина озноб не уменьшился, а, наоборот, стал нарастать. Все тело начало содрогаться и приподниматься с кровати.

— Очищение начинается... — прошептал растерянно Зейдлиц.

— Злой бес выселяется... — громко произнес фельдшер. — Креститесь, профессор, креститесь. Он, окаянный, только креста и боится... — И, торопливо перекрестившись, растерянно произнес: — Что же это такое? Смотрите, он сильнее прежнего приподнимается... Ну, брат ты мой, ну и дела.

— Очищение, очищение... — как полоумный шептал Зейдлиц, машинально крестясь и кланяясь.

Страшный озноб вдруг сменился колкой судорогой. Сердце замерло, и, задыхаясь, уже из последних сил Пирогов прокричал:

— Срочно облейте меня холодной водой, иначе я умру... Срочно, я прошу-у-у вас... Иначе все, умру-у... умру-у...

Все кинулись за водой. Даже Зейдлиц схватил ведро, толком еще не зная, помогает это или нет в разгаре предсмертных судорог. Не жалея белья и постели, трясущегося, хрипящего Пирогова, уже с закатывающимися глазами поливали водой. Мать и сестры от воды тоже были мокры. У Зейдлица на животе и груди промок и сморщился новый мундир. Фельдшер, закатав штаны, ходил по полу босиком. Когда кончилась вода в доме, побежали к колодцу. Прибежали на помощь соседи и тоже стали помогать обливать Пирогова. Наконец предсмертные судороги приостановились, а за ними и обморок. Пирогов задыхал поспокойнее. Через одну-две минуты все тело его стало покрываться потом.

— Откудова может быть пот, ведь он и вчера и сегодня воды почти не пил... — удивился Зейдлиц.

Пирогова перенесли в другую комнату, переодели в сухое белье. Но оно тут же стало мокрым. Пот непрерывно покрывал все тело. Затем началась рвота. Зейдлиц с фельдшером провели у постели больного всю

ночь. Около двенадцати часов продолжались страдания больного. К полудню следующего дня, когда его вновь обтерли уксусом и переодели, обложив ноги теплыми грелками, он попросил воды. Зейдлиц принес графин с кипяченой водой, налил стакан.

— Мало... — шептал Пирогов, жадно выпивая воду. Зейдлиц наливал второй, третий, четвертый стакан. Руки его дрожали. Он понимал, кризис миновал.

Напившись вволю, Пирогов осознанно поблагодарил профессора и тут же крепко заснул.

— Ишь, как бойко храпит, — улыбнулся довольный фельдшер. — Даже шум ветра за окном перебивает. Теперь, как пить дать, выздоровеет. При таком храпе не умирают. Я уж точно знаю.

— Слава Богу... — произнес Зейдлиц.

— А вы, мамань... — обратился фельдшер к хозяйке. — Если он и после двух часов так прытко будет храпеть, вы ему ноздри свиным салом смажьте. И не плачьте, выживет он теперь, никуда не денется.

И действительно, через неделю Пирогов поднялся на ноги. Он ничего не помнил, что с ним происходило все эти шесть недель. Когда Зейдлиц рассказывал Пирогову про озноб, который сильно тряс его, Пирогов не верил ему.

— Ну как это может озноб приподнять человека над постелью на метр?..

— А вот, значит, и может... — продолжал Зейдлиц. — А во-вторых, я не выдумываю, у меня свидетели есть.

Все рады были, что Пирогов выздоровел. Особенно Зейдлиц. Он любил Пирогова и верил в силу его таланта.

— Эта болезнь должна впредь предостеречь вас от чрезмерных занятий... — сказал Зейдлиц. — В вашем молодом возрасте изнурительный и, можно даже сказать, беспредельный труд чреват опасностями. Телу, как и душе, нужен отдых. Отдых отвлеченный, не имеющий никакого отношения к медицине.

Пирогов послушался совета Зейдлица, но ненадолго. Буквально через неделю вновь приступил к работе в анатомичке. Однако болезнь изменила его. Он стал каким-то молчаливым и задумчивым. Появилась вредная привычка — курение. Он курит много, и притом очень крепкие сигары. Сотрудники госпиталя попытались отговорить его от курева, но ничего не вышло. При них он курить перестал, но стоило ему остаться одному, как он тут же доставал сигару.

Ему шел уже тридцать второй год. Время, когда обеспеченные люди



начинают создавать семью. Да и мать в последнее время то и дело спрашивала:

— Сынок, ну когда ты женишься? Неужели всю жизнь так и будешь один. Твои братья все женаты, ты один... Когда я с тобой на рождество в академию ходила, многие профессора с дочками приходили. И многие на тебя смотрели, а ты...

— Да, вы правы... — отвечал ей Пирогов. — Чтобы время не проворонить, надо жениться. Я обещаю вам это сделать как можно скорее. У меня есть на примете одна.

— А кто она, дочка профессора?..

— Нет, старая знакомая... — И, переведя дух, Пирогов произнес: — Наверное, я на ней и женюсь...

Мать не верила всем этим речам сына. Не один раз он ей обещал жениться. И все не женился, откладывал.

В этот же раз Пирогов, к ее радости, слово сдержал. Еще в Дерпте увидел он Екатерину Березину. Она приезжала вместе с матерью к Мойерам в гости. И хотя Пирогов любил Катю Мойер, он подружился и со второй Катей. Екатерина Николаевна, мать Кати Березиной, вначале жила с дочерью и сыном в Петербурге, на Васильевском острове, затем переехала в деревню. Отец Кати, бывший гусарский ротмистр Дмитрий Сергеевич Березин? с семьей не жил. Он был кутилой и картежником. За три года проиграл в карты три больших имения с шесть»! тысячами крепостных и в последнее время был в долгах. Он постоянно ревновал свою жену, и той, чтобы избежать его нападков, приходилось переезжать с места на место. Дмитрий Сергеевич давно бы пошел по миру, если бы не третье имение, которое досталось ему по наследству я которое он никак не мог проиграть. Хотя дело близилось к этому.

Катя Березина знала Пирогова не только по Дерпту. Профессор Неммерт жил на Васильевском острове, и один раз Пирогов, возвращаясь от него поздно вечером, встретил на мосту Катю. Он сразу же ее узнал. И она его узнала.

— Катя, вы!.. — воскликнул Пирогов.

— Я... — засмеялась она.

— Вы на Васильевском живете?..

— Да... в доме Печориных. Когда один раз к ним доктор из госпиталя приезжал, я спросила о вас. Он так вас хвалил... Говорил, что вы очень быстро оперируете.

— Ну а у Мойеров не бываете?.. — спросил Пирогов. Они шли по улице, прижавшись друг к другу как старые знакомые.

— Нет, что вы... — ответила она с улыбкой. — Мы скоро в деревню переезжаем. А то здесь отец вообще проходу не дает, каждый день буянит... — И, вдруг остановившись, она сказала: — А я знаю, что вам Катя Мойер отказала. Она мне об этом два раза писала. Кстати, она еще не замужем. Живет в свое удовольствие, отдыхает...

— Мне кажется, давно все это было... — сказал Пирогов печально. — Я даже забыл ее лицо. Старика Мойера помню, а вот ее нет...

— Это от работы все у вас... — засмеялась Катя. — От работы вы даже и людей перестали замечать. Если бы я вас не окликнула, вы прошли бы мимо... — И в какой-то задумчивости добавила: — А зря, жизнь-то ведь идет.

Она еще что-то говорила. Но Пирогов не слушал ее. Он рад был, что встретил ее. И в эти минуты вдруг понял, что она точно так же одинока, как и он.

— Если на этой неделе будет время, — сказала она, когда они подошли к ее дому, — заходите... Мама вам будет рада, она помнит вас...

В ту первую встречу он пообещал к ней зайти. Но так и не зашел.

И вот теперь, загоревшись желанием жениться на ней, он узнает ее адрес в деревне и без всякого предупреждения и предварительной встречи отсылает письменное предложение. Составляя его, он думает о первом предложении, которое он делал Кате Мойер. Однако пишет его без всяких восхвалений себя. Пишет в основном о чувствах к женщине, которыми переполнена его душа.

«...Сегодня в первый раз между нами дружеское ты вступило в святые права свои. Как чудно чувство! — одно изменение простого звука, ничего самой по себе не значащей буквы уже достаточно возбудить в нас самые сладкие ощущения...

...Не ищи порядка и строгой последовательности в моей исповеди, потому что я стыдился показать ее другому, кроме тебя. Через несколько лет, может быть, я буду стыдиться, что терял время на такое беспорядочное описание чувств и взглядов и, точно ребенок, гонялся, ловил и хотел прикрепить к бумаге такую разноцветную бабочку, как мое чувство, а ты, может быть, будешь стыдиться, что из любви к такому чудаку, как я, находила приятность в чтении бестолкового сумасбродства...

...Меня пленило в тебе не внутреннее убеждение, что ты поймешь меня, но что-то необъяснимо милое, невыразимо прелестное в существе твоём, чистота души твоей, светлый взгляд на жизнь, твердость и уверенность, с которой ты, слабое, неопытное существо, выступаешь на ее поприще...

...Любовь, как и все высокие безотчетные чувства, делает чудеса над теми, кто верует в ее могущество; она изменяет, обновляет, облагораживает нашу природу, делает возможным, что до того казалось несбыточным... И неопытная 20-летняя девушка, руководимая истинною любовью, может достигнуть всего, что она считает необходимым для счастья того, кого она любит... Я верю в это... и, спокойный, предоставляю руль моей будущности такому кормчему, как ты, мой бесценный друг, наставляемый любовью!..»

Любовь к Кате Березиной возникла у Пирогова неожиданно. Катя поразила его своей откровенностью.

— А когда вы влюбитесь?.. — спросила она его шутя еще в Дерпте.

— В кого?.. — спросил он.

— Ну, допустим, в меня... — И в ее голосе тогда было столько надежды и радости, что Пирогов смутился. — Я пошутила... — поспешно сказала она тогда. — Не слушайте меня, я пошутила...

И, смагивая слезы и все так же смеясь, побежала в дом Мойеров.

Предложение Пирогова было принято. Катя и ее мать прислали ответ, в котором говорилось, что они согласны. Но для приличия просили его попросить разрешения и у отца. С необыкновенной радостью сообщает Пирогов матери о согласии Катеньки и тут же едет к Дмитрию Сергеевичу.

«Если он не согласится, я украду невесту!.. — гордо говорит Пирогов сам себе. — Или отколочу ее отца. Или предложу сыграть с ним в карты. В крайнем случае, скальпель покажу, чтобы знал, что хирурги не мямли, а бойкий народ».

Пирогов помчался к Березину быстрее ветра. Скорее, скорее неситесь, кони. Ведь не менее его волнуется Катя. Милая, добрая Катя! Березин в то время жил в Лужском имении, заложенном и перезаложенном.

Узнав, по какому поводу приехал Пирогов, сразу же его спросил:

— А в карты играть можешь?

— Могу... — ответил Пирогов.

— Молодец! — восторженно произнес тот и, разгладив усы, опять спросил: — Ну а шашкой махать можешь?..

— Почти каждый день приходится это делать... — произнес Пирогов. — Только, правда, не шашкой я махаю, а скальпелем.

Березин, выпучив глаза, удовлетворенно поднял кулаки над головой.

— Ай да молодец! Шашка, скальпель — все равно... Главное — острие. Острие... — И, ринувшись в залу, оп тут же выбежал из нее с шашкой. Не успел Пирогов и глазом моргнуть, как он, вытащив ее из ножен, неожиданно ловко разрубил платок на лету.

— Во-от! Видишь, острее!.. — прокричал он. — Я этим острием столько неприятностей наделал. Эту шашку мне лично Матвей Иванович Платов вручил. Подъехал ко мне и говорит: «Спасибо тебе, Березин, что ты русскую славу возвысил!» И вот эту шашку снимает с себя. «В знак благодарности за то, что ты тридцать французов уколошил, возьми подарок от меня». Я шашку взял, к груди прижал. «Матвей Иванович, отец ты наш!» — говорю и от радости плачу. «Защищай и впредь так же Россию-матушку!» — прокричал он мне. И только я его и видел. Поскакал он догонять свою кавалерию, герой из героев. — И, кинув шашку в ножны, Березин хлопнул Пирогова по плечу. — Спасибо тебе, друг, что заехал... — И, тут же наклонив перед ним голову, указал на макушку — А вот этот видишь шрам. Это меня каналья француз зацепил. Метил мне в глаз, а я пригнулся. Я хотел его за это задушить, да Бурцев не дал.

— Извините, но я приехал за благословением... — попытался утихомирить его Пирогов.

— А что дает это благословение? Да абсолютно и ровным счетом ничего... — спокойно произнес Березин. — Мы свою жизнь, слава Богу, сделали! А теперь вы делайте... — И, взяв Пирогова за руку, потащил его в залу. — Сейчас я тебе мундир покажу. Солдат без мундира, все равно что баба без мужика.

Мундир у Березина был отменный. С массой разноцветных нашивок и наград. Три Георгиевских креста горели серебром. Была здесь и медаль «За храбрость» и даже две металлические ленточки с надписью «За отличие».

— Попробуй заслужи все это!.. — восторженно воскликнул Березин. — Кровь, пот, холод. Как вспомнишь, так хоть головой в омут... — И затем, вдруг умолкнув, спросил Пирогова: — А может, ты у меня ночевать останешься?

— Мне ехать надо... — ответил Пирогов, в нетерпении сжимая в руках шапку.

— Ну тогда прощай... — вздохнул тот. — А насчет твоего предложения не возражаю... — И, сняв со стены икону, Березин произнес: — Живите дружно! Дай вам Бог счастья и здоровья!

Пирогов, перекрестившись, стал на колени и поцеловал икону.

«...Мой будущий тесть, давший полное свое согласие на брак с его дочерью, сверх того преподнес мне еще роспись следующего за ней приданого и деньгами.

Выходило более 150 000 рублей с условием, однако же, чтобы мать невесты отказалась от следуемой ей части из мужнина капитала.

Это, очевидно, была пика против жены; с какой стати ей, слабой,

хилой и постоянно больной женщине, ожидать, что муж умрет прежде?!

Невеста моя и мать проживали в деревне у дяди, верст за двадцать. Послан был нарочный, чтобы они ехали в имение Березина и чтобы на середине дороги встретились в одной корчме с нами».

Рано утром Пирогов, выехав навстречу, застал Катю в корчме. Она мило и трогательно поклонилась ему:

— Муж дорогой, обещаю слушаться тебя!

Пирогов, подбежав к ней, крепко обнял ее.

— Катя, я люблю тебя! Я люблю тебя!..

До назначенного дня свадьбы оставался месяц. И решено было, что Катя с матерью отправятся в Ревель на море. А Пирогов, управившись с делами, к ним сразу же приедет. Тяжело и по-юношески пылко переживал Пирогов эту свою первую, хотя и очень кратковременную разлуку с любимой.

«Этот месяц разлуки, — вспоминал Пирогов, — был для меня тем замечателен, что я в первый раз в жизни почувствовал грусть о жизни. В первый раз я пожелал бессмертия — загробной жизни. Это сделала любовь. Захотелось, чтобы любовь была вечна, — так она была сладка. Умереть в то время, когда любишь, и умереть навеки, безвозвратно, мне показалось тогда в первый раз в жизни чем-то необыкновенно страшным».

После свадьбы Катя перешла жить в дом Пироговых. Быть женой человека, фанатично преданного науке и отдающего ей почти все свое свободное время, очень нелегко. Но Екатерина Дмитриевна с первых минут совместной жизни поняла мужа и старалась жить только его интересами.

После кропотливого труда Пирогова в анатомичках в 1843 году появляются первые выпуски «Полного курса прикладной анатомии человеческого тела». Издатель Ольхин, взявшийся издавать курс прикладной анатомии, перебивался с копейки на копейку. И Пирогову приходилось вкладывать собственные средства для нанимания литографа, наборщика, художников-печатников. Много времени занимало и выбивание льгот по изданию у высокопоставленных лиц. Для получения разрешения на беспошлинный ввоз бумаги для литографии<sup>[93]</sup> он добивается приема у министра финансов Канкрин и умоляет помочь ему, как не имеющему средств, хотя издание и имело государственное значение.

— Покажи, что вы затеяли... — вальяжно произнес Канкрин. Он считал себя крайне образованным человеком.

Пирогов разложил перед ним экземпляры атласа.

— Извольте, Егор Францевич. Это срез верхней конечности, а это

стопа.

Канкрин небрежно полистал иллюстрации и с участливой фамильярностью произнес по-немецки:

— Это очень красивые, но очень печальные вещи, — а затем, удивленно посмотрев на Пирогова, спросил: — И вы считаете, что это очень нужная штука?

— Очень нужная, ваше высокопревосходительство.

— Ну что же... — как-то разом вдруг смутился Канкрин. — Я подпишу вам все бумаги. Только учтите, ради отечества... Ради отечества...

От Канкрина Пирогов несется к барону Виллие, чтобы тот дал распоряжение о распространении издания в военные библиотеки. «Прикладную анатомию» должны получить все военные хирурги. Она необходима им как хлеб. Тем более все изображения препаратов в натуральную величину. И вот он, подойдя к двери главного военно-медицинского инспектора русской армии, осторожно открывает ее и входит в богато меблированную комнату, стены которой увешаны видами Шотландии и портретами лордов. Виллие, даже находясь в России на крупном посту, не забывал о родине. Барон удивленно смотрит на Пирогова.

— Чего надо?.. — настороженно спрашивает он. После случая с Лоссиевским Виллие побаивался Пирогова.

— Извольте попросить, господин инспектор, вашего позволения о распространении моего труда в военные библиотеки. Вы известный профессор хирургии, и вы прекрасно знаете, как необходима военным хирургам анатомия... — И Пирогов положил барону на стол первые оттиски атласа.

— А я вас разве вызывал?.. — предостерегающе спросил Виллие.

— Нет, я пришел к вам лично как хирург к хирургу... — произнес Пирогов.

Виллие, поправив мундир, надел очки.

— Хорошо... — таинственно улыбнулся он. — Тогда скажите, пожалуйста, если вам нетрудно, за что ваш любимый барон получил Анну второй степени...

— Анну второй степени вы получили за геройский поступок при сражении под Аустерлицем! — отчеканил бойко Пирогов.

— Браво! Молодец!.. — довольно улыбнулся барон и, словно очнувшись, произнес: — Ну а теперь я посмотрю твое творчество...

Виллие, перелистывая атлас, забормотал:

— Оксиген<sup>[94]</sup>, артериальная и венозная кровь, и этот титулованный

бездельник в свите государя, да и генерал-майор тоже дураком оказался.

— Господин барон, о чем вы говорите? — взволнованно спросил Пирогов.

— Да так, войну вспомнил... — вздохнул барон и, сняв очки, произнес: — Я думаю, что ваш атлас заслуживает похвал. Его не стыдно будет показать даже государю. Короче, я все сделаю, чтобы он оказался в военных библиотеках. Не унывайте, я всех люблю, кто помнит о моем геройстве под Аустерлицем.

Очень сильно поддержал Пирогова в издании «Прикладной анатомии» Карл Максимович Бэр, известнейший зоолог и эмбриолог<sup>[95]</sup>. Являясь членом-корреспондентом Академии наук, он был одновременно и профессором сравнительной анатомии и физиологии в Медико-хирургической академии. Когда «Курс прикладной анатомии» поступил на отзыв в академию, Бэр, внимательно ознакомившись с ним, написал, что произведение Пирогова представляет собой «подвиг истинно труженической учености, потому что автор поставил себе целью заново пере-исследовать и в точности изложить весь состав так называемой описательной анатомии и именно в отношении практической медицины. Мы находим в таблицах точность и полноту исследования, верность и изящество изложения, остроумный взгляд на задачи».

И далее Бэр оценивает труд Пирогова уже в более широком масштабе. «Прикладная анатомия Н. И. Пирогова есть важное по своему плану, совершенно оригинальное и самостоятельное творение; отвергнув от себя ограниченную задачу удовлетворять только отечественные задачи, он выступает на всемирное поприще литературы в полном уверении стяжать себе и на нем самое почетное имя; такой подвиг, в успешном довершении которого нет сомнения, не может быть отмечен не чем иным, как полным венком».

Кроме «Курса прикладной анатомии», Пирогов по поручению Министерства внутренних дел одновременно издает и «Анатомию человеческого тела для судебных врачей».

Новый главный доктор госпиталя Брунн, прибывший вместо Лоссиевского, с первых же дней невзлюбил Пирогова. Не раз Пирогову приходилось ругаться с ним. Брунн считал госпиталь своей вотчиной. «Я здесь хозяин, запомните это раз и навсегда...» — кричал он Пирогову, который почти круглосуточной работой выводил его из себя. Брунну не нравилось, если кто-то из подчиненных работал больше, чем он.

— Я прошу вас ограничить вскрытия. Ваши опыты надоели мне... Вы готовы проанатомировать весь Петербург.

Брунн так же, как и Лоссиевский, стремился выжить Пирогова из госпиталя. Прооперированных Пироговым больных он порой выписывал раньше времени. Один раз Пироговым был приготовлен к операции солдат, который сам попросил выправить ему нос. Пирогов приходит на другой день в госпиталь, а солдата нет. Оказывается, Брунн выписал его. Пирогов потребовал возвратить больного. И Брунн, подкупом заставив солдата разыграть роль жертвы, под охраной возвратил его обратно в палату. Чтобы выяснить, почему солдат покинул госпиталь, Пирогов с ассистентом зашел к нему. А тот, выпучив в испуге глаза, как закричит:

— Я не хочу насильно оперироваться. Не заставляйте меня и не уговаривайте. Сейчас же отпустите, иначе я пожалуюсь.

На шум сбежался народ. Примчался и Брунн, который, стоя за дверью, с нетерпением дожидался этого конфликта. В присутствии понятых и солдата им тут же был составлен протокол о насильственном производстве Пироговым операций над вполне здоровыми людьми.

— Зачем вы все это сделали?.. — растерянно спросил Пирогов солдата. — Ведь вы же сами попросили меня сделать вам операцию. А теперь клеветеете, да мало того, меня бесчестите.

Солдат, видя, что дело принимает печальный оборот, струсил.

— Меня заставили... — озлобленно прокричал он вдруг. — И про вас я все выдумал.

— Кто заставил? — спросил Пирогов.

— А уж этого я не скажу... — лукаво ответил тот.

— Вы не правы... — обратился Пирогов к Бруину. — Солдат дает совсем другие показания.

— Извините... — ехидно произнес тот. — Но протокол уже составлен и его подписала большая часть свидетелей.

Возмущившись поведением Брунна, Пирогов пожаловался на него попечителю академии Веймарну. Он даже хотел уйти из академии, так он был расстроен. И Веймарн с большим трудом уговорил его остаться.

7 ноября 1843 года Екатерина Дмитриевна родила сына. В честь мужа назвала его Николаем. Пирогов был очень рад, что родился сын. Он играл с ним, поднимал над головой.

— Катя, это мой продолжатель!.. — и радостно смеялся. — Правда, Николай Николаевич!..

Малыш тянул к отцу ручонки и улыбался.

— Когда ты вырастешь большим, я тебя отдам учиться на врача. И в нашем доме будет двое медиков.



Летом Пирогов впервые поехал всей семьей на Ревельское взморье. Рождение сына и купание в море подействовали на него благотворно. А ведь были еще прогулки на свежем воздухе допоздна, и ознакомительные и ботанические экскурсии.

«А между приезжими я считался знатоком по части ревельских прогулок, и, действительно, я исходил пешком все ближние окрестности и знал все хотя сколько-нибудь живописные места».

После отдыха в Ревеле (Таллинн) Пирогов приехал окрепшим и никаких волнений и раздражительности за собой не замечал. Со временем Ревель становится постоянным местом его отдыха.

«Я любил Ревель, — вспоминал он, — в нем и после Дерпта, и после Петербурга я отдыхал и телом и душой.

Я целых тридцать лет, не пропуская почти ни одного года, купался в море и чувствовал себя всегда укрепленным и поздоровевшим после купаний...»

Неутомимость Пирогова в работе просто удивляла. Начали выходить первые курсы «Прикладной анатомии», которые встречаются врачами очень восторженно. Однако выход учебника по анатомии ему кажется недостаточным.

Чтобы обосновать значение анатомии для всех медицинских наук и особенно для хирургии, Пирогов задумывает создать в академии Анатомический институт. Для изучения анатомии нужна база и независимость. Кроме терапевтов, хирургов и многих прочих профессий, в медицине должны появиться и анатомы. И не просто анатомы, а анатомы-ученые. Если появится Анатомический институт, то главные доктора госпиталей и моргов уже не в силах будут мешать учебному процессу. Эта идея захватывает Пирогова. И, не откладывая времени, он 21 октября 1844 года вместе с Зейдлицем и Бэром подает в конференцию академии донесение о необходимости организации Анатомического института. В донесении говорилось, что «уже не один раз в нашей конференции мы рассуждали о важном учебном начале, которое состоит в том, чтобы сообщить учению медицинских и вспомогательных наук в академии сколь можно более практическое направление и обращать деятельность учащихся к такому исследованию предметов, которое упражняло бы их наблюдательную способность, изоощряло бы их чувства и вместе приучало бы к занятиям самостоятельным».

Предполагаемый институт составит «рассадику будущих наставников анатомии для целой России или, по крайней мере, сообщит каждому

учащемуся такое направление и такой запас анатомических сведений, который мог бы его руководить во все время его практической врачебной деятельности...»

Попечитель академии Веймарн, ознакомившись с донесением, поддержал его. 29 января 1845 года, пользуясь согласием попечителя на создание Анатомического института, Пирогов выносит на суд конференции академии созданный им проект устава и устройства института. Он подробно расписывает и объясняет все параграфы положения о «Практическо-анатомическом отделении». Например, пункт «в» первого параграфа гласит: «Доставить учащимся в здешней Академии сколько можно более средств к практическому изучению анатомии и к самостоятельному образованию в различных частях этой науки (в анатомии физиологической, хирургической и сравнительной) и в экспериментальной физиологии».

Институт обязан был готовить преподавателей и врачей-патологоанатомов для всех учебно-медицинских учреждений России. Об этом в пункте «е» говорилось следующее: «Доставляя способы к самостоятельным исследованиям в различных отраслях анатомии, способствовать к образованию будущих преподавателей этой науки и прозекторов не только для Академии, но и для других учебно-медицинских заведений в России».

Конференция, одоблив положение и предложив место директора института Пирогову, направила все документы на утверждение попечителю. И не успел Веймарн как следует ознакомиться с бумагами, как к нему явилась вдруг группа профессоров-иностранцев, которая заявила, что академии такой институт не нужен и что он будет ей только вредить. Веймарн растерялся. Он попытался спросить совета у ректора Виленского университета Фишера фон Вальдгейма, а заодно у профессоров хирургии Саломона и Пеликана. К его удивлению, они все в один голос заявили, что Пирогов смутяня, а его идея создания в академии Анатомического института самая что ни на есть бредовая. Особенно возмутился Саломон. Считая себя гением в хирургии и старожилом академии, он заявил, что, перебывав почти во всех странах Европы, он нигде не встречал там анатомических институтов.

— Как мы можем открывать то, чего нет еще на Западе... — доказывал он Веймарну. — Там наука намного впереди нашей. И если бы ученые Вены, Берлина или Лондона посчитали, что анатомия действительно так необходима, как заявляет об этом Пирогов, то они бы давным-давно открыли у себя анатомические институты.

Число противников проекта Пирогова нарастало. Группа профессоров, обозвав Пирогова «анатомом-живодером», обратилась к президенту академии с заявлением, что, если Анатомический институт будет открыт, большая часть из них покинет академию. Другая группа, минуя Веймарна, организовала жалобу с большим количеством подписей самому государю. В жалобе указывалось, что если в Анатомическом институте будет использоваться методика преподавания, так называемая «жажда познания человеческого тела», которой пользуется Пирогов, то вся академия, перевернувшись с головы на ноги, пойдет за Пироговым. Тем самым нарушится весь учебный процесс, так как занятия по анатомии отвлекут студентов от других не менее важных предметов.

Зейдлиц, Бэр и небольшая часть других профессоров пытались доказать Веймарну обратное. Только в апреле Пирогов побывал у него на приеме двадцать раз. Однако силы были неравные. Веймарн решил на некоторое время отложить принятие проекта.

Пирогов потрясен действиями противников. В госпитале профессора-иностранцы вывешивают плакат: «Долой анатомию! Свободу другим наукам!» Брунн торжествует. Он старается как можно чаще встретиться с Пироговым при людях и сказать:

— Ну что, господин Пирогов... Я же вам раньше говорил, что ваша анатомия есть чепуха, а вы мне не верили...

И, радуясь растерянному виду Пирогова, главный доктор в каком-то восторге подпрыгивал и потирал руками.

Жена Пирогова была беременна. Приближались роды. И вот в этой и без того тяжелой для Пирогова обстановке в академии совершается ужаснейшее горе в его семье. Буквально на следующий день после родов второго сына, неожиданно заболев воспалением мозга, в страшных двадцатидневных мучениях, так и не придя в сознание и не увидев ни сына, ни мужа, 25 января 1846 года умирает Екатерина Дмитриевна.

Зейдлиц в день смерти Екатерины Дмитриевны заявил О. И. Сепковскому, что больная обязательно поправится, хотя не исключал, что причиной длительного ее помешательства может быть развившийся после родов психоз. Екатерину Дмитриевну нельзя было узнать. Она вся исхудала, покрылась морщинами. У нее исчез аппетит, а отсутствие сна до предела истощило головной мозг. Одна из пациенток Пирогова Е. Н. Ахматова, лечившая у него глаза и очень часто навещавшая в это время Екатерину Дмитриевну, также была потрясена тем, как та буквально за несколько дней превратилась в изможденную старуху. А ведь до родов она была очень милой и прелестной.

Вот как характеризовала Е. Н. Ахматова, впервые увидев Екатерину Дмитриевну и близко познакомившись с ней. «Она была цветущего здоровья, что называется, кровь с молоком, настоящая жена для хирурга, которому приятно после страдальческих лиц своих больных найти у себя дома свежее, румяное личико, дышавшее здоровой красотой. Она была олицетворением кротости и очень хороша собой».

Никогда не было так больно Пирогову. Два раза он падал в обморок, а когда приходил в себя, кричал на весь дом: «Я должен умереть вместе с ней...», и когда слез уже не было, шептал: «Катя была такая хорошая!..» А во сне бредил: «Неужели они тебя заразили?.. Чтобы, убив тебя, убить и меня... Как так можно жить? Я в России, я дома, а меня хотят задушить. Какой же это дом?..» И, просыпаясь, слышал, как пронзительно-больно плакал ребенок, получая вместо материнского молока кипяченую воду. Чтобы сын не мог покончить с собой, мать спрятала весь его инструмент.

Тяжело переживал смерть жены Пирогов. Ни в академию, ни в госпиталь не ходил. Решив отказаться от всего, сидел в одиночестве дома. К нему с сочувствием приезжали Зейдлиц и Бэр, готовые во всем помочь. Но он был равнодушен к ним. С целой делегацией новых сторонников Пирогова явился попечитель Веймарн. Он обещал Пирогова поддержать. Пирогов не хотел никого видеть. Образ нежной, любимой Кати был рядом с ним. Он шепотом разговаривал с ней. А когда она исчезала, он, вдруг заплакав, начинал звать ее: «Катя, вернись! Вернись!» Кажется, ее платье мелькнуло на улице. И вот уже Пирогов бежит по улице и кричит: «Катя, вернись... Вернись...» Проходит день, второй. Она не возвращается... Проходит месяц...

«Ее уж нет! Уже нет матери моих двух бедных сыновей! Она оставила меня так скоро, так неожиданно, что я еще не могу свыкнуться с этой мыслью, что я оставлен, я овдовел и осиротел; куда ни посмотрю, все кругом меня так живо, так умирительно напоминает мне ее. Вот ком пата, которую она сама убирала, вот ее простой, милый вкус, вот плющ, вьющийся по окнам, который она сама рассадила. Давно ли в этой самой комнате, где стоит ее гроб, стояла елка, которую она сама убирала для Коко! Еще я не знаю, что будет со мной, когда я увижу этого бедного ребенка и когда в первый раз после смерти матери прижму его к груди моей. Я его отослал к бабушке; он не видел матери несколько дней и, говорят, весел, играет, а другой спит спокойно на руках кормилицы. Они не знают, чего лишились они, какая жалкая участь пред стоит им: провести первые годы своей жизни без материнских попечений, не иметь перед собой матери, и какой еще матери! Это горько, так горько, что я не знаю, может ли в жизни

человека встретиться что-нибудь горше, как провести свою юность без матери.

...Я плачу не за себя одного и не за своих детей; я плачу тоже и за ту, которую оплакиваю; ей еще хотелось пожить. За несколько недель она, проснувшись поутру, сказывала мне, что она проплакала целую ночь: ей вдруг стало страшно умереть и покинуть Колю. Она его призвала к себе и так целовала и обнимала, как будто предчувствовала; и так жизнь ее была мила. За что ни примусь, на что ни посмотрю, все она, везде следы ее минувшего существования: то заглавие книги в моей библиотеке, написанное ее рукой, и книги расставлены были ею, и эстампы развешивала она... Грустно, грустно, невыразимо грустно...»

Вечерами Пирогов уходит из дома и, чтобы хоть как-то забыться, бродит по снежным улицам. Метель то и дело приподнимает снег. Гудит и свистит холодный ветер. А он все идет и идет. И кажется, что нет конца дороги.

Отстаивая перед оппозицией предложенный Пироговым проект, Зейдлиц и Бэр убеждают Веймарна открыть Анатомический институт. И 26 января 1846 года Веймарн, несмотря на ожесточенное давление на него со всех сторон противников Пирогова, утверждает проект Анатомического института в виде опыта на пять лет.

«Наконец все-таки удалось устроить нечто вроде анатомического барака».

Принимая обязанности директора института, Пирогов писал: «Впрочем, и при всех этих условиях я бы не иначе принял на себя обязанности директора, как только в виде опыта, сначала на 2 года, и именно потому, что, во-первых, я никогда не берусь за то, чего исполнить не в состоянии, а во-вторых, что новоучреждаемое место директора, как составители проекта ни старались ясно передать его обязанности, может быть соединено с такими непредвиденными трудностями, которые я не буду в состоянии преодолеть».

Даже после открытия института Пирогову тяжело было находиться в Петербурге. Смерть жены преследовала его. Чтобы на некоторое время забыться, он в марте выезжает по командировке от академии за границу. Целью поездки было подыскание для Анатомического института ученого-патологоанатома и ознакомление с работой зарубежных анатомических отделений. Он посещает Францию, Австрию, Италию и Швейцарию. Знакомится с анатомическими залами, новым инструментарием. Наблюдает производство массовых вскрытий.

При посещении Австрии встречается с известным анатомом Венцеславом Леопольдовичем Грубером и приглашает его для работы в Петербург. Тот соглашается.

«Пребывание же мое за границей в 1846 году доставило академии лицо в виде молодого прозектора, рекомендованного мне проф. Гертлем и сильно меня заинтересовавшего своими прекрасными работами. Это был Грубер, выбором которого академия по справедливости может гордиться так же точно, как и я сам».

На обратном пути в Россию Пирогов заезжает в Дерпт к своему старому знакомому Георгию Шульцу, который во время учебы всегда был рядом с ним. Приглашению Пирогова перейти работать в Анатомический институт Шульц сразу же обрадовался, и они поехали вместе в Петербург.

Что же представлял собой Анатомический институт? Это было длинное одноэтажное здание барачного типа, которое со всех сторон окружали отделения госпиталя. В препаровочных залах на земляном полу стояли деревянные столы. Отапливалось помещение железными печками. Масляные висячие лампы светили слабо.

«В вечерние часы, — вспоминал один из очевидцев, — вся эта огромная комната, переполненная трупами во всех положениях и видах, окруженными массою студентов, одетых в черные клеенчатые фартуки, при тусклом освещении и копоти масляных ламп, окутанная облаками табачного дыма, производила странное впечатление, напоминая собою скорее картину пещеры из дантовского ада, чем место для научных исследований!»

Кроме студентов, курс анатомии в институте слушали врачи и фельдшера.

Постепенно в первом в мире Анатомическом институте стали улучшаться условия. Появились наглядные препараты и самый что ни на есть современнейший инструментарий.

16 октября 1846 года доктор Уоррен из Бостона первый в мире сделал операцию больному, которого усыпил один из «первооткрывателей» эфирного наркоза зубной врач Уильям Мортон. Это было событие в медицине величайшей важности. Производство операций облегчалось. В ходе их исчезла боль, а вместе с нею и невероятные страдания больных. Однако широкого, массового распространения наркоз вначале не получил. Многие остерегались и даже боялись его действия. Во-вторых, никто еще не знал, как надо с ним обращаться. Не было и не существовало как

таковой техники производства наркоза. Ведь можно так усыпить больного, что он и не проснется. И тогда получится, что больной умер не от операции, а от наркоза. А это уже преступление.

Пирогов, находясь в заграничной командировке, узнал об эфирном наркозе и по приезде в Петербург сразу же занялся его изучением. Начал делать массу экспериментов на животных. Усыплял всех подряд, настойчиво изучая при этом действие эфира на кровь и нервную систему. Кроме введения наркотического вещества в дыхательные пути, освоил его введение в вены и артерии.

Получив положительные результаты, подверг «эфированию» самого себя, затем своих помощников и добровольцев. И лишь после того, как убедился в незначительности его вреда, начал его пропагандировать. На одной из конференций в академии он заявил: «Эфирный пар есть великое средство, которое в известном отношении может дать совершенно новое направление хирургии». Всем ученым он также показал оригинальную маску для ингаляционного наркоза и прибор для введения эфира в прямую кишку, которые сконструировал сам.

14 февраля 1847 года он произвел первую в России операцию под эфирным наркозом женщине по поводу злокачественной опухоли грудной железы. Наркозом заинтересовались и другие врачи. За один только 1847 год под наркозом было сделано более шестисот операций, половину из которых выполнил Пирогов. В это же время он издает на французском языке научную работу «Наркоз эфиром через прямую кишку», которой заинтересовались в научных кругах.

«Едва я кончил эту работу, как тогдашний директор Военно-медицинского департамента В. В. Пеликан (расположением ко мне и дружбой которого я всегда дорожил) предложил мне отправиться по высочайшему повелению на Кавказ и испытать анестезирование на поле сражения».

8 июля 1847 года Пирогов в сопровождении ассистента Неммерта и фельдшера Калашникова выехал на Кавказ, где шла война против горцев.

«Его величеству государю императору угодно было повелеть испытать возможность приложения эфирных паров к производству операций на поле сражения. Важность этого приложения была очевидна. Мне поручено было сделать это приложение; сверх этого мне даны были поручения: испытать алжирские и другие транспортные средства для раненых в Дагестане, сообщить врачам Кавказского корпуса все значительные усовершенствования и мои способы в производстве хирургических операций и других хирургических пособий; наконец, осмотреть госпитали

Кавказа и вникнуть во все средства, необходимые для улучшения нашей полевой медицинской части».

Перед отправкой на Кавказ Пирогов был избран членом-корреспондентом Академии наук по биологическому отделению и академиком Медико-хирургической академии. А ученик Пирогова, доктор Неммерт, успешно защитил докторскую диссертацию.

К осаде Гиргибля медики не подоспели, и поэтому пришлось уехать в Турчидах, где находилось русское войско, а оттуда идти под Салты.

От Петербурга и до Темир-Хан-Шуры они ехали в сибирском тарантасе, кузов которого был окован листовым железом. Рябиновые жерди, на которых он крепился, очень упруги, и поэтому качка экипажа была более или менее равномерная; на поворотах и косогорах он не опрокидывался. Дорога была трудной. При приближении к Кавказу приходилось ехать по неровной, каменистой почве и переправляться через бурные реки вброд.

С собою Пирогов взял тридцать приборов для производства массового наркоза. А когда они заезжали в Ставрополь и Тифлис, то казенными аптеками этих городов, по высочайшему повелению, Пирогову для производства операций в Дагестане было отпущено два пуда эфира. В каких условиях и как транспортируется эфир, никто еще не знал. Чем ближе приближается Пирогов к югу, тем сильнее повышалась температура воздуха. Неожиданно она поднялась до сорока градусов. Большая часть жидкого эфира от нагрева могла в любой момент превратиться в пар. Кроме того, от тепла и постоянного взбалтывания эфир мог взорваться. Поэтому решено было эфир разлить в отдельные склянки из толстого стекла по два фунта<sup>[96]</sup> в каждую, и не под горлышко, а так, чтобы флаконы были неполные. Затем все флаконы поместили в два деревянных ящика, разделенных перегородками, дно которых было устлано ватой. Сверху ящики завернули рогожею и клеенкою. При такой транспортировке эфир даже по самым плохим и тряским дорогам и невыносимой жаре доставлялся без всяких потерь. Из Ставрополя через Моздок в Кизляр медики ехали по почтовому тракту. Из Кизляра почтовой дороги не было, с отрядом пехоты пришлось с большим трудом переправиться через Терек и ехать через Кази-Юрт и Чир-Юрт в Темир-Хан-Шуру — главное укрепление северного Дагестана. В Темир-Хан-Шуре медики оставили свой экипаж и верхом отправились в лагерь в Турчидах. Багаж, инструменты и ящики с эфиром, шли следом на вьючных лошадях. Лагерь в Турчидахе был важным военным пунктом, сюда стекалось большое число раненых.



Дорога из Темир-Хан-Шуры на Турчидах проходила через Оглы. Здесь Пирогов встретил князя Бебутова. Знаменитый военачальник радушно принял медиков, попросив при этом произвести несколько операций под наркозом его раненым бойцам.

Отдельного места для производства операций не нашлось. И Пирогов вместе с помощником Неммертом начал делать операции в присутствии всех раненых, чтобы убедить их в болеутоляющем действии эфира. Поначалу солдаты робели и даже с каким-то отвращением и неприязнью вдыхали пары неприятной для них жидкости. Затем поняв, что никакой боли они в ходе операции при наркозе не чувствуют, стали расхваливать эфир. Больные, присутствующие при этом, еще более удивлялись «чуду» Пирогова. Оперлируемый на их глазах лежал преспокойненько, не кричал и не стонал даже тогда, когда ему производили ампутацию.

«Заметив это, князь Бебутов велел также и другим здоровым русским солдатам и мусульманам присутствовать при этих опытах, чтобы они удостоверились в благодетельном действии эфирования и содействовали к распространению о нем молвы между своими товарищами».

Вскоре слух о чудодейственных операциях Пирогова разнесся по всему Кавказу. Многие ждали его как Бога. Особенно местные врачи, им хотелось побыстрее освоить методику проведения наркоза.

В Турчидах Пирогов прибыл в конце июля. Здесь были еще следы холеры, которая пронеслась в то время над Кавказом. Пробыв в Турчидах два дня и проведя за это время десять операций, Пирогов с отрядом войск и главным штабом отправился под Салты. Переход продолжался более полутора суток. Главнокомандующий войсками генерал-фельдмаршал и наместник Кавказа М. С. Воронцов обрадовался приезду Пирогова. Он уже был наслышан о безболезненных операциях Пирогова и всю ночь провел с ним в беседах об обезболивающем действии эфира.

— Наркоз облегчит страдания раненых... — то и дело говорил он. — Поэтому я прошу вас, господин Пирогов, как можно скорее освоить его и научить моих докторов...

Князь много хорошего говорил о простом русском солдате, о его мужестве и патриотизме.

— Величественней русского духа ничего нет на свете... — сказал он, когда войска подошли к аулу Салты. — Вот увидите, этот злодей будет побежден...

И, поблуднев, он гордо посмотрел на дымящийся аул.

А совсем рядом о чем-то возбужденно говорили подошедшие солдаты. Они были в папах, со скатанными шинелями через плечо и в длинных,

выше колен, сапогах. Многие стояли, оперевшись руками на ружья, а другие, наоборот, не снимая их с плеча, с жадностью и с какой-то неумной прелестью, характерной лишь для курильщика, раскуривали сигареты. Запах разгоравшейся махорки, приятно дурманя, медленно разносился по окрестности.

— В прошлом году мюриды за мной охотились... — вздохнул Воронцов и прищурил глаза. — Выстрелов сто по мне из-за углов произвели. А вот не попали. И все потому, что Бог выручает... — И, сняв фуражку, поправил на шее золотой крест.

Аул Салты расположен поперек ущелья. За год до осады он вдруг перешел на сторону Шамиля. Мюриды, горцы, воспитанные в духе беспрекословного подчинения, поклялись не отдать его русским. Два месяца длилась осада Салтов. Днем и ночью велась стрельба. Сакли, в которых прятались осажденные, были мало того что крепки, но располагались тесно друг к другу. Переулки и улочки были страшно узенькими, двоим по ним почти невозможно было пройти. Вместо окон в саклях были бойницы, в стенах также было много потайных отверстий, из которых нападающий в любой момент мог получить пулю.

«Первые ряды батальонов, — писал Пирогов, — вступающие в эти узкие пространства, должны действовать под убийственным огнем, под выстрелами в упор со всех сторон. Каждую саклю нужно брать приступом. При осаде этих саклей теперь много помогают ручные гранаты, которые бросают наши вовнутрь сакли, в собравшиеся там толпы осажденных. Эти же гранаты бросались во рвы и за стену, когда засевшие здесь лезгины своим метким ружейным огнем вредили нашим при осадных работах. Один из наших фейерверкеров<sup>[97]</sup> имел чрезвычайную ловкость в бросании ручных гранат, деле нелегком (их нужно бросать в то мгновение, когда подрезывается фитиль, воспламеняющийся через трение); уже с лишком 200 ручных гранат было брошено им, но одна из них лопнула у него в руке и оторвала ручную кисть.

Целых два дня после последнего штурма с 7 часов утра и до часу ночи мы перевязывали раненых и делали операции под влиянием эфирных паров. В наш полевой лазарет принесены были в это время и раненые мюриды. Эти отчаянные приверженцы Шамиля изумили нас своею твердостью и равнодушием к телесным страданиям. Один из них спокойно, без всякой перемены на лице, сидел на носилках, когда наши солдаты принесли его к нам в лазарет. Одна нога его была обвязана тряпками; я думал, судя по его равнодушию, что он незначительно ранен. Но каково же было мое удивление, когда, сняв повязку, я увидел, что нога его, перебитая

ядром выше колена, висела почти на одной только коже! На другой день после отнятия бедра этот же мюрид сидел между нашими ранеными, опять так же спокойно и с тем же стоицизмом».

Раненные в бою солдаты отсылались в ближайший временный госпиталь. Пирогов попросил князя Воронцова, чтобы он разрешил оставлять прооперированных больных еще на несколько дней, с целью дальнейшего их наблюдения. Князь дал согласие. По его приказу при главной квартире был устроен специальный полевой лазарет, куда сносились больные с наружными ранениями со всех батальонов, расположенных вокруг аула. Задерживать их допускалось от двух до четырех недель, не более. После того как Пирогов заканчивал над больными свои наблюдения, они тут же отправлялись в Кази-Кумыхский госпиталь.

Главное, нужно было точно определить время и количество эфира для приведения больного в бесчувствие. У Пирогова оно составляло не более получаса. Выяснилось, что не всем раненым может быть показан наркоз. Хирург при первом же осмотре должен определить те случаи, когда обезболивание противопоказано. Всего под наркозом Пироговым было прооперировано около ста раненых. Все операции прошли успешно. Ни одному раненому наркоз не был произведен насильно. Прежде чем делать операцию, Пирогов спрашивал согласия больного для проведения обезболивания.

«Самый утешительный результат эфирования был тот, что операции, производимые нами в присутствии других раненых, нисколько не устрашали, а, напротив того, успокаивали их в собственной участи, и все раненые, исключая одного (который потому и не был оперирован), садились почти всегда спокойными и без всяких возражений, один за другим, для производства над ними самых болезненных операций, каковы: отнятие членов и вырезывание пуль, засевших в глубоких частях. Часто целые часы, в которые было сделано 10 и более операций, проходили без всяких воплей и жалоб, и тишина прерывалась только одними несвязными восклицаниями эфированных, приказаниями врачей или разговором присутствовавших. Нельзя было не заметить удивления, с которым смотрели другие больные на немую бесчувственность своих товарищей-сострадальцев, подвергавшихся операциям под влиянием эфирных паров».

Из 100 операций 6 раз обезболивание было произведено над мусульманами. Сам наркоз их не пугал, они видели, как легко оперировали русских. Их интересовало содержимое флакона, из которого жидкость каплями падала на маску. Через переводчика Пирогов объяснял, что в

склянке с эфиром содержится средство, после вдыхания которого правожерный тут же переносится в рай Магомета и в его обитель блаженства и гурий. После такого объяснения мусульманин с необыкновенным наслаждением начинал вдыхать в себя эфирные пары. А после операции они почти все рассказывали, что действительно находились в невыразимо приятном месте, в котором желали бы пробыть всю оставшуюся жизнь.

Пирогов впервые был на войне и воочию увидел невероятно большое количество раненых и больных. Проводить операции ему приходилось в крайне неблагоприятных условиях. Например, полевой лазарет, который разрешил организовать князь Воронцов для наблюдения посленаркозного состояния раненых, состоял из нескольких шалашей, сделанных из древесных ветвей, крытых сверху соломой. В одном из шалашей была операционная, где койками служили длинные скамьи из каменьев. Вместо матрацев стелили солому или сено. Между каменными койками была прорыта канава для стока воды. Подушек не было, и больные пользовались соломой или собственной одеждой. На этих каменьях и производил Пирогов операции и перевязки. Так как они были очень низки, приходилось оперировать стоя на коленях или в согнутом положении тела.

И хотя шалаши проветривались, инфекция из-за большого скопления больных и раненых все равно возникала. Раны сильно нагнаивались и долго не заживали. Штурмы на аул следовали один за другим, и после каждого штурма приносили большое количество раненых. А когда в сентябре ночи сделались холодными и температура резко понизилась, то пришлось рядом с шалашами развернуть обыкновенные солдатские палатки. Резкое похолодание и развитие инфекции начали вызывать сильные осложнения, в ходе которых больные умирали в бреду и судорогах. Соломы не хватало, и раненых приходилось укутывать чем попало. Так как все места в шалашах и палатках были заняты ранеными, Пирогов с риском для своего здоровья спал на холодной земле.

«Утомленные до изнеможения, — вспоминал Пирогов, — днем при производстве операций и перевязок (по большей части в согнутом положении), пропитанные эфирными парами и нечистотой, мы сами терпели еще много и ночью от вшей, которых приносили мы с собой от больных, несмотря на то, что, возвращаясь, переменяли белье по два раза в день. Испытавшие эту муку уверяли нас, что вши в походе заводятся еще и от того, что белье обыкновенно моется в холодной воде. Хотя и не отрадно было действовать при стечении этих неизбежных следствий войны, но мы

могли по крайней мере утешить себя тем, что совестливо исполняли наши обязанности и не пропустили ни одного случая устранить страдания раненых, подвергая их всякий раз пред операцией) влиянию эфирных паров».

Встав утром раньше всех, Пирогов начинал оказывать помощь вновь поступившим раненым. Из-за недостатка соломы больные по несколько дней оставались лежать на старых подстилках, пропитанных гноем и нечистотами.

«Мириады мух, привлеченных смрадными испарениями, облепливали тяжело раненных и тех особливо, которые лежали без чувства; вши и черви гнездились в соломе и белье».

Раны у солдат были очень тяжелыми. Азиаты стреляли с близкого расстояния и почти в упор, обезображивая ткани и раздробляя кости на мелкие части. Не менее опасны были изогнутые шашки лезгинцев. Нанося ими удары со всей силы, они разрубляли тело от плеча до таза. Много поступало раненых с разрубленными лопатками или с отсутствием той или иной руки.

После того как помощь солдату была оказана, его надо было отправлять в госпиталь. Однако транспортировка из-за неровной, гористой поверхности была просто невыносимой. Подъемы на горы сменялись спусками. Все дороги были усеяны камнями. И раненый, вместо того чтобы лежать спокойно, трясся на неровностях. Сильные перепады температуры воздуха, в долинах он был теплым, а на вершинах гор холодный, часто приводили к простудным заболеваниям. В начале октября неожиданно после жаркой погоды выпал снег и началась метель. Раненые, не снабженные теплой одеждой, шагая по сугробам, отмораживали ноги. Через горы раненых перевозили на вьючных черводарских лошадях верхом или на азиатских носилках, которые привешивались к двум лошадям, одна спереди, другая сзади. При эвакуации раненых из-под Салтов в Кази-Кумыхский военновременный госпиталь Пирогов испытал новые алжирские носилки. Называемые «сидейками» или «лежанками», они легко и удобно прикреплялись к арчакам вьючных седел. При этом число сопровождающих сокращалось почти втрое. Пирогов одобрил применение этих носилок на Кавказе. И рекомендовал в некоторых местах использовать для перевозки раненых не только лошадей, но и верблюдов.

При переломах конечностей Пирогов под Салтами широко применял неподвижную крахмальную повязку. Особенно необходима она была при транспортировке раненого.

— Раненому органу нужен покой... — говорил он врачам. — И этот

покой, особенно в дороге, создает крахмальная повязка. Впоследствии, как мне кажется, эта повязка, создавая охранительный покой, сделает ненужной ампутацию. А это уже успех, и успех не малый.

После наложения повязок боль и отечность у раненого в месте перелома быстро исчезали.

«Больные, отправленные в этом состоянии из Салтов в Кази-Кумых, подавали полную надежду к выздоровлению, и после я их видел уже почти выздоровевшими.

Такой же благоприятный исход был и в третьем случае — при переломе хирургической шейки плеча».

Пирогов учит военных врачей наложению неподвижной крахмальной повязки. Знакомит с особенностями ее наложения при тех или иных заболеваниях.

— Чтобы сэкономить время... — говорит он, — заготовьте повязку заранее. Только никогда не забывайте над местом ранения сделать в ней отверстие.

Врачи с интересом слушали советы Пирогова и восхищались его мастерством и быстротой наложения крахмальных повязок.

После взятия Салт Пирогов с главным штабом отправился обратно в Темир-Хан-Шуру. В этом ауле Пирогов встретил раненых, которых он прооперировал ранее. Внимательно осмотрев их, он убедился, что дела их идут на поправку. По просьбе военных врачей он сделал несколько восстановительных операций на суставах, поврежденных пулями. По пути из Дербента в Кубу, переправившись через бурную горную речку Самур, посетил Кусары, штаб-квартиру полка, где также встретил знакомых раненых. Между Тифлисом и Ставрополем осмотрел Владикавказский и Екатериноградский военные госпитали. Совсем недавно построенные, они были чистыми и просторными. Палаты теплые. Много было подсобных помещений. Во Владикавказе Пирогов сделал операцию удаления зоба с применением наркоза, после которой он ознакомил врачей с техникой проведения наркоза. Любознательности их не было предела. Всем хотелось освоить эфирование. Да и как приятно и почетно слышать советы из уст человека, который первым в мире применил наркоз в военно-полевых условиях.

— Главное, не волноваться... — успокаивал Пирогов врачей. — Самый лучший способ — это применение эфира посредством вдыхания. Кстати, учтите, я пользовался при операциях не петербургским эфиром, а вашим, ставропольским и тифлисским. Значение эфира для нас, хирургов, исключительное. Эфир, защитив больного от страданий и боли, тем самым

облегчил нам производство операций. Однако надо учесть, что не всегда можно производить эфирование. При шоковом состоянии больного дача наркоза недопустима.

По несколько часов кряду он объясняет особенности действия эфира при самых различных операциях. И тут же на добровольцах показывает, как надо производить обезболивание. Пирогов просит врачей не бояться наркоза и применять его как можно чаще. Весь свой опыт и все свои знания он стремится передать военным врачам. Ведь им приходится работать вдали от клиник и университетов. Несколько лет кряду они проводят в походах и крепостях, поэтому Пирогов в своих беседах с военными врачами рассказывал не только о наркозе, но и о всех прочих хирургических новинках. Он объяснил им производство редких операций. И как сторонник и пропагандист анатомии подарил им вышедшие тома своего «Курса прикладной анатомии».

Первый раз находясь на войне, он полюбил военных врачей. Он считал их патриотами России. Ведь почти все они работали и жили в крайне тяжелых бытовых условиях. Не говоря уже об удаленности от общества и прочих самых элементарных человеческих благах. Да и как могли военные врачи, находясь в отдаленной дикой стране, думать о науке или о чем-нибудь передовом в хирургии, если не сегодня, так завтра они могли погибнуть. Пирогов понимал это. И, относясь порой снисходительно к своим собратьям, он в то же время гордился ими.

«Врачи в действующих отрядах всегда готовы под неприятельскими выстрелами подавать пособие раненым, и не было ни одного случая, когда бы врача на Кавказе обличили в неготовности идти навстречу опасности; напротив, много раз уже случалось, что они были ранены, убиты; был даже случай, когда один врач должен был принять команду над ротою и взял завал; были случаи, что один врач должен был перевязать при ночном нападении до 200 раненых. Во время господствовавшей холеры на руках одного бывали целые сотни холерных больных и никогда не слышно было, чтобы начальники жаловались на нерадение или беспечность врача».

Вместе с Неммертом Пирогов перед приездом в Петербург, кроме отчета о проделанной на Кавказе работе, подготовил своеобразную таблицу операций, где указывал имя, звание и занятие больного, название болезни, место проведения операции и ее исход. Вся эта таблица переполнена русскими фамилиями бойцов, которым Пирогов производил операции с эфированием на поле сражения.

Иван Светков, сорока лет. Диагноз: раздробление нижней части плеча

пулею на правой стороне. Эфирование через вдыхание. Отправлен на 5-й день в Кумых с надеждою. Родион Щетин также отправлен после операции с надеждою. А вот Иван Савин, тридцати лет, у которого ядром перебило правое предплечье, был прооперирован в тяжелом состоянии и через 36 часов умер. Рядовые Михаил Кабанец, Василий Соболев, Филипп Федоров, Иван Назаров прооперированы с полною надеждою. Кроме этих данных, Пирогов указывает в таблице способ операции и замечания.

Приехав в Петербург, промокший и уставший Пирогов, быстро переодевшись, идет на доклад к военному министру Чернышеву. Свершилось невероятное. Радости Пирогова нет конца. Его отчет начинался словами: «Россия, опередив Европу нашими действиями при осаде Салтов, показывает всему просвещенному миру не только возможность в приложении, но неоспоримо благотворительное действие эфирования над ранеными на поле самой битвы.

Мы надеемся, что отныне эфирный прибор будет составлять, точно так же, как и хирургический нож, необходимую принадлежность каждого врача, во время его действий на бранном поле».

В приподнятом настроении он зашел к министру. Тот, встав из-за стола, шагнул навстречу Пирогову. Но затем, вдруг остановившись, насупился.

— Ваше сиятельство!.. — торжественно произнес Пирогов. — Свершилось великое событие. Эфир при производстве операций оказался просто необходимым. Тем более в военных условиях. Можете себе представить, что мы опередили всю Европу, первыми применив эфир в военно-полевых условиях...

— Хорошо... — вздохнул министр. — Кстати, мне командование не раз сообщало о вас.

— Вот, извольте ознакомиться с моими сообщениями и докладом... — И Пирогов передал ему папку с бумагами.

Министр, взяв ее, небрежно положил на стол. Это Пирогова насторожило. Чернышев был не в духе. Сообщение об успехе русской медицины его не обрадовало.

— Извините, вы случайно не больны?.. — очень вежливо спросил его Пирогов.

Министр, разом как-то весь побагровев, посмотрел на Пирогова огненным взглядом.

— Я-то не болен, а вот вы, оказывается, больны... — произнес он и, ударив по столу кулаком, закричал: — Как вы смели явиться в таком



одеянии ко мне на прием? На вас не китель, а черт знает что...

— Ваше сиятельство, извините... — поняв в чем дело, растерянно пролепетал Пирогов. — Я только что приехал. Я спешил к вам. Хотел обрадовать. Рассказать про эфир...

— К черту все... — заорал пуще прежнего тот. — Мне неинтересны ваши успехи... — И, расстегнув ворот на шее, зло прибавил: — Мое министерство, можно сказать, самое что ни на есть передовое. С ним сам государь император считается. А вы явились ко мне в мятом кителе. Мало того, подпоясались бог знает чем... — И, взяв со стола папку, Чернышев вернул ее Пирогову. — Забирайте свой доклад и уходите. Сейчас же уходите. Я не хочу читать ваш доклад, он мне противен...

— Вы в своем уме?... — на какую-то минуту потеряв контроль над собой, произнес Пирогов.

— Вон, сейчас же вон... — закричал министр и, вызвав адъютанта, приказал вывести Пирогова из кабинета.

Звон стоял в ушах Пирогова. С трудом вышел он на улицу и присел у фонаря на снег. Он не ожидал, что его радость так будет жестоко растоптана. Не понимая, где находится, он громко зарыдал. А затем вдруг истерика сделалась с ним.

— Изверг он... — закричал он вдруг точно сумасшедший и, поднявшись на ноги, опять упал в снег. Был сильный мороз. Ветер кружил и гудел беспорядочно, остужая каменного орла у двери и парапет мостовой.

Пирогову было жарко, он расстегнул пальто и китель. Снял с головы шапку. В эти минуты ему не хотелось жить.

— Он князь, он министр... И ему не эфир главное, а китель. Негодяй, да ты же так кого угодно убить можешь. Несчастен тот, кто верует тебе. Несчастен... Будь ты проклят...

К Пирогову подошел извозчик, с удивлением ткнув его кнутом, произнес:

— Живой. — А затем спросил: — Барин, долго еще вас дожидаться?

— Не уезжай, не уезжай... — закричал Пирогов. — Я встать не могу. Брат, помоги...

Извозчик, сунув кнут за пояс, нагнулся над Пироговым.

— Только папочку не потеряй, там ценные бумаги...

— Не волнуйся, барин, все доставлю по назначению.

Пирогов чувствовал, как кто-то очень торопливо волок его по снегу. Перед глазами была чья-то могучая грудь и лицо, хотя и воинственное, но очень доброе.

Дома целую неделю приходил Пирогов в себя. Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, играл с детьми, разговаривал с матерью и сестрами о Боге. А когда, чуть придя в себя, явился к новому попечителю академии генералу Анненкову, тот, вежливо взяв его бумаги и поздравив с великими успехами, вдруг заявил:

— Мне велено объявить вам выговор. Что я и делаю...

— От кого выговор? — удивленно спросил Пирогов.

— От графа Чернышева... Министр до сих пор разъярен вами. Буквально вчера он мне заявил, что, если вновь явитесь к нему в этом кителе, он примет к вам более строгие меры...

— Передайте ему, что я никогда больше не явлюсь к нему... — вспыхнул Пирогов.

— Нет, нет, только не надо так возмущаться... — вежливо произнес генерал. — Я думаю, если министр узнает, что вас приглашает к себе великая княгиня Елена Павловна, он сразу же изменит к вам свое отношение... — И, протянув растерявшемуся Пирогову письмо, добавил: — Завтра в полдень княгиня ждет вас в своем дворце...

Очень длинной была беседа Пирогова с княгиней. Ее интересовало абсолютно все: и наркозная маска, и обработка ран, и транспортировка раненых. А когда Пирогов рассказал об успешном применении наркоза в военных условиях, она пришла в восторг.

— Я благодарю вас за успех... — произнесла она. — И преклоняюсь перед вами...

Когда Пирогов уходил, она добавила:

— Если я потребуюсь, всегда обращайтесь ко мне. Может, кое в чем я вам и помогу...

В эти трудные для Пирогова минуты княгиня, как никто другой, поддержала его и посоветовала как можно скорее обобщить свой опыт работы на Кавказе в книге. С ее благословения Пирогов начинает писать «Отчет о путешествии на Кавказ», в котором рассказывает не только о применении в качестве наркоза эфира, но и хлороформа, операции с которым он начал производить уже по приезду в Петербург. Следует отметить, что в Европе в это время происходили военные действия. Это была итало-австрийская война 1848–1849 годов, или так называемая Голштинская война. Однако никто из хирургов участвующих в войне стран не применил обезболивание в военных условиях, считая это дело абсолютно невозможным.

Первоначально «Отчет о путешествии на Кавказ» перед

опубликованием его в военно-медицинском журнале был направлен на отзыв конференции академии. Главный рецензент отчета профессор хирургии Наранович, много лет проработавший главным хирургом армии, отзывался о работе Пирогова как о значительном и очень важном труде.

«Вообще сочинение это, — писал он в отзыве, — как излагающее предмет новый как в нашей отечественной, так и в иностранной медицинской литературе, и притом с большою подробностью как в теоретическом, так и в практическом отношении, по нашему мнению, достойно полного внимания и признательности».

В целом же отчет был выдающимся произведением того времени. Помещенный в 1847 году в журнале, он затем был расширен и переведен на французский язык. А в 1849 году вышел в свет отдельной книгой. И если большая часть чиновников настороженно отнеслась к новой работе ученого, то передовые люди того времени восприняли ее с невероятным пониманием. Отзывы об «Отчете о путешествии на Кавказ» были напечатаны в некрасовском «Современнике» и прогрессивном журнале «Отечественные записки».

«Книга г. Пирогова написана так легко и занимательно, — писал «Современник», — что самые сухие медицинские вопросы представляются в ней под увлекательною формою, доступною всякому образованному человеку. Поэтому мы считаем долгом обратить на нее внимание тех из наших читателей, которые не принадлежат к медицинской публике. Последняя уже без нашей рекомендации прочла от доски до доски любопытный труд гениального профессора».

В своей обширной рецензии «Современнику» вторили «Отечественные записки»<sup>[98]</sup>, сообщая в своей обширной рецензии следующее: «Немногие из ученых владеют искусством выражаться так, чтоб сочинения их, при специальности содержания, были доступны всем образованным читателям, увлекали ум и заставляли любить науку». И далее указывалось, что книга, «написанная с уважением и любовью к науке...нисколько не похожа ни на мертвые произведения сухого специализма, от которых веет холодом педантической исключительности, ни на пустые, трескучие изделия подслащенной учености... Это сочинение вполне ученое по своему содержанию и в то же время отличающееся благородством тона, живостью рассказа и ясностью языка». И далее говорилось, что «наблюдения над эфированием раненых так важны по своей пользе, что решение этого вопроса придает высокий интерес поездке нашего хирурга, а вместе с тем и его новому сочинению. Кавказская экспедиция 1847 года останется навсегда памятною в летописях науки тем,

что окончательно доказала возможность и почти необходимость анестезирования на поле сражения».

Кроме операций с применением эфира, Пирогов рассказывает о новом наркотическом средстве — хлороформе. В целом же им был применен эфир в 400, а хлороформ в 300 случаях. В своей книге Пирогов доказывает, что наркоз на повышение смертности не влияет, не препятствует он также и послеоперационному заживлению ран. Кроме описания своих опытов и наблюдений, Пирогов рассказывает в книге о природе Кавказа, о горцах и их обычаях. Подробно описывает климат Дагестана и азиатскую медицину. Пробыв на Кавказе чуть более полугода, Пирогов очень сильно скучал по России. Как радовался он в ходе своего путешествия неожиданно появившемуся на перевале русскому голосу или песне. А как приятно ему было встретить, хотя и маленькое, русское поселение.

«Штаб-квартиры и станицы наши в Дагестане и за Кавказом изумляют путешественника из России нечаянностью: проезжая по земле, отличающейся и климатом, и нравами, и видом ее обитателей от наших северных стран, вдруг в глуши видишь пред собою русскую деревню, слышишь русский язык и узнаешь знакомые физиономии земляков, входишь в дом, убранный по-европейски, с некоторой даже роскошью: словом, на время забываешь, что невдалеке и вокруг этого места русский еще борется с диким фанатизмом азиянца и силою оружия упрочивает свои завоевания».

Много страниц в книге уделено героизму и мужеству русского солдата.

После поездки на Кавказ Пирогов хорошо отзывался о своих помощниках — докторе П. Ю. Неммерте и фельдшере И. Калашникове.

«Без них, — писал он, — я не смог бы произвести и половину операций с наркозом».

Особенно был доволен Неммертом, который блестяще освоил все секреты и навыки учителя и оперировал «по-пироговски» аккуратно и грамотно, поражая всех при этом отличным знанием анатомии.

Отмечая заслуги Неммерта, 9 февраля 1848 года Пирогов обратился к конференции академии о назначении его на должность адъюнкт-профессора<sup>[99]</sup>. В своем письме конференции он писал: «Сославшись уже словесно на конференции об определении господина доктора Неммерта адъюнктом при кафедре оперативной хирургии и вместе ассистентом при госпитальной поликлинике с тем, чтобы он преподавал десмургию и занимал студентов упражнениями в производстве операций над трупами с анатомико-хирургическими объяснениями, я теперь обращаюсь еще

письменно. Я до сих пор не имею еще ассистента, исключая молодых госпитальных ординаторов, никто без меня не заведует клиником и в случае моей болезни или моего отсутствия никто не будет в состоянии провести клинических занятий, продолжать клинические упражнения и руководить студентами при перевязках. Сверх того, после определения г. Неммерта в адъюнкты я предлагаю его послать за границу как кандидата, известного конференции своими способностями, своею ловкостью в производстве хирургических операций и своими сведениями в анатомии и хирургии. Поэтому прошу покорнейше конференцию ускорить представление г. Неммерта к занятию места адъюнкта начальству».

Конференция удовлетворила просьбу Пирогова, и в этом же году Неммерт стал адъюнкт-профессором.

Следует отметить, что отношения Пирогова с конференцией академии в 1848 году накалились до предела. Своими успехами в науке Пирогов вызвал зависть многих профессоров. «Дерптский пришелец, и вдруг надо же как стал в гору лезть...» — злились они. До прихода Пирогова в академию конференция жила тихо-мирно, передавая тепленькие должности и посты своим друзьям, родственникам или благонадежным и покорным молодым профессорам. Пирогов встревожил ее жизнь. Его новые взгляды и идеи требовали работы от конференции, принятия решений, составления отчетов. Кроме того, Пирогов неожиданно стал открыто выступать против бездарных профессоров и против их преклонения перед западной наукой. Большая группа профессоров, входящих в конференцию академии, создала против Пирогова оппозицию. Силы были неравные. Пирогов сразу же почувствовал это. Первым против него начал плести интриги вышедший в отставку по возрасту профессор хирургии и анатомии Буяльский. Заняв его должность, Пирогов обошел его по своим открытиям и научным работам буквально за каких-то два года. Буяльский начал завидовать «мальчишке», как он называл Пирогова. Открытый конфликт между ними возник, когда Пирогов выступил против выдвижения кандидатуры профессора внутренних болезней Шипулинского, являющегося зятем Буяльского, на пост ординаторского профессора.

— Он не достоин этого повышения... — сказал Пирогов. — Есть многие другие профессора достойнее его. Шипулинского интересует не наука, а оклад. Я против повышения Шипулинского...

Пирогова поддержали Бэр и Зейдлиц, сразу же предложив две кандидатуры вместо Шипулинского. Но конференция запротивилась. А точнее, ей нужен был повод, чтобы отомстить Пирогову. И она это сделала. Временно отложив рассмотрение кандидатуры Шипулинского, профессора

бросились использовать все свои связи против Пирогова. А так как в этом деле больше всех был заинтересован Буяльский, то он и отличился. Зять его Шипулинский и он сам были очень дружны с реакционным журналистом Фаддеем Булгариным, издающим газету «Северная пчела». Кроме всего прочего, Булгарин был тайным агентом III отделения. Считая себя учеником шефа жандармов Бенкендорфа, он использовал это свое привилегированное положение и в журналистике, предоставляя страницы своей газеты для самых что ни есть жутких клеветнических выпадов против неугодных ему людей. Отличаясь беспринципностью и нахальством, он мог оскорбить и унижить самого что ни на есть порядочного человека. Кроме этого, он занимался доносами на писателей. Булгарин на страницах своей газеты делал оскорбительные выпады против Пушкина, в которых он называл поэта бездарью, противозаконцем и пасквилистом.

Когда Пушкин был избран действительным членом «Общества любителей российской словесности», то он отказался от этого звания по следующей причине, изложенной им в письме к М. П. Погодину: «... Общество Любителей поступило со мною так, что никаким образом я не могу быть с ним в сношении. Оно выбрало меня в свои члены вместе с Булгариным, в то самое время, как он единогласно был забаллотирован в Английском клубе (в Петербургском)... как шпион, переметчик и клеветник... Воля ваша: это пощечина. Верю, что Общество в этом случае поступило как Фамусов, не имея намерения оскорбить меня.

«Я всякому, ты знаешь, рад».

Но долг мой немедленно возвратить присланный диплом; я того не сделал, потому что тогда мне было не до дипломов — но уж иметь сношения с Обществом любителей я не в состоянии...»

Буяльский и Шипулинский настраивают Булгарина против Пирогова. В личной беседе с журналистом Шипулинский просит изгнать Пирогова из академии.

— Своим эфиром он заморочил всем головы, — жаловался тот. — Изданные до него пособия по анатомии он считает слабыми. Открыв свой Анатомический институт, заразил студентов анатомией. Все только про него и говорят, как будто нет других профессоров. По его мнению, французские и немецкие взгляды вредны русскому духу... Вы представляете, к чему он все это клонит. А на одной из конференций он во весь голос заявил, что, мол, пора поднять знамя русской науки. Военных врачей Кавказа, признанных всеми бездарями и тупицами, он назвал патриотами, а Бюрфона и Воткера заживевшими пугалами... Мало того,

потребовал пересмотреть профессорские звания более половины членов конференции...

— С нами шутить грех, мы кого угодно на чистую воду выведем... — И, обняв Шипулинского, Булгарин засмеялся. — Нахвтался вершков этот Пирогов и думает уже, Бог. Это ему не скальпелем тела кромсать. Мы уж если тяпнем, то и встать более не пожелаешь... Нам бы только знать, за что ухватиться...

— А это мы придумаем... — обрадованно произнес Шипулинский. — Факты, так сказать, свежайшие, только вы, уж будьте добры, поскорее все сделайте.

— А это уж как заплатите... — засмеялся Булгарин и, причмокнув губами, добавил: — Не таких ученостей я, бывало, на крюк вздергивал, а Пирогова-бедняка и подавно в пух и прах разнесу.

Началась травля Пирогова. Булгарин как известный журналист и редактор газеты обратился с личным письмом к конференции академии, в котором он занижал все заслуги Пирогова в эфирном обезболивании, а заодно объявлял его не хирургом, а «проворно резающим» шарлатаном. Кроме этого, в письме он сослался на то, что знает Пйрогова еще с Дерпта, где он якобы встречал его на квартире Мойера. И уже в то время Пирогов учился не лечению больных, а резанию.

Через враждебно настроенную по отношению к Пирогову группу профессоров Булгарин начал добиваться, чтобы его письмо зачитали на конференции. Узнав об этом, военный министр Чернышев возмутился. Вызвал к себе попечителя Анненкова, накричал на него:

— Кто дал право этому журналисту-клеветнику лезть в наши дела? Передайте Булгарину, что он оскорбил не меня, а вас. И учтите, если публичное чтение письма состоится, вы будете на следующий день уволены.

Письмо зачитывать не стали. Да его и не нужно было зачитывать. Письмо Булгарина было размножено, и с ним ознакомились не только профессора, но и студенты.

Пирогов близко знаком с Булгариным не был, но в Дерпте очень часто встречался с ним в доме Мойеров. Булгарин имел под Дерптом собственную дачу, где по несколько месяцев жил со своей женой.

«Булгарин старался всюду проникнуть и со всеми познакомиться, — вспоминал Пирогов, — поражая каждого своей развязностью, походившей на наглость. Во время годовой ярмарки он ходил по лавкам заезжих петербургских и московских купцов, и когда они не уступали в цене, то грозил им во всеуслышание, что разругает их в «Северной пчеле».

...Словом, Фаддей Венедиктович и в Дерпте не скрывал своего таланта. Однажды за приглашенным обедом у помещика Липгардта в присутствии многих гостей и, между прочим, одного студента, Булгарин, подгуляв, начал подсмеиваться над профессорами и университетскими порядками. Студент передал потом этот разговор, конфузивший его за обедом, своим товарищам. Поднялась буря в стакане воды. Начались корпоративные совещания о том, как защитить поруганное публично Фаддеем достоинство университета и студенчества. Порешили преподнести Булгарину в Карлове кошачий концерт. С лишком 600 студентов с горшками, плошками, тазами и разной посудой потянулись процессией из города в Карлово, выстроились пред домом и, прежде чем начать концерт, послали депутатов к Булгарину с объяснением всего дела и требованием, чтобы он во избежание неприятностей кошачьего концерта вышел к студентам и извинился в своем поступке. Булгарин, как и следовало ожидать от него, не на шутку струсил, но, чтобы уже не совсем замарать польский гонор, вышел к студентам с трубкой в руках и начал говорить, не снимая шапки, не поздоровавшись.

«Шапку долой! Шапку долой!» — послышалось из толпы. Булгарин снял шапку, отложил трубку в сторону и стал извиняться, уверяя, клянясь, что он никакого намерения не имел унизить достоинство высокоуважаемого им Дерптского университета и студенчества».

Однако клятвенно попросив прощения, он на другой день мог поступить, как и прежде.

Строго наказывать его все боялись, ибо знали, что за его спиной стоит жандармерия.

Клеветническое письмо Булгарина дошло и до Пирогова. Возмутившись, он потребовал объяснения с журналистом. Однако Булгарин был уже неуправляем. Войдя в азарт, он шлет «извинительное письмо» Пирогову и одновременно в своей газете публикует фельетон, в котором указывает всем медикам, что известное сочинение Пирогова «Полный курс прикладной анатомии<sup>[100]</sup> человеческого тела» заимствован у англичанина Чарлза Бэлла.

Этой клеветнической публикацией Пирогову был нанесен тяжелый моральный удар. Буяльский и Шипулинский торжествовали, их дело удалось. Однако в защиту Пирогова выступает Карл Максимович Бэр. В «С.-Петербургских ведомостях», издаваемых Академией наук, он развенчивает проходимца Булгарина, характеризуя его как клеветника и мошенника. Одновременно в этой же статье Бэр говорит, что труды Пирогова имеют всемирное значение. Вслед за этим Академия наук создала



специальную комиссию для опровержения нелепых обвинений Пирогова. Все 12 выпусков «Курса прикладной анатомии» Пирогова сравниваются с анатомическими таблицами Бэлла, которые тот нарисовал и издал еще в молодости, в 1798 году. Для опроса приглашается издатель Ольхин и художник Мейер, который выполнял рисунки с препаратов Пирогова в натуральную величину. Берутся свидетельские показания у главных докторов госпиталей, моргов и бань, где Пирогов производил вскрытие трупов.

Детально изучается каждый штрих и рисунок таблиц всех 12 курсов «Прикладной анатомии».

Увы, никакого заимствования у Пирогова комиссия не находит. Большая часть профессоров конференции требует самого строгого наказания журналиста и тех, кто стоял за его спиной.

Струсивший и не на шутку перепуганный, Булгарин является с извинительными письмами к военному министру, попечителю и президенту академии.

Эти письма-покаяния лжеца зачитывались по несколько раз на конференции, в студенческих аудиториях и госпиталях. Извинение Булгарина Пирогов не принял, а потребовал немедленного судебного расследования всего дела, с чем и обратился к военному министру. Однако тот решил признать достаточным письменное извинение Булгарина. Пирогов, недовольный решением министра, 21 марта 1848 года пишет попечителю академии, генералу Анненкову прошение об отставке. В своем письме он не клеветает на Булгарина, а говорит о судьбе опозоренного учителя, который по соображениям совести не в силах уже вести дальнейшее преподавание студентам. В нем также выражена принципиальность ученого и убежденность в своей правоте.

«Достоинство наставника, руководствующего образованием врачей, по моим понятиям, так важно, что каждый из нас должен поставить себе в неперемennую обязанность дорожить этим достоинством в той же или даже в большей степени, как вообще дорожат в обществе честным и благородным именем человека. Непосредственным следствием этого взгляда есть: 1) понятие о том, чтобы и все другие члены общества, составляемого наставниками, равно заботились о сохранении и поддержании этого достоинства как в ученом, так и в нравственном отношении, потому что только этим общим стремлением наставника, учебное заведение сохраняет почетное место, назначенное ему в государстве...

Как уважаемый всеми начальник, как просвещенный человек, скажите,

Ваше Превосходительство, можно ли быть истинным врачом и хорошим наставником, не имея убеждения в высоком достоинстве своего искусства? А можно ли требовать этого убеждения от будущего врача, который, будучи учеником, видел унижение учителя в глазах света? Вот откровенное изложение причин, побуждающих меня оставить службу при академии. В службе моей я никогда не искал личных выгод, и потому я оставил ее, как скоро этого требует мой взгляд на собственное достоинство, которым я привык дорожить».

Кроме письма, Пирогов в разговоре с попечителем обнажил причины его разногласий с конференцией. Он не мог терпеть избрание в профессора не по знаниям, а по протекции или по родственным связям. Коалиция профессоров в конференции раздавала профессорские звания только понравившимся им в плане угодничества и покорности лицам. Знания новых профессоров ее не интересовали. Да и о каких знаниях могла идти речь, если докторами медицины в академии порой делались по знакомству. В ходу было плутовство и очковтирательство.

Анненков отказался подписывать прошение и передал его военному министру. Когда Пирогов явился к министру, в России вспыхнула страшная эпидемия холеры. Граф Чернышев очень вежлив был с ученым и, внимательно выслушав его, неожиданно сказал:

— В нашем ведомстве вы единственный, на кого можно положиться. Поэтому ваше увольнение для нас равносильно трагедии...

Министру захотелось вдруг высказаться.

— В России бушует холера. Ею поражены города и войска. Причины заболевания неизвестны. Поэтому я прошу вас как солдат солдата приложить все свои силы на выяснение ее причин. Как следует изучите и исследуйте это заболевание... — Затем министр покраснел. — А за Кавказ я прошу вас меня простить... — тихо добавил он. — Черт меня попутал. Поднимаю руки, господин Пирогов... — засмеялся министр. — Еще раз прошу вас не волноваться. Спокойно занимайтесь холерой, пока я жив. А этого подлеца Булгарина я загнал в угол... Он на коленях стоял здесь передо мной как последний подонок, слезы лил, прощения просил...

Министру удалось уговорить Пирогова остаться в академии. К удивлению того, он был искренен с ним, как никогда.

С холерой Пирогов встретился еще в 1847 году, когда он выезжал на Кавказ. Эта болезнь была страшной. Больные умирали на третьи-четвертые сутки. Никакие лекарства при этом страдании не помогали. В то время холера была загадкой, никто не знал, как ее лечить.

С холерой Пирогов встречался в Пятигорске, Тифлисе и ауле Темир-Хан-Шуры. Ужасная и очень мучительная смерть холерных больных сильно действовала на окружающих, вполне здоровых людей. Боязнь, что они в любой момент могут заболеть холерой, вызывала в их психике тяжелые изменения. С одним из таких больных Пирогов встретился в Шемахе. В прошлом году заболев холерой, он случайно остался жив. Однако страх снова заболеть не покидал его. В Шемахе на следующий год вновь появилась холера, и он слег в постель, хотя был абсолютно здоров. Когда Пирогов зашел к нему, он лежал под двумя одеялами в душной, натопленной комнате. Окна были заклеены и замазаны наглухо. Увидев Пирогова, исхудавший и истощенный больной предостерегающе произнес:

— Учтите, я страдаю хронической холерой!

— А разве у вас есть рвота, понос и судороги?.. — удивленно спросил его тот.

— Поноса и рвоты у меня нет потому, что я мало ем, — ослабленно простонал больной. — Но это не главное. Главное, у меня физиономия холерная. Лицо сухое, предсмертное. А глаза волчьи, в темноте светятся.

Пирогов, осмотрев больного и подробно опросив его, еще раз убедился, что тот абсолютно здоров. Да и сам трехмесячный срок его лежания говорил о том, что у него нет никакой холеры. Холерные больные умирают буквально за несколько часов, в крайне редких случаях через пять суток.

— У вас нет холеры... — сказал Пирогов. — Советую прекратить питье хмеля и камфоры. Вам надо сейчас же встать и выйти на воздух... — И попытался помочь больному привстать.

Но тот рассерженно оттолкнул его.

— Вы известный человек, а даете такой глупый совет. Старая бабка могла дать такой совет, но не вы... — Губы у больного затряслись, он заплакал. — На улице холера, люди мрут как мухи, а вы советуете выйти на свежий воздух.

Пирогов начал успокаивать больного и убеждать его своим авторитетом, что у него нет холеры. Но тот все равно не верил ему. Страх повторного заражения был выше веры во врача.

Впервые же с холерными больными Пирогов познакомился еще студентом в Дерпте, когда в 1830 году неожиданно началась ее эпидемия.

Однако все эти встречи Пирогова с холерой были кратковременны. Он успел только ознакомиться с течением болезни и некоторыми изменениями в органах и тканях во время вскрытий. А что именно в первую очередь поражает холера, никто не знал. Когда в 1848 году в Петербурге вспыхнула

эпидемия холеры, Пирогов сразу же в своей клинике по распоряжению военного министра открывает холерное отделение, где досконально изучает течение и развитие болезни, ищет пути излечения от нее. Всех холерных больных старались строго изолировать, контакт с посторонними запрещался. Допускался только обслуживающий персонал. Остановить холеру было невозможно. Она свирепствовала в полную силу. Количество умерших росло не по дням, а по часам. Все морги были переполнены холерными трупами. Их не успевали хоронить, и они часто лежали на улицах, где, разлагаясь, вызывали сильное зловоние.

Пирогов, стремясь докопаться до сути болезни, начинает производить вскрытие холерных трупов. Работая в Анатомическом институте, который был доверху ими завален, он вспоминает своего первого учителя медицины, благословившего его стать доктором, профессора Матвея Яковлевича Мудрова, который в 1831 году, возглавив борьбу с холерой в Петербурге, заразился ею в одной из холерных больниц и буквально на следующие сутки, так и не придя в сознание, неожиданно умер.

Врачи боялись вскрывать холерные трупы. А Пирогов не боялся. В ходе вскрытий он исследует и изучает каждый пораженный холерой орган, кусочек ткани, жилку и волосок. Его интересует абсолютно все. Рассматривая пораженные ткани через микроскоп, он делает массу патологоанатомических срезов и препаратов.

«Я организовал в моей госпитальной клинике особое отделение для одних только больных настоящей азиатской холерой и в течение 6 недель в моем отделении и других госпиталях сделал 800 вскрытий холерных...»

Пирогов производит вскрытия почти во всех доступных ему больницах Петербурга. Тщательно протоколируя результаты вскрытий, делает их анализ. Постепенно выясняет, что холера в первую очередь поражает желудок и кишечник. Это поражение «...ни с чем нельзя лучше сравнить, как с отцветшими головками одуванчиков».

Материалы 400 вскрытий Пирогов использует для написания монографии «Патологическая анатомия азиатской холеры», в которой подробно раскрывает анатомико-патологические проявления холерного процесса.

«В алгидном периоде холеры, — пишет он, — в трех органах обнаруживаются анатомико-патологические изменения, находящиеся в очевидной связи с явлениями, наблюдаемыми в этом периоде при жизни больных: 1) в кишечном канале, 2) в легком и 3) в мозгу и его оболочках. Анатомико-патологические изменения встречаются или вместе во всех этих трех органах, или же в каждом из них отдельно. Несравненно чаще

встречается пораженным кишечный канал, потом следуют органы дыхания и, наконец, мозг».

В этой работе Пирогов дает полную характеристику всех изменений в органах и тканях, в зависимости от характера процесса и сроков заболевания. Под микроскопом исследуя кал холерных больных, находит короткие изогнутые палочки, имеющие полярно расположенный жгут, делающий их очень подвижными. Это был возбудитель холеры — холерный вибрион. Но Пирогов не придавал этому особого значения. В то время науки о микробах не было, и лишь спустя тридцать четыре года, в 1882 году, холерный вибрион будет признан Кохом возбудителем холеры.

Однако Пирогов одним из первых сделал научное предположение, указав, что зараза (миазма) проникает в организм человека с пищей и питьем. К своему труду Пирогов приложил атлас рисунков и таблицы вскрытий. В 1851 году этот труд был удостоен Демидовской премии Академии наук.

Великий хирург, выполняя как врач свой гражданский долг перед родным отечеством и находясь при этом под постоянной угрозой заражения, совершил бесценный подвиг. До сих пор труд Пирогова по азиатской холере является основополагающим и неповторимым по своему содержанию.

Когда эпидемия холеры притихла, Пирогов, случайно оказавшись на рынке, загорелся новой идеей.

«Мы, люди обыденные, — вспоминал доктор Эберман, — проходим без внимания мимо того предмета, который в голове гениального человека рождает творческую мысль; так и Николай Иванович, проезжая по Сенной площади, где зимою обыкновенно были расставлены рассеченные поперек замороженные свиные туши, обратил на них особое внимание и стал применять замеченное к делу».

Пирогов купил детям на рынке свистульки, а потом вдруг точно завороченный остановился перед мясной лавкой. Заметив его интерес к себе, мясник обрадованно воскликнул:

— Мясо отличное, только вчера замороженное! Возьмите, господин, любой кусочек. — И торопливо начал раскладывать по прилавку аккуратно разрубленные куски замороженного мяса. Пирогов, указав на увесистый кусок мяса, попросил его: — Разрубите, пожалуйста, продольно...

И не успел Пирогов моргнуть глазом, как мясник, точно полено, легко рассек мясо топором. Замерзшие ткани, прижавшись друг к другу,

сохраняли на срезе свое единое строение, и на них очень красиво было смотреть.

Купив разрубленный окорок, Пирогов, придя домой, начал внимательно его рассматривать.

— Как здорово все видно!.. — восторженно произнес он. — Как на ладони...

И, взяв топор, начал послойно раскалывать замороженное мясо. В отколотых кусках мышцы, сосуды, нервы и кости сохраняли между собой строго определенное природой единство. Именно благодаря холоду и сохранялись все топографические отношения тканей друг с другом.

— Если заморозить труп, а затем начать его распиливать послойно, смещение органов не произойдет, они останутся на своих местах... Появляется возможность и эксперимента, на замороженных тканях можно ясно увидеть нарушение анатомии того или иного органа при патологическом процессе... — Пирогов смотрел на замороженные ткани, и одна идея лучше другой появлялись в его голове. — Путем заморозки я смогу комплексно исследовать любой орган. При обычном способе анатомической препаровки не только значительно смещаются мышцы, сосуды и нервы вследствие нарушения нормальной их связи друг с другом по удалении связующей их клетчатки, но, кроме того, подвергаются резкому смещению внутренние органы; последние при обычном способе вскрытия больших полостей смещаются входящим в эти полости воздухом, который вытесняет их из обычных мест расположения. Холод же, наоборот, все сохранит при любом, даже самом сложном разрезе.

Так рынок помог Пирогову издать на основании распилов трупов, сделанных в морге, замечательный атлас, состоящий из четырех частей, под названием «Иллюстрированная топографическая анатомия распилов, проведенных в трех направлениях через замороженное человеческое тело». Этот труд Пирогова, обессмертивший его имя, издавался восемь лет, с 1851 до 1859 года, и был так же, как и предыдущие его работы, удостоен Демидовской премии Академии наук.

Готовить распилы для атласа Пирогову было нелегко. В процессе заморозки, а затем и в последующей работе с охлажденными до минус восемнадцати градусов трупами он часто простывал. От холода стыли руки. Замороженные до плотности камня ткани распиливались с большим трудом. Чтобы облегчить и ускорить распилы, Пирогов сконструировал для этих целей огромную и очень острую пилу.

«Ледяная анатомия» — так был назван новый метод изучения Пироговым анатомии, при котором ткани на замороженном трупе не

распиливались, а скалывались точно со скульптуры. Послойно скалывая отдельные слои тканей, Пирогов мог убрать все ненужные ему органы и оставлял лишь те, которые представляли собою предмет исследования. При этом органы в замороженном трупe надолго оставались на своих местах, не подвергаясь смещению.

Чтобы изучить возможные пределы смещения полых органов, Пирогов замораживал трупы в разных положениях, с максимально согнутыми и разогнутыми, приведенными и отведенными конечностями. Все распилы, а их было произведено более тысячи, зарисовывались в натуральную величину с необыкновенной точностью.

Атлас топографической анатомии распилов явился событием во всем мире. Его затребовали все европейские академии. Врачи передавали его из рук в руки. Таких наглядных анатомических картин никто еще не видел. Книга вошла в золотой фонд хирургии. Этот великий труд русского хирурга дает право считать его основоположником топографической анатомии как науки.

Если на рынке у Пирогова возникла идея создания метода распилов замороженных трупов, который при изучении практической хирургии и прикладной анатомии был просто бесценен, то в мастерской старичка скульптора, проживавшего рядом с его домом, ему пришла совершенно новая мысль, в корне изменившая все его представления, касающиеся крахмальной повязки. Он целый день просидел в мастерской скульптора, наблюдая, как тот старательно гипсует холст. Жидкий гипс, нанесенный на ткань, через несколько минут застывал, делаясь вместе с холстом прочным как доска. Пирогов складывает марлю в четыре слоя, опускает ее в жидкий гипс, а затем облепляет ею свою ладонь. Через некоторое время гипс, застыв, не только сохранял первозданную форму ладони, но, став панцирем, надежно защищал ее от внешних воздействий. Пирогов точно так же покрывает про-гипсованной тканью плечо и предплечье, бедро и голень, и во всех этих случаях гипс, застыв, защищает своей крепкой коркой органы и создает им неподвижность.

— При переломах и травмах, когда обломки костей рвут и режут мягкие ткани, гипсовая повязка будет просто незаменима, — радостно произносит Пирогов.

Руки от гипса белые. Испачкан им и пиджак. Но Пирогов не замечает этого. Он рад, безумно рад своему новому открытию.

— Что с вами? — удивленно смотрит на него старик скульптор. — Гипс как гипс, я вчера его привез... «Мадонну с младенцем» собрался лепить.

— Спасибо тебе, дорогой, спасибо... — в волнении произнес Пирогов и, подойдя к нему, крепко пожал руку. — Если бы только знал, как твой гипс помог. Благодаря ему будет спасено огромное количество людей.

— Да бросьте говорить чепуху... — усмехнувшись, произнес скульптор. — Куда этому порошку людей спасать? Как был порошком, так им и останется. Есть его нельзя, пить тоже, разве вот только скульптуры из него лепить...

Скульптор, улыбаясь, еще что-то говорил. Но Пирогов, не слушая его, думал о положительных изменениях в лечении переломов, которые произойдут в результате применения гипсовой повязки.

Под Салтами Пирогов, решив отказаться от ранних ампутаций при огнестрельном ранении конечностей с повреждением кости, применил крахмальную повязку. С применением этой повязки, явившись сторонником «сберегательного лечения», Пирогов один из первых доказал, что ампутация является не единственным методом лечения переломов. Крахмальная повязка, создавая покой, способствовала сращению костных отломков. Однако эта повязка имела и недостатки в силу ее внешних особенностей. Во-первых, долго не засыхала, а засохнув, неплотно прилегала к конечности.

При транспортировке в непогоду легко размокала от дождя и сырости. Гипсовая повязка этих недостатков не имела. Она была очень прочной и надежно удерживала концы переломленной кости. Ее можно было накладывать на самые сложные и тяжелые переломы.

«Ничего не может быть проще и дешевле для военной госпитальной практики наlepной алебастровой повязки, наложенной по моему способу.

Весь материал состоит из алебаstra, которого пуд стоит 60 копеек серебром, из реднины, взятой из старых госпитальных матрацев, и из старых госпитальных (холстинных) чулков и подштанников.

Повязка для перелома бедра обходится не более 8 коп., для голени — 5 коп. серебром. Даже и эта старая ветошь не пропадает; ее можно по снятии повязки разнять и вымыть.

Не нужно ни кипятка для варения, ни папки для лубков, ни бинтов для обвивания члена.

Поэтому и: наложение повязки также весьма просто, безыскусственно, скоро».

Пирогов подробнейшим образом изучает и осваивает технику наложения гипсовой повязки в своем хирургическом отделении при самых различных травматических повреждениях конечностей. На основании наблюдений, касающихся наложения гипсовой повязки, в 1854 году



Пирогов издает работу «Налепная алебастровая повязка в лечении простых и сложных переломов и для транспорта раненых на поле сражения», в которой подробнейшим образом разбирает технику наложения гипсовой повязки при крупных и мелких переломах конечностей. А также рассказывает о различных приемах и способах приготовления алебастрового раствора.

В литературе появление гипсовой повязки связывают с именами голландских врачей Матисона и ван де Лоо, а роль Пирогова в этом отводят лишь в применении ее в военно-полевой практике. К сожалению, это неверно. Пирогов предложил и испытал гипсовую повязку раньше Матисона, и дошел он до этого сам. И только после работ Пирогова гипсовая повязка получила применение во всех странах.

«Неподвижная повязка, — писал он, — неизвестная или совсем забытая германскими, французскими и английскими хирургами, в 1849–1855 гг. введена была мною в виде моей гипсовой повязки в первый раз в военно-полевую практику и в 1870 г. была уже почти во всеобщем употреблении в германских военных госпиталях, хотя и вовсе не в том разнообразном ее применении, которое она находит в моих руках».

Пирогов владел гипсом точно скульптор. Все наложенные им гипсовые повязки отличались изяществом и аккуратностью. Попечитель академии, генерал Анненков, один раз застав Пирогова за наложением гипсовой повязки, удивленно произнес:

— Ну и руки у вас, Николай Иванович. В каждом пальчике душа чувствуется...

— Это не я, а гипс такой добрый... — улыбаясь, ответил Пирогов.

— Ох и любите же вы, господин Пирогов, пошутить... — засмеялся генерал. А затем, вдруг утихнув, с гордостью произнес: — Академия, военное ведомство и врачи всех русских госпиталей благодарят вас за это открытие...

Закончив наложение гипса, Пирогов вытер о полотенце уставшие руки. По-прежнему он не жалел себя в работе. За последнюю неделю, кроме десяти операций и двадцати вскрытий, наложил около ста гипсовых повязок. Ему как врачу не давали продыху.

Постоянно звали и требовали как одного из самых передовых хирургов-консультантов. Кроме занятий со студентами по госпитальной хирургии, патологической анатомии и прикладной анатомии, он являлся консультантом пяти гражданских госпиталей при Обуховской, Марии Магдалины, Петропавловской, Детской и Максимилиановской лечебницах.

Поздно вечером, придя домой, продолжал трудиться за письменным столом, готовя к изданию «Отчет профессора Н. И. Пирогова о произведенных им хирургических операциях с сентября 1852 по сентябрь 1853 года». В этом «Отчете» он разбирал 400 операций с подробным анализом 45 смертельных исходов. «Отчет» начинался такими словами: «В жизни врача есть периоды легковерия и скептицизма<sup>[101]</sup>. Выступая на врачебном поприще, мы легко верим в то, о чем слышали, читали или что сами видели. На середине поприща наступает разочарование: мы начинаем верить исключительно только тому, что сами видели или испытали. Под конец сомнение распространяется и на то, в чем прежде были убеждены собственным опытом. Это так и должно быть. Начиная — нужно верить. Оканчивая, поневоле скажешь: я только то знаю, что ничего не знаю. Есть и исключения. Есть организации, не способные увлекаться; есть и такие, которые не способны задумываться. Иные, скептики сначала, делаются легковерными под конец; другие остаются легковерными на целую жизнь.

С этими мыслями я принимаюсь за годовой отчет о моей хирургической практике, начиная с сентября 1852 по сентябрь 1853 года. Выступив на практическое поприще, я вскоре после того, в 1836 году, напечатал мой первый опыт под названием *Анналов Дерптской хирургической клиники*. Зная уже тогда, что знание дела в хирургии приобретается только одним долговременным опытом, я нисколько и не воображал принести существенную помощь практикам. Я откровенно сказал тогда, что моя книга научит начинающего врача не столько тому, как он должен, сколько тому, как он не должен поступать, и, открывая ему чистосердечно весь механизм заблуждения, показал, как он может избежать ошибки и как ошибка иногда неизбежна. Вся моя заслуга состояла в том, что я совестливо рассказал все мои заблуждения, не скрыв ни одной ошибки, ни одного неуспеха, который я приписывал моей неопытности и моему незнанию. С тех пор прошло около 20 лет».

В «Отчете» Пирогов приходит к убеждению, что «...каждая болезнь и каждая хирургическая операция имеет свой итог неудач, свой итог смертности, зависящий от непостоянно действующих на различные болезни внешних условий, от натуры самой болезни, индивидуальности или личности больного и от свойств травматического насилия, соединенного с каждой операцией...»

Пирогов впервые в то время объяснил роль врача в лечении и исходе того или иного заболевания и высветил некоторые причины послеоперационной смерти.

В 1854 году он издает работу — «Костнопластическое удлинение

костей голени при вылуцивании стопы». Эта оригинальная операция первой открыла новый раздел хирургии, называемой восстановительной хирургией. Костнопластической операцией Пирогов добился удлинения голени; и человек при удаленной стопе мог ходить. Вначале технику этой операции Пирогов долго разрабатывал на трупах и лишь после этого в условиях максимальной стерильности произвел ее на больном. Омертвевшая стопа была удалена, кроме пяточной кости, которую Пирогов с аккуратно сформированным кожным лоскутом присоединил к двум костям голени. Операция удалась. Выздоровев, больной без труда ступал на пяточную кость. Операция открыла безграничный простор для развития костнопластической хирургии. И хотя часть хирургов тут же приняла операцию на свое вооружение, к сожалению, эта классическая операция не была сразу воспринята хирургами. Пирогову пришлось побороться за нее. К оппозиции академии присоединилась группа маститых хирургов, не приемлющих и не признающих открытие русского хирурга. Мало того, многие из них начали заниматься очернительством. В Европе костнопластическая операция Пирогова была объявлена вредительством в силу якобы ее несусветной безграмотности. Этим настроем европейских хирургов воспользовалась оппозиция академии. Пошли всяческие кривотолки и сплетни о калеченье Пироговым людей. Много горьких минут пришлось пережить ученому, прежде чем операция увидела свет и изумила всех ученых мужей своей практической оригинальностью.

Вот как писал в «Началах общей военно-полевой хирургии» Пирогов о нелегком становлении его открытия. «Но между французскими и английскими хирургами есть такие, которые не верят даже в возможность остеопластики<sup>[102]</sup> или же приписывают ей недостатки, никем, кроме них самих, не замеченные; беда, разумеется, вся в том, что моя остеопластика изобретена не ими. Так, Сейм рассматривает ее «как признак слабых и шатких хирургических начал» (!!). Он, верно, уже из одной учтивости постыдился бы так говорить, если бы знал, как я защищал его способ вылуцивания, когда инспектор петербургских госпиталей, покойный Н. Ф. Арендт, хотел запретить эту операцию. Другой знаменитый английский хирург, Фергюссон, уверяет своих читателей, что «я сам отказался от моей остеопластики». С чего он это взял — Богу известно; может быть, он судил по моему письму к одному лондонскому врачу, осведомлявшемуся у меня о результатах. «Я не забочусь об них, — отвечал я, — предоставляя решить времени, годится ли моя операция или нет». Мальчень, повторяя вычитанные им у Фергюссона и не испытав, как видно, ни однажды моей операции, страшит читателей своей оперативной хирургии омертвлением

лоскута, невозможностью сращения, свищами и болью при хождении, то есть именно тем, что почти никогда не встречалось.

...Моей же операции нечего бояться соперничества. Ее достоинство не в способе ампутации, а в остеопластике. Важен принцип, доказанный ею несомненно, что кусок одной кости, находясь в соединении с мягкими частями, прирастает к другой и служит и к удлинению, и к отправлению члена».

Кроме научных работ, Пирогов, находясь в должности технического директора Петербургского инструментального завода с 1841 по 1856 год, создает массу хирургического инструментария. В продолжение почти всей второй половины XIX столетия медицина пользовалась созданными им такими широко распространенными хирургическими наборами, как фельдшерский, ординаторский, батальонный, полковой, корпусной, госпитальный, и, кроме этого, патологоанатомическими — полковой и госпитальный. Все наборы принимались к эксплуатации высокоавторитетной экспертной комиссией в составе профессора Арендта, президента академии Шлебеля, старейших профессоров Саломона, Нарановича и Дубовицкого. Опытные экземпляры инструментов по проекту Пирогова делал инструментальный мастер из Вюрцбурга Альберт Клейнганс, они поражали всех внешним изяществом, легкостью и остротой.

Альберт Клейнганс был аккуратным человеком и выполнял абсолютно все рекомендации и предложения Пирогова при подготовке и изобретении того или иного хирургического инструментария. Очень долго мучился Пирогов над изобретением инструментария для хирургических операций. Одних только ампутационных ножей им было разработано более двадцати вариантов. Однако он остановился на пяти и, кроме большого, среднего и малого, дополнительно включил еще два по-особому заточенных; один был с очень тонким лезвием и массивной рукояткой, а другой, наоборот, с толстым лезвием.

Рассматривая сейчас его скальпели, можно только завидовать мастерству их создателя. Они очень легкие и удобные. При работе с ними рука не устает. Воспаленная ткань рассекается без всякого усилия, и все это достигалось благодаря тому, что лезвие у скальпелей Пирогова не было узеньким и коротким, как у нынешних скальпелей. Скальпели и ампутационные ножи Пирогова на первый взгляд поражают своей хрупкостью, но, присмотревшись внимательно, видишь, что они крепки в силу не только широты, но и высоты лезвия. Пирогов не только

придумывал свой инструментарий, но и создавал специальные наборы. А это также требует высочайшего знания не только многих хирургических вмешательств, но и как бы своеобразной фантазии на производство тех или иных операций, которые никогда доселе не производились, но могут неожиданно произвестись в силу той или иной непредвиденной ситуации, когда хирург ставится перед фактом неизвестного повреждения, травмы или болезни. Больного нужно спасать во что бы то ни стало, в крайнем случае, сделать все возможное для сохранения его жизни. И будет большой трагедией и неприятностью, если под рукой не окажется нужного хирургического инструмента. Пирогов прекрасно понимал, что не одним скальпелем производится операция, и поэтому в свои хирургические наборы включал самые что ни на есть разнообразнейшие инструменты. При этом он не преследовал задачу только количественно увеличить их, наоборот, стремился качественно их улучшить и добиться максимальной взаимозаменяемости. В состав наборов он обязательно включал крючки, ранорасширители, долото, фиксационные костные щипцы, кровоостанавливающие пинцеты, ножницы, кусачки, инструменты для соединения тканей. Для каждого этапа операции, например, ампутации был свой инструмент. Это облегчало производство операции, укорачивало ее продолжительность и исключало суматоху и неразбериху.

Пятнадцатилетняя работа Пирогова в этой области на пятьдесят лет определила характер продукции завода.

В медицинском совете Министерства внутренних дел Пирогов занимался и судебно-медицинской экспертизой, членом которого он был избран 21 декабря 1841 года. При проведении экспертиз он ясно и подробно описывал представленный на его рассмотрение материал. В основном приходилось вскрывать трупы, ведь не зря он считался самым лучшим патологоанатомом в России. При проведении экспертизы ученый всегда подчеркивал важность соблюдения определенной системы, а также указывал на роль изображений, прилагаемых к судебно-медицинским документам.

В 1853 году он выступил в качестве эксперта в Петербургской уголовной палате по делу о нанесении князем Львом Кочубеем выстрелом из пистолета раны австрийскому подданному Игнатию Зальцману. Кочубей доказывал, что он выстрелил случайно, и в подтверждение этого говорил, что пуля прошла вскользь. Пирогов внимательно обследовал одежду и рану пострадавшего и пришел к выводу, что выстрел был произведен в упор.

А. И. Герцен в «Колоколе» сообщил о деле Кочубея, о котором его

оповестил И. С. Тургенев. В статье разоблачались хитросплетения, которыми некоторые члены уголовной палаты пытались выгородить Кочубея. Одновременно Герцен подчеркивал объективность и честность Пирогова в намеренно запутанном деле.

Из своих учеников, а также почитателей, петербургских и дерптских врачей Пирогов создает научный кружок единомышленников, который впоследствии стал называться «Пироговским врачебным кружком». В него входили известные и прогрессивные врачи того времени, такие, как терапевт Н. Ф. Здекауер, физиолог А. П. Загорский, акушер Шмидт, фармаколог Реймерс, доктора Фoes, В. И. Гигинботом, Розенбергер, Фребелиус, Линген, естествоиспытатель и путешественник Александр Федорович Миддендорф. Собрания кружка происходили поочередно на квартире одного из членов. С 1849 года все заседания протоколировались Здекауером. В основном в кружке дблялись последние сообщения по теории и практике медицины. Пирогов активно участвовал в работе кружка. Всего за период его существования он сделал 141 сообщение, среди которых были такие очень актуальные, как «История болезни самоубийцы Волькепау», «Йод и диета как средство для замедления развития зародыша при узком тазе беременной», «О злокачественных опухолях», «О крымской лихорадке», «О мозговых абсцессах»<sup>[103]</sup>. Доклады делали все члены кружка, и заседания в нем проходили с необыкновенным интересом, продолжаясь порой до самого утра. Активным участником кружка был знакомый Пирогову еще по Дерпту казак Луганский, Владимир Иванович Даль, работающий ординатором в С.-Петербургском сухопутном военном госпитале. Кроме докладов на медицинские темы, он сделал несколько докладов о русском фольклоре. А один раз он привел в кружок представителя «изящной словесности», редактора и писателя Панаева, который вместе с Некрасовым издавал самый популярный и передовой литературный журнал «Современник». Панаев рад был познакомиться с известным русским ученым. Между ними завязалась теплая, дружеская беседа. Пирогов с интересом говорил об опубликованной в журнале «Обыкновенной истории» Гончарова, о «Детстве и отрочестве» графа Л. Н. Толстого и многих других вещах. В этот день занятие кружковцев было посвящено литературе. Панаев прочел медикам отрывки из своих «Заметок и размышлений по поводу русской журналистики». А затем вдруг разом как-то зашел разговор о Пушкине. Даль начал рассказывать, как, приехав в 1837 году в Петербург во время отпуска, он вдруг неожиданно узнал о тяжелом ранении Пушкина. Тотчас же помчался к нему. И как врач принял участие в его лечении, не отходя от

его постели до самой смерти. Даль и Пушкин были друзьями. В 1833 году, работая над «Историей Пугачева», великий поэт вместе с Далем отправился для сбора материалов на Урал.

— Расскажите еще что-нибудь о Пушкине... — просит Пирогов Даля. Тот, неторопливо поправив длинную бороду, по-доброму смотрит на всех, а затем, произнеся: «Рассказать несложно, только бы вы, ребятки, слушали дружно» и достав блокнот, начинает неторопливым глуховатым голосом читать: «Пора была рабочая, казаков ни души не было дома; но мы отыскиали старуху, которая знала, видела и помнила Пугачева. Пушкин разговаривал с нею целое утро; ему указали, где стояла изба, обращенная в золотой дворец, где разбойник казнил нескольких верных долгу сынов отечества; указали на гребни, где, по преданию, лежит огромный клад Пугачева... Старуха спела также несколько песен, относящихся к тому же предмету, и Пушкин дал ей на прощанье червонец.

Мы уехали в город, но червонец наделал большую суматоху. Бабы и старики не могли понять, на что было чужому, приезжему человеку расспрашивать с таким жаром о разбойнике и самозванце, с именем которого было связано в том краю столько страшных воспоминаний, но еще менее постигали они, за что было отдать червонец. Дело показалось им подозрительным: чтобы-де после не отвечать за такие разговоры, чтобы опять не дожить до какого греха да напасти. И казаки на другой же день снарядили подводу в Оренбург, привезли и старуху, и роковой червонец и донесли: «Вчера-де приезжал какой-то чужой господин, приметам: собой невелик, волос черный, кудрявый, лицом смуглый и подбивал под «пугачевщину» и дарил золотом; должен быть антихрист, потому что вместо ногтей на пальцах когти». Пушкин много тому смеялся».

После Даля и Панаев вспомнил о своих встречах с поэтом.

— А когда он умер... — произнес взволнованно он, — весь народ вышел. Студенты несли гроб с телом на руках... А стихи Лермонтова перечитывались и выучивались наизусть.

На глазах Панаева появляются слезы. Пирогов успокаивает его. Заметив, что тот немного притих, начинает рассказывать о своих дерптских встречах с Жуковским.

Уже полночь. А кружковцы уходить и не думают. Ведь такие люди сегодня собрались.

После смерти жены Екатерины Дмитриевны Березиной Пирогов четыре года жил один. Воспитанием детей в основном занималась его старушка мать, состояние здоровья которой к 1850 году неожиданно резко

ухудшилось. Пирогов начинает переживать о детях. После смерти его матери они будут полностью лишены женской ласки и воспитания. Он решает вновь жениться. Однако при его занятости и скромности сделать это нелегко. Неожиданно тяжелому его положению сочувствует известный художник Федор Антонович Моллер, близкий знакомый Гоголя и художника Иванова, написавшего знаменитую картину «Явление Христа народу». Сам же Моллер сделал несколько прижизненных портретов Гоголя, которые до сих пор считаются самыми лучшими. Моллер находился вместе с Гоголем в Италии, поддерживая его и материально и духовно. Он был также для Гоголя и связным, когда тот долго жил за границей и скучал по России. С Моллером Пирогов подружился в Ревеле, куда но раз приезжал отдыхать.

«Федор Моллер (сын бывшего морского министра), — вспоминал Пирогов, — сначала военный (адъютант Паскевича), потом художник (живописец), замечателен был для меня тем, что правая рука, владевшая так прекрасно кистью, была поражена давно костяным наростом, занявшим все запястье<sup>[104]</sup> и всю пясть этой руки. Сверх этого, Моллер, впрочем крепкий на вид, здоровый и красивый мужчина, приехав из Италии на север, схватил сильную невралгию<sup>[105]</sup> седалищного нерва; я помог ему холодными душами, после того как он перепробовал без пользы множество других средств».

В Ревеле Пирогов познакомился и с сестрой Моллера Эмилией Глазенап, страдающей истерией<sup>[106]</sup>, и которую он также подлечил, порекомендовав ей морские купания и движения на чистом воздухе.

Однажды, зайдя к Пирогову домой, Моллер сказал:

— Сколько можно тебе вдовцом жить?.. — И с улыбкой добавил: — Айда со мной, есть у меня на примете одна из племянниц генеральши Козен. Девушка тихая, скромная. Думаю, она тебе понравится...

Когда Моллер привел Пирогова к генеральше, то она, очень дружелюбно встретив его, попросила, чтобы он ей принес почитать «Идеал женщины». В этой статье Пирогов с большими подробностями описал роль женщины в обществе как воспитательницы своих детей и изложил свои взгляды на образ идеальной женщины-жены. Статья ходила по рукам интеллигенции в рукописи и читалась с необыкновенным увлечением. Генеральше статья понравилась. А когда Пирогов дал ей прочитать свое небольшое педагогическое произведение «Вопросы жизни», она пришла в неопишуемый восторг.

— Вы просто гений!.. — воскликнула она. — Никогда не читала я



ничего подобного. Вы выступаете в этой статье как настоящий гражданин. Вы впервые раскрываете суть воспитания...

Генеральша усадила Пирогова и, перелистывая его рукопись, начала зачитывать особенно понравившиеся ей абзацы.

— Как здорово, господин Пирогов, вы пишете о сохранении внутреннего «я».

Пирогов внимательно слушает генеральшу. Голос ее, ласковый и нежный, в эти минуты звучит, как никогда, торжественно.

— «Дайте выработаться и развиться внутреннему человеку! Дайте ему время и средства подчинить себе наружного, и у вас будут и негоцианты<sup>[107]</sup>, и солдаты, и моряки, и юристы; а главное, у вас будут люди и граждане.

Значит ли это, что я предлагаю вам закрыть и уничтожить все реальные и специальные школы?

Нет, я восстаю только против двух вопиющих крайностей. Для чего родители так самоуправно распоряжаются участью своих детей, назначая их, едва выползших из колыбели, туда, где по разным соображениям и расчетам предстоит им более выгодная карьера?»

А вот о женщинах. — И генеральша читает: — «Итак, пусть женщины поймут свое высокое назначение в вертограде человеческой жизни. Пусть поймут, что они, ухаживая за колыбелью человека, учреждая игры его детства, научая его уста лепетать и первые слова, и первую молитву, делаются главными зодчими общества. Краеугольный камень кладется их руками. Христианство открыло женщине ее назначение. Оно поставило в образец человечеству существо, только что отнятое от ее груди. И Марфа и Мария сделались причастниками слов и бесед искупителя.

Не положение женщины в обществе, но воспитание ее, в котором заключается воспитание всего человечества, — вот что требует перемены. Пусть мысль воспитать себя для этой цели, жить для неизбежной борьбы и жертвований проникнет все нравственное существование женщины, пусть вдохновение осенит ее волю — и она узнает, где она должна искать своей эмансипации<sup>[108]</sup>».

Генеральша положила на стол рукопись и в задумчивости произнесла:

— Как вы верно сказали: не положение женщины в обществе, но воспитание ее... — Затем вдруг схватила Пирогова за руку. — Кстати, могу сообщить вам, что моя племянница Александра точно в таком же восторге от ваших статей. От ваших мыслей она не находит себе места. Если бы вы только знали, какая она впечатлительная натура.

Генеральша с улыбкой посмотрела на Пирогова и быстрым шепотом произнесла:

— На завтра я пригласила к себе Александру. Так что вы обязательно должны быть у меня. Вы обязаны прочесть ваши «Вопросы жизни» нам всем вслух. Это будет здорово. Необыкновенно здорово... — И обняла Пирогова. — Я рада за вас. Безумно рада.

Волнуясь, пришел Пирогов к генеральше на другой день. Его встретила незнакомая красивая девушка в праздничном, голубом платье.

— Вы?.. — растерянно произнес он.

— Я... — скромно улыбнулась она.

— Ну что же вы стоите?.. — вывела Пирогова из оцепенения генеральша. — Проходите в залу, там уже все собрались...

Незнакомка, стройная как пушинка, очень трогательно взяла его за руку и повела в залу. Что он чувствовал в эти минуты, трудно было даже передать. Пораженный неожиданной встречей и красотой девушки, он в зале знакомился с гостями генеральши просто так, для приличия. Душа была занята только ею.

— Главное, не волнуйтесь... — с приветливой и радостной улыбкой произнесла она. — Баронессы<sup>[109]</sup>, князья и генералы такие же смертные люди, как и все...

Поблагодарив ее, он начал читать «Вопросы жизни».

Придя домой поздно вечером, он, чтобы успокоиться, принялся писать письмо Моллеру.

«Я нарочно сел напротив этой особы и только теперь в первый раз пристально взглянул на нее. Я дошел до второго вопроса (об устройстве семейного быта). Читая его, я чувствовал, что дрожь и какие-то сотрясающие токи взад и вперед пробегали по моему лицу. Мой собственный голос слышался мне другим в ушах. Я непроизвольно опять посмотрел на незнакомку и на этот раз вижу: она отвернулась и украдкой утерла слезу... Мы обменялись несколькими словами. Она проиграла чудный романс Шуберта. Я так сидел, что не мог ее разглядеть хорошенько. Но для чего мне это было, когда я знал, я убежден был, я не сомневался, что это она?»

На следующий день Пирогов через генеральшу Козен делает предложение молодой баронессе Александре Бистром. И вскоре получает от нее согласие быть его женой. Пирогов благодарен ее взаимности. Он пишет нежные, полные откровения письма своей будущей жене, в которых рассказывает о своей жизни, идеалах, детях, любви к женщине. Из-за

болезни матери Пирогов не может с Александрой встречаться очень часто. Однако он приводит ее в свой дом и знакомит с матерью и с детьми. Старшему сыну Николаю было к этому времени семь лет, а младшему Владимиру четыре года. Матери Пирогова новая невестка понравилась, благословив их, она рада была, что дети не останутся сиротами. Александрой Пирогов был представлен и в ее доме.

«И мы пошли, знакомые уже полжизни, рука в руке, и говорили целый вечер без волнения, ясно, чисто об участии моих детей, их воспитании, решении для них вопросов жизни. И сходство чувств пожатием руки обозначалось. Как друга старого, так просто и спокойно она взяла меня за руку и повела принять отца и матери благословенье».

Четыре месяца влюбленные переписывались. А в июне 1850 года обвенчались. Но свадьба из-за резко ухудшавшегося состояния матери была отложена. Пирогов не отходил от ее постели, оказывая при этом всяческую посильную медицинскую помощь. Вначале ее беспокоила слабость. А затем вдруг присоединились сильные боли во всех мышцах. Мать стонала день и ночь. Обезболивающие, которые ей были прописаны, почти не помогали. Когда она стала задыхаться, по ее просьбе был вызван священник для соборования<sup>[110]</sup>. Последние слова, которые услышал из уст матери Пирогов, были: «Верно, я страшная грешница, сынок, что так долго мучаюсь перед смертью». Пирогов кинулся ее успокаивать, жалеть. С благодарностью за все, что она дала ему в жизни, он упал перед нею на колени. Приподняв руку, она нежно коснулась пальцами его головы и умерла. Смерть матери Пирогов переживал очень тяжело. Вынеся на себе все страдания нищеты, она все же на последние гроши, невзирая ни на что, выучила сына. В переписке с Александрой, все еще живущей в своем имении, Пирогов с большой признательностью и уважением рассказывал о своей матери.

«Я много раз видел на свете, как люди умирали, — писал он, — видел смерть женщины, которую любил; но ничего не видел выше, ничего не чувствовал глубже, как смерть матери... Кто же, кроме матери, умирая в муках агонии<sup>[111]</sup>, забудет о своих страданиях и, молясь, будет думать только о счастье своих детей».

Вскоре состоялась свадьба и после кратковременного пребывания в имении баронессы Бистром Пирогов переехал с женой к себе в дом, где Александра Антоновна, окунувшись в семейную жизнь, сразу же принялась за воспитание детей.

Выбирая себе вторую жену, Пирогов очень волновался. Ему хотелось,

чтобы в лице своей новой жены он увидел не черствую мачеху, а добрую, любящую мать, с уважением и заботой относящуюся к его детям. Человека, и особенно женщину, трудно сразу оценить и понять и рассчитать, какой она будет в кругу семьи. Пирогов и наедине с детьми и вечерами в полном одиночестве постоянно думал, сможет ли Александра Антоновна принять чужих детей как своих. Переживая об этом, он не спит порой по две-три ночи кряду и, не имея малейшей надежды на то, что Александра Антоновна заменит детям мать, на пределе своих чувств и эмоций начинает писать стихи. К счастью, они сохранились. Написанные зимой и весной 1850 года в три часа ночи, а порой и ранним утром, они поражают своей искренностью и открытостью, глубиной переживаний. Кроме этого, они полны любви к избранной им женщине, любви богатой, нежной и страстной. В них чувствуется желание Пирогова любить и быть верным, настоящим супругом. Многие строки стихов, вполне профессиональных, читаются на одном дыхании, и, прочтя их еще раз, восхищаешься многогранностью таланта великого хирурга.

В любимой женщине Пирогов видит вдохновителя всех своих будущих дел. Своим трогательным участием и сочувствием она дает ему несокрушимую уверенность и силу. Пирогов, хотя и подспудно, но все же верил, что Александра Антоновна будет именно такой. При этом она была не только умной и воспитанной женщиной, но и глубоко верующей. Кроме приятной наружности, ее отличала скромность, глубокое сопереживание людям в их бедах и горестях и желание увлечься делами, полезными своей отчизне. Оценивая ее со всех сторон, Пирогов понимал, что и он сам, как муж и семьянин, должен заботиться о ней и для сохранения на будущее ее любви к нему он должен доказать, что он именно тот самый избраннык. Здесь можно привести массу воспоминаний, касающихся этого периода новой любви Пирогова. Но мне кажется, самым наглядным и незаменимым примером, когда наряду с чувствами вдруг раскрываются самые потайные уголки души, послужат те самые стихи, написанные Пироговым в 1850 году. К чести Александры Антоновны, она их не только сохранила, но и сумела впервые опубликовать в 1899 году в «Севастопольских письмах» Н. И. Пирогова, после они, к сожалению, почти не публиковались. Следует также отметить, да и при этом можно убедиться при чтении представленного ниже стихотворения, что Пирогов в 1850 году не был каким-то сверхрелигиозным скептицистом, как его рисуют некоторые исследователи. Пирогов был верующим человеком. И эта вера его была постоянной, а не временной, проявившейся лишь к концу его жизни. Да иногда внешне он порой не проявлял интереса к религии, но в душе,

несомненно, был православным человеком, как и все россияне. Не об этом ли говорит это чувственное стихотворение, пусть даже оно и посвящено любви к Александре Антоновне.

О, лейтесь слезы вдохновенья  
И облегчите грудь мою.  
Душа, лети во храм бессмертья  
И Волю Высшую моли.  
Не о земном молися счастью!  
Земное счастье мне ничто!  
Я испытал его превратность,  
Мне незавидна жизнь земли.  
Не для нее хочу бороться,  
Не для нее хочу здесь жить.  
Мне жизни поприще открыто,  
Чтоб совершить один лишь долг,  
Чтоб зло и тело победивши,  
В Эдем бессмертия вступить.  
Готов себя принести на жертву,  
Предвечный видит это сам.  
Не для себя мне жизнь досталась!..  
Но слышу Воли Высшей глас:  
«Любовью детской возрожденный  
«Ищи их сердце вдохновеньем,  
«Их душу верой осенит.  
«За ту, которая решилась  
«С тобою участь разделять,  
«Борися, жертвуй с наслажденьем,  
«Молися, бодрствуй, уповай!»  
И, Высшей Воли повинуюсь,  
Молю ее подать мне силы  
Окончить поприще земли,  
И, вздох последний испуская,  
Из праха духом уносясь,  
На сердце руку положивши,  
«Готов я» твердо произнести.

Это стихотворение написано в 3 часа ночи 17 февраля 1850 года. А

через девять дней Пирогов пишет стихотворение «Мать-мачеха», которое потрясло Александру Антонову заботой великого хирурга о своих детях. В нем чувствуется сопереживание Пирогова к своим детям, оставшимся без ласки родной матери, которую они в силу ее неожиданной смерти так и не смогли познать. В этом стихотворении Пирогов также не уклоняется от своей веры в Бога. В вере он ищет поддержку в самые что ни на есть трагические минуты жизни. Он проникается ею горячо и самозабвенно.

*«Не божий ли перст различие грустное вам  
Показал? Не Высшая ль Воля мать вторую  
Искать, для вас мачехой мать заменить  
Мне теперь запрещает?» Так думал отец.  
И грустно, и тяжело заныло сердце. —  
Мать-мачехи листик  
В руках он держал, пригорюнясь. И в листике этом  
Судьбы приговор прочитать он хотел.  
Крупные слезы  
Струей покатались, и теплая влага очей сторону  
Лицевую листка отогрела. — Слезы увидев отца,  
Дети к нему подбежали, шуткой невинной  
Его развлекая, вырвали листик из рук.  
«Папа, наш папа, смотри что случилось!  
«Мачеха стала тепла. Матери стала теплей.  
«Сам посмотри, листик к щеке приложивши!»  
«О, дети! подумал отец, если бы слезы мои,  
«О вашей судьбе пролитые, горячею к вам  
«Согреты любовью, мачеху в мать превратили,  
«Сердце чужое детской любовью согревши!»  
Несколько лет миновало. Дети гуляли на том же лугу,  
Собирали цветочки, резвились, играли.  
Мать-мачехи листья  
Так же, как прежде, зеленым ковром  
Расстилались, влагой ручья орошаясь,  
Но уж не к няне, Этих листочков нарвавши, дети, крича и  
смеясь,  
Подбежали: «Мама! кричали они: мать-мачеху вот  
«Мы нашли! Посмотри, как одна сторона  
«Холодна, как тепла и мягка и пушиста другая.  
«Посмотри, вот листок, приложи-ка к щеке,*

«Ты сама испытываешь: холодная — мачеха, теплая — мать,  
«Так нянюшка нам когда-то сказала.  
«А знаешь ли?  
«Папа холодную мачеху нам отогрел своими слезами».  
С улыбкой приветной, с слезой на ланите,  
С участием сердечным мать-мачехи листик  
Мама взяла и к теплой щеке приложила.  
«Милые дети,  
Сказала она, смотрите, и я вам, как папа.  
«Холодную мачеху, к себе приложив, собой отогрею.  
«Возьмите вот этот листочек, его сохраните;  
Как будете старше, увидите сами, сдержу ли  
«Я слово. Я Богу и папе, и вам обещаюсь  
Священный обет сохранить. Не для счастья  
«Земного, не для игр и веселья меня папа  
«Вам избрал. Не для счастья земного,  
«Не для суетной жизни, жить я Богу клялся!  
«Вас наставить, малыutki, вас любить и добру  
«Научать, душой папу любить и с участием  
«Сердечным и горе, и счастье, и труд, и заботу  
«Все вместе делить обещаюсь я Богу.  
«И Бог всемогущий мне силу подаст. Отец наш небесный  
«В сердцах все читает. Всеведущий видит,  
«Чиста ль моя совесть, готово ли сердце для вашего блага,  
«Блага земные, счастье мирское, житейские страсти,  
«Шум и забавы, корысть и волнение — все в жертву принести».

А вот строки из стихотворения, написанные Александре Антоновне утром 1 апреля ко дню ее рождения.

Кто Идеал нашей жизни, борясь и страдая, веселясь и ликуя,  
обрести стремится не в жизни земной.  
О, если б сомнение и опыта голос и жизни превратности  
желанью души не мешали, не тревожили б  
Шепотом грустным к цели единой стремиться, — счастья в  
счастьи друга искать, —  
Счастье прямое нашел бы в стремлении на этом пути и,  
жизни закат ожидая,

*Радостно, тихо, с улыбкой приветной, на прошлую жизнь  
озираясь,  
Жизнь бы земную окончил словами: «Жил я для счастья других и  
подруги,  
Счастливою сделал подругу мою!*

Стихи Николая Ивановича Пирогова заслуживают самого достойного и пристального внимания. После прочтения их нельзя даже говорить о какой-то научной ограниченности великого хирурга, ибо в них проглядывается высочайший интеллект, желание любить и такая требовательность к себе, которая при всей его титанической деятельности может быть присуща лишь гениям.

Пирогов не ошибся в Александре Антоновне, она была верной женой и прекрасной, доброй матерью неродным ей детям.

На работе Пирогов сильно уставал. До сих пор остается загадкой, где он брал столько сил и энергии, чтобы сделать то, что просто уму непостижимо. Ведь наряду с производством операций, вскрытием трупов в анатомичках у него было много и умственной работы. Он писал статьи, труды, изобретал новый хирургический инструментарий, выступал с лекциями и докладами.

И лишь по вечерам, придя домой, окончательно обессиленный и уставший, он находил в лице Александры Антоновны верного друга, который мог по-настоящему понять и сердечно посочувствовать ему. Иногда на научных спорах в какой-нибудь больнице или госпитале, когда его администрация силой припирала к стене, когда уже почти не было сил сопротивляться, вдруг перед глазами появлялось лицо его жены, он слышал ее нежный голос, видел добрый взгляд к себе; и он тут же разом оживал. И откуда только силы брались, с особенной, новой для него страстью схватывался он с противниками, удивляя их ясностью изложения мысли и смелостью, против которой ничего уже нельзя было возразить.

Иногда вместе с семьей Пирогов ходил в храм, хотя такие минуты в силу его занятости были очень редки.

Как всякий православный русский человек того времени, он носил нательный крест, читал Библию и Евангелие. А в церкви любил слушать чтение шестопсалмия, которое раньше заменяло всю Псалтырь. При чтении шестопсалмия всегда благоговейно молясь, люди просили у Бога простить свои грехи. Может, и Пирогов, как и всякий верующий, считая себя грешным, просил о прощении и помиловании. Однако при этом



следует отметить и то, что при чтении шестопсалмия святые отцы всегда советовали размышлять о суетности человеческой жизни, о смерти и о страшном суде божием. Пирогов в начале своей жизни и в разгар научных открытий особо не выказывал пристрастия к религии. Увлеченный мыслями о спасении страждущих людей и практически осуществляя все это на деле, он берет с собой лишь те евангельские заповеди, где труд ради человека считается высшим абсолютom. Он сразу же понял, что вера ни в коем случае не должна стесняться всякого знания и, «помимо его, стремится к достижению знания». Каждый человек, по мнению Пирогова, и особенно русский, такова уж его природа, должен во что-нибудь да верить. Неверующего ни во что человека Пирогов даже не мог себе представить и считал его существование на земле абсурдом. Однако нельзя забывать и того, что Пирогов был врачом. А врачу порой не так-то легко поверить в загробную жизнь. Были минуты в его жизни, когда любовь к науке у Пирогова затмевала веру. Это свое кратковременное «нежелание» верить он объяснял тем, что боялся быть обманутым, ибо считал абсолютно неприемлемым творить добро ненавидящим его людям. Это дало бы повод открыто говорить ему о том, что он приносит себя в жертву не добру, а злу.

Однако впоследствии Пирогов скажет: «Вера необходима как самая глубокая потребность души индивидуально, для каждого более, чем для общества. В душе каждой человеческой особи есть частичка не от мира сего...»

А в «Дневнике старого врача» он напишет следующее: «Если я спрошу себя теперь: какого я исповедания? то отвечу на это положительно: православного — того, в котором родился и которое исповедовала вся моя семья».

Стремясь к сохранению в человеке веры, Пирогов в то же время осуждал саму церковь как государственную единицу за ее догматизм, безграничную обрядность и чрезмерно внешнее богочитание. По мнению Пирогова, вере не должны сопутствовать никакие мирские цели и задачи. Тем более всякое насилие церкви в этом должно быть всячески исключено. Поначалу Пирогова в религии больше привлекала обрядовость и торжественность, она успокаивала его и примиряла. Но затем он понял, что ему, как и любому здравомыслящему человеку, нужен недостижимо высокий идеал веры, чтобы он мог успокоить взволнованную душу. Произошло это, когда Пирогову исполнилось тридцать восемь лет. Вот как он пишет об этом в «Дневнике старого врача»: «И, принявшись за Евангелие, которого я никогда еще сам не читывал, а мне было уже 38 лет от роду, я нашел для себя этот идеал». Затем он добавляет: «С этой стороны

только я и знал Евангелие, а следовательно, и учение Христа, пока был подростком. Потом все это забылось и как старый хлам сдано было мной в архив памяти, пока мне не стукнуло 38 лет и внутренняя тревога не овладела мной. После этого я не удивляюсь, что сужу так резко о современной (да и прежней) христианской церкви».

Тридцать восемь лет Пирогову исполнилось в 1848 году, когда он работал на холерной эпидемии. Видя в религии большую пользу для развития нравственности, Пирогов в то же время говорил о том, что человек должен постоянно ощущать и сознавать свое бытие. И при этом наряду с чувствами и представлениями придавал большое значение отвлечениям и фантазии, считая, что ум без фантазии существовать не может, ибо одними фактами ограничить себя невозможно. Фантазия так же необходима человеку, как и его существование, именно она ведет его к открытиям.

«Все высокое и прекрасное в нашей жизни, — писал он, — науке и искусству создано умом с помощью фантазии, и многое — фантазией при помощи ума. Можно смело утверждать, что ни Коперник, ни Ньютон без помощи фантазии не приобрели бы того значения в науке, которым они пользуются».

Во времена Пирогова всякая фантазия в научных кругах осуждалась. Не один раз приходилось страдать Пирогову за увлечение ею. Стоило ему порой было придумать новый хирургический инструмент, которым еще не пользовались за границей, как тут же раздавались возгласы, что Пирогов чрезмерно умничает. Но проходило время, и новое поколение хирургов, особенно молодых, отмечали, что созданный Пироговым хирургический инструмент лучше старого, с ним намного легче производить операции.

А сколько недовольства среди профессоров Медико-хирургической академии вызвало изобретение Пироговым прибора для вдыхания эфирных паров. Да, были такие аппараты, пусть даже и единичные, за границей, но он взял и изобрел свой. Три дня в полном одиночестве просидел допоздна на кафедре и все-таки придумал схему аппарата. На следующий день рано утром пешком пошел к меднику и жестянщику Игнатию Макушкину и, объяснив, что ему надо, сказал:

— Умоляю тебя, ради Бога, сделай. Очень нужный аппарат.

— Неужели и боли никакой не будет? — удивленно спросил его Игнат, рассматривая на чертеже трубки, краники и фляжки.

— И памяти на этот момент тоже не будет! — воскликнул Пирогов. — Ты представляешь, какая подмога больным России. Раньше многие от боли

во время операций умирали, а теперь не будут.

— Вроде никогда я не слыхивал о такой штуке, но теперича сделаю, ваше благородие, обязательно сделаю... — И, пожав руку Пирогову, Игнат вежливо добавил: — Ради российского народа я с вас ничего не потребую. К завтрашнему вечеру я к трубкам краники припаяю. Так что приходите...

Игнат солидно поправил бороду и нежно положил схемку на стол, заваленный разнокалиберными трубками, жестянками и режущим инструментом. Как и все туляки, он был очень сметливым и уловил все замечания Пирогова по созданию аппарата. Он мог что угодно предугадать и предсказать, но такого даже не мог себе представить. Рано утром, когда он счастливо и беззаботно дрыхнул, в дверь его комнаты постучали. И каково же было его удивление, когда он на пороге увидел Пирогова.

— Ваше благородие, — пролепетал растерянно Игнат, — неужели вы плохого мнения обо мне?

— Нет, нет, — извинительно произнес Пирогов и добавил: — Аппарат этот стоит у меня перед глазами, я всю ночь не спал. А пришел я к вам в такую рань, чтобы помочь, если можно, конечно.

Поняв, в чем дело, Игнат засмеялся.

— Выходит, создание для тебя этого аппарата словно праздник.

— Да, праздник, — ответил Пирогов.

— Вот так, ваше благородие, сколько лет живу, а такого клиента у меня еще не бывало. Учить все горазды, а чтобы помогать, никого. А может, ты не в духе? — вдруг удивленно спросил его Игнат.

Пирогов промолчал.

— Ладно, ты духом не падай, это я так, пошутил, — сказал примиряюще Игнат. — Если трубки не спаяются, я из полена аппарат тебе сделаю. Такой аппарат будет, что все начнут спрашивать, где взял. А как спросят тебя, ты отвечай, мол, туляк Игнат, стальная душа, сделал блоху, на цепь приковал и муху подковал. Понял.

— Понял, — улыбнулся Пирогов.

— А мы все, туляки, такие! — гордо добавил Игнат. — Мы не то что рязанцы кособрюхие. Мешком солнышко ловили, а блинами острог конопатили. Или ржевцы, которые батьку на кобеля променяли. Наш брат туляк всегда хорош, и большой, и малый.

Так Пирогов подружился с медником Игнатом, который многие его «фантазии» смастерил своими умелыми тульскими руками. Кроме аппарата для вдыхания эфирных паров, был еще и аппарат для введения эфирных паров в прямую кишку и многие другие заковыристые хирургические инструменты.

Много сил отдает Пирогов Атласу топографической анатомии распилов, произведенных на замороженных трупах. Первые выпуски его вышли в 1852 году и продолжались до 1859 года. Благодаря этому труду впервые была доказана практическая важность хирургической анатомии. Постоянно производя распилы в своем Анатомическом институте, Пирогов не ограничивается в изображении подготовленного им материала только анатомической нормой. Он стремится отразить в рисунках как возрастные изменения органа, так и болезненные его состояния. Впервые Пирогов говорит и о существующих индивидуальных особенностях органов и тканей. Рисунки, сделанные с распиленных препаратов, поражали своей точностью и естественностью. Порой даже и пояснительный текст не отражал всего того, что на них было изображено. Пирогов всегда учил студентов делать рисунок или хотя бы набросок с отпрепарированного органа.

«Анатомо-хирургический рисунок, — говорил он им, — должен служить для хирурга тем, чем карта-путеводитель служит путешественнику...»

И почти все его студенты после занятий уносили с собой массу рисунков.

Как известно, Анатомический институт создан был при академии в 1846 году, в виде опыта на пять лет. В 1852 году возник вопрос о его дальнейшем существовании. Противники Пирогова потребовали его закрытия. Однако совершенные Пироговым открытия доказывали обратное. В защиту института выступили уже окрепшие к тому времени такие ученики Пирогова, как заведующие кафедрами акушерства и детских болезней профессор Китер, патологии и общей терапии Здекауер, а также ординарный профессор частной патологии Экк и академик, а впоследствии президент академии Петр Александрович Дубовицкий. На конференции академии, специально собравшейся по этому поводу, профессор Китер сказал:

— Анатомический институт, по моему мнению, нужно считать не только полезным для академии, но и важным во многих отношениях, поэтому полагаю, что совершенное закрытие одного было бы большой потерей для академии.

Вслед за ним выступил профессор Экк.

— Я убежден, — сказал он, — в существующей пользе, которую Анатомический институт принес как для образования врачей, так для славы академии и чести медицинского сословия в России, и считаю необходимо нужным утвердить его существование на будущее время под видом

нераздельной части академии и под названием Анатомического института Императорской медико-хирургической академии.

Профессор Здекауер в своей речи доказал необходимость академии института, а присутствующему на конференции военному министру открыто заявил, что за время своего существования Анатомический институт под руководством Пирогова подготовил надежных и искусных врачей для армии. Возник спор. Противники ополчились на Пирогова за пропаганду им топографической анатомии<sup>[112]</sup>, которую они за науку не считали. Бездоказательны были и их выкрики о том, что анатомы занимаются лишь одним резанием. Следует отметить, что среди высказавшихся в таком духе были не только профессора, но даже и академики. В своем выступлении Пирогов рассказал о проделанной им работе в Анатомическом институте. За пять лет учащиеся произвели в нем более двух тысяч патологоанатомических вскрытий, обогатив тем самым свои знания о происхождении и развитии болезней человеческого организма. Для анатомического музея, созданного на общественных началах при институте, было изготовлено пятьсот препаратов. Присутствовавший на конференции анатом Грубер показал аудитории некоторые из них. Высокое качество их изготовления привело всех в восторг. Кроме анатомических исследований, институт занимался и физиологическими проблемами. На животных было поставлено более двухсот экспериментов.

«Пусть же другое учебное заведение укажет нам более благоприятные результаты, — говорил Пирогов, — и я охотно соглашусь, что наши действия при Анатомическом институте не оправдали цели и пользы, которую правительство и академия ожидали от его основания. Покуда же я считаю себя вправе оставаться при убеждении, что мы сделали все, что могли, для пользы заведения».

И несмотря на сопротивление оппозиции Анатомический институт был сохранен и впоследствии он стал нераздельной частью академии.

## ПИРОГОВ В СЕВАСТОПОЛЕ

В июне 1853 года началась война с Турцией. 18 ноября 1853 года русский флот, войдя в Синопскую бухту, разгромил превосходящий его турецкий флот, при этом сохранив все свои корабли. Вслед за Турцией войну России неожиданно объявили Англия и Франция.

Пруссия и Австрия отказали в поддержке России, и ей предстояло бороться против коалиции великих держав в полном одиночестве.

20 апреля к Одессе на очень близкое расстояние подошли французские и английские корабли и без всякого предупреждения открыли огонь по городу. Была также предпринята попытка высадиться на берег. Однако огонь русских береговых батарей воспрепятствовал действиям морского десанта противника.

1 сентября 1854 года противник, увеличив мощь и количество боевых кораблей, подошел к Евпатории вплотную и начал высадку десанта. Главнокомандующий военными силами в Крыму князь Меншиков не придавал особого значения этой высадке, и вскоре на берегу оказалось шестьдесят тысяч солдат противника. Количество русских, укрепившихся к этому времени на левом берегу реки Альмы, было вдвое меньше. Войска неприятеля были вооружены современными штуцерами — нарезными ружьями, а русские — гладкоствольным оружием.

И хотя русские оказали большое сопротивление неприятелю, в целом же Альминское сражение было проиграно. Враг понес огромные потери. Пока он залечивал раны, русские войска, отступив к Севастополю, принялись сооружать оборонительные рубежи.

Врачей в русской армии было мало. И помощь раненым оказывалась не всегда вовремя.

Вот как описывал очевидец событий ту обстановку, которая возникла при первых днях обороны Севастополя: «Потеря в этом сражении была огромная с нашей стороны. Госпитали были переполнены, средств медицинских было совершенно недостаточно. Армия князя Меншикова, составленная случайно, по лоскуткам, имела крайне мало организованных запасов, все флотские средства пошли уже в дело. На Крымском полуострове, мало заселенном, с огромными расстояниями и разгрязвившимися дорогами, перевозка раненых, даже в Симферополь 50–60 верст, была крайне затруднительна. Севастопольские здания все были заняты под раненых, жители впопыхах давно выбрались из города».

Когда неприятель высадился на сушу, то ни о какой битве на море не могло уже быть и речи. Со всех кораблей были свезены в город орудия. На разоруженных кораблях отслужили молебен. И при зажженных свечах матросы со слезами на глазах в последний раз помолились на своих красавцев, которые медленно начинали погружаться под воду.

5 октября 1854 года неприятель, установив батареи на суше и окружив город своим флотом с моря, начал его обстрел. Русские батареи открыли ответный огонь.

После оставления кораблей Корнилов был назначен начальником обороны северной стороны города, а Нахимов — южной. Вскоре русские войска понесли невосполнимую потерю. При обороне Малахова кургана был тяжело ранен адмирал Корнилов. Рана была настолько тяжелой, что к вечеру он умер. Усиливая невероятные обстрелы, враг готовился к штурму.

«Мы не могли еще отвечать достаточно сильно, — вспоминал очевидец. — Жертв было не так много. Как следовало бы ожидать от такого адского огня, длившегося в течение полу суток без отдыха и без умолка, но одною из первых и наиболее чувствительных был адмирал Корнилов, что разом лишило Севастополя самого энергичного в нем распорядителя из старших. Корнилов при начавшейся бомбардировке приехал на Малахов курган к Истомину. Ему оторвало ногу, когда он садился на лошадь, чтобы уехать. Впечатление, сделанное на нас его адъютантом, привезшим на позицию это известие, было скорбное. Нервы и без того были натянуты чрезвычайно, все ожидали, что-то будет после такой канонады, не пойдет ли неприятель на приступ.

Ожидая приступа, войска гарнизона должны были держаться близко от батарей, блиндажи для них не были еще готовы, а потому и потери были значительные в войсках».

Госпиталя и лазареты были переполнены ранеными.

Узнав о больших потерях русских войск, Пирогов обращается в военно-медицинское ведомство с прошением О незамедлительной его отправке в обороняющийся Севастополь. Ведомство ему отказывает. Тогда он обращается за помощью к великой княгине Елене Павловне. Необыкновенный патриотизм молодого ученого и желание как можно скорее оказать помощь раненым русским воинам тронули княгиню. Она дала ему обещание добиться его отправки в осажденный город. И, сдержав свое слово, к вечеру следующего дня сообщила Пирогову, чтобы он по «высочайшему повелению» оформлял документы и выезжал в Севастополь в «распоряжение главнокомандующего войсками в Крыму для ближайшего наблюдения за успешным лечением раненых». Кроме подобранного им

самим медицинского персонала, Пирогову должен был подчиняться и первый отряд сестер милосердия, который организовала княгиня. Пирогов был рад помощи княгини.

«Я предложил себя к услугам при осаде, — вспоминал Пирогов, — и получил не без труда разрешение отправиться в Крым. Великая княгиня Елена Павловна много содействовала моему отправлению под Севастополь, поручила мне руководить занятиями организованной ею тогда Крестовоздвиженской общиной сестер; впоследствии такое же поручение руководить занятиями сердолобивых вдов дано было мне и по воле государыни императрицы Александры Федоровны, сверх этого, великая княгиня Елена Павловна предоставила мне сформировать небольшую корпорацию врачей-хирургов на ее иждивение, с тем чтобы они находились в непосредственном моем заведовании и никуда не назначались военным ведомством без моего согласия: д-ра Э. В. Каде, А. Л. Обермиллер, П. А. Хлебников, Л. А. Беккер, В. И. Тарасов, а впоследствии и С. П. Боткин (при второй моей поездке в Крым) принадлежали к этой категории врачей».

Кроме врачей, с Пироговым выехал и фельдшер И. Калашников, с которым он выезжал ранее на Кавказ. Все обязанности в клиниках Петербурга на время его отсутствия возлагались на профессора Неммерта.

Трудно оценить поступок Пирогова, решившегося отправиться в пекло войны. Только что женившийся вновь, имеющий двух детей, славу, почет, привилегии академика, он вдруг все бросает ради врачебной помощи русскому раненому солдату.

В разгар осени 29 октября, Пирогов попрощавшись с женой и детьми, выезжает в Крым по маршруту — Курск, Харьков, Екатеринослав<sup>[113]</sup>, Севастополь. И если сам город, в который он отправился, в силу военных действий был крошечным адом, то не менее страшна и опасна была и дорога. А если точнее сказать, то дороги почти никакой не было, осенняя распутица превращала ее бог весть во что. Жена умоляла его писать письма каждый день. И он пишет их торопливо, но подробно, передавая через кого угодно, только бы они дошли в Петербург. «Твои письма будут мне памятью о тебе...» — говорила она при прощании, не надеясь больше увидеть мужа живым.

Буквально в первых же письмах Пирогов сообщает жене о невыносимом бездорожье, встретившемся ему на пути в Севастополь.

«Среда, 2 ноября. Харьков. 11 часов вечера.

Только что сейчас приехали и через два часа уезжаем. Дорога от Курска, двести верст, ужаснейшая: слякоть, грязь по колено, но вчера



сделался вдруг вечером мороз при сильнейшем ветре, так что зги не было видно, и мы принуждены были остановиться на 5 или 6 часов на станции в одной прегадчайшей комнате. Я еще не брился, не мылся и не переменял белья с Петербурга».

Кроме бездорожья, присоединились дожди. Часто путникам приходилось выходить из застрявшей кибитки и выталкивать ее под ледяными струями и при пронизывающем ветре. Пирогов не думал ни о своем здоровье, ни о том даже, что он может погибнуть в пути. Ему хотелось как можно скорее прибыть в Севастополь. Перед его глазами были тяжелораненые солдаты, просящие помощи.

Очередное письмо жене он передает путнику с котомкой, страшно оборванному калеке, возвращающемуся из-под Севастополя.

«Екатеринослав. Пятница. 6 ноября. 12 часов утра.

Наконец дотащились до Екатеринослава. Дорога от Курска, где шоссе прекратилось, невыразимо мерзка. Грязь по колени; мы ехали не более 3 и даже 2 верст в час, шагом; в темноте не было возможности ехать, не подвергаясь опасности сломить шею, и потому мы принуждены были оставаться по 6 часов на станции, покуда темнота проходила. Нас застал на дороге около Белгорода жесточайший ураган, который был также, как я слышал, и в Севастополе. Не знаю, когда-то доедем; грязь и здесь ужаснейшая. Мы едем трое в тарантасе. Калашников с вещами в телеге следует позади; ось у телеги переломилась, ее подлец ямщик навел, я думаю, нарочно на сугроб и свалил в канаву. Мы до сих пор все, слава Богу, здоровы. Здесь надобно купить кой-что и именно большие мужицкие или охотничьи сапоги; говорят, что в Крыму несосветимая грязь. Что ты делаешь, моя душка, здорова ли, здоровы ли дети? Целую вас всех всякий день заочно и молюсь. Прощай. Кланяйся Маше и всем нашим. Теперь напишу уже из Севастополя. Погода переменчива; вчера было так тепло, что я уже хотел вынуть шинель, а сегодня опять холодно. Надобно сказать Актонскому, что почты между Харьковом и Екатеринославом в самом жалком состоянии. Вчера мы на одной станции взяли курьерских лошадей, не нашли ни смотрителя, ни помощника, ни ямщика, подорожную<sup>[114]</sup> не вписали в книгу, прогонов<sup>[115]</sup> не заплатили, потому что некому было платить, и уехали (эта станция называется Константиноград), содержатели почти везде жида».

Чем ближе приближается Пирогов к Севастополю, тем больше встречает раненых, которых везли на повозках накрытыми рогожками. С волнением всматривается в измученные лица фельдшеров и врачей,

сопровождающих обозы. Иногда, остановившись, расспрашивает об обстановке в городе.

— Плохо, очень плохо... — отвечали ему фельдшера. — Медикаментов нету, соломы нету. А некоторые помирают просто так, потому что не успеваем всем вовремя помощь оказывать, — и чуть не плача добавляли: — Горе большое на нас нашло. Под Инкерманом столько солдатушек полегло.

Пирогов то и дело подгоняет своего ямщика. Хочется как можно скорее попасть в город. А обозы с ранеными все длиннее и длиннее. Порой приходится останавливаться, чтобы уступить им дорогу, отъезжать в сторону.

— И где же братцев это повредило?.. — спрашивал ямщик обозников.

— Под Инкерманом... Под Инкерманом... — с болью в сердце отвечали те.

Инкерманское сражение, происшедшее 24 октября 1854 года, было одним из самых кровопролитных. Русские войска планировали атаковать английские позиции с города, используя поддержку вновь прибывших войск с обеих флангов. Требовалось захватить Сапун-гору и овладеть инкерманским подъемом. Однако осуществить русским это не удалось. Противник легко и уверенно вел обстрел наших войск сверху вниз. Генерал Соймонов, хотя и вывел войска для атаки неприятеля, но неожиданно в самом начале боя был убит, и войска оказались без командования. Русские солдаты дрались героически. Однако брать открыто силой гору, когда неприятель без всякого труда пересчитывал всех сверху, было очень нелегко. Тем более пехоту в силу дальности своего расположения не могла поддержать артиллерия.

«...войска, не поддержанные вовремя прибытием генерала Павлова, не могли устоять и стали отступать. Сильная вылазка, сделанная на правом фланге Севастополя генералом Тимофеевым, была ведена энергично, имела некоторый успех, но по малочисленности войска могла служить только демонстрацией и при общем отступлении утратила и добытые ею результаты».

Картечь крошила возвращавшихся без милосердия. Перепуганные лошади носились без седоков. Почти все подножие Сапун-горы было усеяно телами русских солдат. Многие из них из-за тяжести ранения не могли ползти к своим позициям и в мучениях умирали прямо тут же на месте.

Пирогов прибыл в Севастополь на его северную сторону 12 ноября

1854 года, через две недели после Инкерманского сражения.

«Я никогда не забуду моего первого въезда в Севастополь, — вспоминал он. — Это было в позднюю осень в ноябре 1854 года. Вся дорога от Бахчисарая на протяжении более чем 30 км была загромождена транспортом раненых, орудий и фуража. Дождь лил как из ведра, больные, и между ними ампутированные, лежали по двое и по трое на подводе, стонали и дрожали от сырости; и люди, и животные едва двигались в грязи по колено; падаль валялась на каждом шагу, из глубоких луж торчали раздувшиеся животы падших волов и лопались с треском; слышались в то же время и вопли раненых, и карканье хищных птиц, целыми стаями слетевшихся на добычу, и крики измученных погонщиков, и отдаленный гул севастопольских пушек».

Прибыв в Севастополь рано утром, Пирогов сразу же принялся отыскивать начальника штаба, чтобы представиться. В городе была непролазная грязь. Охотничьи сапоги, в которых приехал Пирогов, раскисли, подошва у них отвалилась, и они пришли в негодность. Выручили простые мужицкие сапоги и длинные шерстяные чулки, которые он купил в Екатеринославе по совету ямщика. Быстро переобувшись, Пирогов решил тарантас не бросать, покрытый войлоком и клеенкой, он хоть на некоторое время мог послужить квартирой.

Вскоре Пирогов нашел двух врачей, которые знали его по Петербургу. Узнав, с какой целью он к ним приехал, они через доктора батареи, знакомого с местностью, отыскиали в нижнем этаже четвертой северной батареи две пустующие комнаты, в которых Пирогов и расположился. Комнаты были теплые, так как находились рядом с госпитальной кухней. В одной из комнат накануне умер тяжело раненный в живот генерал Соймонов. Остальные же комнаты были забиты ранеными и больными. Оставив вещи в одной из комнат, Пирогов в сопровождении госпитального доктора тотчас же отправился к начальнику штаба.

«По дороге, берегом бухты, я увидел с десятков огромных пушек, заклепанных и лежавших на берегу. На вопрос мой, что это такое, врач отвечал, что это следствия недоразумения; когда неприятель шел от северных фортификаций<sup>[116]</sup> на юг, то приказание Меншикова не было понято якобы и пушки эти заклепали и сбросили с батареи в море, думая, что неприятель непременно овладеет батареею и будет ими стрелять по городу. Теперь же, когда это предчувствие не сбылось, то наши ловят свои же пушки в море, вытаскивают и расклепывают».

Оказывается, с севера Севастополь был полностью не защищен. И если бы неприятель знал это, он взял бы город без всякого труда. Чудо

спасло город. Враг думал, что плохо укреплена южная сторона города. И сконцентрировал все свои силы в этом направлении.

Наконец, найдя начальника штаба генерала Семяки-на, Пирогов попросил его передать конверт с документами о своем прибытии главнокомандующему.

— Что вы... — возмутился тот. — Если я это сделаю, он обидится. Он рад будет увидеть вас лично.

При генерале Пирогов встретил своего бывшего ученика, ординатора клиники А. А. Генрици. Тот с уважением отнесся к своему учителю и объяснил, как и когда можно попасть к князю Меншикову.

В шесть часов вечера Пирогов зашел в маленький и очень ветхий домик с грязным двором. Ординарцы, взяв конверт, велели Пирогову подождать в коридоре.

«Едва обо мне доложили, как дверь отворилась, и я стал перед ним, что называется, нос к носу. В конурке, аршина в три в длину и столько же в ширину, стояла, сгорбившись, в каком-то засаленном архалуке судьба Севастополя. У одной стены стояла походная кровать с круглым кожаным валиком вместо подушки; у окна стоял стол, освещенный двумя стеариновыми огарками, а у стола в больших креслах сидел писарь, который тотчас же ушел».

Меньшиков, откашлявшись, удивленно посмотрел на Пирогова, а затем вдруг обиженно произнес:

— Извините, что приходится в собачьей конуре принимать... — И, с каким-то отвлеченным злорадством усмехнувшись, добавил: — Ну что же вы стоите, садитесь.

Пирогов присел в кресло писаря.

— А я помню вас... — произнес все так же отвлеченно Меньшиков. — Вы, кажется, были у меня на квартире, когда я ребро, упав с лошади, поломал...

— Да, ваша светлость.... — произнес Пирогов. — Был, но ушел, как только вы начали приходить в себя.

— Так сказать, всем известный хирург Пирогов... — хихикнул Меньшиков и, надев очки, торопливо раскрыл конверт. — Ого-го... сам государь император о действиях ваших осведомлен. Действия ваши приравнены к автономии. Так сказать, государство в государстве... И княгиня, надо же, лично княгиня Елена Павловна в вашем деле заинтересована... — Отложив конверт в сторону, Меньшиков, важно посмотрев на Пирогова, спросил: — А по дороге случайно вы не заходили в госпиталь?..

— Заходил, ваша светлость... — ответил Пирогов и добавил: — К сожалению, он в таком состоянии, что лучше бы и не видеть. Раненые, можно сказать, живьем сгнивают. И многие, не дождавшись помощи, прямо в палатах и умирают.

— В палатах это еще ничего... — вздохнул Меньшиков. — С 24 октября было еще хуже. Раненых было больше, чем живых. Мы просто не знали, что с ними делать. Они на голой, мерзлой земле лежали и под ливнями мокли... Грех мой, это я, наверное, да князя во всем виноваты. И в войне виноваты, и в осаде...

Пирогову не понравилось это признание Меньшикова.

«Есть два рода оправданий, — писал он в «Севастопольских письмах», — один — просто врать, а другой — говорить правду, описывая собственную вину как нельзя хуже; выслушав такого правдолюбца, поневоле призадумашься, духа недостает сказать: да кто же, черт возьми, виноват, как не ты сам?.. Это именно я и подумал, слушая, как старик сухо и бесстрастно оправдывался, обвиняя самого себя».

Граф Л. Н. Толстой, находясь в то время в Крыму, в своем дневнике от 2 ноября 1854 года с возмущением писал: «Со времени десанта англо-французских войск у нас было с ними три дела. Первое, Алминское, 8 сентября, в котором атаковал неприятель и разбил нас; второе дело Липранди 13 сентября, в котором атаковали мы и остались победителями, и третье, ужасное дело Даненберга, в котором снова атаковали мы и снова были разбиты. Дело предательское, возмутительное. 10-я и 11-я дивизия атаковали левый фланг неприятеля, опрокинули его и заклепали 37 орудий. Тогда неприятель выставил 6000 штуцеров, только 6000 против 30 тысяч. И мы отступили, потеряв около 6000 храбрых. И мы должны были отступить, ибо при половине наших войск по непроходимости дорог не было артиллерии и, Бог знает почему, не было стрелковых батальонов. Ужасное убийство. Оно ляжет на душе многих! Господи, прости им. Известие об этом деле произвело впечатление. Я видел стариков, которые плакали навзрыд, молодых, которые клялись убить Даненберга. Велика моральная сила русского народа. Много политических истин выйдет наружу и разовьется в нынешние трудные для России минуты. Чувство пылкой любви к отечеству, восставшее и вылившееся из несчастий России, оставит надолго следы в ней. Те люди, которые теперь жертвуют жизнью, будут гражданами России и не забудут своей жертвы. Они с большим достоинством и гордостью будут принимать участие в делах общественных, а энтузиазм, возбужденный войной, оставит навсегда в них характер самопожертвования и благородства.

В числе бесполезных жертв этого несчастного дела убиты Соймонов и Камстадиус. Про первого говорят, что он был один из немногих честных и мыслящих генералов русской армии; второго же я знал довольно близко; он был членом нашего общества и будущим издателем журнала. Его смерть более всего побудила меня проситься в Севастополь. Мне как будто стало совестно перед ним».

Кроме Меншикова, армией руководил и князь Горчаков. Севастополь был набит князьями. Здесь также находились великие князья Николай и Михаил, сыновья Николая I. Они были посланы в Крым для «подъема духа» и для получения наград, которые им были необходимы для продвижения по службе. Их пребывание на войне, в патриотических кругах, рассматривалось как помеха в руководстве войной. Сестра братьев Аксаковых В. С. Аксакова писала: «Лучше бы, если бы они оттуда уехали; конечно, их должны там оберегать и пожертвуют для спасения их тысячами людей». Не менее критично писала она в своем дневнике и о князе Меншикове: «Слухи о Меншикове неутешительны. Из Севастополя пишут, что он совершенно потерялся и хотел бросить и город и флот на жертву неприятеля, и, если б неприятель напал тогда на Севастополь, он был бы взят без боя... Наши моряки делают чудеса в Севастополе».

24 октября шесть тысяч раненых было брошено на произвол судьбы под открытым небом. Затем, когда часть их все же удалось собрать, то они целую неделю не только не перевязывались, но не были даже накормлены.

В первый день своего приезда Пирогов нашел более двух тысяч измученных и крайне заброшенных раненых. Многие из них лежали на холодной земле, как попало, порой друг на друге, точно дрова. Десять дней с утра до вечера Пирогов оперировал их. Почти у многих произошло сильное нагноение ран. Операции, которые должны были сделаны им сразу же после боя, делались лишь месяц спустя.

Создавалось такое впечатление, что о раненых в Севастополе вообще никто даже не думал до 24 октября. И лишь после 24 октября, когда число их невероятно возросло, начальство чуть-чуть зашевелилось.

«Только после 24-го явился начальник штаба и генерал-штаб-доктор; до того как будто и войны не было: не заготовили ни белья для раненых, ни транспортных средств, и когда вдруг к прежним раненым прихлынуло 6000 новых, то не знали, что и начать. За кого же считают солдата? Кто будет хорошо драться, когда он убежден, что, раненного, его бросят как собаку».

Слушая что-то бормотавшего князя Меншикова, Пирогов вспоминал князя М. С. Воронцова. В противоположность Меншикову тот с необыкновенным уважением относился к своим солдатам и по-отцовски

беспокоился о них. Стоило им добиться в сражении под Салтами хотя бы небольшого успеха, он тут же давал им деньги и награды. И солдаты любили князя Воронцова как никого другого на свете, проявляя при битвах с горцами отменную смелость и отвагу. Горцы сразу же поняли, почему так самоотверженно дерутся русские солдаты. «Пока Воронцов с ними, — говорили они, — мы их никогда не победим».

«...Меньшиков приезжал только однажды в госпиталь к генералу Вильбоа и не пришел взглянуть, как лежали на нарах скученные, замаранные, полусгнившие легионы, высланные на смерть».

Узнав из послания княгини Елены Павловны, что в Севастополь едет группа сестер милосердия, Меньшиков удивленно спросил Пирогова:

— Будет ли толк от них?.. — И, не дождавшись ответа, рассмеялся. — А то еще, не дай бог, они с солдатами загуляют... И придется тогда дополнительно открывать сифилитическое отделение в госпитале...

— Многое, ваша светлость, будет зависеть от личности женщин... — ответил Пирогов. — Мысль создания общины сестер милосердия очень добрая. Мало того, есть уже примеры их самоотверженного труда на поле боя....

— Ну что же, посмотрим... — ухмыльнулся Меньшиков. — Правда, и у нас есть, говорят, какая-то красotka из простых, Дарья. Ядра над ее головой то и дело свистят, а она хоть бы что, ходит по полю и раненых перевязывает. Офицеры рассказывали мне, что под Альмой она многих раненых даже от смерти спасла. Вот тебе и баба, они бойкие, оказывается, существа... — И, усмехнувшись, вдруг с присущей только ему отвлеченностью спросил: — Вы уже, наверное, где-нибудь у нас приютились?..

— Да, ваша светлость... — ответил Пирогов и в какой-то обиде на князя добавил: — Только вот квартира моя получше вашей...

— Хи-хи... — засмеялся судорожно князь, а затем махнул рукой. — А я так и знал, что только я один здесь и маюсь...

Постепенно лицо его сделалось прежним, холодным и строгим. Подозрительно посмотрев из-под нахмуренных бровей на Пирогова, он как-то нехотя просипел:

— Ладно, идите... Мне еще надо кучу писем от пленных разобрать.

В растерянности Пирогов вышел от главнокомандующего.

«Так окончилось свидание с провидением Севастополя. Что же это такое? Пуф или правда? Что значит это уединение, это притворное спартанство? К чему жить в лачужке и хвастаться еще этим, когда можно бы было жить и в городе, и в батарее, где мы теперь живем? Что значит это

смирение, эта тихая, прерывистая речь?»

Впоследствии Пирогов отзывался о Меншикове как о бездарном главнокомандующем. И даже если бы он прослыл героем и защитил Севастополь, мнения своего Пирогов о нем бы не изменил. «Он не может или не хочет сочувствовать солдату, — он плохой Цезарь. Он хочет свои недостатки прикрыть мистическим молчанием и притворным спартанством, но навряд ли многих надует».

Меншиков не жалел солдат и не беспокоился о них. «Меншиков нелюбим, как говорят, в войске именно потому, — писала В. С. Аксакова, — что неприветлив, осматривая войска, проезжая мимо них, он ни слова не обращает к ним, и они этим обижаются».

Вся Россия смотрела в то время на Севастополь так, как, может быть, она не смотрела даже на Москву в 1812 году. Сдача священного места равносильна была проклятию. Об этом Меншиков знал, но действовал почему-то крайне безынициативно и вяло.

Начальник штаба выделил Пирогову и его врачам для передвижения по госпиталям и лазаретам верховых лошадей. Встав рано утром, они ехали на них в Дворянское собрание, где в холле был устроен перевязочный пункт, а танцевальные залы были отданы под палаты.

В бильярдной на бильярдных столах делались операции. Когда Пирогов работал в здании Дворянского собрания, снаряды сюда не долетали. Но стоило ему было перейти в морской госпиталь, к которому был прикреплен и временный казарменный госпиталь, то вражеские ядра летали здесь как бабочки над лугом. Из окон госпиталя были видны неприятельские батареи. Один раз бомба влетела через крышу в комнату, где производилась операция и, разорвавшись в воздухе, оторвала у больного обе руки.

У одного матроса Пирогов купил себе грубую солдатскую шинель. Она защищала его от пронизывающего холодного ветра, да и грязь на ней была не так заметна. Куда бы Пирогов ни приезжал, он видел одну и ту же картину. Запущенные и ужасно грязные стонущие ране-вне лежат на пропитанных гноем и кровью матрацах. Из-за недостатка белья и соломы матрацы оставались под больными по шесть, а то и более дней. Стоило Пирогову высказать об этом замечание администрации, как те хором отвечали ему:

— Это еще ничего... А вот 24 октября было еще и хуже...

Пирогов требует и заставляет их беспокоиться о раненых. Стараясь снизить число ранних осложнений, производит разделение больных на две



группы: имеющие гнойные заражения и временно не имеющие их.

Производя перевязки раненых, он в первую очередь выделяет больных, нуждающихся в неотлагательном производстве операций. Оперирует вместе с врачами сразу же на трех столах. За день делает по 10–12 операций.

В госпиталях Пирогов увидел и женщин, умело перевязывающих раненых. Женский уход за ранеными появился в Севастополе раньше приезда сестер милосердия из Петербурга. Жены и дочери севастопольцев добровольно пришли на помощь раненым. Встретил Пирогов здесь и знаменитую семнадцатилетнюю Дарью, о которой ему говорил князь Меншиков. Два раза она даже ассистировала Пирогову на операции. Он пораился грамотности и легкости ее движений. Перевязки она делала ловко и умело. На груди ее красовалась медаль, которую по распоряжению государя императора вручил ей один из великих князей. Впервые она отличилась оказанием помощи под Альмою, и теперь о ней с восхищением говорил весь Севастополь.

Не покладая рук Пирогов работает в госпиталях. Возвращается в казарму каждый день уставшим.

«Жизнь, которую я веду, — пишет он жене, — не позволяет скучать, и потому мне не скучно, хотя я не вижу ни тебя, ни детей. Мыслей других нет и быть не может, как об раненых; засыпаешь, видя все раны во сне, пробуждаешься с тем же. Читать и писать нет времени. Усталый, вечером думаешь только, как бы отдохнуть».

26 ноября, преодолев 60 верст за два дня, Пирогов приезжает для осмотра госпиталей в Симферополь, где заодно он должен встретить прибывающую изо дня на день Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия. Раненые в Симферополе были рассеяны по частным домам. Пирогов также производит здесь перевязки и операции. Здесь же к нему приходит сообщение от статс-секретаря Гофмана, в котором говорится, что, кроме сестер милосердия, в его распоряжение должны прибыть шестьдесят вдов из петербургского Вдовьего дома, специально обученные уходу за больными. Это сообщение обрадовало Пирогова, ибо людей, ухаживающих за ранеными, постоянно не хватало, даже для таких простых процедур, как раздача чая и вина. На временную, то и дело присылаемую из войск прислугу, нельзя было положиться. Она разворовывала запасы сахара, вина и прочих принадлежностей, предназначенных для ухода за ранеными.

В письмах к Пирогову жена волнуется за его судьбу. Иногда она просто приходит в ужас, не понимая, ради чего и для чего он поехал в этот

страшный ад. Пирогов старается успокоить жену. В строках к ней им владеют не личные чувства, а общечеловеческий долг врача-исцелителя, патриота своей родины.

«...Подумай только, — пишет он ей, — что мы живем на земле не для себя только, вспомни, что пред нами разыгрывается великая драма, которой следствия отзовутся, может быть, чрез целые столетия; грешно, сложив руки, быть одним только праздным зрителем, кому Бог дал хоть какую-нибудь возможность участвовать в ней. Я знаю, что для тех, кого он, как нас, благословил счастьем в семейном кругу, тяжело, оставив тихий, приятный быт, подвергать себя всем беспокойствам и тягостям разлуки с милыми сердцу и лишениям; но тому, у кого не остыло еще сердце для высокого и святого, нельзя смотреть на все, что делается вокруг нас, смотреть односторонним эгоистическим взглядом, — и ты, которую я привык уважать за твои чувства, верно утетишься, подумав, что муж твой оставил тебя и детей не понапрасну, а с глубоким убеждением, что он не без пользы подвергается лишениям и разлуке. Больше ничего не могу сказать в утешение себя и тебя. Бог даст, настанет день радости для нас. Вооружись же терпением и верою в святое провидение. Святое и высокое тебе нечуждо; ты во многом еще можешь сама мне служить примером».

Волнения жены не проходят. Почти в каждом письме она просит мужа беречь себя и как можно быстрее возвращаться обратно. Великие князья Николай и Михаил, поняв, что в Севастополе они могут погибнуть, быстренько уехали в Петербург. Для приличия пообещали, что вскоре вернутся обратно, однако так и не вернулись.

В Симферополе Пирогов встретил первую группу сестер милосердия, командированных княгиней Еленой Павловной. Женщины в медицине применялись и раньше. Сперва в католических, а затем и в протестантских странах. В России, например, существовали сердобольные вдовы при Мариинской больнице, которые безвозмездно ухаживали за больными в палатах. Точно такая же женская община существовала и в больнице на Песках. В то время женщин для оказания медицинской помощи непосредственно на поле боя никто не посылал. И первой в этом благородном деле была Россия. Однако западные страны активно разрекламировали на весь мир благотворные деяния мисс Нейтингель с тридцатью семью сестрами, «дамами высокой души», по собственному желанию приехавшими на Крымскую войну.

Самоотверженный труд русских сестер милосердия предвосхитил все ожидания. Об их подвигах на поле боя, в лазаретах и в госпиталях начали писать газеты и журналы. Весь мир восхищался их трудом. Кроме раздачи

сухого белья, чая и вина, сестры работали на перевязочных пунктах и в операционных. Перевязывать раненых им приходилось на открытом воздухе, под дождем, стоя на коленях в грязи или на промерзлой земле. И если порой из-за огромного наплыва раненых врачей не хватало, перевязочные пункты оставались на их попечении. Эти мужественные женщины, не смыкая глаз по несколько суток кряду, оказывали помощь раненым.

«Старшая сестра 2-го и 3-го отделений Екатерина Михайловна Бакунина отличалась своим усердием. Ежедневно днем и ночью можно было ее застать в операционной комнате ассистирующею при операциях; в это время, когда бомбы и ракеты то перелетали, то не долетали и ложились кругом всего собрания, она обнаружила со своими сообщницами присутствие духа, едва совместное с женскою натурою и отличавшее сестер до самого конца осады. Трудно решить, чему должно более удивляться: хладнокровию ли этих сестер или их самоотвержению в исполнении обязанностей».

Стараясь не путать различные ведомства, пославшие женщин в Севастополь, Пирогов размещает их по группам в разные места. Общину княгини он посылает в Севастополь, Бахчисарай и Карасу-Базар, а вдов оставляет в Симферополе. Кроме оказания помощи раненым, Пирогов поручает сестрам нравственный присмотр и контроль административного попечения над руководителями госпитальных порядков. Почти все администраторы возмутились такому решению Пирогова и стали жаловаться на него начальнику Севастопольского гарнизона Остен-Сакену и князю Васильчикову. Однако те поддержали Пирогова и за сестрами был оставлен надзор над госпиталями.

В Симферополе Пирогов отметил недостаточное количество транспорта для перевозки раненых. Город переполнялся вновь привозимыми ранеными, потому что дальше везти их было не на чем. Они лежали где угодно и как попало, целые дни и ночи без матрацев и без белья. Да и сама перевозка в трясках телегах без подстеленной соломы приводила к осложнению многих заболеваний. Пирогов потребовал от администрации большего выделения транспорта для перевозки раненых, а для «мягкости» езды велел стелить на дно телег матрацы и солому.

В беседе с генерал-губернатором Симферополя Адлербергом Пирогов предупредил его, что если дальнейшая скученность раненых будет и впредь так же продолжаться, то начнется тиф. На окраинах Симферополя целые десятки падших лошадей гнили в грязи, распространяя по округе зловоние. Трупы умерших хоронились кое-как, чуть присыпаясь землей.

В растерянности Адлерберг даже не знал, что ему надо было предпринять в такой неблагоприятной для города обстановке. Пирогов помог ему разобраться и предпринять необходимые меры. В изданном приказе губернатор использует абсолютно все предписания Пирогова. Он начинается такими словами: «Вследствие представленного мне мнения г. профессора Пирогова относительно необходимых мер осторожности...» — и далее говорится о строжайших предписаниях, касающихся внутригоспитальной сортировки раненых, о вентиляции палат, о широком использовании при перевязке противовоспалительных средств. А главное было то, что теперь все больные, прибывающие из Севастополя, должны были госпитализироваться только после предварительного их осмотра. Приказ был распространен по всем отделениям и вывешен на стенах при их входе.

В своем очередном письме к жене Пирогов, рассказывая ей о Симферополе, указывает на необыкновенное трудолюбие сестер милосердия, прибывших туда, одновременно говоря и о бедственном положении раненых.

«Если она (великая княгиня Елена Павловна. — *Прим. авт.*) пришлет спросить, — просил он ее, — то скажи, что ее сестры до сих пор оказались так ревностны им, как только можно требовать, день и ночь в госпитале. Двое занемогли; они поставили госпитали вверх дном, заботятся о пище, питье, просто чудо, раздают чай, вино, которое я им дал. Если этак пойдет, если их ревность не остынет, то наши госпитали будут похожи на дело.

Несмотря на все это, худое начало не исправляется легко. В Симферополе лежат еще больные в конюшне, соломы для тифляков нет и старая полусгнившая солома с мочой и гноем высушивается и снова употребляется для тифляков; соломы здесь уже совсем нет (в Севастополе), пуд сена стоит 1 руб. 75 коп. серебром. В открытых телегах, без тулупов, везут больных в течение 7 дней из Симферополя в Перекоп, они остаются без ночлега, на чистом поле или в нетопленных татарских избах, остаются иногда дня по 3 без еды и пр. и пр., а если будет еще новое дело, то Бог знает, что сделают с ранеными. Вот следствия беспечности и непредусмотрительности, когда ничего не заготавливали, шутили, не верили, не приготавливались».

Пирогов вернулся из Симферополя в Севастополь в конце декабря, когда начались морозы. В комнате, где он квартировал, было холодно, и приходилось спать в солдатских шинелях. По утрам после перевязки раненых Пирогов посещает администраторов госпиталей, требуя, чтобы те побеспокоились о транспортировке раненых. Од возмущается, когда их

клали на татарские арбы, по три, по четыре человека, и при этом без подстилок, лишь в одних шинелях, порой накинутах на одни рубашки. А ехать ведь им надо было более недели, на холоде, под открытым небом.

Споры с администрацией изматывали Пирогова. Исправлялись начальники обычно на словах, ибо вся солома была ими давным-давно продана налево. Ими же разворовывались продукты и медикаменты. Из-за такого халатного отношения администраторов многие раненые умирали раньше времени.

Врачей не хватало. И Пирогову приходилось оперировать до изнеможения рук. Иногда он падал от усталости у операционного стола.

В ноябре 1854 года в Севастополь приезжает граф Лев Николаевич Толстой. Он восхищен геройством и стойкостью защитников города. «Дух в войсках свыше всякого описания. Во времена Древней Греции не было столько геройства, — пишет он брату. — ...Чудное время! Я благодарю бога за то, что я видел этих людей и живу в это славное время».

И если он восхищается храбростью русского солдата, то действиями командования, наоборот, возмущен. В дневнике от 23 ноября он пишет: «В поездке этой я больше, чем прежде, убедился, что Россия или должна пасть, или совершенно преобразоваться. Все идет наыворот, неприятелю не мешают укреплять своего лагеря, тогда как это было бы чрезвычайно легко, сами же мы с меньшими силами, ниоткуда не ожидая помощи, с генералами, как Горчаков, потерявшими и ум, и чувство, и энергию, не укрепляясь, стоим против неприятеля и ожидаем бурь и непогод, которые пошлет Николай Чудотворец, чтобы изгнать неприятеля».

Зато как необыкновенно образно и художественно описывает писатель нелегкий труд медиков в своем рассказе «Севастополь в декабре месяце». В этих строках чувствуется сопереживание автора страданиям человека. «Теперь, ежели нервы ваши крепки, пройдите в дверь налево: в той комнате делают перевязки и операции. Вы увидите там докторов с окровавленными по локти руками и бледными угрюмыми физиономиями, занятых около койки, на которой, с открытыми глазами и говоря, как в бреду, бессмысленные, иногда простые и трогательные слова, лежит раненый под влиянием хлороформа. Доктора заняты отвратительным, но благотворным делом ампутаций. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело; увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку; увидите, как на носилках лежит, в той же комнате, другой раненый и, глядя на операцию товарища, корчится и стонет не столько от физической боли, сколько от моральных страданий

ожидания, — увидите ужасные, потрясающие душу зрелища; увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении — в крови, в страданиях, в смерти...

Выходя из этого дома страданий, вы непременно испытаете отрадное чувство, полнее вдохнете в себя свежий воздух, почувствуете удовольствие в сознании своего здоровья, но вместе с тем в созерцании этих страданий почерпнете сознание своего ничтожества и спокойно, без нерешимости пойдете на бастионы...»

«Что значат смерть и страдания такого ничтожного червяка, как я, в сравнении со столькими смертями и столькими страданиями?»

В одном из таких госпиталей граф Толстой познакомился с Пироговым. Его удивило невероятное трудолюбие хирурга. Весь бледный и истощенный от усталости, Пирогов перевязывал одного раненого за другим. Этот образ врача в невероятных, ужасных условиях продолжающего, невзирая ни на что, исцеление людей, потряс писателя.

— И давно вы уже здесь?.. — спросил Пирогова Толстой.

— Больше месяца, ваше благородие... — ответил Пирогов и, вытерев пот со лба, с гордой уверенностью добавил: — Вы, главное, держите бастионы. А мы не подкачаем, дело свое знаем...

— Николай Иванович!.. Николай Иванович!.. — закричал вдруг доктор. — Опять кровотечение началось...

И, тут же попрощавшись с Толстым, Пирогов кинулся к бившемуся в судорогах исхудалому солдату.

Если до начала января 1855 года Пирогов работал на северной стороне города, то с января месяца он перешел на южную, где враг сосредоточил всю свою ударную мощь. Здесь в зале Дворянского собрания был расположен главный перевязочный пункт, заведование которым было поручено Пирогову. Кроме этого, им же были организованы отделения для госпитализации раненых в Николаевской батарее и в нескольких частных домах. Подчинялись ему также и все бараки северной стороны.

Работы прибавилось вдвойне. Обстрел города с января усилился, а вслед за этим и возросло число раненых.

Если раньше Пирогов жил в морской батарее за городом, то теперь он вместе с врачами перебрался непосредственно в сам город, многие улицы которого были полностью разрушены от бомбардировок. Во многих домах не было окон, а в стенах часто зияли огромные дыры от разорвавшихся

ядер. По утрам врачи пробирались к госпиталям под свист ядер над головой, подвергая себя опасности. Вечером, когда обстрел немного уменьшался, они шли домой по осколкам разорвавшихся задень бомб. Как Пирогов и ожидал, от чрезмерной скученности раненых появились случаи тифа. Заболевали им и здоровые солдаты. Их мучили лихорадка и понос. Первые признаки заболевания сильно истощали солдат. И часто они умирали от усталости и изнурения. В январе под Перекопом было потеряно разом триста человек, утром их нашли в грязи замерзшими.

Сестры милосердия от непривычного для них климата, заключавшегося в постоянной перемене холодной поры на сырую и ветреную, а также от чрезмерного усердия к исполнению своих обязанностей почти все переболели. В январе три из них, заразившись от больных тифом, умерли. В этом же месяце 1855 года к первому отделению сестер милосердия прибыло пополнение, второе и третье отделения.

13 января вместе с прибытием второго отделения сестер Пирогов получил письма жепы с фотографиями его детей. Их передала ему начальница сестер Меркулова.

— Как жена?.. — спросил он ее.

— Плачет, вас дожидается... — сердобольно ответила та. — Говорит, что врагу не пожелаешь то, что вы натворили ей. День и ночь не спит, боится, как бы вас не убили...

И, словно сочувствуя жене, Меркулова скорбно поджала губы и опустила голову. Однако недолго она была такой.

— Николай Иванович... — обратилась она вдруг к Пирогову. — Мы хотели бы сразу же попечением больных заняться.

— Пожалуйста... — разрешил ей Пирогов. — Только прошу вас одеваться потеплее. Уж больно холода здесь ужасные. Да в придачу сквозной ветер сырой. День и ночь дует...

Проводив сестер в госпиталь, Пирогов, присев на стульчик в одном из барачков, принялся читать письма от жены. Она требовала срочного возвращения его домой, к семье, к детям в связи с тем, что он создал ей невыносимую жизнь, полную постоянного ожидания его смерти на войне. В некоторых строках нотки обиды жены на Пирогова выражены до предела, где она пишет, что он, женившись на ней, молодой, неопытной девушке, бросил ее и обманул. По ее мнению получалось, что она просто была ему не нужна.

В ответном письме Пирогов стремится объяснить свое предназначение, основанное не на исполнении каких-то обязанностей, а на его личном и, как он считал, святом патриотизме.

«Напрасно ты упрекаешь меня, что я тебя надул, — пишет он ей нервным, неровным почерком. — Я говорил и тебе и всем, что я ехать или исправлять какую-либо должность никогда не буду напрашиваться, как я бы ни был убежден, что эта должность будет — по мне; а если — мне дадут ее, то считаю за низость и малодушие отказываться. Чем же я виноват и пред кем, что у меня в сердце еще не заглохли все порывы к высокому и святому, что я не потерял еще силу воли жертвовать; а то, для чего я жертвую счастьем быть с тобой и детьми, должно быть так же дорого и для тебя, и для них».

Далее Пирогов подробно знакомит ее со своей жизнью и бытом в осажденном городе. Рассказывает о труде сестер милосердия. Заодно просит понять и его роль в этой важной для России войне.

«Ты меня, пожалуйста, моя душка, не торопи; не забудь, что я уже теперь вольный казак и заслуженный профессор; отслужил мои 25 лет по новой царской милости и отслуживаю уже еще следующее пятилетие, а служить здесь мне во сто крат приятнее, чем в Академии: я здесь по крайней мере не вижу удручающих жизнь, ум и сердце чиновнических лиц, с которыми до воле и неволе встречаюсь ежедневно в Петербурге.

В войне много зла, но есть и поэзия; человек, смотря смерти прямо в рыло, как выражался начальник штаба Семякин, когда шел на приступ с азовцами, смотрит и на жизнь другими глазами; много грусти, много и надежды, много забот, много и различной беззаботности. Мелочность, весь хлам приличий, вся однообразность форм исчезают; здесь не видишь ни киверов<sup>[117]</sup> с лошадиными хвостами, ни эполет, ни чиновнических фраков и даже ордена видишь только изредка, — просто все закутано в солдатскую сермягу<sup>[118]</sup>, в длинные грязные сапоги как дома, так и на дворе; я этот костюм довел до совершенства и сплю даже в солдатской шинели. Посмотришь в госпитале, и тут вся наша формальность исчезает: кто лежит на кровати, кто на наре, кто на полу, кто кричит так, что уши затыкай, кто умирает не охнув, кто махорку курит, кто сбитень<sup>[119]</sup> пьет».

В письме Пирогов с восхищением рассказывает о русском матросе, прозванном Кошкой, которого он лечил в лазарете. Петр Кошка участвовал во всех вылазках, поражая всех своей храбростью и находчивостью.

— Они трупы наших солдат вместо чучел хотели использовать, — рассказывал Кошка Пирогову. — А я в траншею ихнюю один-одинешенек пробрался и наших братцев мертвых на своей спине из беды и вызволил. Они по мне стреляют, а мне нипочем, потому что трупы сверху защищают. Правда, собачюга один, когда я на вылазке оборонялся, штыком меня



ранил. Да как сами знаете, все обошлось, штык под кожу зашел, а кишки не задел... — И Кошка начинал вдруг ругать неприятеля отборнейшим матом.

— Ругаться как-то вам и не прилично... — одергивал его Пирогов. — Вы к награде представлены, так что будьте степенны...

— А это для храбрости... — смеялся Кошка. — Не переносу я, миленький доктор, этих англичан и французов. Видите ли, им земелька наша понадобилась. А мы зубики им, вот увидите, скоро как следует покажем. И за земельку так постоим, что слава русского солдата под Севастополем всему миру станет известна.

Кошка говорил гордо и смело, стараясь при этом не чувствовать, а точнее, не замечать острой боли в ране.

— Ох и сердце же у меня, доктор, горит!.. — часто говорил он Пирогову на перевязках. — В бой хочу поскорее. — И вдруг точно мальчишка начинал плакать. — Ну отпустите меня, пожалуйста... Я драться хочу, сражаться, пасти врагу разрывать, за братьев, за отцов, за сыновей России нашей матушки...

Кошка долго не мог успокоиться.

— Чувствую, братцы, рукопашная там идет... — кричал он на весь лазарет. — А меня там нет. Подкрепленьице дали бы нам поскорее, и мы победили, обязательно победили бы. Ишь как затарахтели подлые. Нет, не должны наши отдать им траншею. Все в землюшку родную лягут, а Севастополь-батюшку не отдадут.

И, слушая матроса Кошку, раненые солдаты плакали. Им так же, как и ему, хотелось поскорее вернуться на бастионы, к своим друзьям и товарищам, защищающим город в данную минуту без них.

Много страниц посвятил защитникам Севастополя Л. Н. Толстой. Говоря о русском народе-герое, он одновременно подчеркивает особый дух защитников Севастополя. По бастиону вдруг разнесется команда: «Послать комендора<sup>[120]</sup> и прислугу к пушке!»

...«И человек четырнадцать матросов живо, весело, кто засовывая в карман трубку, кто дожевывая сухарь, постукивая подкованными сапогами по платформе, подойдут к пушке и зарядят ее. Вглядитесь в лица, в осанки и в движения этих людей: в каждой морщине этого загорелого скуластого лица, в каждой мышце, в ширине этих плеч, в толщине этих ног, обутых в громадные сапоги, в каждом движении, спокойном, твердом, неторопливом, видны эти главные черты, составляющие силу русского, — простоты и упрямства; но здесь на каждом лице кажется вам, что опасность, злоба и страдания войны, кроме этих главных признаков, проложили еще следы сознания своего достоинства и высокой мысли и

чувства.

...Итак, вы видели защитников Севастополя на самом месте защиты и идете назад, почему-то не обращая никакого внимания на ядра и пули, продолжающие свистать по всей дороге до разрушенного театра, — идете с спокойным, возвысившимся духом. Главное, отрадное убеждение, которое вы вынесли, — это убеждение в невозможности взять Севастополь, и не только взять Севастополь, но поколебать где бы то ни было силу русского народа, — и эту невозможность видели вы не в этом множестве траверсов<sup>[121]</sup>, брустверов<sup>[122]</sup>, хитросплетенных траншей, мин и орудий, одних на других, из которых вы ничего не поняли, но видели ее в глазах, речах, приемах, в том, что называется духом защитников Севастополя. То, что они делают, делают они так просто, так малонапряженно и усиленно, что, вы убеждены, они еще могут сделать во сто раз больше... они все могут сделать. Вы понимаете, что чувство, которое заставляет работать их, не есть то чувство мелочности, тщеславия, забывчивости, которое испытывали вы сами, но какое-нибудь другое чувство, более властное, которое сделало из них людей, так же спокойно живущих под ядрами, при ста случайностях смерти вместо одной, которой подвержены все люди, и живущих в этих условиях среди непрерывного труда, бдения и грязи. Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина. И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого, — любовь к Родине».

Мог ли Пирогов, видя такое самоотвержение и героизм русских солдат, оставить Севастополь. Конечно, нет. Своим врачебным трудом он, как честный гражданин своей родины, просто обязан был находиться в к этом пекло. Кому, как не ему, великому ученому, самозабвенно любящему Россию, быть там. Горькие, а порой даже истеричные, письма жены его, безусловно, расстраивали. Однако он даже в самые трудные для себя минуты находил силы не пасть духом. Сохраняя достоинство и мужество, он в одном из ответов писал жене:

«...Последнее письмо от 13 января опять меня встревожило, опять житейские заботы и грусть начинают одолевать тебя. Брось их; обращай почаще к тому, что руководит нами, и возложи на него все твое упование. Начатое нужно кончить. Покуда я чувствую, что здесь полезен, покуда Господь дает мне силу и здоровье и покуда меня не прогнали отсюда, я должен начатое удалить и не возвращаться домой без результата; я ехал в Севастополь не для того, чтобы только сказать, что был здесь. Успокойся же, моя душка, помни, беспрестанно помни, что твоя твердость, твое

спокойствие — это моя сила. Портрет твой и детей я ношу как талисман, всегда при себе возле самого сердца».

В Севастополе Пирогов проявил себя не только как хирург-практик, но и как хирург-организатор. Первым предложив сортировку раненых, он навел порядок в оказании медицинской помощи на всех ее этапах. Он указал также на роль инфекции в возникновении многих послеоперационных осложнений. Мало того, он объясняет причины ее возникновения и пути передачи. Инфекция, по его мнению, может находиться не только в воздухе, но и в окружающих раненого предметах. Распространять ее могут и медицинские работники. Поэтому Пирогов постоянно беспокоится о чистоте ран и учит врачей методам борьбы с инфекцией. Делать это ему было нелегко. Почти все военные врачи были увлечены атомистикой<sup>[123]</sup>, «сверхучением», которое придумал личный врач Николая I, лейб-медик Мандт. Это был тот самый Мандт, которого Пирогов встретил в Берлине. Его для получения совета от русского привел на квартиру к Пирогову профессор Шлемм. Мандт сообщил, что он приглашен в Россию лечить императора и его интересует служебная лестница русских медиков. Пирогов объяснил ему все титулы и ранги, существовавшие в то время, и очень удивился, что этот, можно сказать, малограмотный доктор приглашался в апартаменты государя императора. Вскоре Мандт стал лейб-медиком его императорского величества государя императора, а затем, постепенно почувствовав свою особую власть над всею российской медициною, начал придумывать с потолка свои необыкновенные и очень важные практические сверхучения, а если точнее выразиться, вредить. Его сверхатомистика была сразу же объявлена академиками и профессорами лженаукой. Но они, увы, ничего не могли поделать с Мандтом. Все осуждали учение Мандта лишь в кулуарах, открыто же выступить никто не решался.

А Мандт тем временем не дремал. Он издает свою атомистическую систему на немецком языке. Царь, увидев, что труд его лекаря удостоился издания за границей, тут же велел перевести его на русский язык в самом что ни на есть большом количестве и для популяризации разослать во все военные госпитали. Через месяц после перевода брошюры военным врачам были розданы сумки с лекарствами Мандта, которые они обязаны были иметь всегда при себе. Кроме лекарства, врачи теперь носили с собой и ступки. Ибо все учение Мандта заключалось в том, что некоторые лекарства, например цинковая мазь, от продолжительного растирания в ступке могут приобретать необыкновенную чудодейственную силу.

Растолченное таким путем лекарство надо было есть, пить, накладывать на раны и после чего спокойно дожидаться благотворного исцеляющего действия. К сожалению, такой метод лечения очень многих заболеваний приносил много вреда и страданий. И вытравлять его из умов простых врачей стоило Пирогову большого труда. После смерти Николая I, 18 февраля 1855 года, Мандту пришлось уехать из России. Он был обвинен в том, что пошел на поводу у царя и дал ему по его просьбе принять яд.

Неудача в войне сильно расстроила царя, и по словам очевидцев, у него оставалось лишь всего два выхода: это или подписание унижительного мира, или самоубийство. Военные неудачи в Крыму сильно подействовали в последние дни жизни на психику Николая I. Обладающий до этого твердой волей, он вдруг неожиданно раскис.

«Сам увлекся, — вспоминал очевидец, — вообразив, что можно остановить время, что достаточно сделать Россию страшною посредством численности вооруженной силы, позабыв действительно необходимую ее численность, которая уже значительно возросла в чужих армиях. Заблуждение это происходило от многих причин: природной склонности к командованию, воспитания на военный лад, но без надлежащего направления сначала, а потом испорченное примером брата-императора, вдававшегося под конец своей жизни в ефрейторские увлечения, заставлявшие его забывать дела государственные».

Е. В. Тарле, внимательно разобрав свод показаний о смерти Николая I, сделал заключение, что царь умер в то время, когда дежурным врачом при нем был лейб-медик Мандт, находившийся при этом с царем один на один. Накануне Мандт всех уверял, что у Николая легкое недомогание, а во время своего последнего дежурства вдруг вышел взволнованным и заявил, что император умирает.

Со смертью царя прекратило свое существование и лженаучное учение Мандта. Заменен был и Меньшиков. Вместо него пост главнокомандующего войсками в Крыму занял князь Горчаков.

Вместе с Пироговым в труднейших условиях работали и его товарищи, петербургские врачи А. Л. Обермиллер, Э. В. Кадэ, Л. А. Беккере и П. А. Хлебников. Ближе всех был Обермиллер. Он постоянно сопровождал Пирогова. Присутствовал и ассистировал почти на всех его операциях. Аккуратно и вовремя делал все необходимые записи дневников и операционных журналов. Составлял списки раненых. За соседним операционным столом рядом с Пироговым оперировал известный петербургский хирург Эрнест Васильевич Кадэ. Трудолюбию и

выносливости его можно было только позавидовать. Он отличался исключительной любовью к своей работе. Во всем старался походить на Пирогова. И с уважением вспоминал впоследствии о своем учителе.

«Нельзя не удивляться выносливости Пирогова, — писал он, — в эти незабвенные и ужасные дни. Когда мы (ассистенты) после краткого отдыха в платьях являлись на перевязочный пункт, я помню, что неоднократно уже заставляли Николая Ивановича оперирующим при помощи фельдшера, сторожа и сестры милосердия».

Людвиг Андреевич Беккере после окончания академии, в 1854 году, познакомился и подружился с Пироговым в военно-сухопутном госпитале, куда он был прикомандирован. На предложение Пирогова выехать в Севастополь сразу же дал свое согласие. И именно здесь, в осажденном городе, он, молодой врач, стал первоклассным хирургом, в совершенстве переняв от своего учителя все секреты нелегкой науки.

Петр Алексеевич Хлебников, ординатор 2-го военно-сухопутного госпиталя, непосредственный ученик Пирогова, которого тот, можно сказать, научил держать скальпель в руке, трудился не покладая рук. Самый рискованный и сердобольный доктор, он производил операции в труднейших для себя условиях, под свист пуль и разрывы бомб. Не боясь заразиться тифом, смело делал перевязки тифозным больным.

Кроме петербургских врачей, приехавших с Пироговым, вокруг него образовалась и группа местных врачей. Это доктор Василий Иванович Тарасов, работавший вместе с Пироговым на главном перевязочном пункте в Дворянском собрании, а впоследствии ставший главным врачом офицерского отделения на батарее № 4; доктор Владимир Сергеевич Кудрин, младший врач 32-го флотского экипажа, который был смел и решителен в действиях по оказанию помощи в самых сложнейших ситуациях. Один раз, оставшись в госпитале единственным врачом, он продолжал перевязки раненых, несмотря на то, что часть флигелей госпиталя от разрыва бомб загорелась. После перевязки он на себе перенес более сотни раненых в безопасное место.

В Севастополе Пирогов познакомился с адмиралом Нахимовым. Личностью незаурядной и героической. Нахимов пользовался неимоверной любовью солдат и матросов. Он любил их и заботился о них. Каждого защитника называл героем и считал всех матросов и солдат, сражающихся на бастионах, святыми людьми. В период обороны он был командиром порта и военным губернатором Севастополя. 2 марта 1855 года был назначен помощником начальника Севастопольского гарнизона. В своих

письмах из Севастополя к жене Пирогов тепло отзывался о знаменитом русском флотоводце, герое Наваринской и Синопской морских битв.

Нахимов, заботясь о солдатах, часто посещал госпитали, где и познакомился и, можно сказать, подружился с Пироговым. И хотя встречи Нахимова с Пироговым, в силу занятости обоих, не были продолжительны, Нахимов находил время в кратковременные минуты отдыха передать известному ученому интересные книги и журналы из своей походной библиотеки. Пирогов и Нахимов были близки друг другу. Нахимов так же, как и Пирогов, был недоволен командованием Меншикова и называл его скупердяем и лентяем.

Все просьбы Пирогова, касающиеся обеспечения и эвакуации раненых, Нахимов исполнял всегда своевременно. В начале обороны Севастополя, когда после Альминского сражения было очень много раненых, Нахимов вместе с Корниловым организовали военновременный госпиталь. Нахимов даже при всей его невероятной занятости находил время посетить раненых. Он приносил им цветы, сладости, ободряя при этом добрыми и теплыми словами. И солдаты в знак благодарности за такое внимание Нахимова к ним прозвали его «русским отцом-благодетелем». Даже в труднейших ситуациях Нахимов всегда находил возможность помочь раненым.

Обладая большим мужеством, он, к сожалению, мало заботился о своей безопасности. Порой был безрассудно храбр. Постоянно бывал на оборонительных рубежах, в своем приметном адмиральском облачении. Подбадривая бойцов, не прятал голову от пуль. Это его хождение по редутам во время бомбардировок приводило командование в ужас, зато солдаты радовались присутствию Нахимова рядом с ними. Некоторые считали, что таким своим безрассудным поведением Нахимов выказывал желание погибнуть как можно скорее, ибо он якобы предчувствовал гибель Севастополя. Это неверно. Нахимов был русским моряком. Смелым, гордым, который так запросто покинуть город не мог. Хотя, безусловно, у многих защитников города было чрезмерно выражено это фатальное отношение к смерти. Мужество и гордость Нахимова вселяли уверенность в ряды обороняющихся солдат. Он просил подчиненных постоянно заботиться о своих солдатах как о родных детушках.

Известен его знаменитый приказ от 2 марта 1855 года, в котором он писал: «...я считаю своим долгом напомнить всем начальникам священную обязанность, на них лежащую; именно: предварительно позаботиться, чтобы при открытии огня с неприятельских батарей не было ни одного лишнего человека не только в открытых местах и без дела, но даже

прислуги у орудий и число людей для неразлучных с боем работ были ограничены крайней необходимостью; заботливый офицер, пользуясь обстоятельствами, всегда отыщет средство сделать экономию в людях и тем уменьшит число подвергающихся опасности. Приказываю всем свободным находиться под блиндажами и в закрытых местах».

Когда Пирогов простудился и на короткое время заболел, Нахимов постоянно навещал его.

«Нахимов прислал мне из библиотеки много разных книг, — писал Пирогов жене, — и я, оставаясь дома, если не сплю, склонность ко сну есть, то читаю...»

В Севастополе ощущалась нехватка снарядов. Иногда ядра привозили негодные, при вставлении их в дуло получался большой зазор. Стрелять-то ими стреляли, а вот достигали они своей цели или нет, никто не знал. Из-за недостатка боеприпасов русские батареи на десять неприятельских выстрелов отвечали всего лишь одним. Иногда приходилось собирать осколки и, сложив их в жестянки, заряжать ими мортиры. Французские пули Минье, введенные во время осады, после двух-трех выстрелов не влезали в дуло. Приходилось их загонять, ударяя по шомполу камнем. Для прокладывания подземных минных галерей не хватало саперного инструмента. Шанцевый инструмент<sup>[124]</sup> был непригоден. Солдаты работали в основном инструментом, добытым у неприятеля.

Осажденный Севастополь в народе был прозван ступой. Да, той самой ступой, в которой аптекарь prepares лекарство. Только в отличие от аптекарской ступы в севастопольской ступе толклись, разбивались насмерть русские люди-герои.

Чтобы облегчить участь раненых, Нахимов так же, как и Пирогов, вносил свои личные деньги для приобретения медикаментов и перевязочного материала.

10 марта 1854 года началась сильная бомбардировка города неприятелем. Только за одну ночь было выпущено более трех тысяч бомб. Все небо было покрыто светящимися полосами. И дружные разрывы следовали один за другим.

Чудом Пирогов в этот день остался жив. Рядом с тем местом, где он квартировал, загорелся дом. Неприятель сразу же нацелил свой шквал огня на пожар. Пирогов успел взять с собой лишь чемоданчик и шинель. Он не прошел по улице и десяти шагов, как в его дом попало сразу три бомбы и он моментально рухнул.

Количество раненых в городе увеличивается до семи тысяч. Создается

сложнейшая обстановка по их эвакуации. Пирогов обращается за помощью при транспортировке раненых к главнокомандующему Горчакову и начальнику штаба Коцебу.

«...прошу их и убеждаю, чтобы они вывозили больных из города на северную сторону, раскинули бы там палатки, которые можно лучше проветривать, чем казармы и госпитали, чтобы отсюда возили беспрестанными и постоянными транспортами далее, чтобы запасали места для вновь прибывающих, — все это принимается, но ничего не делается; средств нет, палаток нет, лошадей и фур мало; куда везти больных, также еще хорошо не знают; все ближайшие госпитали уже переполнены, и везде воруют и везде беспорядок по-прежнему.

Генерал-штаб-доктор — пешка и только умеет поддакивать да хвалить то, что худо. В госпиталях нет ни одного лишнего матраца, нет хорошего вина и хинной корки, ни кислот даже на случай, когда тиф разовьется. Врачей почти целая половина лежит — больны, и еще что из всего этого хаоса точно хорошо, так это сестры милосердия. Дай Бог здоровья великой княгине: она одна сделала истинное благодеяние для края. Если бы не она, так больные лакали бы вместо сытного супа помой и лежали бы в грязи. Они и хозяйничают в госпиталях, и кушанье даже готовят, и лекарство раздают, — зато также и болеют, опять двое заболели и одна, Бакунина, тифом».

Столкновения Пирогова с администрацией становятся все чаще и чаще. Он беспокоится о раненых, переживает за их скорейшую отправку в Симферополь. А руководство госпиталей, штабов и даже главнокомандующий почему-то медлят и порой намеренно не прислушиваются к советам доктора.

Впервые столкнувшись с апатией чиновников к медицинским проблемам, Пирогов открыто заявляет, что «от администрации, а не от медицины» зависит своевременное и полноценное оказание медицинской помощи. В период войны, как никогда, возрастает роль и ответственность врачебной администрации. Вначале врач должен научиться организовывать свою работу, то есть рассортировать раненых на группы, определить тяжесть их заболеваний и первоочередное оказание помощи, и лишь после этого действовать уже врачебно.

Безразличие командования к судьбе раненых возмущало Пирогова. Особенно равнодушен к ним был генерал Ушаков, непосредственно руководивший медицинской службой. Несогласие с ним вынуждает Пирогова в конце мая 1854 года запланировать кратковременную поездку в Петербург для того, чтобы «чем-нибудь способствовать перемене военно-



врачебного дела в Севастополе к лучшему».

«Доложи великой княгине, — пишет он в одном из писем жене, — что я не привык делать что бы то ни было только для вида, а при таких обстоятельствах существенного ничего не сделаешь. Ее высочество обещает врачам содержание, какое они пожелают, лишь бы остались; но приехавшие со мною говорят, что они приехали не для денег, и предвидят, что без меня их скрутят по ногам и рукам; здесь недостаточно иметь только добрую волю или ревность, нужно еще плясать по одной дудке.

Я люблю Россию, люблю честь родины, а не чины; это врожденное, его из сердца не вырвешь и не переделаешь, а когда видишь перед глазами, как мало делается для отчизны и собственно из одной любви к ней и ее чести, так поневоле хочешь лучше уйти от зла, чтобы не быть, по крайней мере, бездейственным его свидетелем. Я знаю, что все это можно назвать одной непрактической фантазией, что так более прилично рассуждать в молодости только, но я не виноват, что душа еще не состарилась: ты знаешь, я никогда не был оптимистом, и потому, может быть, и теперь вижу вещи хуже, нежели как они в самом деле, но нельзя не верить тому, что видишь и встречаешь на каждом шагу; когда видишь перед собой не русских людей, единодушно согласившихся умереть или отстоять, а какой-то хаос мнений и взглядов, из которых только одно явствует, что никто ничего не понимает, и всякий подставляет ногу другому...»

Пирогов, беспокоясь о раненых, постоянно вступал в конфликт с администрацией. Он требовал вовремя снабжать лазареты и госпитали бельем и медикаментами. Этой требовательности учил и сестер милосердия.

— Требуйте от госпитального начальства заботы о раненых до тех пор, покуда они этого не сделают... — говорил он им. — А если они не пожелают исполнить ваши просьбы, сразу же сообщайте мне об этом. И ни в коем случае не прислуживайте им. Ибо вам надо завоевывать популярность не у комиссариатских и штабных чиновников, а у раненого и больного солдата, геройски защищающего свою родину.

Пирогов с первых дней своего пребывания в Крыму был не только хирургом, но и начальником медицинской службы. Даже генерал-штаб-доктор армии должен был консультироваться с ним. Приказ главнокомандующего относительно приезда Пирогова гласил: «Государь император, желая раненым в войсках, мною командуемых, предоставить более способов к лучшему пользованию их, высочайше повелеть соизволил командировать Академии действительного статского советника Пирогова в распоряжение мое для ближайшего наблюдения за успешным лечением

раненых».

Однако при решении важнейших вопросов, касающихся открытия и расширения госпиталей, Пирогов обязан был советоваться с начальником штаба и дежурным генералом, которые очень часто противились его решениям. Из высокопоставленных чинов навстречу Пирогову всегда шли и не отказывали в его просьбах лишь адмирал Нахимов и начальник штаба Севастопольского гарнизона князь В. И. Васильчиков.

Сестры милосердия хотя и были прикреплены к Пирогову, но подчинялись не главнокомандующему, а великой княгине, то есть Петербургу. Эта своеобразность их подчинения давала возможность решительных действий по отношению к нерадивой госпитальной администрации. Уличив аптекарей в воровстве, они подняли шум, да мало того, потребовали судебного разбирательства. И один из них, не дождавшись следствия, от страха застрелился. Через некоторое время большие злоупотребления они обнаружили и в администрации Херсонского госпиталя, на руководителей которого также по их настоянию было заведено дело.

Как только Горчаков принял командование, Пирогов сразу же обратился к нему с докладной запиской, в которой объяснял нависшую угрозу в обеспечении медикаментами и перевязочным материалом раненых, а также неразбериху в их эвакуации. Пирогов предлагал совершенствовать эвакуацию госпиталя, путем непрерывной транспортировки. А большую часть госпитальных палаток рекомендовал устроить в безопасной северной части города. Николаевскую батарею, хорошо казематированную и блиндированную и могущую разместить 800 больных, нужно было предоставить исключительно для оказания первой помощи раненым с последующей их отправкой. В госпиталях также не было хинина и вина, хлороформа, соломы и белья.

Горчаков, внимательно выслушав претензии Пирогова и еще внимательнее прочитав его записку, произнес:

— Я согласен с вашими замечаниями... — и добавил: — Передайте эту записку генерал-штаб-доктору Шрейберу, пусть он разбирается.

— Ваша светлость... — взволнованно произнес Пирогов. — Я к Шрейберу с этими вопросами целую неделю обращался, а он и в ус не дует...

— Не Шрейбер, а генерал-штаб-доктор Шрейбер... — вспыхнул Горчаков. — Когда вы научитесь правильно выражаться? Когда-а?.. — И, приутихнув, добавил: — Ладно, идите, если будет время, я сам разберусь или же попрошу своего интенданта Затлера, чтобы он дал нагоняй этому

вашему Шрейберу... — И, запнувшись, в растерянности добавил: — Извините, генерал-штаб-доктору Шрейберу...

И, больше не говоря Пирогову ни слова, сел на коня и, взглянув на него с обидой, поехал к позициям.

Эпидемиологическая обстановка в городе к весне неожиданно ухудшилась. Началось гниение неубранных трупов и падали. Отхожие места в многочисленных гарнизонах были в очень плохом состоянии. В войсках появились случаи тифа, лихорадки и цинги. Севастополь становится своеобразным очагом инфекции. Тиф из него мог переметнуться на всю Россию.

Поэтому в начале 1855 года по высочайшему повелению образовывается комитет для разработки «мер к предупреждению могущих возродиться эпидемий в войсках наших в Крыму». Пирогов избирается членом этого комитета вместе с Шрейбером. По предписанию медицинского департамента было велено при захоронении трупов обрабатывать их хлорной известью. Шрейбер же, выписав огромное количество извести, тут же продал ее «налево», а для захоронения трупов и обработки ран вместо извести раздавал простую известковую воду. Аптекари, в силу отсутствия извести на складах, выдавали карантинным врачам обыкновенную подкрашенную сырую воду, а если те возмущались, для приличия отпускали настой ромашки.

Пирогов, как член комитета, придавал большое значение профилактике инфекционных заболеваний. Он требовал с карантинных врачей обязательного проветривания помещений и поддержания в них чистоты.

«Я верю в гигиену, — писал Пирогов. — Вот где заключается истинный прогресс нашей науки. Будущее принадлежит медицине предохранительной. Эта наука, идя рука об руку с государственной, принесет несомненную пользу человечеству».

Знаменитое высказывание Пирогова родило абсолютно новое для того времени профилактическое направление медицины. Руководствуясь принципами этого направления, Пирогов производит реорганизацию всех крымских госпиталей. При каждом из них он выделяет отделения, в которых помещает «нечистых» больных, то есть с гнойными ранами. При сортировке вновь поступающих больных требует от врачей, чтобы они сразу же на месте отделяли инфекционных, запущенных больных от свежераненых. Однако из-за огромного потока раненых их сортировка нарушалась, а из-за отсутствия инфекционных мест заразных раненых

путали с неинфекционными.

«Это оттого происходило, что не устроили складочного места для вновь прибывающих больных; о так называемых приемных покоях при переполнении наших больниц не могло быть и речи. В городе были большие конюшни, в которых больные, как свиньи, в грязи валялись вместе с умершими. Я настаивал на том, чтобы этот склеп превратили в приличное складочное место, на что он оказался пригоден. После каждого нового транспорта больные складывались сперва туда, где их сортировал дежурный врач и распределял по разным отделениям. Но не нашли подходящего места, куда можно бы перевезти больных (числом до 400) из этой ужасной трущобы. Стеснялись об этом известить губернатора, который занимал слишком большое помещение, в половине которого могли бы устроить хороший госпиталь. Так проходило время в переговорах и обещаниях».

Тиф начинал беспрепятственно распространяться. И вскоре охватил все госпитали и лазареты. Прислуга, врачи и сестры милосердия заражались им от больных и болели мучительно и тяжело. Многие из них умирали.

Вслед за тифом неожиданно получили развитие и такие инфекционные заболевания, как малярия, дизентерия, холера. Из-за недостатка витаминов в питании начала свирепствовать цинга. К весне возникла большая нехватка врачей и фельдшеров. В госпиталях и на перевязочных пунктах, кроме сестер милосердия, работали жены и дочери матросов и офицеров.

«После больших вылазок являлись к перевязочному пункту женщины из матросок и мещанок, с холстом и корпией, — писал очевидец Севастопольской обороны, — помогали обмывать раны, поили томящихся жаждой раненых».

Сестер милосердия Пирогов разделил на сестер-перевязочных, сестер-аптекарьш и сестер-хозяек. Многие из них ассистировали на операциях, давали наркоз, следили за пульсом. А такие сестры, как Бакунина, Назимова и Шимкевич, могли под контролем врача делать операции.

Для пополнения врачей на войне производились досрочные выпуски обучающихся в Медико-хирургической академии.

Врачи во время обороны Севастополя показывали образцы мужества и героизма. Подвергая себя лишениям и опасностям, они работали порой по нескольку суток кряду, до полного изнеможения. Их можно было приравнять к бойцам на батареях и бастионах.

В своей докладной записке к директору Военно-медицинского департамента Пеликану Пирогов, отмечая самоотверженный труд врачей в

самое трудное и критическое время осады, в то же время говорит и о некотором пренебрежении администрации к их работе.

«Бывши сам очевидцем и свидетелем, — пишет он, — многих врачебных подвигов, видеv и изнеможение от чрезмерных трудов, и течение болезни и смерть, постигшую моих собратьев, я по долгу совести и службы не могу умолчать и не выразить откровенное мое убеждение, что награды, полученные ими, не вполне соответствовали мере трудов и усилий. Но не только многие из врачей не были достаточно награждены, даже существование многих из военных врачей не было обеспечено от самых существенных лишений, да и теперь еще в местах, где самые необходимые предметы для жизни покупаются дорогою ценою, как например, в Симферополе (где нельзя получить квартиры в самой худой татарской сакле дешевле 15 рублей серебром в месяц, где сажень дров стоит около 60 рублей серебром), военные врачи не получают ни квартирных денег, ни других пособий».

Далее Пирогов в докладной записке говорит о том, что многие врачи вообще не были отмечены никакими наградами. И в конце ее предлагает увеличить содержа<sup>^</sup>ние военных и гражданских врачей, наравне с ипострaп-ними служащими в русской армии по особому найму. Среди иностранных врачей в Севастополе в основном были прусские и американские врачи. Подготовлены они были очень слабо и по знаниям не превосходили русских фельдшеров. Поэтому особой пользы в войне они мало принесли. Зато в отличие от русских врачей считались более привилегированными особами и получали двойные оклады.

Составляя каждый месяц отчеты о проделанной работе, Пирогов почти везде указывает, что нахождение в Севастополе порой невыносимо не только для раненого, но и для здорового. Солдат мог умереть не только от ран или операций, но и от лишений, которых, к сожалению, из-за неподготовленности к войне было больше чем предостаточно.

Чтобы не быть голословным и не высказывать в этом вопросе лишь одну точку зрения Пирогова, обратимся к Милютину, крупному военному деятелю того периода, впоследствии ставшему военным министром. Вот что он писал: «По бумагам мы вполне готовы! Но с первых же военных действий обнаружены страшные недостатки во всем, все озабочены вовсе не тем, чем следует. На вес золота будут покупать селитру, запастись которой и не думают, а когда начнется война, то ее доставка будет невозможна из-за границы; медицинская часть тоже в плачевном состоянии; операционных инструментов мало, да и те плохие, докторам придется тупыми ножами ампутировать раненых. Интендантство в таком

жалком виде, что и в мирное время никуда негодно, а в военное оставит войско без сапог, без шинелей и без сухарей...

Все прекрасно для парада и никуда негодно для войны. Не столько погибнет русских солдат от войны, сколько от болезней, вследствие отсутствия гигиенических мер, которые необходимо должны быть предусмотрены высшим начальством».

Из-за постоянных конфликтов с администрацией Пирогов получил прозвище «Гроза госпитальных беспорядков». Чтобы защитить себя, интендантские чиновники шлют на него жалобы в Петербург. Основное содержание их сводилось к тому, что якобы Пирогов в Севастополе занимается ампутированием и отсечением конечностей без всякого на то основания.

Порой окончательно расстроенный скандалами с ворами-чиновниками и морально устав от борьбы с ними, Пирогов в минуты отчаяния приходит к выводу, что хорошо устроить госпиталь на войне невозможно. Однако эта временная растерянность его быстро проходит. На следующий день он вновь начинает выступать против беспорядков и злоупотреблений медицинской администрации.

В Крымской войне не было специальных носильщиков, которые могли бы постоянно выносить раненых с поля боя. Эту работу выполняли солдаты, а также арестанты, которых перед самой осадой по приказу вице-адмирала Корнилова выпустили из тюрем. Пирогов настаивал на создании специальных команд носильщиков. И вначале были попытки создания таких команд из барабанщиков и горнистов. Но затем это решение, как и приказ выделять солдат для выноса раненых, было отвергнуто командованием. Каждый солдат ценился в городе на вес золота, и поэтому вынос раненых по извещении тревоги был запрещен, и они добирались с поля боя кто как мог или же с помощью сестер милосердия.

Многие лекарства для раненых Пирогов покупал на свои деньги. И как он рад был купленному флакону с хлороформом или же с хиной. Сотню, а то и более раненых можно было им спасти. Пожертвования, приходившие из Петербурга, его не радовали. Вместо перевязочных материалов и соломы приходили целые подводы сигарет и чая. Отсылая одну за одной депеши в Петербург, он просил высылать все необходимое для оказания помощи раненым. Но, как назло, слали не то.

Порой от нерадивости многих начальников у него опускались руки. А сколько он пролил слез у постелей умирающих на его глазах бойцов,

которым он бы при наличии того или иного медикамента мог оказать вовремя помощь, и они бы остались живы.

«Право, если взглянуть на эту смесь нашей посредственности, — пишет он жене, — бесталантства, односторонности и низости, то поневоле, как ни велика надежда на Бога, начинаешь опасаться за участь Севастополя и, следовательно, целого Крыма. Однако только нужно молить, чтобы такая же бестолочь существовала и у неприятеля.

...Мои больные, которые третьего дня отправились на северную сторону, верно, лежат теперь, или, лучше, плавают в грязи на своих матрацах. Я сейчас еду посмотреть их.

Приехал и видел, что они лежат в грязи, как свиньи, с отрезанными ногами. Я, разумеется, об этом сейчас же доношу главнокомандующему, а там злись на меня кто как хочет, я плюю на все. О, как будут рады многие начальства здесь, которых я так же бомбардирую, как бомбардируют Севастополь, когда я уеду. Я знаю, что многие этого только и желают. Это знают и прикомандированные ко мне врачи, знают, что их заедят без меня, и поэтому, несмотря на все увещания и обещания, хотят за мной бежать без оглядки. Достанется и сестрам; уже и теперь главные доктора и комиссары распускают слухи, что прежде без сестер, с одними фельдшерами, шло лучше. Я думаю действительно, что для них шло лучше; я учредил хозяйек из сестер, у которых теперь в руках водка, вино, чай и все пожертвованные вещи; это комиссарам не по зубам, и поэтому прежде шло лучше.

Когда ампутированных перевезли и свалили на землю в солдатские простые палатки, я сказал, что они при первой непогоде будут валяться в грязи. Обещали, что этого не будет; сегодня я приехал сам и таскался по колено в грязи, нашел всех промокнувшими; пишу сейчас же об этом начальнику штаба, и вот опять это будет не по зубам. Нужно, чтобы было непременно все в отличном порядке — на бумаге, а если нет, так нужно молчать. А мне для чего молчать, — я вольный казак. Хотят на меня скалить зубы и за спиной ругаться, пусть их делают, а я все-таки худого хорошим не назову».

Во многих больничных лазаретах приходилось встречать такие жуткие картины. Раненые, забившиеся в солдатские палатки, лежали кое-как, без ног, без рук, на грязных холстинных матрацах. Рядом, по колено стоя в грязи, находились фельдшера, перевязывающие их. Многие палатки были рваные, и часто дождь со снегом заливал беспомощных раненых сверху.

Возмущенный таким содержанием раненых, Пирогов шел к начальнику штаба, генералу Коцебу. Открыв дверь в его кабинете без всякого разрешения, он прямо с порога заявлял ему:

— Как вы смеее так издеваться над русским солдатом? Кто дал вам такое право?..

Встав из-за стола, Коцебу удивленно пожимал плечами.

— Что с вами, господин Пирогов? Я вас не пойму... — И уже более смелым голосом добавлял: — У меня всегда и во всем порядок. Я всю жизнь беспокоюсь о русском солдате. А о лазаретах и вообще не может быть речи. Они у меня самые лучшие.

От этих слов у Пирогова перехватывало горло. Хотелось ударить этого маленького, пухленького генерала, да так, чтобы он в окно вылетел.

— Вы превратили раненых в свиней... — возмущенно произнес Пирогов. — Это унижение. Это оскорбление чести воина. Хуже нельзя и придумать. В своих бумагах, касающихся медицинской службы, вы все врете... Да, да, врете...

Коцебу весь напряжился. Лицо его побагровело. С трудом сдержался он, чтобы не накинуться на Пирогова.

— Я не пойму вас, милейший господин Пирогов... — болезненно улыбнулся он. — Ради русского солдата я пожертвовал честью, молодостью, родиной... — И постепенно голос его стал звучать более напористо и льстивее. — Вы ведь сами знаете, что я делал и делаю для вас все, что могу. Ну а то, что генерал-гевальдигер<sup>[125]</sup> не заготовил палатки и не разместил их где следует, я не виноват. Не менее его виноват и генерал-штаб-доктор Шрейбер. Я по вечерам плачу, а он, видите ли, господин Пирогов, песенки поет... Так что не обессудьте и княгине об этом обязательно пропишите... Да, да, так и напишите, генерал-штаб-доктор Шрейбер у брошенных на произвол судьбы раненых песенки поет...

Затем Коцебу начал хвалить Горчакова и его императорское величество. Не дослушав его, Пирогов вышел. Хотелось бежать от этого типа куда-нибудь подальше. До того он гадок был ему и невыносим.

«Такого рода увеселительные истории повторяются здесь частенько и, разумеется, весьма способствуют к поддержанию ревностной службы для блага ближних. Когда же после всех этих проделок, после вопиющих недостатков и пошлости администрации неминуемо откроется большая смертность между больными, то остаются виноватыми врачи, для чего они плохо лечили; изволь лечить людей, лежащих в грязи, в нужниках, без белья и прислуги; но врачи действительно виноваты, что они, как пешки, не смеют пикнуть, гнутя, подличают и, предвидя грозу от разъяснения правды, молчат, скрывают и разыгрывают столба».

В тот же день, не удовлетворенный объяснением Коцебу, Пирогов через посыльного передал письмо главнокомандующему, в котором



рассказал об издевательском отношении к раненым солдатам. Главнокомандующий на следующий день рано утром вызвал к себе Пирогова и вместе с генерал-штаб-доктором и генерал-гевальдигером выехал в больничный лагерь, где творились беспорядки.

Беспомощные, чумазные раненые, копошащиеся в кровавой грязи на полуспревших матрацах, его потрясли. С отвращением выйдя из одной палатки, он, громким окликом подзвав к себе генералов, не менее громко и, наверное, так, чтобы слышали все, сказал им:

— Болваны!.. Если же завтра положение не исправите, я вас живьем в эту же самую грязь закопаю. А перед этим прикажу, чтобы вас солдаты шомполами отстегали.

Главнокомандующий, разозлившись не на шутку, снял с руки перчатку и хотел ею ударить по лицу генерал-штаб-доктора Шрейбера. Но тот, видимо, интуитивно предчувствуя это, ловко отскочил за спину генерал-гевальдигера.

— Так вы, оказывается, еще и трус... — вспыхнул главнокомандующий и, зло усмехнувшись, плюнул на землю. — А еще генерал называется...

А затем, повернувшись к Пирогову, спросил его:

— Как обстановка в Симферополе?

— Симферополь забит ранеными... — ответил Пирогов. — Транспорта нет, соломы нет, лекарств никаких. Все разворовывается аптекарями и интендантами...

— Ну, с этим я сам разберусь... — буркнул главнокомандующий и, чуть успокоившись, поманил к себе пальцем Шрейбера. — Поди сюда.

Тот осторожно подошел к нему.

— Пирогов правду говорит?.. — спросил тот его.

— Не знаю... — пролепетал Шрейбер.

— А что же ты знаешь?.. — сгорбатился вдруг главнокомандующий.

— А я и не обязан все знать... — вспыхнул вдруг тот. — Мое дело — это отчетик в Петербург вовремя отослать. Сами ведь говорили...

Главнокомандующий посмотрел на Шрейбера как волк на овечку.

— Хорошо, если твое дело только отчеты, тогда скажи мне, сколько сейчас ежедневно поступает в Симферополь раненых?..

— Поступления уменьшаются... — попытался ответить браво Шрейбер. — Раньше поступало восемьсот раненых в сутки, а сейчас четыреста...

— Четыреста в сутки? — переспросил его разгневанный главнокомандующий.

— Нет, нет... — попытался поправиться тот. — В неделю...  
— В неделю... — взревел тот. — Все равно много.  
— Тогда извините. Это я от волнения чуть-чуть ошибся... в месяц, в месяц...

— Ну в месяц такое количество еще терпимо... — успокоился главнокомандующий.

— Он говорит неправду, ваше высочество... — попытался возразить Пирогов.

— Извините, господин Пирогов... — произнес главнокомандующий.  
— К сожалению, время, которое я выделил сегодня для раненых, у меня кончилось.

— Но вы обязаны знать правду... — настойчиво произнес Пирогов.

— Извините, но я не люблю повторяться... — ответил тот и, сев на коня, уже на ходу добавил: — А если вас что волнует, то, пожалуйста, сообщите мне об этом сегодня же, только в письменном виде...

Генералы удовлетворенно склонили головы перед проезжающим мимо них главнокомандующим. У Пирогова от волнения задрожали руки. Оказывается, Горчаков ничем ему не помог.

С 28 марта по 7 апреля продолжалась вторая бомбардировка Севастополя. За этот период на город было выпущено неприятелем несметное количество снарядов. Бомбы и ядра прыгали около домов, со свистом влетали в комнаты и разрывались. Перевязочный пункт в Дворянском собрании, где работал в это время Пирогов, наполнился сотнями раненых с крайне тяжелыми увечьями.

«...и каких раненых: 65-фунтовыми ядрами, 5-пудовыми бомбами, ракетами нового изобретения, вспышками подземных мин, о штуцерных уж более и помину не было; оторванные по пояс и по плечо члены приносились вместе с ранеными; нужно было спешить, чтобы удержать жизнь, державшуюся на ниточке и улетающую вместе с кровью; нужно было оставить и хлороформ, и без него больные без вздохов и без воплей подвергались самым болезненным операциям — так нервная система была сотрясена небывалыми сотрясениями, а выжидать было нельзя; больные исходили кровью. И это зрелище продолжалось целых 9 дней, с различными дивертисментами по ночам. Пять раз в течение этого времени огромная танцевальная зала Дворянского собрания, вмещающая до 120 кроватей, наполнялась ампутированными, которые потом выносились в Николаевскую батарею, чтобы опростать место для новых. Но не знаю, были ли когда-либо примеры в истории таких ранений новоизобретенными снарядами, какие встречались при бомбардировании Севастополя».

Наплыв раненых был так огромен, что операции, в целях спасения раненых, производились без всякого наркоза. Халат у Пирогова был весь в крови, не было времени даже переодеться. Лишь изредка в перерыве сестра милосердия приносила воды, и, выпив ее, Пирогов приступал к новой операции. Кроме ампутаций, приходилось производить ушивание огромных рваных ран, а также удалять осколки от бомб и снарядов. На главном перевязочном пункте в Дворянском собрании Пирогов, даже применяя сортировку раненых, не мог порой справиться с неимоверно огромным их наплывом.

Прооперированные больные тут же относились в казематированное здание Николаевской батареи, расположенное недалеко от Дворянского собрания на берегу бухты. Стены батареи имели двухметровую толщину, а сверху она была покрыта тяжелой непробиваемой насыпью. В ходе осады города были разрушены многие городские здания, была также разбита и одна из стен Дворянского собрания. Поэтому глубокие подвалы батареи были самым безопасным местом для раненых. Однако вскоре и вся Николаевская батарея так забилась ранеными, что невозможно было идти по ней, не перешагивая через тела. Кроме раненых, в ней размещалось командование гарнизона, склады, магазины и церковь. Для размещения прооперированных раненых князь Васильчиков, кроме Николаевской батареи, выделил офицерские дома, просторный, хорошо укрепленный дом Гущина и все сохранившиеся государственные строения.

Адский огонь неприятель направлял на 4-й, 5-й и 6-й бастионы, все раненые с которых тут же попадали на перевязочный пункт Дворянского собрания. В сутки поступало более пятисот раненых. Среди них были женщины и дети, близкие сражавшихся на бастионах солдат.

«Во время общего бомбардирования, — вспоминал очевидец, — женщины таскали беспрестанно воду на бастионы освежать измученных трудом и зноем бойцов. Убьют кого из наших офицеров, положат его товарищи на вечный одр — непременно явится или хозяйка убитого, или соседка оросит слезою участия славный прах, обложит голову... свежими листками ерани и мирта<sup>[126]</sup>. Бывает, иногда: ударят тревогу. Что ж женщины? Кричат, бегают? Ничуть не бывало: ныне привыкли — стоят у своих калиток, подгорюнясь и провожая полными слез глазами бегущие по своим местам отряды солдат, молятся и тихо плачут, предавая судьбу свою в руки господни. Своим присутствием в Севастополе женщины не уменьшают мужества его защитников, нет! Видя твердость женщин в самые опасные мгновения, укрепляется даже слабейший духом. Мысль, что шаг назад перед неприятелем есть шаг к гибели любимой семьи,

одушевляет солдата и приковывает его к месту, ему указанному начальством, к месту, которое он не покинет до смерти...» Под градом вражеских снарядов носили по несколько раз в день еду и воду своим отцам и дети. А когда морское начальство обратилось к солдатам собрать неприятельские снаряды и снести их в назначенное место, то дети своим старанием в этом деле заставили всех обратить на себя внимание. Из-под самых батарей, несмотря на ужасный огонь, они группками, собравшись вместе, таскали ядра, один волок их в мешке, другой на тележке, а некоторые, точно бурлаки, запрягшись в коляску, со старанием везли их по три и более. Можно было увидеть за этой работой и девочек, которые сами-то были чуть больше ядра.

Солдаты дрались геройски. С бастионов в ответ по неприятелю дружно стреляли пушки. И, прижимая к груди снаряды, солдаты словно напоследок целовали их, приговаривая: «Помяни нас добрым словом, матушка-Русь». А затем, очень сильным движением вставив снаряд, солдат в радости кричал:

— А вот вам, барбоны, гостинчик от нас!

— Пушка! — страшным, пронзительным голосом кричал другой солдат.

И батарея так дружно стрельнула, что воздух вокруг нее задрожал, точно морозец щипнул лицо. А вскоре заряжающих отозвали. Командир, торопясь, раздал ружья.

— Ну а теперь, братцы, смотрите. С ружей не палить, а штыками их, да как следует...

— Возьмите и меня... — шептал окровавленный раненый. — Возьмите... — а затем какие-то розовые огни запрыгали в его глазах, и он простонал: — Господи, господи! Да что же это такое!..

— Ротного убило... — прокричал вдруг командир орудия и, сняв с головы фуражку, перекрестился. — Душа отходит... Господи, прими дух его с миром.

И тут же вслед за ним и все остальные сняли фуражки и дружно перекрестились.

Барабанщик, бинты у которого на голове были все в крови, ударил в барабан. И солдаты, взяв наперевес ружья, пошли на густую стену приближавшихся французов. Штыки русских ружей ярко блестели на солнце. И мозолистые руки, сжимавшие их, в отличие от французских были без белых перчаток.

Если бы не сортировка раненых, предложенная Пироговым на перевязочном пункте в Дворянском собрании, то врачи и сестры

милосердия задохнулись бы от их непрерывного потока. По просьбе Пирогова создаются специальные транспортные роты, которые производят розыск и эвакуацию раненых с поля боя. В период бомбардировки, как никогда, самоотверженно работали врачи и сестры милосердия. Операции проводились круглосуточно, невзирая на то, что рядом со зданием Дворянского собрания и особенно перед его входом вспарывали землю разрывающиеся снаряды. В эти горькие и трагические минуты никто не думал о смерти. Все силы и порывы души были подчинены лишь одному — спасению раненых.

«Эти 9 дней огромные танцевальные залы беспрестанно наполнялись и опоражнивались; приносимые раненые складывались вместе с носилками целыми рядами на паркетном полу, пропитанном на целые полвершка запекшеюся кровью; стоны и крики страдальцев, последние вздохи умирающих, приказания распоряджающихся громко раздавались в зале. Врачи, фельдшера и служители составляли группы, беспрестанно двигавшиеся между рядами раненых, лежавших с оторванными и раздробленными членами, бледных, как полотно, от потери крови и от сотрясений, производимых огромными снарядами; между солдатскими шинелями мелькали везде белые капюшоны сестер, раздававших вино и чай, помогавших при перевязке и отбиравших на сохранение деньги и вещи страдальцев. Двери залы ежеминутно отворялись и затворялись: вносили и выносили по команде: «на стол», «на койку», «в дом Гущина», «в Инженерный», «в Николаевскую». В боковой довольно обширной комнате (операционной) на трех столах кровь лилась при производстве операций; отнятые члены лежали грудами, сваленные в ушатах; матрос Пашкевич — живой турникет Дворянского собрания (отличавшийся искусством прижимать артерии при ампутациях) — едва успевал следовать призыву врачей, переходя от одном стола к другому; с неподвижным лицом, молча, он исполнял в точности данные ему приказания, зная, что неутомимой руке его поручалась жизнь собратьев.

Бакунина постоянно присутствовала в этой комнате с пучком лигатур в руке, готовая следовать на призыв врачей. За столами стоял ряд коек с новыми ранеными, и служители готовились переносить их на столы для операций; возле порожних коек стояли сестры, готовые принять ампутированных. Воздух комнаты, несмотря на беспрестанное проветривание, был наполнен испарениями крови, хлороформа; часто примешивался и запах серы: это значило, что есть раненые, которым врачи присудили сохранить поврежденные члены, и фельдшер Никитин накладывал им гипсовые повязки».

В таких труднейших условиях работы сортировка раненых имела очень большое значение. Распределить и рассортировать раненых на легких и тяжелых, гнойных и чистых было просто необходимо. Благодаря сортировке общий поток раненых не задерживался, что давало возможность беспрепятственно проводить дальнейшую эвакуацию.

Сортировку Пирогов применял, а точнее, испытывал и ранее. Но так широко, как он ее применил во время второй мартовской бомбардировки, он еще не применял.

Вновь поступающие раненые клались в один общий ряд, и врач, осматривая каждого, тут же давал распоряжения фельдшеру или сестре милосердия, куда и в какой очередности госпитализировать того или иного раненого.

«Сортировка раненых на перевязочных пунктах, — писал Пирогов в письме доктору Бертенсону, — и при приеме транспортов с ранеными в лазаретах была только в первый раз предложена и испытана мною в Крымскую войну, но она до сих пор и в три последние войны (итальянская, австро-прусская и франко-русская) еще недостаточно оценена и применена; ее не знают и не понимают хорошо даже очевидцы и деятели в Крымской войне, как это ясно доказывает известный сочинитель брошюр».

Под сочинителем брошюр Пирогов имел в виду адъюнкт-профессора Киевского университета Гюббенета, работавшего в период обороны Севастополя независимо от Пирогова и впоследствии издавшего очерки о своей деятельности на войне. Гюббенет доказывал, что он первый ввел сортировку раненых на войне, хотя об этом в то время никому не сообщил. Кроме того, он считал сортировку абсолютно безнадежным делом при большом наплыве раненых. Ошибочность и заблуждение его взглядов были явными. Пирогов во время работы на перевязочном пункте Дворянского собрания доказал обратное. Сортировка раненых в военных условиях просто необходима. Только благодаря ей можно добиться правильной организации лечебно-эвакуационного обеспечения.

В своем письме, касающемся несправедливых притязаний Гюббенета к созданию им первым сортировки, а также и одновременному ее отрицанию, Пирогов писал: «Не может быть, чтобы автор брошюры не знал или забыл, как трудно было мне ввести сортировку с первого разу, — ведь первая, и не совсем удачная, попытка была сделана мною на его же раненых, после вылазки у Камчатского редута, когда он не знал, куда с ними деваться. Но с этой попыткой и не сразу я достиг водворения порядка в Дворянском собрании. В первые 2 дня второй бомбардировки беспорядка

все еще было много на моем перевязочном пункте, пока наконец я достиг полного распределения всех раненых, и это случилось только, когда я получил по приказанию князя Васильчикова в мое распоряжение до пяти значительных помещений, очищенную Николаевскую казарму, офицерский дом, дом Гущина и т. п., когда я сам очистил на время зараженное Дворянское собрание, получил носильщиков и служителей, а сверх того к тому же времени были учреждены правильные транспорты на пароходах через бухту, прибыли сестры Крестовоздвиженской общины и прикомандированы были к перевязочному пункту врачи из полков».

Претензии Гюббенета как первооткрывателя сортировки не имели под собой основания. Вот что писал участник событий, врач Кадэ по поводу «сортировки» Гюббенета:

«Как ни был прост и рационален этот способ (сортировки), но он не был принят другими операторами. Гюббенету было доставлено вследствие близости поля сражения 2000 раненых из общего числа 3000, которые были ранены в тот день. Мы нашли 1000 раненых, и в числе их несколько сотен французов, лежащими в большом здании на голом полу, не осмотренными и не перевязанными, едва ли получившими пищу и питье».

Чтобы сортировка производилась успешно, необходима была заинтересованность в этом деле главного военно-врачебного администратора армии, то есть генерал-штаб-доктора крымских войск Шрейбера. А он, как и Гюббенет, был против нее. Инициатором создания и последующего ее пропагандирования являлся лишь один Пирогов. Как во время осады города, так и при отступлении армии с южной стороны Севастополя ее благотворное влияние было налицо. Сортировка ускоряла медицинскую помощь раненым, одновременно определяя при этом и ее очередность.

«Военное время налагает на врачей обязанности иногда жестокие, — писал Пирогов, — но необходимые для общей пользы. Так, при огромном скоплении раненых необходимо сосредоточивать всю врачебную деятельность на вспомоществование тем, для которых помощь необходима и полезна; ибо, излишне занимаясь безнадежными, можно легко упустить из виду тех, которым своевременная помощь могла бы возвратить жизнь и здоровье; поэтому сортирование больных на перевязочных пунктах составляет главное условие врачебной распорядительности».

Постоянно приносимые на главный перевязочный пункт раненые в обязательном порядке предварительно осматривались, где прямо на месте решалось, можно ли некоторым спасти жизнь или же считать их безнадежными. Раненые после проведенной операции передавались в руки

сестер милосердия, возглавляемых Бакуниной. Безднадежные отправлялись в дома Гущина и Орловского, где сестры милосердия своим уходом и уважением к ним облегчали их страдания. Велик и высок был долг сестер по уходу за такими ранеными. Ведь «им поручались и последнее желание, и последний вздох умирающих за отечество!».

Вот одна из схем сортировки, которой пользовались врачи по приказу Пирогова. Легкораненные после перевязки обязаны были отправляться обратно в часть. Нуждающиеся в неотложных операциях оперировались на перевязочном пункте. Безднадежные оставались на месте на попечение сестер и священников. А те, которым оперативное пособие можно было отложить на 1–2 дня, направлялись в госпиталь.

Дальняя эвакуация раненых проводилась на крестьянских повозках, доставлявших на полуостров еду и снаряжение. Много также было привлечено телег местных жителей.

Эти телеги были очень тряскими, так как грузовой ящик в них ставился без всяких рессор, прямо на оси. Военные телеги, в силу своей громоздкости и высоты, были также неудобны в езде. Ни о каком новом транспорте не могло быть и речи.

После мартовской, второй, бомбардировки наступило на короткое время небольшое затишье. Но в начале мая опять началась пальба, вылазки, бои за траншеи, бастионы и редуты. Редели ряды солдат, защищающих город. Редели и медики, обслуживающие их. Многие погибли. Другие, переболев тифом, ослабли, потеряв на долгое время работоспособность. Старший ординатор В. С. Сохраничев и Джюльяни умерли от тифа. Один из ближайших друзей Пирогова, Э. В. Кадэ, находился при смерти. Действительный статский советник доктор И. П. Петров, один из самых неутомонных и смелых, во время работы в госпитале получил тяжелое ранение и лишился обеих ног. Врач Дмитриев, переболев тифом, сделался меланхоликом<sup>[127]</sup>. При виде крови он плакал и все время звал кого-то к себе на помощь. Заболевая тифом, умирали сестры милосердия. Четыре недели после второй бомбардировки проболел и Пирогов.

Физические и духовные силы были на исходе. Пирогов думает совершить кратковременную поездку в Петербург. Для разрешения поездки он обращается с письмом к великой княгине и к директору военно-медицинского департамента Пеликану. Помощь великой княгини нужна была не для разрешения его участи, а врачам, которые после отъезда Пирогова могли быть «забиты» и унижены администрацией. Кроме того,



все врачи заявили, что если Пирогов уедет, то и они все уедут.

«...Я не знаю, как можно от меня ожидать, чтобы я, пробыв 6 месяцев в осажденном городе, еще бы вздумал без нужды оставаться в нем тогда, как война, может быть, такая же, будет свирепствовать около мест, где находится мое семейство и где я столько же могу быть полезным, но с большей приятностью для себя, что буду находиться с моими или вблизи моих».

Пирогов просит жену заранее снять для него в пригороде дачу, на которой он бы мог некоторое время отдохнуть. Заодно он хотел обезопасить себя от всяких ненужных ему официальных и неофициальных посещений.

«Будет, — пишет он. — Да хоть шло бы все это впрок, можно бы уже было жертвовать, а то хоть из кожи лезь, все то же».

Пирогова страшит не работа, а «укоренившиеся преграды что-либо сделать полезное, преграды, которые растут, как головы гидры: одну отрубишь, другая выставится».

Пирогов считал, что если Севастополь падет, то не от недостатка мужества, а от интриг высшего командования. Чиновничьи притеснения парализовывали деятельность защитников и не давали широко развернуться их способностям. Не один Пирогов был возмущен этим. Недовольны были и многие офицерские чины. Все открыто начинали говорить о ложно-восторженных донесениях, отсылаемых главнокомандующим в Петербург. В этих посланиях скрывались ошибки командования. Такие послания Горчаков объяснял тем, что он якобы не хотел огорчать государя. В Петербурге не имели настоящего понятия о положении дел в Севастополе. Офицеры, возмущенные «замазыванием» перед верхами истинного положения дел, начинали роптать и открыто требовать, чтобы Меншикова вернули обратно, а Горчакова послали куда-нибудь подальше.

«Куда-нибудь уехать в глушь, — писал Пирогов, — не слышать и не видеть ничего, кроме окружающего, теперь самое лучшее. Если прислушаешься, то голова идет кругом от всех глупостей и безрассудностей, которые узнаешь».

Некоторые авторы, концентрируя внимание лишь на этих причинах, способствующих отъезду Пирогова в Петербург, были в своих суждениях все ясе не правы. Как и всякому благородному и честному человеку, Пирогову также были присущи волнения, граничащие с отчаянием, особенно когда он встречался с беспорядками. Однако все же следует сказать, что причина отъезда Пирогова в Петербург была совсем иной.

Пирогов понял, что, находясь в Севастополе, он не в силах улучшить судьбу раненых. Поэтому основная и ведущая причина его отъезда в Петербург-это желание путем хождения по верхам во что бы то ни стало добиться скорейшего изменения положения раненых. В своем письме к доктору Бертенсону он писал: «...я устал до крайности, а главное, до глубины души расстроенный госпитальной неурядицей, я, возвратившись в Петербург, полагал чем-нибудь способствовать перемене военно-врачебного дела в Севастополе к лучшему».

После мартовско-апрельской бомбардировки наступило небольшое перемирие. Однако с 10 мая, когда наши войска начали готовить связующие траншеи между 5-м и 6-м бастионами, военные действия приняли вновь ожесточенный характер. С каждой стороны в кровопролитном побоище участвовало по двадцать тысяч человек. Французы пошли в атаку, как только русские начали у них на глазах рыть траншеи и строить новые батареи. Солдаты несколько суток кряду дрались штыками, выбивая ДРУГ друга из траншей. Первую ночь русские удержали траншеи за собой. А на другую, когда французы подвели огромные резервы, оставили, понеся большие потери. Было ранено две тысячи человек и убито восемьсот. И, хотя французы потеряли людей вдвое больше, силы были неравны.

Раненые начали поступать на перевязочный пункт, где работал с врачами Пирогов, непрерывно. Одних только ампутаций в ночь с 10 мая на 11-е он сделал более сорока. В своем рассказе «Севастополь в мае» Л. Н. Толстой очень правдиво описал нелегкую работу медиков, их чрезмерную загруженность и святой героизм. В своем послесловии к рассказу писатель признается, что его одолевает тяжелое раздумье. Уж слишком правдиво и откровенно он все описывает. Нет даже и черточки приукрашенности. Только правда. Святая, горькая правда мучений и страданий русского солдата, проливающего невинную кровь. Рассказ трудно прошел цензуру и был ею «пощипан». В своем дневнике Толстой писал: «Я, кажется, сильно на примете у синих. За свои статьи. Желаю, впрочем, чтобы всегда Россия имела таких нравственных писателей; но сладеньким уже я никак не могу быть, и тоже писать из пустого в порожнее — без мысли и, главное, без цели».

Простые люди, самоотверженно защищая Севастополь, отдавали жизнь и сохраняли дух всей остальной России. С гордостью умирали все они за веру, престол и отечество. И часто предсмертные слова их были одни и те же: «Спаси, Господи, царя-батюшку и весь его православный русский народ». В рассказе «Севастополь в мае» Толстой подробно

описывает нелегкую судьбу раненых и невероятное трудолюбие и старание врачей, спасающих их в невероятно тяжелых и почти неприемлемых для нашего времени условиях.

«Большая, высокая, темная зала — освещенная только четырьмя или пятью свечами, с которыми доктора подходили осматривать раненых, — была буквально полна. Носильщики беспрестанно вносили раненых, складывали их один подле другого на пол, на котором уже было так тесно, что несчастные толкались и мокли в крови ДРУГ друга, и шли за новыми. Лужи крови, видные на местах незанятых, горячее дыхание нескольких сотен человек и испарения рабочих с носилками производили какой-то особенный, тяжелый, густой, вонючий смрад, в котором пасмурно горели четыре свечи на различных концах залы. Говор разнообразных стонов, вздохов, хрипений, прерываемый иногда пронзительным криком, носился по всей комнате. Сестры, со спокойными лицами и с выражением не того пустого женского болезненно-слезного сострадания, а деятельного практического участия, то там, то сям, шагая через раненых, с лекарством, с водой, бинтами, корпией, мелькали между окровавленными шинелями и рубашками. Доктора, с мрачными лицами и засученными рукавами, стоя на коленях перед ранеными, около которых фельдшера держали свечи, всовывали пальцы в пульные раны, ощупывая их, и переворачивали отбитые висевшие члены, несмотря на ужасные стоны и мольбы страдальцев».

Май 1855 года в Севастополе, как назло, оказался жарким. Кроме нагноения ран, вдруг широко среди раненых стали развиваться тяжелые инфекционные заболевания, и самое страшное из них — холера. Много было неубранных трупов как в городе, так и на бастионах и в траншеях. Они гнили, распространяя зловоние. Иногда рядом с ними лежали и раненые, всегда появляющиеся после атак и обстрелов неприятеля. Французы не всегда разрешали убирать их. Выкинут порой русские белый парламентерский флаг, прося тем самым перемирие для спасения своих раненых. А французы ни в какую. И если кто из солдат пытался короткими перебежками добежать к раненому, чтобы его перевязать или хотя бы напоить водой, то по нему открывали такой шквальный огонь, что от него даже подметок от сапог не находили. Более пяти дней лежали раненые без воды, без пищи, без перевязок, рядом с трупами.

«Это делали, вероятно, для того, — писал Пирогов, — чтобы убрать втихомолку своих убитых и тем показать, что у них меньше убили, чем у нас. Раненые, лежавшие целых 2 дня, рассказывали, что неприятель возился целую ночь, сбирая своих».

Пирогов не один раз был сам очевидцем, когда наконец на русском бастионе и французской траншее выставлялись белые флаги, и солдаты, женщины, дети бежали с носилками разыскивать оставшихся в живых раненых и стаскивать трупы для захоронения.

Толстому непонятна была жестокость людей, убивающих друг друга, в период необыкновенного мирного буйства и расцвета природы. Почему убивают люди в весенней тиши других людей? И для чего?

«Да, на бастионе и на траншее выставлены белые флаги, — писал он, — цветущая долина наполнена смрадными телами, прекрасное солнце спускается к синему морю, и синее море, колыхаясь, блестит на золотых лучах солнца. Тысячи людей толпятся, смотрят, говорят и улыбаются друг другу. И эти люди — христиане, исповедующие один великий закон любви и самоотвержения, глядя на то, что они сделали, с раскаянием не упадут вдруг на колени перед тем, кто, дав им жизнь, вложил в душу каждого, вместе с страхом смерти, любовь к добру и прекрасному, и со слезами, радости и счастья не обнимутся, как братья? Нет! Белые тряпки спрятаны — и снова свистят орудия смерти и страданий, снова льется невинная кровь и слышатся стоны и проклятия».

Наконец пришел ответ на письмо, посланное Пироговым полтора месяца назад директору военно-медицинского департамента Пеликану, в котором разрешалось ему и сопровождавшим его врачам выехать в Петербург. Быстро собравшись, Пирогов 1 июня отправляется в столицу. Кроме массы отчетов, замечаний и наблюдений, он везет с собой и составленную им накануне докладную записку к военному министру, в которой кратко излагает план, существенно меняющий всю организационную структуру медицинского обеспечения армии в Крыму. Он требует поднять авторитет госпитальных врачей и дать им право в решении хозяйственно-медицинских вопросов, подчиняться лишь своему ведомству, представляющему медицинскую власть в армии. Далее Пирогов сообщал, что он готов при осуществлении предлагаемых им мероприятий немедленно вернуться в осажденный город.

В это же время Пирогов подумывает и об уходе из академии. По существующему тогда положению профессора академии после шестого пятилетия не имели права оставаться на службе в ней. Учитывая, что каждый месяц пребывания Пирогова в Севастополе приравнивался не только к году службы, но к году выслуги и по учебной части, то срок профессорства его в академии приближался к концу. Однако Пирогов, указывая все это в докладной записке к военному министру, горит

желанием помочь отечественной медицине и принести ей посильную пользу.

«Ваше сиятельство, милостивый государь!

Мне остается немного месяцев до окончания срока, определенного законом для службы при медико-хирургической академии. По многим обстоятельствам я намерен по истечении этого короткого времени оставить службы и столицу. Но пребывание мое в Севастополе открыло мне поприще, на котором при известных условиях я мог бы еще принести пользу отечеству. Как русский и верноподданный счел долгом обратить Ваше благосклонное внимание на этот предмет и изложить в немногих словах мое предложение; мог бы несравненно более сказать, но я написал для Вас, зная, что не все будут со мной согласны. Если Вы найдете мой план исполнимым, то я готов тотчас же отправиться опять в Крым и, пожертвовав спокойствием и личными выгодами, выступить на трудное поприще.

С истинным почтением и преданностью честь имею пребыть Н. Пирогов».

Приехав в Петербург 12 июня, Пирогов 24 июня передает свою записку министру. Надежда, что министр самым тщательнейшим образом разберет записку, не оправдалась. Медицинский департамент, уставший от замечаний Пирогова, был против его вторичной поездки в Крым. Директор департамента по приказу министра, разобравшись с запиской, в ответе написал: «Записка Пирогова не заслуживает, чтобы ей давали какой-либо ход».

За сто метров до дома он отпустил извозчика и пошагал по знакомой ему улице, радуясь воздуху, свету, необыкновенно добрым прохожим, мужикам, старательно красящим витрину, опрятному булочнику. Все вокруг было тихо, мирно, словно и не было в Севастополе войны.

Он вошел в дом незаметно.

— Коля!.. — увидев его, радостно вскрикнула жена и, бросив шитье, расплакалась, а затем подбежав к мужу, крепко обняла его. Она была все такой же прежней, нежной, красивой, с длинной косой. А он был небритый, заметно постаревший и осунувшийся.

— Жив... — прошептала она, жадно смотря в его глаза.

— Ну ради Бога, что это с тобой, успокойся... — растерянно произнес он. — Ведь поездка эта сущий пустяк...

— Нет, не пустяк... — И она заплакала пуще прежнего.

Из соседней комнаты выскочили два сына, радостные, повзрослевшие.

На обоих были чистые, белоснежные рубашки, с тоненькими модными галстучками. Они так же, как и мать, ждали отца всю ночь.

— Папа, ты насовсем приехал?.. — спросил его старший Николай.

— По всей вероятности, да... — чтобы успокоить их, тихо ответил он.

— Папа, ты виноват перед нами... — обиженно произнес Владимир.

— Все давным-давно вернулись, а ты так долго не приезжал...

Он, жадно обнимая их и целуя, чтобы успокоить их, шептал:

— Это господам разрешено раньше прибывать, а я ведь доктор. Пока всех не вылечишь, не уедешь...

В приоткрытую форточку то и дело врывался свежий ветер, а за ним и пение церковного хора, доносившееся из храма напротив дома. «Всех скорбящих, всех скорбящих радости, и обидимых заступнице, и алчущих питательнице, странных утешение...» — пели звонко голоса. Ветер приподнял шторы повыше. И несколько голосов из толпы, идущей к храму, с тоскою произнесли:

— Молебен по мученикам Севастополя совершается... Ох и Голгофа же там, братцы вы мои, врагу не пожелаешь!..

Солнце осторожно заглянуло в залу, и в правом углу ее образ Сергия Радонежского в серебряной ризе ярко вспыхнул и засветился. В ярко-розовой лампадке беззащитно запрыгал и затеплился огонек, привлекая к себе внимание.

«Обуреваемых пристанище, больных посещение, немощных покров и заступнице...»

И, вздрогнув, Пирогов повторил вслед за хором:

— Больных посещение, немощных покров и заступнице!..

В эти минуты он решил вдруг опять вернуться в Севастополь.

На даче с женою и детьми пробыл всего неделю. Затем начались его поездки в академию, медицинский департамент, военное министерство. И везде он с пеной у рта доказывает и объясняет, как необходима и нужна как воздух качественная, лишенная всякой бездарной опеки, медицинская помощь обороняющимся крымским героям.

Он ездит в Анатомический институт, где по его схемам и планам все это время производит распилы его ученик, прозектор института Георгий-Юлий Шульц. Благодаря ему выпуски распилов выходили без перерывов. Еще в 1853 году, находясь в командировке за границей, Шульц представил на рассмотрение 8 выпусков пироговского атласа распилов, которые были отмечены французскими учеными как одно из величайших русских учебных пособий для изучения медицины. На заседании этой же академии было сообщено также о том, что Пирогов доводит через Шульца о своем

новом открытии, касающемся костнопластического способа удаления стопы. Об этом же Шульц известил и съезд немецких естествоиспытателей и врачей. Достижения и открытия Пирогова приобретали всемирную славу. А беспокойство его и старание в научных разработках поражало абсолютно всех. Даже находясь в осажденном Севастополе, где приходилось работать до изнеможения, он думал о своих распилах. В своих письмах из Севастополя к Шульцу дает советы-указания по проведению сложных распилов грудной клетки и отражению в рисунках возрастных изменений органов и тканей, а также различия в соотношении их частей. В письмах жене просит постоянно ее ходить к Шульцу и напоминать, чтобы он не ленился и как можно совестливее исполнял работу и берег инструмент для производства распилов.

«Скажи ему, чтобы он пилил вдоль, — писал он ей 26 января 1855 года, — как можно более женских тазов и делал бы больше, чем говорил».

И жена не только подгоняет Шульца, но и помогает ему в работе, ведет контроль и следит за своевременным исполнением рисунков. Чтобы увидеть, как волновался Пирогов за проведение распилов, достаточно прочесть его такие строчки из письма к жене 30 января.

«Шульцу дай прочесть написанное: нельзя ли приготовить разрез глаза в различных направлениях. Попытайтесь-ка. Сделайте разрезы (продольные) носового канала с пометкой, принадлежал ли череп неделимым с коротким носом (калмыкам) или же с длинным носом. Не забудьте сделать сколько только возможно продольных разрезов женского таза».

По приезду в Петербург Пирогов не только поинтересовался исполнением работы Шульцем, но и сам принял непосредственное участие в проведении распилов, проработав в Анатомическом институте более месяца.

Докладная его записка, переданная лично в руки военному министру, ходила по верхам, вызывая то восторги, то возмущения, которых, к сожалению, было больше.

«Пирогов лезет не в свои дела...» — шипели разъяренные чиновники медицинского департамента. «Лицо, которое представляло бы главную медицинскую власть в армии, абсолютно не нужно... — вторили им профессора военного министерства. — Создавать такое лицо — это новые расходы. Да и разве возможно качественно организовать медицинскую помощь на войне?»

«Вот именно, что возможно...» — доказывал им всем на приемах

Пирогов и в который раз объяснял, что централизация и независимость медицинской службы в условиях войны просто необходима, и лицо, представляющее главную медицинскую власть в армии, должно подчиняться не снабженцам-чиновникам, безграмотным начальникам госпиталей, а только одному главнокомандующему. Однако к мнению Пирогова никто не прислушивался. Были разговоры, споры, яростные схватки-выступления, а дела не было. Мало того, медицинский департамент, посчитав, что Пирогов в своей докладной записке критикует больше всего их, открыто выступил против вторичной поездки Пирогова в Крым. И тут за Пирогова опять вступилась великая княгиня Елена Павловна.

— Если военное ведомство не найдет средств, чтобы командировать вас вновь... — сказала она ему, — то я выложу на стол все свои сбережения, все свои наряды. К чему мне все эти богатства, если там так запросто убивают русских солдат.

— Эти ваши письма пахнут огнем Севастополя... — говорила она Пирогову и с сочувствием смотрела на его мужественное лицо. Даже ей, великой княгине, было нелегко добиться вторичной поездки Пирогова в Крым.

Докладная записка Пирогова была военным министром Долгоруковым размножена по всем сочувствующим и так или иначе связанным с войной министерствам. Копия ее также была без ведома Пирогова направлена и главнокомандующему крымскими войсками князю Горчакову. Прочитав ее, он тут же сообщил в Петербург, что Пирогов не прав, да мало того, многого в войне не понимает. Однако в отличие от медицинского департамента дал свое согласие на повторный приезд Пирогова в Крым.

В отсутствие Пирогова развалилась и вся организация медицинского обеспечения армии. Снабженцы, окончательно распоясавшись, начали продавать на сторону бинты, корпию, солому и даже носилки.

А вскоре из Севастополя пришла трагическая весть о гибели адмирала Нахимова. Вся Россия оплакивала смерть великого русского полководца.

28 июня, на двести шестьдесят седьмой день обороны, Нахимов был вызван для дачи распоряжений на 3-й бастион. Племянник адмирала, штаб-офицер Воеводский, словно предчувствуя неприятность, отговаривал Нахимова от поездки, советуя ему для начала отдать устные распоряжения. Однако Павел Степанович велел седлать лошадей. По приезде на бастион начал производить тщательный осмотр оборонительных позиций, при этом внимательно прислушиваясь к советам бывалых солдат и офицеров. Зайдя в блиндаж, встретил начальника третьей дистанции вице-адмирала



Панфилова. Попив у него чайку, Нахимов решил вновь пойти осмотреть позиции. Обошел бастион и батареи Перекомского, Никонова и Будищева. И везде интересовался бытом солдат и матросов, состоянием раненых, количеством подбитых орудий. Перестрелки не было. Лишь изредка пролетали со свистом снаряды, падая без цели где попало. При осмотре второго и первого бастионов близ Малахова кургана На-хйй^ как и прежде, открыто и не таясь подошел к брустверу и, взяв у сигнальщика-матроса трубу, стал смотреть в амбразуру. Французы активно рыли окопы, постепенно продвигаясь к подножию Малахова кургана. И хотя амбразура была закрыта веревочным щитом, в нем все же было много больших просветов, в которые без всякого труда могли проникнуть штуцерные пули. Французы, заметив адмиральские эполеты в одной из амбразур, тут же открыли огонь. Матросы и офицеры стали просить Нахимова отойти в безопасное место. И он уже хотел это сделать и сам, ибо пули дождем засвистели рядом. Повернувшись боком, он не успел сделать и шага. Роковая пуля больно ударила Нахимова в лоб и, пройдя через мозг, вышла сзади уха. Вскрикнув, Нахимов обхватил руками голову. Ноги, сделавшись ватными, подкосились, и он упал. Даже если бы в это время в одном из госпиталей был сам Пирогов, спасти Нахимова не удалось бы. Рана была смертельной. 30 июня Нахимов, не придя в сознание, умер.

«...Около 11 часов, — вспоминал капитан-лейтенант Асланбегов, — дыхание сделалось вдруг сильнее, чаще, в комнате воцарилось молчание, доктора перестали спорить, и все подошли к кровати. «Вот наступает смерть», — громко и внятно сказал Соколов...И так, последние минуты Павла Степановича оканчивались. Больной потянулся первый раз, и дыхание сделалось реже; у всех пробежала мысль о смерти, но после нескольких вздохов он снова потянулся и медленно вздохнул, в этот раз обман был так силен, что даже доктора ошиблись, приложили ухо к сердцу и утвердительно и печально кивнули нам головами, но жизнь героя Синопа еще боролась со смертью и как бы не хотела так легко оставить тело; умирающий сделал еще конвульсивное движение, еще вздохнул три раза, и никто из присутствующих не заметил его последнего вздоха, потому что уже столько раз обманывался; но прошло несколько тяжелых мгновений, все присутствующие взялись за часы, и когда Соколов громко проговорил: «Скончался» на вопрос Воеводского, было 11 часов 10 минут».

— Павел Степаныч, Павел Степаныч умер!.. — плакали солдаты и офицеры. Душевнее и добрее адмирала в их памяти не было. В самые тяжелые, горькие и безрадостные минуты осады Нахимов всегда оставался человеком. Никто никогда не слышал, чтобы он накричал на матроса или

солдата или хотя бы обозвал его. Плакал в присутствии всех по незаменимому руководителю обороны и Горчаков. Погибли Лазарев, Корнилов, Истомин. А теперь вот и Нахимов.

Пирогов тяжело переживал смерть адмирала. Образ человека, постоянно заботившегося о простом русском солдате, не выходил из его головы. В самые трудные, порой безысходные минуты он один как настоящий друг поддерживал Пирогова в Севастополе.

Княгиня, стараясь пробить дело Пирогова, изложенное им в докладной записке к военному министру, знакомит его на одном из вечеров императорского двора с молодой императрицей, которая очень уважительно обходится с ним. В самый разгар их беседы, посвященной защитникам Севастополя, в их комнату вошел император Александр II, какой-то сумрачный и строгий. Княгиня представила ему Пирогова. Государь, удовлетворенно кивнув ему головой, вдруг настороженно спросил его:

— Господин Пирогов, скажите мне одно. Это правда, что чиновники обворовывают в Крыму всю армию?

— Правда... — с болью ответил ему Пирогов.

Государь был в черном костюме. Смущенный быстрым ответом Пирогова, он спросил удивленно княгиню:

— Этот ваш кумир в своем уме?.. — И, не дожидаясь ее ответа, громко сказал: — Лично я, господин Пирогов, был всегда уверен в своих людях. Вором из них может сделаться лишь один, но не все. Запомните, не все... Я знаю, чтобы раззадорить меня, вы все только и говорите неправду...

Пирогов же, забыв, где он находится, точно так же громко и уверенно ответил государю:

— Я не говорил бы вам этого, если бы сам не был свидетелем безобразий... Нет соломы, хлеба, воды, инструментов. Все уничтожается на корню. К раненым относятся как к собакам. И все потому, что все эти ваши люди есть первоклассные воры и антипатриоты...

— Прекратите, сейчас же... — закричал разъяренно государь. — Замолчите, иначе я вас всех упеку... — И простонав: — Это ужасно! Это подло, гадко!.. — выбежал из комнаты, кинув на пол принесенные с собой какие-то бумаги.

Благоразумие восторжествовало. Пирогову, как преданному своему делу медику, было разрешено вновь отправиться в Севастополь. Его требования, изложенные в докладной записке, были удовлетворены не все. Однако, теперь отправляясь в Крым, он обязан был подчиняться не

дежурному генералу, а главнокомандующему. Кроме этого, в подчинение Пирогову выделялась новая группа молодых врачей. По личному совету Беккерса в нее был включен и подающий надежды терапевт Сергей Петрович Боткин, ставший впоследствии основоположником русской военно-полевой терапии. В момент отъезда Пирогова Боткин только что получил диплом врача. И поэтому его командировку в Крым можно считать первой последипломной практикой. Он боялся своей неопытности. Однако Беккере убедил его испытать себя в тяжких условиях и закалить свой характер и волю. Княгиней был сформирован второй отряд сестер милосердия, и 5 сентября 1855 года Боткин вместе с ними выехал в Крым. Брат Боткина, Василий Петрович, в своем письме поэту Н. А. Некрасову писал: «Брат Сергей завтра отправляется в Севастополь. Он будет состоять при Пирогове и в ведении Е. И. В. Елены Павловны, у которой он был сегодня. Она посылает с ним суммы для раздачи сестрам милосердия... Он едет по своей воле, по предложению Пирогова. Сергей — малый дельный и вполне оправдывает доверенность, которую оказывают ему».

В письме же к Бертенсону Пирогов о Боткине писал следующее: «Я успел только выхлопотать для себя новую командировку в Севастополь с вновь набранными мною врачами, в числе которых был и С. П. Боткин, рекомендованный мне его товарищем по университету Беккерсом и только что окончивший курс». Такое внимание известного хирурга к молодому, только еще начинающему практику-доктору трудно объяснить. Хотя не исключено, что Пирогов хотел испытать получаемые молодыми медиками знания в своем родном Московском университете, который закончил Боткин, в военных условиях.

Кроме группы сестер милосердия, от лица уже самой императрицы и за счет ее средств в распоряжение Пирогова направлялась и группа «сердобольных» женщин.

24 августа неприятель предпринял шестую массированную атаку города.

Пороховой дым от орудий заволок небо, здания и улицы. Более сорока тысяч снарядов выпустил враг на город, доведя число раненых и убитых до двух тысяч. В бухте от попадания бомб загорелись линейные корабли. Город таял как снег. О восстановлении зданий под сильнейшим обстрелом даже не могло быть и речи. В разрушенные амбразуры дождем летели французские и английские пули.

С одной только Корабельной русские обстреливались огнем пятидесяти батарей, состоящих из трехсот пятидесяти орудий. Четвертый бастион обстреливался ста тридцатью орудиями, не говоря уже о пятом,

который утопал в огне.

Русские дрались до последнего. Стоило было только наступить хотя бы кратковременной паузе, как орудия тут же заряжались картечью и торопливо собиралась в кулак пехота прикритий.

Раненых с поля боя решено было не выносить, так как это приводило к потере живой силы. Всем было понятно, что враг предпримет штурм. Паники среди обороняющихся не было, все надеялись его отбить, как это сделали шестого июня.

27 августа враг, как и ожидалось, открыл прицельный огонь по укреплениям, на которых находилась большая часть обороняющихся. Затем все стихло, и начался штурм.

Силы были неравные. Враг, произведя штурм Малахова кургана, захватил и разрушил редут Корнилова и второй бастион. Редут Корнилова на Малаховом кургане был своеобразным ключом Севастополя, как точка, господствующая над всем городом. Поняв безысходность ситуации, в какую попали оборонявшие город войска, Горчаков вынужден был в десять часов вечера 27 августа послать царю телеграмму следующего содержания: «Войска вашего императорского величества защищали Севастополь до крайности, но более держаться в нем за адским огнем, коему город подвержен, было невозможно. Войска переходят на северную сторону, отбив окончательно 27 августа шесть приступов из числа семи, поведенных неприятелем, на южную и Корабельную стороны. Только из одного Корнилова бастиона не было возможности его выбить. Враги найдут в Севастополе одни окровавленные развалины».

Из-за недостатка ружей русские солдаты бились кирками, лопатами и камнями. Вместе с ними самоотверженно дрались курские ополченцы. Грудью стояли друг за друга кременчугцы, забалканцы, белозерцы. Храбро сражались офицеры, женщины, дети. Третий бастион защищали, прикрывая отступление, четыре славных полка 11-й дивизии — Охотский, Камчатский, Селегинский и Якутский. Среди них были владимирцы и суздальцы, минцы и волынцы, якуты и камчатцы с ратниками ополчения. Чтобы врагу не достались снаряды, были взорваны все оружейные склады. Город был подожжен.

Матросы и солдаты с горечью покидали любимый город. В своем рассказе «Севастополь в августе 1855 года» Л. Н. Толстой писал: «Все было мертво, дико, ужасно — но не тихо; все еще разрушалось. По изрытой свежими взрывами, обсыпавшейся земле везде валялись исковерканные лафеты, придавившие человеческие русские и вражеские трупы, тяжелые, замолкнувшие навсегда чугунные пушки, страшной силой сброшенные в

ямы и до половины засыпанные землей, бомбы, ядра, опять трупы, ямы, осколки бревен, блиндажей, и опять молчаливые трупы в серых и синих шинелях. Все это часто содрогалось еще и освещалось багровым пламенем взрывов, продолжавших потрясать воздух.

Враги видели, что что-то непонятное творилось в грозном Севастополе. Взрывы эти и мертвое молчание на бастионах заставляли их содрогаться; но они не смели верить еще под влиянием сильного, спокойного отпора дня, чтоб исчез их непоколебимый враг, и молча, не шевелясь, с трепетом ожидали конца мрачной ночи.

Севастопольское войско, как море в зыбливую мрачную ночь, сливаясь, развиваясь и тревожно трепеща всей своей массой, колыхаясь у бухты по мосту и на Северной, медленно двигалось в непроницаемой темноте прочь от места, на котором столько оно оставило храбрых братьев, — от места, всего облитого его кровью; от места, одиннадцать месяцев отстаиваемого от вдвое сильнейшего врага, и которое теперь велено было оставить без боя.

...Выходя на ту сторону моста, почти каждый солдат снимал шапку и крестился. Но за этим чувством было другое, тяжелое, сосущее и более глубокое чувство: это было чувство, как будто похожее на раскаяние, стыд и злобу. Почти каждый солдат, взглянув с Северной стороны на оставленный Севастополь, с невыразимою горечью в сердце вздыхал и грозился врагам».

Фельдмаршал Паскевич в частном письме к князю Горчакову отрицательно отнесся к его руководству армией. «В марте 1855 года, — писал он, — вы были сильнее неприятеля 20 или 25 тысячами человек... Вы тогда не начали наступательных движений, которые... могли бы иметь счастливые и славные последствия. Вы... смотрели только, как союзникам каждый день подвозили свежие войска. Вы жили день за днем, никогда не имели собственного мнения и соглашались с тем, кто последний давал советы...»

При отходе из Севастополя была взорвана Павловская батарея, а вместе с нею и тяжелораненые, которых не успели вывезти. Горе людское было беспредельным. О потере Севастополя скорбела вся Россия.

Осознавая свою вину перед войском, князь Горчаков обратился к нему с благодарственной, патриотической речью, которая в виде приказа была в торжественной обстановке зачитана во всех ротах и экипажах. В ней говорилось: «Храбрые товарищи! Грустно и тяжело оставить врагам нашим Севастополь, но вспомните, какую жертву мы принесли на алтарь

отечества в 1812 году. Москва стоит Севастополя! Мы ее оставили после бессмертной битвы под Бородином. Трехсотсорокадевятидневная оборона Севастополя превосходит Бородино!

Но не Москва, а гряда каменьев и пепла досталась неприятелю в роковой 1812 год. Так точно и не Севастополь оставили мы нашим врагам, а одни пылающие развалины города, собственно нашею рукою зажженного, удержав за нами честь обороны, которую дети и внучата наши с гордостью передадут отдаленному потомству».

И вскоре северная сторона города, как когда-то и южная, начала укрепляться новыми батареями, валами и блиндажами. И вновь стала возникать перестрелка. Однако интенсивность ее и частота уже не были прежними. Силы у обеих армий были истощены. Постепенно дело стало клониться к перемирию и переговорам.

Еще даже не въехав в северную часть города, Пирогов неожиданно узнал, что враг 27 августа, предприняв штурм Севастополя, захватил важную в стратегическом отношении южную часть города. Поток раненых был чрезмерно высок, и только благодаря проведению своевременной сортировки ему удалось разгрузить часть госпиталей. Боткин вместе с бригадой сестер милосердия, возглавляемой старшей сестрой Карцевой, приступил к работе в госпиталях Симферополя. Некоторое время ему здесь пришлось побыть не терапевтом, а хирургом и провести несколько перевязок и небольших операций.

Пирогов с грустью смотрел на разрушенный Севастополь. Дворянское собрание, где когда-то находился главный перевязочный пункт, представляло собой груду дымящихся камней.

А на Николаевской площади уже стояли французские мортиры, изредка постреливающие по северной части города. Почти все дома южной части города, где располагался неприятель, были взорваны или разрушены. На Павловском мыске, где находилась знаменитая Павловская батарея, вместо укрепления были огромные кучи камня.

«От Дворянского собрания, где я столько времени жил и действовал, остались только стены и несколько колонн. В домик, напротив артиллерийской бухты, где я квартировал, вскоре после моего отъезда влетела бомба и отбила весь угол, где стояла моя кровать, пронизав его насквозь сверху донизу».

Кроме раненых от последнего штурма, в Северной части скопилось и огромное количество раненых от сражения на Черной речке. Потери в этом сражении достигли восьми тысяч человек. Для оказания им всем

максимальной помощи, по совету Пирогова, в шести верстах от Севастополя на берегу реки Бельбек начинает разворачиваться госпиталь. Однако госпиталь, а точнее, палатки развернули, а остальные, крайне необходимые госпитальные средства, включая постельные принадлежности для раненых, не были выделены. Наступали дожди, холода, и класть больных и раненых на сырую землю было опасно.

«...По вечерам и в сырую погоду, — писал Пирогов, — в солдатских простых палатках лежащим на земле было невыносимо холодно; одеял не доставало, полушубки еще не розданы; я не знал, как поправить дело, и пошел более по инстинкту, нежели с намерением, заглянуть в цейхгауз; к моему удивлению, я нашел там еще несколько сложенных палаток и неразвязанных тюков; оказалось, что было еще 400 одеял, которые добродетельное комиссариатство госпиталя не распаковало, остерегаясь излишней отчетности».

В целом же госпиталь в Бельбекской долине был временным. Ибо сакли, в которые предполагалось перевезти раненых, были без потолков и печей. Транспортировка раненых в Симферополь и дальше на север была затруднена из-за недостатка транспорта и лошадей. Как и прежде, раненых из-за отсутствия сена и соломы приходилось везти на «трясучих» голых телегах.

Пирогов мечется, просит оказать ему как можно скорейшую помощь, ведь не за горами уже холода. Но почти везде он встречает к себе холодное равнодушие и пренебрежение. В какой-то чрезмерной панике и растерянности находился главнокомандующий. Он обещал и даже клялся Пирогову помочь, а на самом деле не помогал. Поговаривали, что Горчаков сходит с ума. Все время плачет по потерянному Севастополю. А чтобы от стыда ни на кого не смотреть, надевает шапку, которую прежде носил на затылке, на самый нос. Через штабных генералов Пирогов просит обратиться командующего армией с воззванием ко всей России, в котором была бы выражена его просьба, касающаяся помощи раненым. Пусть люди присылают в Крым все, что можно: войлок, рогожи, одеяла, белье, шапки, полушубки. Просьба Пирогова выполняется, и Горчаков под давлением штаба обращается к народу с воззванием о помощи бедствующим раненым.

В Бельбеке Пирогов продолжает много оперировать. Производит по десять и более ампутаций в день. Свежих раненых поступало мало, но было очень много старых, запущенных, с тяжелейшими гнойными осложнениями.

«Что тебе сказать про мое житье?.. — пишет он жене в письме от 8

сентября 1855 года. — Я решился здесь жить не раздеваясь, не снимаю платье ни днем, ни ночью, — это гораздо спокойнее, и удивляюсь, как могли наши защитники Малахова кургана попасться раздетые, в одних рубашках и босиком в руки неприятеля. Со мной этого не может случиться, если неприятель нас обойдет на Бельбеке.

Сегодня покупаю лошадь; по здешней грязи нет возможности ходить пешком».

В середине сентября, с наступлением холодов, Пирогов переезжает в Симферополь, где встречает огромную застоявшуюся массу раненых, в неимоверно тяжелых условиях, уже несколько месяцев дожидаящихся отправки на север. Здесь же он узнает, что Александр II решил совершить по путям эвакуации поездку из Петербурга в Крым. Прибыв в Николаев, он был возмущен воровством чиновников, присвоивших несколько миллионов рублей, предназначенных для обеспечения интендантских служб армии. По его распоряжению подозреваемые в воровстве люди были взяты под стражу и на них было заведено дело. В Кременчуге он ужаснулся содержанием раненых во время транспортировки. Лично обойдя повозки, специально подготовленные для осмотра, он заявил интендантским чиновникам, что одного полушубка на трех больных иметь недостаточно, в крайнем случае надо хотя бы два, а в лучшем каждый должен быть одетым. Узнав об этом, Пирогов писал: «А если бы он знал, что в других транспортах, кроме изорванной и истертой шинели, ничего не дается для покрытия даже трудных больных, что бы он сказал тогда?

Целые миллионы стоит эта перевозка больных, и, несмотря на то, она в самом жалком первобытном состоянии; уже не говоря об удобствах, больные не снабжены даже порядочной водой на дорогу; они мучаются от жажды и потом на какой-нибудь станции бросаются с жадностью на колодцы, наполненные соленой водой, — других нет между Перекопом и Симферополем; дрожат от холода, останавливаясь ночевать в холодные ночи под открытым небом, в телегах».

В Симферополе Пирогов добивается своевременного оказания раненым и больным медицинской помощи. Прибывшая с ним новая группа молодых врачей вместе с сестрами милосердия, рассортировав больных на легких и тяжелых, производит обработку ран и перевязки. Пирогов также добился, чтобы на каждого врача в сутки приходилось только пятьдесят больных, что намного облегчило их работу.

Александр II хотел было посетить перед Симферополем Одессу. Но Горчаков в целях безопасности отговорил его от этой затеи. В сентябре



неприятельский флот в составе 90 вымпелов подошел к Одессе. В любой момент мог открыть огонь. Однако, постояв на виду города и не сделав ни одного выстрела, флот покинул гавань. В последние месяцы войны Пирогову пришлось руководить транспортировкой раненых в полном одиночестве, хотя он и подчинялся непосредственно главнокомандующему. Горчакову было наплевать на все просьбы Пирогова. Сказывались его усталость и полная растерянность. В последние дни он и армией руководил кое-как, пустив все на самотек. Из северной части города вывозились орудия и боеприпасы, и ощущение было таким, что эта часть города в любой момент может быть оставлена. На докладные записки, посылаемые Пироговым в главную квартиру главнокомандующего, никто не обращал внимания. Каждый беспокоился только о себе. Следует отметить, что в конце войны наступили несусветная неразбериха и паника, что на руку было интендантским ворами. Дело дошло до того, что стали разворовываться продукты, предназначенные для раненых и больных.

«Уже мы и котлы запечатывали, все не помогает, а надобно подкараулить; право, жалко смотреть; дают такое количество, что можно бы было чудесно кормить, а больные почти не едят супа».

В начале ноября царь посетил несколько госпиталей в Симферополе, убранных и почищенных накануне, все заранее знали о его посещении. Пирогов был приглашен для встречи, но он отказался от приглашения. Было много работы в операционной, да и в потрепанном пальто как-то неудобно было светиться между мундирами. Накануне Пирогов был вызван к Горчакову, который поклялся выполнить все его замечания по госпитальным делам, указанные в докладных записках, лишь при одном условии, если он в присутствии всех не будет жаловаться государю. Этой неожиданной вежливости, чуткости и старательности главнокомандующего Пирогов даже удивился.

— Государь пожелал при осмотре получить удовлетворение, — сказал Горчаков. — Судьба раненых его волнует не меньше, чем живых. Поэтому мы обязаны сохранить его дух и приятное настроение. Я думаю, вы меня поняли, господин Пирогов?

— Понял... — вздохнул Пирогов и, не попрощавшись с Горчаковым, вышел из блиндажа. Он не понимал, как можно вообще разговаривать с человеком, у которого не видно глаз. Горчаков все так же ходил и даже спал с надвинутой на нос шапкой. После отъезда государя он не выполнил ни одной просьбы Пирогова.

В ноябре, когда начались в Симферополе холода, администрация госпиталей неохотно отпускала для больных дрова, теплую одежду и

горячую еду. Пирогов вынужден постоянно жаловаться, требовать и писать. Некоторые его выражения в докладных записках казались для вышестоящего начальства «несоответственными» и не очень вежливыми, на что они почти все обижались и постоянно жаловались на грубое отношение к ним Пирогова. Начальник госпитальной администрации г. Остроградский очень обиделся, когда Пирогов в просьбе выделить для госпиталей дрова обратился к нему не «имею честь просить», а «имею честь представить на вид». Пирогов хотел сказать этим выражением Остроградскому, чтобы он как можно скорее рассмотрел его просьбу.

Раненые в бараках простуживались. В госпитальных палатках замерзали. Даже новопостроенные бараки не соответствовали норме, они были сыры, холодны и не имели вентиляции. Обиженный Остроградский дров Пирогову не дал, но шум поднял. Он пожаловался на неугодного доктора главнокомандующему и одновременно государю. В результате чего Пирогов получил два выговора, один от Горчакова, который очень рад был такому случаю, а другой от государя.

Вслед за простудными заболеваниями появились случаи тифа и дизентерии. Гренадерский корпус, расположившись в районе Перекопа в сырых землянках и начав пользоваться, за неимением другой, для питья грязной, болотистой водой, заболел малярией и дизентерией, оставив после себя более семи тысяч больных.

В инфекционных палатах работал освоившийся с обстановкой терапевт С. П. Боткин и вместе с ним группа сестер милосердия во главе со старшей сестрой Е. П. Карцевой. Прибывших из Петербурга сестер милосердия Пирогов распределял по госпиталям и приказывал им во время эвакуации сопровождать транспорт в пути. Когда был образован в ноябре огромный обоз из раненых, то сестра Бакунина вызвалась с небольшой группой сестер милосердия сопровождать раненых в нелегком пути.

«Я знал, что она, насколько возможно, сумеет облегчить страдальцам их горькую участь. Бакунина безоговорочно приняла мое предложение и исполнила его с полным самопожертвованием. В больших сапогах и в бараньем тулупе она тащилась пешком по глубокой грязи и сопровождала мужицкие телеги, битком набитые больными и ранеными; она заботилась, насколько было возможно, о страдальцах и ночевала с ними в грязных, холодных этапных избах».

Постепенно военные действия в Крыму начали затихать. Пробыв в Симферополе с октября по декабрь 1855 года, Пирогов отправился в Петербург по путям эвакуации раненых. Им было осмотрено более

семидесяти госпиталей Перекопа, Херсона, Николаева, Екатеринослава, Харькова, которые были переполнены тифозными и дизентерийными больными, а также ранеными, отморожившими себе руки и ноги во время транспортировки в открытых санях при двадцатиградусных морозах.

В последних письмах жены, полученных Пироговым в Симферополе, видно ее прежнее волнение и страх за мужа. В письме, полученном в ноябре 1855 года, он узнает о ее неожиданной болезни, связанной с ее чрезмерным волнением и раздражительностью. В ответном письме от 4 ноября 1855 года Пирогов, успокаивая ее и обещая вскоре вернуться, пишет: «Могу ли я в тебе хоть сколько-нибудь продолжительно сомневаться, — ты это знаешь и должна знать лучше меня; я не так зол, чтобы думать, что ты зла; если я в чем-нибудь на свете твердо убежден, то после Бога это в том, что у меня нет ничего лучшего тебя и детей. Тебе бы об этом и сомневаться бы не надлежало».

В 1856 году после осмотра госпиталей и посещения Москвы Пирогов вернулся в Петербург. Около месяца он работает над последними выпусками своего анатомического атласа распилов в Анатомическом институте. Работает вместе с прозектором Шульцем самозабвенно и жадно, соскучившись на войне по своей любимой анатомии.

Препараты получались очень наглядными. Ученые Франции и Германии были восхищены замечательными атласами русского ученого. Поначалу они попытались сделать точно такие же, но у них ничего не вышло, нелегкое искусство работы над замороженными трупами требовало строго индивидуального и научного подхода, наполненного глубокими знаниями.

«И в Германии, и во Франции пробовали потом подражать мне, — вспоминал Пирогов, — но я смело могу утверждать, что никто еще не представил такого полного изображения нормального положения органов, как я; атлас мой разошелся по библиотекам европейских университетов, и теперь его нет более у книгопродавцов».

4 января 1856 года Пирогов подал заявление президенту академии, в котором сообщал о своем желании оставить службу в академии из-за ухудшавшегося здоровья и в связи с домашними обстоятельствами. Совет профессоров обрадовался заявлению Пирогова. Ибо он им своими открытиями и идеями не давал спокойно жить. Поговаривали, что Пирогов своей научной деятельностью не только опередил их всех, но и доказал, что многие профессора в совете абсолютно бездарны и числятся в нем лишь

просто для галочки.

Как участник Крымской войны, он начинает работать над огромнейшим и очень важным для военно-полевой хирургии трудом «Начала общей военно-полевой хирургии». Одновременно увлекается педагогикой. Опыт у него в этом деле был, и немалый. Одному только обучению студентов он отдал более двадцати лет. В 1856 году в журнале «Морской сборник», курируемом великим князем Константином Николаевичем, разгорелась полемика, касающаяся существовавшей в то время системы воспитания. В начале 1856 года Пирогов закончил свою статью «Вопросы жизни» и по совету великого князя предложил «Морскому сборнику». Время увольнения Пирогова из академии совпало с публикацией в июльском номере журнала «Морской сборник» первой педагогической статьи Пирогова.

О пренебрежительном отношении совета академии и военного министра к дальнейшей судьбе Пирогова и нежелании держать его больше в стенах академии говорит тот факт, что высочайший указ о его увольнении последовал 28 июля, но уже 19 мая на занятое еще им место был избран новый профессор. Оказывается, много и даже слишком много было у Пирогова врагов как среди профессоров, так и среди военных. Но окончательно сразить Пирогова не удалось. Неожиданно для всех проявилась многогранность его таланта.

## ПИРОГОВ-ПЕДАГОГ

Как известно, статью «Вопросы жизни» Пирогов еще в рукописи с увлечением читал своей жене в первые дни знакомства с нею в салоне баронессы Бистром. И уже тогда она воспринималась с необыкновенным интересом и волнением. Теперь же, подправленная и дополненная, увидела свет в популярном журнале.

В статье Пирогов решительно осуждает сословную направленность и раннюю специализацию в образовании и воспитании молодого поколения. В то время в школах активно насаждались бюрократические порядки, дальнейшая судьба, а точнее, карьера учащихся предопределялась с малого возраста. Считалось, что только целенаправленная учеба могла открыть двери к беспечной жизни.

Пирогов решительно опровергает ставшие традицией педагогические понятия и выступает за всестороннее, лишенное всяких давлений извне общечеловеческое образование. В эпиграфе к статье он приводит свой разговор с незнакомцем, убедительно объясняющий создавшееся в то время положение в подготовке учащихся.

«— К чему вы готовите вашего сына? — кто-то спросил меня.

— Быть человеком, — отвечал я.

— Разве вы не знаете, — сказал спросивший, — что людей, собственно, нет на свете; это одно отвлечение, вовсе не нужное для нашего общества. Нам необходимы негоцианты, солдаты, механики, моряки, врачи, юристы, а не люди.

Правда это или нет?»

На этот вопрос жизни и обращает внимание Пирогов. Не солдат и не механик нужен обществу, а человек, духовно развитый и разносторонний, умеющий критически смотреть на жизнь и общество. Пирогова интересует не зоологическая основа человека как вида с двумя ногами и руками, а его нравственная сторона.

«Правительства в древности, — пишет он, — оставляли школы без надзора и считали себя не вправе вмешиваться в учения мудрецов. Каждый из учеников мог пролагать впоследствии новые пути и образовать новые школы».

И далее, говоря о назначении и призвании человека в жизни, он пишет о пагубной системе существующего воспитания.

«Курсы и сроки учения определены. Будущая карьера резко

обозначена. Сам воспитанник, подстрекаемый примером сверстников, только в том и полагает всю свою работу, как бы скорее выступить на практическое поприще, где воображение ему представляет служебные награды, корысть и другие идеалы окружающего его общества».

Осудив такую методику воспитания, Пирогов говорит: «Не спешите с вашей прикладной реальностью. Дайте созреть и окрепнуть внутреннему человеку: наружный успеет еще действовать; он, выходя позже, но управляемый внутренним, будет, может быть, не так ловок, не так сговорчив и уклончив, как воспитанники реальных школ; но зато на него можно будет вернее положиться; он не за свое не возьмется.

Дайте выработаться и развиться внутреннему человеку! Дайте ему время и средства подчинить себе наружного, и у вас будут и негоцианты, и солдаты, и моряки, и юристы; а главное, у вас будут люди и граждане.

...Кто дал право отцам, матерям и воспитателям властвовать самоуправно над благими дарами творца, которыми он снабдил детей?

Кто научил, кто открыл, что дети получили врожденные способности и врожденное призвание играть именно ту роль в обществе, которую родители сами им назначают?»

Пирогов говорит о том, что все готовящиеся быть полезными гражданами в первую очередь должны научиться быть людьми.

«Отыскав самое удобное и естественное направление, — пишет он, — которым должно вести наших детей, готовящихся принять на себя высокое звание человека, остается еще главное, решить один из существеннейших вопросов жизни: каким способом, каким путем приготовить их к неизбежной им предстоящей борьбе?»

Не нужно человека делать поклонником мертвой буквы. Он должен научиться свободно и самостоятельно мыслить.

Статья Пирогова произвела на просвещенные круги необыкновенное влияние. Одним из первых на нее откликнулся Константин Дмитриевич Ушинский. Он писал: «Припомните... что это говорит один из знаменитейших хирургов Европы, который много видел человеческих страданий, наблюдал человека в те минуты, когда спадает с него всякая маска, всякий оттенок притворства и тщеславия, что это говорит человек, который видел, как страдают и умирают люди, — и вы придадите этим простым, так откровенно юношеским словам глубокое значение. По всему видно, что вначале эта статья была написана не для публикации... она вырывается здесь сама из души, много пережившей и переживавшей, много любившей и много любящей».

Поддержал Пирогова и Н. А. Добролюбов. «Пирогов доказывает свои положения с беспощадной, неотразимой логической силой... Убивая в ребенке смелость и самостоятельность ума, безусловное повиновение вредно действует и на чувство... Главное, что должен иметь в виду воспитатель, — это уважение к человеческой природе в дитяти, предоставление ему свободного, нормального развития, старание внушить ему прежде всего и более всего — правильные понятия о вещах, живые и твердые убеждения, — заставить его действовать сознательно, по уважению к добру и правде, а не из страха и не из корыстных видов похвалы и награды».

Доброжелательно воспринял статью Николай Гаврилович Чернышевский.

«О сущности дела, о коренных вопросах образованному человеку, — писал он в «Современнике», — невозможно думать не так, как думает г. Пирогов...»

Статья сблизила Пирогова с женой. На дом к Пирогову приходили сотни писем от учащихся и учителей, от писателей и даже от чиновников, не имеющих порой к педагогике абсолютно никакого отношения. Во многих из них поддерживалась точка зрения великого ученого о разностороннем и свободном воспитании человека.

Недолго думая, великая княгиня Елена Павловна предлагает Пирогову занять пост попечителя Одесского учебного округа. Придворная баронесса Раден, ранее не один раз беспокоившаяся о судьбе Пирогова в осажденном Севастополе и разделявшая абсолютно все его взгляды, просит великого князя Константина Николаевича похлопать о Пирогове перед Александром II. Именно князь помог бесцензурно напечатать Пирогову статью «Вопросы жизни». Сохранилось небольшое письмо, в котором Пирогов обращался к князю по поводу предстоящего опубликования статьи. Это письмо Пирогова, полное переживания за судьбу педагогики в России, невозможно читать без волнения.

«Ваше Императорское Высочество!

Как наставник в одной из значительных специальных школ нашего отечества, как воспитанник нескольких отечественных и заграничных учебных заведений, я имел довольно случаев наблюдать и сравнивать различные способы образования молодых людей. Как отец и русский, я постигаю всю важность воспитания для нашей земли и искренно желаю его видеть основанным не на одних временных потребностях страны, но на началах более глубоких и более верных.

Прочитав несколько статей о воспитании в «Морском сборнике», я

заметил подобный взгляд и ученых авторов этих статей, — что и возбудило (во) мне смелость изложить откровенно мои мысли, которые я до сих пор тщательно сохранил для себя, убежденный, что они мало найдут сочувствия».

Беспокойство Раден, княгини и князя, касающиеся дальнейшей судьбы Пирогова, возымели свое действие. В мае 1856 года Пирогову делается официальное предложение занять пост попечителя Одесского учебного округа.

В своем ответном письме Раден от 18 мая 1856 года он говорит не о выгоде предложенного ему поста, а о полезности его для России.

«Вы можете легко себе представить, — пишет он, — что я от своей независимости и от своих убеждений не отказываюсь. Я ничего не ищу. Если действительно желают, чтобы я мог быть полезным, то пусть меня не оставляют на полпути; этими полпутями я следовал уже много раз: теперь я не хочу больше действовать против своей совести и своих убеждений; для этого я, может быть, слишком хорош, может быть, слишком глуп».

Любое дело, которое выбирал для себя Пирогов, он считал святым и выполнял с невероятным старанием и рвением.

Видимость его он просто презирал. Соглашаясь занять пост попечителя учебного округа, он напоминает об этом Раден. «Нет, это, пожалуй, в последний раз в моей жизни, что я согласился на такие попытки: в стране, где господствуют «видимость» и форма, я искал «сути». Пока форма и «видимость» будут иметь преимущества в святых местах искания истины, до тех пор нам нельзя ожидать ничего доброго. Это раз навсегда мое убеждение, а так как такие убеждения считаются вредными и опасными, то я удаляюсь возможно скорее и возможно дальше».

В первых числах сентября 1856 года царь подписал указ о назначении Пирогова на пост попечителя. Личное дело Пирогова из военного ведомства было передано в Министерство просвещения, которым командовал Авраам Сергеевич Норов. Кстати, следует отметить, что Норов в то время искал новых попечителей учебных округов. Поэтому он был очень рад, что автор «прекрасной статьи» назначался попечителем Одесского учебного округа.

3 сентября 1856 года высочайшим указом правительственному сенату поведено было «совещательному члену медицинского совета Министерства внутренних дел, заслуженному профессору д.с.с. Пирогову исполнять должность попечителя Одесского учебного округа». Ознакомив Норова с



программой своих действий, Пирогов в октябре 1856 года вместе с семьей уезжает в Одессу.

Тяжело ему было покидать Петербург. Сестры милосердия, вернувшиеся к тому времени в столицу, преподнесли ему цветы и белый халат.

— Возвращайтесь, Николай Иванович, обязательно возвращайтесь! — то и дело произносила Полина Раевская, с которой Пирогов провел почти все дни бок о бок у операционного стола во время работы в Севастополе.

— Вернусь... — тихо отвечал ей Пирогов, расстроившийся проводами. Глаза Полины полны слез. Она понимала, что ее учитель и начальник в Петербург больше никогда не вернется.

— И зачем вы решились на это?.. — прошептала вдруг она. — Работали бы лучше вместе с нами в больнице.

— Каждый должен исполнять свой долг... — И, взяв ее за руку, Пирогов в задумчивости добавил: — Исполнять при жизни, покуда еще жив...

— Сколько у вас этих долгов? Сколько?.. — взорвалась Полина, — В академии долг, в Севастополе тоже долг, детишек учить тоже долг. Вам бы только сейчас и отдыхать, спокойно работать, а вы... беспокойный какой-то, все переделать спешите.

И, вздрогнув, робко посмотрела на Пирогова. Не поправляя распушившиеся от ветерка волосы на голове, он нежно улыбнулся ей.

— Благодетельница, добрая ты моя!.. — прошептал он. — Русская душа! Пусть все будут у нас такие, как ты... — И в волнении произнес слова, которые были любимы почти всеми, кто побывал в Севастополе во время кровопролитной осады: — Да укрепится земля русская братством и верой!

— Укрепится! Обязательно укрепится! — восторженно произнесла Полина и обняла Пирогова. — Берегите себя...

Должность попечителя Одесского учебного округа захватила Пирогова, и он с жадной охотой окунулся в организацию учебного дела.

Ни о какой самостоятельности мысли у учеников не могло быть и речи. Программы и методические пособия были устаревшими. Кабинеты и лаборатории пополнялись пособиями плохо. Если в самом лицее, средоточении высшего образования в округе, хоть что-то делалось, то в низших приходских училищах, находящихся под покровительством церкви, была неразбериха. Священный синод не хотел даже и думать о подготовке новых учителей, о чем постоянно указывал в своих «представлениях»

Пирогов. Синод защищал и поддерживал только своих учителей из духовных семинарий.

В одном из распоряжений Пирогов писал: «Дирекция мало заботится о том, какой участи подвергались бывшие их воспитанники по выходе из школы. Нигде еще не заведены книги при училищах, из которых можно было бы усмотреть, какой ход жизни... избрали воспитанники. Между тем для всякого учебного заведения поучительно и утешительно было бы узнать, какой конечный результат имели его действия над учащимися.

...Библиотеки гимназий и уездных училищ содержат более книг, полезных для наставников, но не детям. Учащиеся мало и даже совсем не пользуются библиотеками, и чтение в училище во внеклассные часы группами, под наблюдением наставников... еще мало введено и употребление.

...Учителя... еще не довольно соблюдают главное правило педагогики: содержать внимание учеников в постоянном напряжении... Ученики, слушая изложение учителя или отвечая на вопросы, держат перед собой открытые книги, рассматривая в них заданные им уроки... Внимание большей части из них так мало упражнено, что они часто не вникают в слова и даже не слышат слов, произносимых возле сидящими товарищами, не замечают сделанных ошибок и не обдумывают заранее ответа на предлагаемые вопросы...

Следствия этого педагогического недостатка исключительны. Ленивого и шалуна еще можно исправить: но ребенок, не приучившийся напрягать свое внимание в низших классах, никогда не пойдет вперед, и деятельность его ума никогда не будет самостоятельною, если он не будет приучен вникать в слышанное и обдумывать то, что сказать должен...»

Пирогов стремится реформировать воспитательный процесс, освежить его новыми идеями, изжить казенщину. Он придает большое значение развитию наблюдательности в детях. Добивается, чтобы учителя во время преподавания урока держали класс в постоянном учебной напряжении и обращались к каждому ученику с наводящими вопросами. Замечает, что дети бедных родителей более ревностны к труду.

Пирогов организывает литературные беседы и вечера, отстаивая свободу мысли учеников и их самостоятельность.

Для выяснения состояния народного образования в округе он посещает все учебные заведения в городах и селах, знакомится с бытом учащихся и учителей, присутствует на уроках, принимает участие в заседаниях педсоветов. Обратив главное внимание на положение преподавателей, отмечает их бедственное положение; многие жили наравне

с учащимися в холодных комнатах, не имели ни книг, ни других учебных пособий.

Чтобы добиться ученой степени, надо было уезжать в другой университет, и многие уехавшие не возвращались назад.

Бедственному положению учителей способствовала дороговизна жилья и топлива, во многом не соответствующая умеренным окладам преподавателей. Мало того, учителям на основании приказа бывшего попечителя запрещено было давать частные уроки в свободное от работы время. Вред от этого был двоякий. Страдали не только учителя, но и ученики, тем более что такие предметы, как химия, естественная история, микроскопия, сельское хозяйство, лучше изучались на частных уроках.

Через два месяца Пирогов обращается к А. С. Норову с письмом, касающимся оценки знаний учащихся. По его мнению, надо строже подходить к оценке познаний учащихся и давать удовлетворительные оценки лишь тем ученикам, которые постоянно и успешно занимаются предметом. Мало изучать предмет, надо, чтобы заученное было усвоено. Замечания Пирогова, касающиеся оценки познаний учеников, были «приняты в соображение» при составлении инструкции об испытании учеников в проекте нового устава средней школы.

20 января 1857 года Пирогов обращается к А. С. Норову с подробной докладной запиской «О ходе просвещения в Новороссийском крае и о вопиющей необходимости преобразования учебных заведений». Пирогов обращает внимание министра на плохое состояние учебного оборудования, на формализм в оценке знаний учащихся, на неправильное разделение школьных предметов на главные и второстепенные. В целях усиления высшего специального образования поднимает вопрос о преобразовании Ришельевского лицея в Новороссийский университет.

Новороссия должна иметь свой университет — так считал Пирогов. Время и возможности для этого настали. Необходимо было только желание властей.

Ришельевский лицей свое название получил от имени одесского военного губернатора герцога де Ришелье, который в феврале 1805 года преобразовал частный пансион французского эмигранта де Вольсея, в «Благородный воспитательный институт». В мае 1817 года в Одессе был учрежден лицей, заменивший собой Благородный воспитательный институт и Коммерческую гимназию, существовавшую независимо от института. Лицей, по характеру даваемого образования, являлся скорее средним, чем высшим учебным заведением. Он состоял из двух отделений: физико-математического и юридического, а также института восточных

языков.

Для подготовки камерального отделения в 1838 году была учреждена кафедра сельского хозяйства и лесоводства. С 1842/43 учебного года к двум отделениям присоединилось третье — камеральное.

Ришельевский лицей устаревал и не мог идти в ногу со временем. Пирогов, видя успехи Запада в образовании, хотел на базе Одессы и всего Новороссийского края сделать культурно-педагогический центр, в котором могли бы получать образование ученые всех балканских государств.

«Никогда еще не представлялось, — писал он, — как в настоящее время, такого стечения важных обстоятельств для поддержания распадающихся связей Новороссийского края с нашими соседями единоверцами. Никогда, как теперь, не предстояло такой необходимости действовать нашим просвещением против мощной конкуренции Запада на умы наших единоверцев. Но что же может сделать Одесский учебный округ для осуществления видов правительства, когда его собственное просвещение находится в таком упадке, когда главный светильник просвещения для целого края — лицей — тускло светит и не удовлетворяет самым вопиющим потребностям? Что заставит болгар и другие славянские племена обращаться в наши учебные заведения Новороссийского края, когда, нет сомнения, западная конкуренция озаботится им доставить лучшие средства к дальнейшему просвещению?»

В обязательном порядке Пирогов считал и открытие при университете медицинского факультета. Это привлекло бы в университет молодежь из болгар, сербов, греков «и других православных подданных Турции и Задунайских княжеств».

Пирогов понимал, что родственные народы Балканского полуострова — «Задунайских княжеств» тянулись к русским ученым, поэтому он постоянно говорил о неотлагательной помощи русских всем единоверцам.

«И так, для возбуждения охладевшей деятельности лицея, — писал он, — для применения его деятельности к потребностям края необходимо:

1) сообщить ему такие права, чтобы он не нуждался посылать своих воспитанников в другие университеты для достижения степеней кандидата и магистра;

2) с закрытием юридического факультета увеличить еще четырем число преподавателей для усиления специального учения по самым необходимым предметам для потребностей края: языковедения, педагогики, естественных наук и сельского хозяйства;

3) увеличить учебные пособия лицея, в высшей степени скудные и несколько не соответствующие современному состоянию наук;

4) продлить курс учения, переименовав его в 4-годичный, и изменить энциклопедический характер образования в чисто специальный, прекратив для учащихся бесплодное посещение лекций по всем возможным предметам, за исключением того, которым они специально занимаются.

Которому бы из двух средств ни было отдано преимущество, не избрав одного из них, решительно нельзя сделать никакого существенного улучшения для образования Новороссийского края, и лицей, оставленный *in statu quo*, с каждым днем будет все более и более отставать от прямого его назначения именно в то критическое время, когда ему предстоит для поддержания связей России с ее единоверцами выдерживать мощную конкуренцию Запада».

А. С. Норов поддержал идею Пирогова, хотя осуществить ее пришлось немного позже.

Пирогов не был канцелярским работником. Тишина кабинетов ему была чужда. Чтобы быть постоянно в гуще учебных дел, он то и дело выезжает в школы и гимназии. Учебный округ был большим, и работы в нем всегда хватало. Так, например, в 1857 году Пирогов выезжал для осмотра школ и гимназий: 1) в марте, 2) с 28 июля по 28 августа, 3) с 10 октября до 1 ноября.

Посещал самые что ни на есть отдаленные и захолустные местечки и школы. Разъезды, связанные с бездорожьем и отсутствием самых элементарных удобств жизни, не тяготили его.

Ему приходилось ночевать у бедных учителей или прямо в гимназии, расстелив шинель на полу. А утром он шел осматривать школы, где присутствовал на уроках, внимательно выслушивая и записывая жалобы учителей и учащихся.

Один из учителей гимназии так вспоминал о своей встрече с Пироговым.

«В 1857 году я был назначен старшим учителем естественной истории в Симферопольскую гимназию, в которой, как и в других гимназиях, этот предмет преподавался во всех семи классах по два урока в неделю. Наступило 16 августа, и в этот день был мой дебют на педагогическом поприще: я должен был по расписанию давать первый урок в 1-м классе.

Раздумывая о том, чем бы мне занять на первом уже уроке учеников-детей, я решил прежде всего ознакомить их с внешними органами растений. Для этого я перед уроком вырвал с корнем десятка три стеблей лебеды, роскошно разросшейся на гимназическом дворе, и принес в класс. Раздав ученикам по экземпляру этого растения, я только хотел кое-что сообщить им о нем, как в мой класс вошел какой-то господин почтенных

лет и сказал: «Я попечитель Одесского учебного округа Пирогов». Класс шумливо поднялся, но попечитель махнул рукой и, обратившись ко мне, сказал: «Продолжайте!»

Сознание того, что меня будет слушать высший начальник, автор «Быть и казаться», «Вопросов жизни», до такой степени смутило меня, что я решительно не знал, как начать урок.

Видя мое замешательство, Николай Иванович сказал: «Вы хотели рассмотреть с детьми это растение?» При этом он взял с учительского стола несколько стеблей и, обратясь к классу, стал предлагать вопросы относительно корня, веток, листьев и вообще наружного вида растения. Класс оживился, и ученики друг перед другом спешили отвечать на предложенные вопросы; при каждом неудачном ответе Николай Иванович рекомендовал отвечающему внимательно осмотреть тот орган, о котором идет речь, и ответ исправлялся. Попечитель так увлекся этим уроком, что звонок на перемену был, по-видимому, ему неприятен. Если бы на уроке присутствовал посторонний наблюдатель, то он подумал бы, что слушает урок самого опытного учителя, всю жизнь посвятившего делу преподавания».

«Циркуляры...» по управлению учебными округами Пирогов выпускал ежемесячно. В них, кроме распоряжений и официальных сообщений, уделялось внимание и недостаткам в методах обучения, отсутствию пособий в учебных кабинетах, неудовлетворительному комплектованию ученических библиотек. Пирогов на страницах «Циркуляров...» сумел организовать живой обмен мнениями учителей и преподавателей, которые могли выступать на их страницах открыто и непредвзято. В Одессе Пирогов печатал «Циркуляры...» в газете «Одесский вестник».

Вот пример «Циркулярного предложения г.г. директорам училищ Одесского учебного округа», написанного И ноября 1857 года. В «Циркуляре...» Пирогов подробно излагает результаты осмотра учебных заведений округа, отмечая как положительные, так и отрицательные стороны деятельности школ, одновременно давая советы и рекомендации к скорейшему исправлению недостатков.

«Окончив мой объезд всего учебного округа, я счел нужным сообщить вкратце мои замечания всем дирекциям для общего соображения.

А. По дирекции Херсонской

...3. Учебные пособия по части географии и естественной истории я нашел весьма скудными и прошу дирекцию озаботиться немедленно приобретением глобусов, карт, рисунков и моделей.

В. По дирекции Екатеринославской (Луганской)

...3. По части учебной метод преподавания естественной истории я нашел неестественным. Учитель не обращал никакого внимания на развитие наглядности и наблюдательности в детях, что именно и составляет главную цель учения этим наукам в средних учебных заведениях. Он мало пользуется даже и тем собранием минералов, которые находятся при гимназии.

С. По дирекции Таганрогской

...Приношу мою благодарность преимущественно преподавателям русского языка, истории и языка латинского — за ясность и хорошее изложение преподаваемых ими предметов и за удовлетворительные успехи учеников.

Д. По дирекции Таврической

По предшествовавшим военным обстоятельствам и по молодости и неопытности большей части преподавателей симферопольской гимназии я нашел вообще как способ преподавания, так и успехи учеников весьма посредственными. Тем не менее я считаю долгом благодарить двух преподавателей: математики высших классов Хамарито и латинского языка Тиграниана, более других постигших трудное искусство преподавания».

В конце каждого «Циркуляра...» Пирогов высказывал замечания, касающиеся всех дирекций округа. Вот пример таких замечаний из «Циркуляра...» Пирогова за И ноября 1857 года.

«...5. Не в ходу также между преподавателями и то важное педагогическое правило, чтобы один наставник своими уроками помогал действиям другого. Учителя истории недостаточно обращают внимания на географические сведения ученика, учителя географии — на исторические; учителя русского языка — на древние классические и новейшие языки; темы, предлагаемые ими для сочинений, редко бывают исторического содержания и т. п.

6. Дирекции мало заботятся о том, какой части подвергались бывшие их воспитанники по выходе из заведений. Нигде еще не заведены книги при училищах, из которых можно было бы усмотреть, какой род жизни и какую карьеру избрали воспитанники. Между тем для всякого учебного заведения поучительно и утешительно было бы узнать, какой конечный результат имели его действия над учащимися.

7. Библиотеки гимназий и уездных училищ содержат более книг, полезных для наставников, но не детям. Учащиеся мало и даже совсем не пользуются библиотеками, и чтение в училищах во внеклассные часы, группами, под наблюдением наставников, инспекторов и штатных

зрителей училищ еще мало введено в употребление. Предлагаю дирекциям обратить на это мощное средство к распространению просвещения особенное внимание...»

Замечания полны беспокойства за развитие педагогического процесса в округе. Циркуляры оказывали действенное влияние на учебно-воспитательную работу.

«...наш незабвенный попечитель Н. И. Пирогов, — писал педагог К. П. Яновский в 1865 году в № 3 Циркуляров по Одесскому учебному округу, — возбудил в нас деятельность педагогического анализа и заставил нас, хотя и не всех, смотреть на воспитание как на дело великой важности, требующее самого серьезного внимания».

«Циркулярами...» Пирогов поднял достоинство преподавателей, высветил и возвысил их благородный труд, лично показывая при этом пример самозабвенного ведения занятий.

Часто Пирогов обращался за помощью к генерал-губернатору, графу А. Г. Строганову. Сохранились два письма Пирогова к графу о дозволении студентам выступать перед публикой на сцене и на концертной эстраде, которые говорят о беспокойстве попечителя, касающегося эстетического воспитания учащихся.

Письмо Пирогова к графу А. Г. Строганову.

«Студенты Ришельевского лицея, желая дать представление в пользу своих недостаточных товарищей, просят об исходатайствовании им дозволения на занятие для этого залы Одесского Городского театра. Находя желание студентов весьма похвальным и просьбу их заслуживающею уважения, имею честь покорнейше просить Ваше Сиятельство о разрешении им занять залу здешнего гор. театра. При сем имею честь уведомить Ваше Сиятельство, что содержанием представления будут:

1) Комедия Гоголя «Игроки» и 2) Сухово-Кобылина — «Свадьба Кречинского». Н. Пирогов».

Генерал-губернатор ответил согласием на ходатайство попечителя.

Не встретила также препятствий и другая просьба Пирогова «Об учреждении в Ришельевском лицее музыкальных концертов».

Письмо Н. И. Пирогова к графу А. Г. Строганову.

«Прибывший из Петербурга архитектор Яковлев, обладающий музыкальным искусством, обратился к директору Ришельевского лицея с просьбой об учреждении в лицейском здании музыкальных концертов для упражнения студентов, с допущением посторонних любителей музыки и слушателей за особо установленную плату, сбор которой предназначается



для учреждения в лицее музыкальной библиотеки и для оказания вспомоществования недостаточным студентам. Желая посредством занятий искусствами, облагораживающими душу, подействовать благотворно на нравственность и эстетическое образование студентов лицея, я нахожу предложение г. Яковлева в этом отношении не только полезным, но и крайне необходимым для Лицея, а потому, позволив студентам и членам музыкального общества воспользоваться в виде опыта лицейскою залою, я имею честь покорнейше просить Ваше Сиятельство почтить меня уведомлением, не встречаются ли препятствия к продолжению концертов по воскресным дням от 1–3 часов дня.

Пирогов».

Одно письмо следует за другим и везде беспокойство.

В письме «О приемных экзаменах в Ришельевском лицее» к князю П. А. Вяземскому — товарищу министра народного просвещения, Пирогов развивает проект профессора лицея А. В. Лохвицкого об упорядочении приемных экзаменов в Ришельевский лицей. «...По существующему в настоящее время правилу не все ученики, окончившие курс с успехом в гимназиях, принимаются без экзамена, а только отличнейшие, прочие же должны вновь подвергаться экзамену. Такой порядок кажется несправедливым, ибо, во-первых, лицей показывает этим недоверие к гимназиям собственного округа, вследствие этого происходит то, что и ученики не стараются окончить курса в гимназиях, зная, что это их не избавит от нового экзамена; во-вторых, такое недоверие ничем не оправдывается, ибо по опыту известно, что даже посредственно окончившие курс в гимназии бывают лучшими студентами сравнительно с молодыми людьми домашнего образования».

Министерство народного просвещения положительно решило этот вопрос, и все ученики, окончившие курс учения в гимназиях, принимались в студенты лицея без экзаменов. Это расширило доступ в высшие учебные заведения более широким кругам населения.

14 сентября 1857 года Пирогов обращается к князю П. А. Вяземскому с просьбой «О публичных лекциях по педагогике», в котором говорит о необходимости распространения в обществе научных знаний о воспитании, тем самым проводя в жизнь идею сближения школы и семьи.

«...Средство к устранению их заключается в большей публичности, которую можно было бы дать лекциям педагогики. Наука эта в настоящее время значительно заинтересовала русское общество, и можно надеяться, что если бы доступ к читаемому в лицее педагогическому курсу был открыт и для лиц, не принадлежащих к лицей, то вышеизложенное

неудобство могло бы быть устранено или, по крайней мере, ослаблено».

Ходатайство Пирогова «О публичных лекциях по педагогике» было удовлетворено. И число слушателей в аудиториях Ришельевского лицея было увеличено.

Военная муштра, введенная в гимназиях в период николаевской реакции в 1850 году, вызывала возмущение Пирогова. 29 ноября 1857 года он обращается в Министерство народного просвещения с письмом «О замене маршировки преподаванием гимнастики». «По распоряжению бывшего министра народного просвещения в гимназиях Одесского учебного округа введена маршировка. Побудительною причиною к тому было то, что его сиятельство при обозрении гимназий заметил, что не везде обращается внимание на наружную выправку воспитанников, осанку, приличие в движениях и на порядок встречи, приветствия и сопровождения начальственных лиц.

...Принимаю в соображение, что при преподавании гимнастики может быть вполне достигнута цель, с которою введена маршировка, в особенности при способностях, которыми обладает учитель гимнастики при первой гимназии Цорн, предпринимавший недавно поездку за границу для усовершенствования в своем искусстве, при способе преподавания, которому он следует при изучении фехтования, где именно обращается внимание на поступь, осанку и повороты, употребляемые во фронтовой службе, статский советник Беккер находит, что преподавание маршировки излишне и обременительно, ибо часы, употребляемые на изучение оной, могли бы с пользою быть употреблены на усиление занятия науками».

По ходатайству Пирогова Министерство народного просвещения отменяет военную муштру в гимназиях округа и заменяет ее гимнастикой, проводимой под наблюдением врача. Такое же ходатайство (3 апреля 1858 г.) Пирогов посылает А. С. Норову и в отношении Кишиневской гимназии, которое было удовлетворено.

Пироговым было также пересмотрено и содержание книг в школьных библиотеках. Многие из них были годны для чтения учителям, но не школьникам. В целях большего ознакомления учащихся с русским языком и литературой в одесских гимназиях были организованы литературные беседы.

Беседы имели большой успех. Во всеподданнейшем отчете за 1857 год министр просвещения А. С. Норов уделил много места деятельности попечителя-хирурга по этому вопросу. Указывая на его результаты, он писал: «Чтобы возбудить ревность к изучению отечественного слова и

доставить больше упражнения самостоятельной деятельности учащихся, введены при лицейской гимназии литературные беседы, которые идут успешно».

А в книге В. А. Доброторского «50-летие Одесской 2-й гимназии» сообщено следующее: «В числе мер, принятых учебным начальством с целью ближайшего ознакомления учащихся с русским языком и его литературой, упоминается устройство, по распоряжению попечителя округа Н. И. Пирогова (16 января 1857 г., за № 203), литературных бесед между учениками VI и VII классов обеих одесских гимназий».

Пирогов не мог терпеть обмана со стороны учителей во время его проверок гимназий. Педагог К. П. Яновский вспоминал, как во время посещения Кишиневской гимназии Пирогов спросил учителя Белюгова о том, что он читал со своими учениками выпускного класса. Тот, чтобы отличиться, ответил: «Цицерона, Тита Ливия, Горация, Тацита». Пирогов сказал, что не следует бросать пыль в глаза ревизующим, ибо ученики, обучаясь всего 4 года, начиная с 3-го класса, и имея всего по 4 урока в неделю, не в состоянии понять Тацита, одного из труднейших римских писателей. Белюгову пришлось признать свою неправоту. Сделав замечание, Пирогов посоветовал ему заняться с учениками не на словах, а на деле переводами римских писателей. И лишь во второй его приезд ученики свободно переводили Цицерона и Горация.

Впервые Пирогов выступил и против наказания школьников сечением розгами. Это наказание было распространено и утверждено во всех гимназиях. Мало того, это наказание проводилось в присутствии посторонних лиц, что и без того оскорбляло и унижало наказуемых. Особенно дурной репутацией в учебном округе пользовалась Херсонская гимназия, на которую даже сами учителя смотрели как на место ссылки. Совет гимназии был жестокий, без всякого повода наказывал учащихся: выносил замечания, выговоры, оставлял пансионеров без обеда, сажал в холодный карцер и постоянно наказывал розгами в присутствии других.

Попечитель округа потребовал от всех гимназий статистический отчет о видах и мерах наказания учащихся. Херсонская гимназия, желая «отличиться», представила отчет, в котором было указано большое количество телесных наказаний в присутствии посторонних лиц. Пирогов осудил такую меру наказания, признал ее безнравственной и обо всем этом в специальном послании сообщил директору и совету Херсонской гимназии, которые возмутились замечанием Пирогова, полностью считая себя правыми. Тогда Пирогов выносит свое мнение на суд общественности, публикуя в «Одесском вестнике» от 15 апреля 1858 года статью «Нужно ли

сечь детей и сечь в присутствии других детей?». Статья вызвала большой резонанс в кругах передовой интеллигенции. Действия Херсонской и других гимназий, подобных ей, были осуждены и признаны безнравственными и недопустимыми. Статью поддержал Н. А. Добролюбов.

Вынеся на суд общественности свои мысли, Пирогов доказывал, что розга есть грубый и насильственный инструмент для возбуждения стыда, а само ее применение содержит в себе элемент глубочайшей безнравственности.

«Не правда ли, мелочный и даже, так сказать, неприличный вопрос для публики образованной и занятой серьезными делами? Но для детей розга не мелочь, а секут их также и образованные, и занятые серьезными делами люди. А я именно и хочу говорить только с секущими.

...Один взгляд на нее, даже брошенный украдкой, уже должен страшить и потрясать. Тогда страх делается чем-то средним: ни чисто физическим, ни чисто нравственным чувством. Но в таком случае, чтобы быть последовательным, мы не должны его допускать до конечного осуществления. Есть немецкая поговорка: «Черт не так черен, как нам его описывают». Не изобрели, верно, те, которые уже видели, по крайней мере во сне или в бреду, черта. Трус, испытав однажды на деле то, чем его пугало воображение, может сделаться вдруг храбрецом. И ребенок, боявшийся одного взгляда на розгу, перестанет бояться, когда узнает... что она не так ужасна, как ему прежде казалось. Но, наконец, положим, вы достигли вашей цели; вам удалось возбудить самый лучший физический страх в ребенке — чем вы будете его поддерживать? Вам еще понадобится его усиливать: ребенок ко всему привыкает. Где положить границу усилиям? А если он хоть на минуту освободится из-под дамоклова меча<sup>[128]</sup>, если он хоть вскользь убедится, что его проступки могут остаться незамеченными, как вы думаете: воспользуется он или нет своей мнимой свободой? Вот уже и двойственность, вот уже и опять — быть и казаться. Покуда розга в виду — все хорошо и в приличном виде; когда исчезла из виду — кутеж и разлив. И это нравственность! Если же у вас в дому или в школе обстоит все в таком отличном порядке, что ни один проступок ребенка не может остаться незамеченным, то на что тогда розга?

...Итак, розга — слишком грубый и насильственный инструмент для возбуждения стыда. А чувство стыда — это такой нежный, оранжерейный цветок, который разом завянет, когда побывает в грубых руках. Розга вселяет страх — это правда, но не исправительный, не надежный, а прикрывающий только внутреннюю порчу. Она исправляет только

слабодушного, которого исправили бы и другие средства, менее опасные. Я пишу все это только потому, что верю в слова покойного преосвященного Иннокентия. Он мне сказал однажды: «Всякая мысль, высказанная с убеждением, есть живое семя, брошенное на землю; рано или поздно оно пустит ростки».

Далее Пирогов пишет о пагубности наказания ученика розгами в присутствии товарищей и осуждает ту «нравственную» полезность, в которой видели пользу учителя, как для испытуемого битьем, так и для молчаливых созерцателей этой процедуры.

«...Но если воспитатель вменит обдуманно в наказание виноватым присутствовать при наказании других и заставит их это сделать, и не однажды, то, по-моему, это значит — или не знать вовсе человеческого сердца, или иметь о нем самое худое мнение и тем именно его портить еще более, нежели оно и без того уже испорчено. Чего вы хотите? Поселить в присутствующем отвращение к наказанию? Да вы поселяете одно отвращение к наказующему. Вы хотите возбудить отвращение к виновному? Но вы возбуждаете к нему сочувствие. Разве можно, не огрубев душой, без сожаления, слушать вопль и смотреть на борьбу сильного с бессильным? Какой род страха вы желаете развить в вашем воспитаннике? Страх физический или нравственный? Если первый, то к нему скоро привыкают, и он, смотря по характеру, рано или поздно переходит в тупое равнодушие, то прямо, то постепенно восходя от боязни до ужаса. А если второй, то вы не достигнете вашей цели розгой...»

Передовая общественность высоко оценила отношение Пирогова как педагога к проблеме телесных наказаний в гимназии. Свои мысли по этой теме Пирогов развивал ранее и в статье «Быть и казаться», опубликованной в «Одесском вестнике».

Чуть позже создается специальный комитет для составления правил о проступках и наказаниях учеников гимназий Киевского учебного округа. На заседании точка зрения Пирогова не получила одобрения. И он, руководствуясь установленным им самим принципом коллегиальности, подписывает циркуляр, в котором применение телесных наказаний не отменялось, а только значительно ограничивалось («в исключительных случаях»).

В полемике с либералами Ленин припомнил отступление Пирогова в решении вопроса о телесных наказаниях: «Пирогов в 1860-х годах соглашается, что надо сечь, но требовал, чтобы секли не безучастно, не бездушно». Критически отнесся к уступчивости Пирогова Добролюбов. В январской книжке «Современника» за 1860 год он выступил со статьей

«Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами».

«...Не горько нам, — писал он, — что мы, превознося в прошлом году г. Пирогова, показали себя легковверными и увлекающимися, не то горько, что между нашими похвалами знаменитому педагогу оказалось несколько незаслуженных преувеличений. Нет, нас смущает совершенно другое...

Хвалить статьи г. Пирогова, восхищаться силой его логики, его последовательностью и твердостью — мы имели полное право, и в этом отношении нам не в чем раскаиваться. Но мы обнаружили крайнее тупоумие и совершенное непонимание жизни русской, когда осмелились выразить что-то вроде надежды на практическую деятельность восхваляемого писателя. Мы сами впали тогда в применение к нашему времени старинных сказок о богатыре, побившем целое войско... Сами не понимаем, как мы не сообразили тогда, что ведь это только в сказках бывает...

Статья моя не заключает в себе ничего оскорбительного для честного и правдивого деятеля, каким представляется нам г. Пирогов. Суровый опыт говорит нам постоянно, что под давлением нашей среды не могут устоять самые благородные личности; посмотрите — вот одна из лучших, Н. И. Пирогов, — а между тем со своим комитетом он вынужден постановлять законом то, что прежде сам же объявлял несправедливым и диким. Горько будет, если и в этом несчастном уклонении последуют за ними те, которые шли за ним по прямой дороге».

Трудно было Пирогову, потому что в решении вопроса об отмене телесных наказаний он был один, никто из светил-воспитателей того времени его не поддержал. И последовавшая вследствие этого неуверенность в положительном решении этого вопроса привела Пирогова к соглашательству.

Пользуясь правами цензора местных изданий, Пирогов с согласия генерал-губернатора передает редактирование местной газеты «Одесский вестник» профессорам лица.

Единственным органом печати в Новороссийском крае был «Одесский вестник», редактировавшийся А. Г. Трой-ницким. В «Одесском вестнике» до 1858 года излагались факты и известия самого безобидного свойства вроде, например, археологических открытий в крае, статистических цифр, биржевых курсов, числа прихода и отхода судов, цифр торгового вызова и отпуска, распоряжений местного начальства, описаний процессий и церемониалов.

С прибытием в Одессу Пирогова для местной печати наступила новая

эра. «Сильно подняв своими циркулярами и статьями самосознание одесских педагогов и всего общества, — писал профессор А. И. Кирпичников в статье «Умственная жизнь Одессы», — Н. И. Пирогов значительно возвысил и уровень одесской литературы тем, что по его ходатайству единственная в то время одесская газета была передана во владение Ришельевского лицея. К сожалению, Н. И. Пирогов был скоро переведен в Киев, да и «Одесский вестник» только один год был в руках лицея. Но добрые семена дают богатые плоды, и пироговские традиции в одесской умственной жизни не могли истребиться бесследно».

5 апреля 1857 года Н. И. Пирогов послал новороссийскому генерал-губернатору следующее письмо:

«М. Г., граф Александр Григорьевич! Узнав, что г. Тройницкий оставляет совсем Одессу и, следовательно, перестает быть редактором «Одесского вестника», я предлагаю Вашему Сиятельству передать издание этой газеты Ришельевскому лицу на тех же самых условиях, как ее издавал г. Тройницкий. Многие члены Лицея примут живое участие в этом деле, и газета, без сомнения, поднимется и в литературном, и в научном отношении. Я убежден, что, приняв мое предложение, Вы доставите мощное средство подведомственному мне заведению действовать на просвещение края и, следовательно, достигать главной цели. С истинным почтением и преданностью имею честь быть, милостивый государь, Вашего Сиятельства всепокорный слуга Н. Пирогов».

Попечитель возбудил перед Министерством народного просвещения ходатайство о передаче «Одесского вестника» лицу, который «посредством его может сильно действовать как на просвещение, так и на нравственную сторону всего русского народонаселения Новороссии». А. С. Норов удовлетворил ходатайство. По предложению Пирогова лицей избрал редакторами газеты профессора А. М. Богдановского, бывшего впоследствии ректором Новороссийского университета, и А. И. Георгиевского, активно участвовавшего в работе Министерства народного просвещения при Д. А. Толстом и И. Д. Делянове.

Генерал-губернатор передал дело градоначальнику и 12 июня запросил у попечителя согласие издавать газету по программе, утвержденной генерал-губернатором. Попечитель ответил согласием.

19 октября Строганов известил градоначальника, что газета будет содействовать развитию общепользных начал в управляемом им крае при нахождении ее в заведовании профессоров лицея. В этот же день он известил об этом и Пирогова.

В ответ на это извещение Пирогов послал Строганову письмо:

«Господину Новороссийскому и Бессарабскому ген. — губернатору.

Получив отношение Вашего Сиятельства от 19 октября за № 10569 о сделанном Вами, М. Г., распоряжении к передаче с 1 января 1858 года издания газеты «Одесский вестник» Ришельевскому лицу, вменяю себе в особенный долг принести Вашему Сиятельству душевную мою благодарность за это распоряжение, доставляющее лицу как материальные выгоды, так в особенности средства к распространению просвещения в крае. При сем препровождая предложенную лицеем на определенных мною основаниях программу, по которой имеет издаваться «Одесский вестник», — имею честь присовокупить, что редакторами газеты избраны исправляющие должность адъюнкта лица Богдановский и Георгиевский, преподаватели, вполне способные к осуществлению главной цели издания, добросовестные, деятельные, обладающие всеми необходимыми качествами для редактора. Об утверждении их в этом звании я уже представил г. Министру нар. просвещения.

Попечитель Пирогов».

В «Одесском вестнике», кроме Пирогова, работали, О. А. Рабинович (выдающийся публицист), А. А. Скальковский (историк Новороссийского края), А. М. Думашевский (известный юрист), Р. В. Орбинский (известный одесский педагог), А. Афанасьев-Чужбинский (этнограф) и другие, поместившие много педагогических, философских, этнографических, исторических и юридических статей.

Однако в целом направление газеты было встречено сурово. С «Одесским вестником» вступили в полемику «Петербургские ведомости» и «Журнал Одессы». Обе газеты в равной мере спорили не со взглядами новой редакции, а с Пироговым. Абсолютно все слои местного общества нашли причины к недовольству направлением одесской газеты. Граф Строганов пожалел о своем согласии на передачу «Одесского вестника» лицу и завел переписку с министерством об отобрании газеты у Н. И. Пирогова. Генерал-губернатору энергично помогал губернский предводитель дворянства Касинов, от себя посылавший в министерство жалобы на развращающее влияние газеты.

Вот как в «Дневнике старого врача» Пирогов вспоминает о своем вынужденном переходе на пост попечителя Киевского учебного округа: «Первая весть об эмансипации была доставлена в Одессу газетою, попавшею в руки студентов, захотевших отпраздновать это событие. Жандармский генерал сообщил об этом в Петербург и мне, но я не находил в этом ничего худого. К счастью, Строганов посмотрел, неожиданно для меня, слегка на это происшествие, быть может, потому, что генерал, с



которым он был не в ладах, поторопился без него... Редакция «Одесского вестника» издали коснулась горячего материала по крестьянскому вопросу. Какая поднялась тревога! На меня в Петербург полетели с разных сторон доносы...»

7 июля 1858 года Пирогов представил министру народного просвещения Е. П. Ковалевскому объяснение по поводу истории с «Одесским вестником». И через 11 дней (18 июля) состоялся указ о назначении его киевским попечителем.

Генерал-губернатор Крал, граф Строганов и предводитель дворянства Касинов постоянно жаловались царю на то, что Пирогов своими идеями развращает интеллигенцию и гласно, во всеуслышанье пропагандирует новые, придуманные им реформы, заключающиеся в коренном преобразовании всего воспитательного дела в России. Указывалось также, что деятельность Пирогова на посту попечителя ведет к вольнодумству и беззаконию. Царь рассердился. Некоторые из придворных советовали отправить Пирогова в Сибирь. Но 1858 год был годом беспокойным, общество жаждало крутых перемен. Нарастали народные волнения. После нескольких раздумий царь, по совету той же царской свиты, переводит Пирогова в Киев, на пост попечителя учебного округа.

Низкий уровень обучения царил здесь во всех звеньях учебного процесса. Подготовки педагогических кадров как таковой не было. Заняв пост попечителя в сентябре 1858 года, Пирогов стремится изменить установившийся в округе уклад жизни учебных заведений. Газета «Киевский телеграф» писала, «что сущность новейшей педагогики, вводимой Н. И. Пироговым, заключалась в том, чтобы преподавание было наглядным, приноровленным к развитию учащихся, а усвоение учениками предмета было сознательным; преподавание находилось в ближайшей связи с уважением к человеческому достоинству и нравственной свободе личности».

Вот как вспоминал Н. И. Пирогов о своем назначении попечителем в Киевский учебный округ в письме к И. В. Бертенсону.

«...Вскоре, как я и предвидел в объяснениях моих с министром, начались столкновения моих убеждений со взглядами других властей за свободу мысли и слова в делах научных и общественных; случилась и перемена министра, где предложено было другое место, попечителя Киевского округа в самое критическое время, в начале развития польского восстания.

В Киеве выпали на мою долю новые трудности и столкновения. Я отстаивал мой коренной принцип, по которому попечитель обязан

оказывать на учащихся и учащихся одно лишь нравственное влияние и быть охранителем закона в университете, другие же власти желали навязать мне тайно-полицейский надзор, то есть именно ослабить мое нравственное значение в глазах учащихся и учащихся; не помогли ни протесты, основанные на явных, доказывающих вред навязываемых мне функций, фактах, ни то, что в течение моего 2-летнего управления, несмотря на возбужденное состояние умов, не было ни одной серьезной студенческой демонстрации, беспрестанно случавшихся тогда в других университетах. Тщетно я представлял, что, взяв на себя не свойственную своему призванию роль полицейского соглядатая, попечитель лишил бы себя возможности действовать в случае надобности энергически нравственным своим влиянием на среду людей, наиболее подвластных этому влиянию, и должен бы был прибегать к силе».

Пирогов сразу же преобразовывает деятельность педагогических советов гимназий и уездных училищ. Официальный документ попечителя «Циркуляр по управлению Киевским учебным округом», превращается в ежемесячное периодическое педагогическое издание, которое пользуется большой популярностью.

Пирогов добивается создания педагогической семинарии при университете св. Владимира в Киеве. С ее открытием разрешался вопрос подготовки учителей преимущественно для гимназии и частично дворянских уездных училищ с одногодичным практическим курсом обучения («практические упражнения»).

Вместе с членами специально созданного комитета он утверждает проект педагогической семинарии и «Правила педагогических упражнений для кандидатов на учительские должности» применительно к каждой специальности.

«...Таким образом, молодые люди, посвящающие себя учительскому званию, хотя и получают в университете достаточное научное образование, но совершенно чужды практического педагогического образования и, не ознакомившись предварительно с трудным искусством преподавания, поступают прямо из университета в учительские должности.

Без практической опытности в методах преподавания, без упражнений в преподавании, приспособленном к возрасту его будущих учеников, молодой учитель, как бы основательно ни изучал свой предмет, не сможет быть хорошим преподавателем».

Разрешение на открытие семинарии было получено Пироговым в письме министра Е. П. Ковалевского от 24 ноября 1858 года.

Педагогическая семинария была открыта при университете на базе обеих киевских гимназий с 1 января 1859 года, а в августе 1860 года была реорганизована в педагогические курсы.

В октябре 1858 года Пирогов в «Новороссийском литературном сборнике» публикует статью «Чего мы желаем?», в которой обращается к широким кругам педагогической общественности с предложением окончательно разобраться в вопросах воспитания и лишь после этого взяться за разработку проекта устава.

В статье Пирогов рассматривает разнообразные вопросы университетского образования и уделяет большое внимание организации подготовки научно-педагогических кадров для университетов.

В ней он говорит также и о том, что экзаменами должны проверяться не степень развития гимназий и других учебных заведений, а знания учащихся. Среди некоторых педагогических кругов ставился вопрос изменить университетское учение и, так как оно ушло слишком вперед, приспособить его к гимназическому уровню. Пирогов категорически не соглашается с этой точкой зрения.

«...Мысль понизить университетское учение до гимназического, и именно потому, что университет ушел слишком далеко вперед, мне кажется такой странной и несовременной, что я не могу на ней остановиться, и потому я, не колеблясь, тотчас бы оправдал вторую меру как единственную для улучшения всего дела. Но вот беда. Гимназий гораздо более, чем университетов, и их нельзя так скоро поднять. Для университетов нужны сотни, для гимназий — тысячи дельных преподавателей; если в университетах нужны деятели, стоящие в уровень с современной наукой, то в гимназиях необходимы наставники, владеющие, кроме сведений, особенным педагогическим тактом; между тем ни правительство, ни самый род занятий гимназических наставников не может им доставить столько средств, чтобы они все были обеспечены от самых вопиющих житейских нужд».

В Киевском университете при попечительстве Пирогова (1858–1861) студенты пользовались демократическими свободами; для них были созданы библиотеки, касса взаимопомощи, ссуда, разрешены были сходки.

Пирогову принадлежит выдающаяся роль в организации первых воскресных школ в России. Письмо киевскому генерал-губернатору И. И. Васильчикову было написано 24 сентября 1859 года. По официальному порядку Пирогов обязан был вначале получить разрешение киевского

генерал-губернатора на открытие воскресных школ, но он обходит установленный порядок и самостоятельно открывает первую воскресную школу для детей рабочих и бедняков в здании Киево-Подольского уездного дворянского училища и лишь после этого извещает И. И. Васильчикова.

«И. И. Васильчикову.

24 сентября 1859 года.

Милостивый государь князь Илларион Илларионович! Некоторые из гг. студентов университета св. Владимира, в видах человеколюбия, изъявили готовность заняться по праздничным дням бесплатным элементарным обучением детей рабочего класса мужского пола. Профессор университета св. Владимира Павлов изъявил, со своей стороны, готовность в педагогическом отношении содействовать этим молодым людям в их общепольном и бескорыстном предприятии.

Во внимание к пользам, какие воскресные школы приносят детям ремесленного и рабочего класса вообще, которые не имеют ни времени, ни средств посещать обыкновенные школы и оттого остаются в совершенном невежестве, не зная ни грамоты, ни закона Божия, я разрешил открыть воскресную школу в здании Киево-Подольского уездного дворянского училища под надзором и руководством профессора Павлова и штатного смотрителя С лепушкина.

Доводя об этом до сведения Вашего сиятельства и прилагая при этом копию программы преподавания в воскресной школе, имею честь покорнейше просить не отказать этому благотворительному предприятию в просвещенном покровительстве Вашего сиятельства.

С истинным почтением и совершенною преданностию имею честь быть Вашего сиятельства покорный слуга Н. Пирогов».

Смелый шаг Н. И. Пирогова не прошел для него бесследно. По распоряжению генерал-губернатора письмо было «отложено особо». К нему была приложена копия программы занятий в школе.

«...Грамоте мы намерены обучать по методу Золотова, лучшему для тех условий, в которых будет находиться предполагаемая нами школа. Соединяя с наглядностью значительное умственное упражнение учащихся, он способствует скорости обучения и не вселяет к нему отвращения — обыкновенного результата всех методов, в которых требуется заучивание самого большого количества складов. Что касается до арифметики, то мы преимущественно имеем в виду сообщить своим ученикам практический навык делать сложение, вычитание, умножение и деление с их поверками как целых, так по возможности и дробных чисел...»

Первые уроки начали вести в зданиях Киево-Подольского дворянского и Киевского уездных училищ по воскресным и праздничным дням с 10 часов утра и до 2 часов дня. В этих воскресных школах преподавался закон Божий, русская и славянская грамматика, русское письмо и арифметика. Учебные пособия — книги, доски, грифели, таблицы были переданы учащимся даром за счет пожертвований лиц, сочувствующих этому благородному делу. Вслед за мужскими воскресными школами вскоре были открыты и женские.

Пирогов лично через представление добивается у генерал-губернатора разрешения на добровольную помощь студентов воскресным школам.

**Представление попечителя Киевского учебного округа киевскому генерал-губернатору о разрешении студентам университета устраивать публичные чтения в пользу воскресных школ.**

«Студенты университета св. Владимира, занимающиеся в воскресных школах, обратились с просьбой к ординарному профессору сего университета Селину принять участие в намерении их открыть в пользу воскресных школ несколько публичных чтений сочинений Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Григоровича, Дружинина, Майкова, Печерского, Авдеева.

Статский советник Селин, сообщая об этом мне и изъявив свою готовность принять в этом деле участие, присутствовать при конкурсных подготовительных чтениях, просит моего по этому разрешения, присовокупляя, что чтения эти предполагается начать в январе будущего года, когда съедется в Киев большое общество и когда, следовательно, можно более рассчитывать на участие публики в деле общественной пользы, а между тем студенты будут приготовляться к этим чтениям.

Имею честь покорнейше просить Ваше сиятельство почтить меня уведомлением, не встретится ли с Вашей стороны препятствий к дозволению студентам университета дать несколько литературных вечеров в пользу воскресных школ».

Препятствий не встретилось. И по разрешению генерал-губернатора студенты начали оказывать помощь воскресным школам. Мало того, 24 марта 1861 года они открывают ежедневную бесплатную школу для начального обучения.

В своем «Уведомлении ректору университета о разрешении открыть ежедневную бесплатную школу для начального обучения» Пирогов писал: «По просьбе студентов университета св. Владимира я разрешил им открыть ежедневную бесплатную школу для первоначального обучения под ближайшим наблюдением адъюнкта Абашева за ходом преподавания в

опой, о чем Ваше высокородие имею честь уведомить».

Вслед за первой воскресной школой в Киеве на Подоле, открытой в октябре 1859 года, точно такие же школы стали создаваться по всей России. Пирогов добивается разрешения на сбор средств в пользу воскресных школ и постоянно доказывает необходимость их в целях просвещения детей рабочих и простого люда.

В письме, адресованном профессору Московского университета И. С. Тихонравову, он говорит о создаваемых в Киевском учебном округе воскресных школах и одновременно указывает на важность наглядного обучения в начальной школе.

«...О ходе и распределении учения Вы узнаете, думаю, всего лучше из прилагаемого отчета. Этот отчет составлен только об одной воскресной школе, находящейся в Киево-Подольском училище. Другая подобная школа, но в меньшем размере, существует в уездном училище; в первую очередь записались до 110... во вторую — до 60 учеников — и малых, и старых. Учение, как я лично в этом убедился, идет очень порядочно; да оно и не может быть иначе: учителя одушевлены рвением учить, ученики — охотою учиться, и притом пропорция учащихся относительно учащихся самая выгодная: на 6 учеников<sup>^</sup> (исключая сводного класса закона Божия) приходится один учитель. В Москве, вероятно, и учеников и учителей наберется еще более. Дай Бог успеха. Дай Бог, чтобы рвение студентов к этому благому делу не охладело и чтобы не было помехи извне. Нужно стараться ввести как можно ранее, то есть вместе с началами грамоты, наглядное учение...

...К сожалению, наши учащиеся еще не умеют сами хорошо обходиться с наглядностью, потому что сами учились не наглядно. Каждое слово, которое ученики научились сложить, разложить и прочесть, должно быть им растолковано наглядно».

В воскресных школах народ обучался бесплатно. Количество их постоянно росло.

В одном из писем к генерал-губернатору И. И. Васильчиков, названном Пироговым «О надзоре за воскресными школами», сообщается следующее.

«...В настоящее время открыто в Киеве в разных частях города 7 воскресных школ; надзор за ними поручен помощнику попечителя, инспектору казенных училищ, директорам и штатному смотрителю уездного дворянского училища.

...Все воскресные школы в Киеве совершенно открыты для желающих посещать их, и таким образом эти школы находятся под открытым контролем каждого посетителя. При таких условиях невозможно

преподавателям без огласки уклоняться от истинной цели воскресных школ и сделать их проводниками к неблагонамеренности.

В воскресных школах обучают только закону Божию и грамоте. Для чтения избираются книги, доступные простому народу, как, например, журналы: «Народное чтение», «Божий мир» и «Детский мир». В этих книгах есть и исторические рассказы о главнейших событиях нашей истории».

Генерал-губернатор, пугаясь неблагонадежности воскресных школ, предлагает «установить строгий надзор, чтобы обучение в них соответствовало желаниям и видам правительства». Министр народного просвещения Евграф Петрович Ковалевский самостоятельных решений никогда не принимал, постоянно исполнял волю только царя. И позже, когда Пирогов ушел в отставку с поста попечителя, воскресные школы были прикрыты.

В Полтаве жил народный учитель А. И. Стронин. Он самостоятельно наладил издание дешевых книг для народа, организовал публичные лекции, мало того, предложил открыть просветительные курсы для подготовки сельских учителей. Активная деятельность А. И. Стронина вызвала настороженное внимание полтавского губернатора.

В 1859 году в Полтаве проездом остановился царь Александр II. Он посетил гимназию, где А. И. Стронин преподавал «свободомыслие» и «крамолу». Наслушавшись сплетен губернатора, царь остался недоволен осмотром и велел в своем распоряжении обратить внимание попечителя на подозрительную деятельность Стронина, Мало того, поползли слухи, что Стронин переписывается с Герценом, и все полтавские корреспонденции в «Колоколе» — это дело его рук.

Пирогов, как попечитель Киевского учебного округа, был послан в Полтавскую гимназию с проверкой. По приезде в Полтаву губернатор привел к Пирогову А. И. Стронина и заявил, что нерадивый учитель ведет постоянную переписку с А. И. Герценом. Мало того, одно из этих тайных писем было лично им перехвачено.

Стронин заявил Пирогову, что с Герценом он никогда не переписывался, и потребовал, чтобы губернатор тут же при нем показал это тайное письмо. К сожалению, у губернатора письма не было, да оно и не могло у него быть, потому что он всю эту историю с перепиской выдумал с одной лишь целью оклеветать учителя. По воспоминаниям А. И. Стронина, Пирогов на просьбу губернатора отлучить полтавского учителя от

преподавания сказал ему: «Очень жаль, ваше превосходительство, но без документальности невозможно мне принять к сведению столь важное обвинение. Тут середины нет: или отдать под суд, или же оставить без последствий. А принимать какую-либо меру по одному подозрению я не решусь, тем более что это отличный преподаватель и до сих пор безупречного поведения».

Мнение Пирогова об А. И. Стронине потрясло губернатора. Не сказав больше ни слова, сердито хлопнув дверью, он покинул Пирогова и никогда уже больше к нему не являлся.

«Перебывавши у всех на лекциях, — вспоминал А. И. Стронин, — где он просиживал по целым часам, не обронив ни слова, и только смотрел и слушал, он (то есть Пирогов)... два вечера беседовал с нами, очевидно, желая раскусить каждого из нас не только по лекциям, но и по частным разговорам. Консервативное дурачье не поняло этого и выложило себя перед ним как на ладони. Мы же... четверо: Выкуловский, Кизимовский, Горвей и я — старались только снабдить попечителя оружием против инсинуации на гимназию. Так, например, когда он спросил о существовании в обществе будто бы недоверия к гимназии, то я возразил, что оно опровергается фактами. Легче всего выразить недоверие людям состоятельным, которые могут выбирать между заведениями, а между тем у нас нет класса, в котором не было бы или сына, или брата, или племянника каждого из местных аристократов. Пирогов обратился к директору и попросил ему дать список всех подобных учеников. Когда речь зашла об архиерее <sup>[129]</sup>, Пирогов спросил, кого он знает из нас лично; и когда оказалось, что не знает меня, то удивился и переспросил вторично: «Как, никогда и не видел?» — «Да, ваше превосходительство, никогда». Вероятно, тот так обвинял меня, как будто бы лично знает. Пощупавши таким образом общество полтавское, и нас, всех и каждого, Пирогов собрался уезжать и собрал всех нас на прощанье в гимназической преподавательской комнате. Никогда до сих пор никого не похвалив и никого не побранив, он хоть теперь, думалось нам, это сделает. Но и теперь сфинкс наш не разрешился. Только крайне косвенно и издалека дал он нам почувствовать, что ему симпатично и что антипатично. Он говорил, что «в обществе существует возбуждение против гимназии. Мотивированное или нет, хорошо или плохо мотивированное, но существует и составляет факт, с которым нельзя не считаться. А потому и вам надо принять его к сведению и чем-нибудь да противодействовать ему или хоть не содействовать с своей стороны. А между тем посторонним лицам вполне известно, что и кем говорится у вас в советах. Этого способа возбуждения, конечно, не было б,



если б вы сами были сдержаннее и не выносили сор из избы (камень, брошенный, очевидно, в огород консерваторов, которые тем только и старались усилить себя, что сплетничали на нас перед всеми и каждым). Борьба мнения и есть необходимое и полезное условие всякого дела; но не надо доводить ее до страстности, когда она становится условием уже вредным (это, пожалуй, и в огород либералов, если не в оба). Впрочем, я не могу доложить государю, что нашел гимназию в беспорядке; это, во всяком случае, было бы неправдой. Прощайте». Дружеский, тихий и отчасти грустный тон дополнил глубокое впечатление этой речи, и мы, несмотря на лагери, простились с этим замечательным человеком с единодушной почтительностью и с готовностью последовать его импозантным внушениям. И, действительно, обе стороны как-то присмирели; в особенности же присмирели консерваторы наши. А немного спустя, когда тот же государь, что сделал замечание нашему директору, дал ему по представлению Пирогова орден на шею, мы окончательно поняли смысл только что произведенной ревизии. Но зато раздражение губернатора тем пуще возросло».

Ревизия Полтавской гимназии показала, что Пирогов по отношению к своим подопечным был не только честен и правдив, но и беспристрастен. На решения его заключения не могли влиять даже губернаторы. Он доверял только своим глазам и уму. Поэтому во всех гимназиях Киевского учебного округа его всегда встречали с доброжелательностью, говоря, что Пирогов единственный из всех попечителей, который властям неподкупен.

Однако эта смелость и независимость в своих суждениях в дальнейшем послужила возникновению неприязни к нему со стороны киевского генерал-губернатора, князя Васильчикова, который в своих доносах царю писал, что идеи попечителя питают вредное направление молодежи и способствуют революционным волнениям.

Трудно было Пирогову в Киеве. Однако он решил оставаться на своем посту до последнего. В своем письме баронессе Раден от 26 ноября 1860 года он писал: «Глубокоуважаемый друг мой. Наконец осуществилось то, что я предчувствовал в течение пяти лет. Министр народного просвещения дал мне знать, что сильная интрига очернила меня и что он не уверен в том, что ему удастся защитить меня и мой образ действий...

Мне советуют принять другое предлагаемое мне назначение и немедленно редактировать в этом смысле мое прошение об отставке, чего я, конечно, не сделаю. Зачем я стану упорствовать в моих попытках быть полезным отечеству моею службою. Разве они не убедили меня в том, что

во мне не хватает чего-то, чем необходимо обладать, чтобы быть приятным и казаться полезным. Правда, средства мои не блестящи, тем не менее я настолько доверяю своим силам и уповаю на милость Бога, что надеюсь не умереть с голоду и довести воспитание своих детей до конца. Чего нам, людям, еще нужно? Стремление к высшим целям и душевный покой, а следовательно, счастье — в нас, а не вне нас, а с этим можно прожить недурно. Итак, я решил спокойно ждать отставки, благодаря Бога и за то, что он сохранил мне чистую совесть и незапятнанную честь. Я могу сказать, положив руку на сердце, что, вступив на скользкий путь попечителя округа, я старался всеми силами и со всею, свойственной моей душе энергией оправдать перед своим отечеством высокое доверие, мне оказанное. Завершая свою служебную карьеру, прошу Вас передать Великой Княгине, что я высоко ценил ее поддержку в трудные минуты моей пятилетней службы и не совершил ни одного поступка, которого не мог бы оправдать перед судом своей совести. Больше этого я не мог сделать, но сделать это было для меня священным долгом. Я знаю, что мне придется выслушать массу неприятного, что в то время, когда я, объявленный неспособным к труду, буду в качестве земледельца зарабатывать себе кусок хлеба, — что на меня посыплются разнообразные обвинения. Да будет так! Так создан свет и таково течение жизни, на которое надо смотреть со стоическим равнодушием. Слава Богу, что моя надежда на Провидение рисует мне предстоящую новую жизнь такую же привлекательною, как и тогда, когда я, по возвращении из Севастополя, хотел удалиться в деревню. Самолюбие мое тоже удовлетворено. Друзья мои, среди которых было мало глупцов, меня любили, а враги, среди которых было немало слабоумных, меня не понимали. Такими результатами жизни еще можно довольствоваться».

Н. Д. Богатинов, преподаватель первой киевской гимназии, вначале был поражен введением Пироговым в педагогику гуманных начал. Богатинов был педагогом дореформенной эпохи и ярким сторонником муштры и дисциплины в школе. И хотя поначалу он настороженно отнесся к нововведениям Пирогова, но затем понял, что новый попечитель внес большое оживление в жизнь школ.

«Пирогов поднял все на ноги, — писал он. — Образовались педагогические советы при участии всех преподавателей с правом голоса. Деятельность преподавателей оживилась. В циркулярах по управлению округом стали печататься различные мнения и суждения преподавателей. Учащиеся привлекались к самостоятельным работам по литературе и русскому языку. Для поднятия уровня образования учителей были

учреждены кандидаты-педагоги. Эти кандидаты обязаны были в присутствии многочисленного комитета, с попечителем во главе, давать пробные уроки в одной из киевских гимназий. Поднялась такая кипучая деятельность в округе, какой едва ли когда и занят был до того учебный мир наш».

Великий педагог того времени К. Д. Ушинский прекрасно понял связь идей Пирогова с его миропониманием и мировоззрением. В своей работе «Педагогические сочинения Пирогова» (опубл. в «Журнале Министерства народного просвещения», 1862 г.) он писал, что Пирогов «взглянул на дело воспитания с философской точки зрения и увидел в нем не вопрос школьной дисциплины, дидактики или правил физического воспитания, но глубочайший вопрос человеческого духа».

Пирогов горячо верил в науку как в одну из самых прогрессивных сил, преобразующих общество.

«В науке кроется такой нравственно-воспитательный элемент, — писал он, — который никогда не пропадает, какие бы ни были ее представители. Наука берет своей, действуя на ум, действует и на вынесшие из школы только одну привязанность к науке, едва узнав первые ее зачатки».

Пирогов считал, что истинный прогресс в науке может быть обеспечен лишь свободой научного исследования и свободой учения.

Следует отметить, что одно из важнейших и подробных писем Пирогова к баронессе Э. Ф. Раден, написанное в феврале 1876 года, касающееся описания покровительницы Пирогова, великой княгини Елены Павловны, а также подробного описания работы Крестовоздвиженской общины сестер милосердия в Севастополе и взгляда на женский вопрос, дошло до нас благодаря писателю П. С. Лескову.

Лесков так же, как и Пирогов, хорошо знал баронессу Раден и часто бывал у нее. Однажды баронессе захотелось, чтобы Лесков прочел некоторые хранившиеся у нее бумаги и высказал свои соображения в плане их литературной ценности и возможности опубликования.

В одном из флигелей Михайловского дворца баронесса вручила Лескову письмо Пирогова, написанное по-немецки. Письмом Пирогова Лесков был потрясен, оно поразило его своею честностью. Переживание и боль Пирогова за свою родину тронули великого писателя. Он тут же сделал перевод его и сберег копию. После смерти Раден Лесков опубликовал это письмо, сопроводив его своим вступлением. «Дерзнем для этого потревожить священную тень Николая Ивановича Пирогова и послушаем, что нам скажет этот истинный мудрец и настоящий деловой

человек. Письмо Пирогова, которое сейчас же будет предложено вниманию читателей, писано в 1876 году». Уже в этих строках видно, с каким уважением и вниманием относился русский писатель к Пирогову.

В Киеве Пирогов занимался не только попечительством, но и лечил людей, оказывая им при этом посильную помощь.

Замечательный русский писатель А. И. Куприн изобразил Пирогова в период его пребывания в Киеве в рассказе «Чудесный доктор». Все описанное в нем действительно произошло в Киеве. Содержание рассказа таково.

В бедном семействе заболел один из четырех малолетних детей. Отец, по фамилии Мерцалов, не имея копейки в кармане, не знает, как ему дальше быть. Совсем недавно он сам переболел брюшным тифом, и на его лечение ушли все скудные сбережения. Когда же он выздоровел, то выяснилось, что место его занято и он остался без работы. Случайная работа дохода не давала. Из-за плохих жилищных условий вся семья жила в закоптелом, сыром подzemелье, где начали болеть дети. Три месяца назад умерла одна девочка, а теперь и другая лежала при смерти. В отчаянии, проклиная свою жизнь, отец идет просит милостыню. И неожиданно в парке, где он уже решил покончить с собой, встречает незнакомца, который, с сочувствием выслушав Мерцалова, представляется, что он доктор, и требует незамедлительно отвести его к умирающей девочке. Незнакомый доктор внимательно осматривает девочку, назначает лечение, выписывая при этом рецепт. Чтобы поблагодарить доктора, Мерцалов просит назвать его фамилию. Но тот почему-то не говорит ее. Мерцалов идет провожать доктора. А когда возвращается, то под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора находит несколько крупных кредитных билетов. А когда он получил из аптеки лекарство, то тут же узнал и фамилию своего благодетеля. На аптечном ярлыке, прикрепленном к пузырьку с лекарством было написано: «По рецепту профессора Пирогова».

А. И. Куприн не выдумал рассказ, а описал случай, действительно имевший место в жизни человека, который поведал ему эту трогательную историю. «Чудесным доктором» был Николай Иванович Пирогов.

«С этих пор точно благодетельный ангел снизошел в нашу семью, — продолжал рассказывать уже сын Мерцалова Куприну. — Все переменялось. В начале января отец отыскал место, матушка встала на ноги, меня с братом удалось пристроить в гимназию на казенный счет. Просто чудо совершил этот святой человек. А мы нашего чудесного доктора только раз видели с тех пор — это, когда его перевозили мертвого в его собственное имение Вишню. Да и то не его видели, потому что то

великое, мощное и святое, что жило и горело в чудесном докторе при его жизни, угасло невозвратно».

Впервые рассказ Куприна был напечатан в газете «Киевское слово» в 1897 году с подзаголовком «Истинное происшествие». Этим подзаголовком Куприн хотел показать читателям, что все описанное им есть истинная правда, действительно имевшая место в жизни хирурга. В Винницком музее-усадьбе Пирогова хранится картина, иллюстрирующая этот рассказ. Ее написали киевские художники В. Кузнецов и В. Сидорук.

Находясь на посту попечителя Киевского учебного округа, Пирогов добивается постоянного повышения квалификации врачей, особенно молодых. В сентябре 1858 года он обращается в Совет Киевского университета о том, чтобы «ежегодно отбираемые из полковых и госпитальных врачей способнейшие прикомандировывались к университетской клинике для усовершенствования в теоретических и преимущественно практических врачебных познаниях, в особенности же по некоторым специальным предметам, под руководством клинических профессоров. В течение годичного срока пребывания этих врачей в клиниках те из них, которые не имеют высшей ученой степени, обязаны держать экзамен на степень доктора медицины. По окончании же этого срока Совет университета, на основании отзывов профессоров клиник, сообщает медицинскому департаменту военного министра сведения о способностях, ученом направлении, прилежании и успехе занятий каждого из сих врачей, которые затем или возвращаются к штатным своим местам, или же отправляются к новым должностям, судя по успехам их и способностям».

28 февраля 1859 года Совет Киевского университета обсудил «разрешение попечителя оставаться при университете на полугодие и больше для совершенствования в практических навыках, в частности, медикам».

Недовольство высших чинов к Пирогову нарастало. В начале 1861 года в докладе царю Васильчиков писал: «Студенты университета св. Владимира требуют особенного наблюдения: между ними замечен дух вольнодумства и стремление заводить партии, не чуждые парламентских замыслов... В учениках гимназии тоже заметно вольнодумство и легкомыслие... Попечителем учебного округа были приняты меры, которые не соответствовали характеру населения и могли не парализовать, но некоторым образом питать вредное направление молодежи...»

Этим докладом попечительство Пирогова ставилось под сомнение. Педагогическая деятельность Пирогова проходила в условиях постоянной борьбы с местной губернской властью. Генерал-губернатор И. И. Васильчиков постоянно требовал от Пирогова усиления тайного полицейского надзора над студентами. Но Пирогов не только не выполнял, но даже не соглашался выполнять эти требования. Возникшие споры по этому вопросу между попечителем, генерал-губернатором и министерством повлекли за собой вызов министром Е. П. Ковалевским попечителей, в том числе и Н. И. Пирогова, на совещание в Петербург с целью «направить единообразно действия их в отношении надзора за студентами».

14 января 1860 года было принято постановление, по которому студенты должны были подчиняться общему надзору полиции и повиноваться их университетскому начальству вне зданий университета.

Пирогов продолжал занимать прежнюю позицию, не извещая ни полицию, ни генерал-губернатора о жизни студентов. Это послужило одной из причин его увольнения.

А. И. Герцен, узнав об увольнении Пирогова, написал: «Пирогов был слишком высок для роли шпиона и не мог оправдывать подлостей государственными соображениями». А сам приказ отставки Герцен назвал «одним из мерзейших дел России дураков против Руси развивающейся».

Указ об увольнении Н. И. Пирогова был подписан 13 марта 1861 года. Увольнялся он под предлогом «расстроенного здоровья, с оставлением его членом Главного правления училищ». Министерство народного просвещения уведомило его об увольнении специальным письмом 18 марта 1861 года, которое Пирогов получил 28 марта. Хотя Пирогов еще ранее получил неофициальное известие о своей отставке от министра Е. П. Ковалевского.

«...Наконец клевете удалось очернить меня, где следует, — пишет Пирогов в письме к И. В. Бертенсону, — и я должен был оставить мой пост, несмотря на мою решимость и уверенность удержать необдуманый порыв учащейся молодежи в взволнованном политическими интригами крае. Я уехал в мое имение и принял выбор в мировые посредники...»

Княгиня Елена Павловна предлагает Пирогову новые должности. Перед уходом с поста попечителя Киевского учебного округа состоялась встреча Пирогова с царем. Вот он как описал ее: «...Государь позвал еще и Зиновьева (попечитель Харьковского округа. — *Прим. авт.*) и толковал с нами целых <sup>3</sup>Д часа; я ему лил чистую воду. Зиновьев начал благодарением за сделанный им выговор студентам во время его проезда через Харьков, —

не стыдясь при мне сказать, что это подействовало благотворно. Жаль, что аудиенция не длилась еще часа; я бы тогда успел высказать все, — помогло ли бы, нет ли, — по крайней мере с плеч долой».

Педагогические взгляды Пирогова и их значение были по достоинству оценены педагогами: К. Д. Ушинским, В. Я. Стоюниным, А. Н. Острогорским и многими другими. Стоюнин говорил, что в России «после «Вопросов жизни» стала развиваться педагогическая литература, которая до тех пор почти не существовала». А идея «автономного университета», которая детально была разработана Пироговым, имела исключительное значение для того времени. Вот как описывает проводы Пирогова из Киева один из участников событий: «На отходящего патриарха-учителя грустно устремлены были все взоры, к нему одному обращались все желания и приветствия. Каждый говорил о нем одном; каждый, оценивая его заслуги, объяснял себе и другим всю тягость испытываемой утраты. Восторженно и одушевленно выражали свои чувства растроганные ученики, а он задумчиво и спокойно говорил нам об одном, не преходящем царстве идеи и утешал нас возможностью и в разлуке постоянно сообщаться мыслями в этом мире идей. Особенно памятными пребудут для нас те минуты, когда устами студента, недавнего гимназиста, будущее поколение общественных деятелей выразило, как оно понимает Пирогова, когда представитель нравственно поднятых им еврейских училищ провозгласил тост за совершеннейшего представителя образованных христиан, когда, наконец, издали раздался голос полтавских гимназистов, просящих своего бывшего руководителя благословить их быть достойными гражданами. В эту минуту мы не жалели о Пирогове. Нет, мы завидовали ему той высокою плодотворною завистью, которая вызывает на благородное соревнование и усиленный труд».

Прощаясь со студентами Киевского университета святого Владимира, Пирогов сказал:

«Я принадлежу к тем счастливым людям, которые помнят хорошо свою молодость. Еще счастлив я тем, что она не прошла для меня понапрасну. От этого я, стараясь, не утратил способности понимать и чужую молодость, любить и, главное, уважать ее.

Нас всех учат: «Почитай старших». Да и не учась, мы бы все это делали: мы имеем стариков отцов, и каждый из нас чем-нибудь да обязан старику... Мы все это хорошо знаем: но не все знают, что и молодость должно уважать.

Она является к нам с ее страстями, вспышками и порывами. Между тем кто не забыл свою молодость и изучал чужую, тот не мог не различить

и в ее увлечении стремлений высоких и благородных, не мог не открыть и в ее порывах грозной борьбы духа за дорогое человеку стремление к истине и совершенству. Попечителем я поставил себе главную задачу поддерживать всеми силами то, что я именно привык любить и уважать в вашей молодости. С искренним доверием к ней, без страха, без задней мысли, с полной надеждою на успех я принялся за трудное, но высокое и благородное, дело. И мог ли я иначе за него взяться, когда, помня и любя время моего образования в четырех университетах, я живо вспоминал и те устремления, которые меня тогда одушевляли; вспоминая, уважал их в себе. Я невольно переносил их и на вас и в вас любил и уважал то же самое, что привык любить и почитать в самом себе. И теперь, расставаясь с вами, я объявляю гласно, что во все время моего попечительства ни разу не раскаялся в образе моих действий...

Я был приготовлен к тому, что не вдруг поймете меня вы и еще менее поймут ваши отцы и целое общество...

Я знал, что немногие у нас разделяют мой взгляд на университетскую молодежь и на университетскую жизнь вообще. Знал, наконец, и то, что меня будут обвинять в слабости, в неумении наблюдать за порядком и в гоньбе за популярность. Но все это не могло изменить моих трудных убеждений, не могло остановить моих действий, основанных на любви и уважении к молодости, на доверии к ее благородству мыслей и стремлению к правде. Не верить в это я не могу, потому, что не мог сделаться плутом, казаться не мною. Это значило бы для меня перестать жить. Я остался мною и, расставаясь с вами, уношу те же убеждения, которые и принес к вам, которые никогда и ни от кого не скрывал, потому что считал преступным скрывать начала, служившие основанием моих действий.

Надеюсь, вы успели также убедиться, что я основывал мои отношения к вам на том нравственном доверии, которое имел право требовать и от вас; потому что действовал прямо и знал, что на молодость нельзя действовать иначе, как приобретя полное ее доверие. Я не приказывал, а убеждал, потому что заботился не о внешности, а о чувстве долга, которое признаю в молодости так же, как и все другие высокие стремления духа. Наконец, вы, думаю, уверились, что для меня все вы были одинаково равны, без различия ваших национальностей. В моих глазах университет, служащий вам местом образования, не должен быть местом других стремлений, кроме научных. Поэтому-то я также искренно желал и вашего сближения с представителями науки в университете, нарушенного, к сожалению, временем и обстоятельствами.

...Расставаясь с вами, прежде чем вполне успел достигнуть моей цели,



буду иметь утешение в том, что оставался верным моим началам, буду счастлив тем, что если и не довел еще ни одного из вас до истинного счастья, то, по крайней мере, ни одного не сделал несчастным.

Итак, прощайте, служите верно науке и правде и живите так, чтобы и вы, состарившись, могли безупречно вспомнить вашу и уважать чужую молодость».

С волнующей речью выступил он и перед общественностью Киева. Впоследствии эта речь, как и все другие прощальные киевские речи, была опубликована отдельной брошюрой. Речь Пирогова и описание проводов перепечатывались в 1861 году почти во всех журналах и газетах.

Первая речь была произнесена 4 апреля 1861 года при прощании с представителями Киевского учебного округа, вторая — 8 апреля в университете святого Владимира при прощании со студентами, и третья — 9 апреля на обеде, устроенном киевскими общественными деятелями. В этой речи, названной «При прощании с Киевом», Пирогов сравнивает труд попечителя с трудом земледельца, засевающего поле ранней весной. По мнению Пирогова, попечитель не только начальник, но он еще и миссионер, действующий не приказом, а убеждением. Именно он, Пирогов, в бытность свою попечителем, словом убеждал учителей и учащихся, объясняя и вразумляя их в пользу того или иного педагогического новшества. Он никогда ни на кого не кричал, слов оскорбления и брани из уст его никто не слышал. Однако, все же сомневаясь в своей деятельности, ибо каждый человек грешен, Пирогов просит передовых общественных деятелей Киева по справедливости оценить свой труд, так как от любого человека народ имеет полное право требовать отчета, и, смотря от деятельности, хвалить или же порицать его. Учение и распространение научных истин Пирогов считал своим святым делом. В своей работе он уважал наставников, и даже если среди них попадались слабые, всячески помогая им советом и делом, чтил их человеческое достоинство и личность. Снисходителен и добр он был и к учащимся, ибо всегда помнил свою молодость. Именно в уважении ближнего Пирогов видит то взаимное нравственное доверие наставников и учащихся, всегда приносящее успех в деле воспитания.

В речи, произнесенной 16 апреля в Бердичеве при посещении им Бердичевского казначейского еврейского училища 2-го разряда, Пирогов говорит, что ему всегда были чужды различия в духе сословий и национальной исключительности. Надо ценить всякую, пусть даже самую маленькую нацию, понимать и любить ее.

После отставки Пирогов жил в селе Вишня, под Винницей, на Украине. В крестьянской хате у него была маленькая больница, в которой он принимал больных и делал хирургические операции. В этом же году, за месяц до отставки Пирогова, царь даровал «волю и свободу» народу. Надвигались большие перемены. Многие крестьяне выражали недовольство. Привыкшие не доверять своим помещикам, они и теперь думали, что их обманывают. Крестьянские возмущения в волостях приняли форму открытых выступлений. Причину волнений Пирогов не понимал. Он считал, что они происходят из-за слабого влияния волостных старшин и других должностных лиц на крестьян. Однако во всех спорах и конфликтах по разделу земли или других предметов хозяйства он всегда защищал крестьян, которые, очень тонко чувствуя доброе отношение Пирогова к ним, всегда обращались к нему за помощью.

3 мая 1861 года сенат утвердил его мировым посредником по введению положений манифеста от 19 февраля 1861 года. Отмена крепостного права и освобождение крестьян проходили нелегко. Реформа обманула ожидание народа. Начались бунты. В одной только Подолии в течение апреля — мая 1861 года волнения охватили более 160 селений с 80-тысячным крестьянским населением. Пирогов был на стороне крестьян, хотя и не всегда понимал причины их волнений. В мировой участок Винницкого уезда, который наблюдал Н. И. Пирогов, входили три волости — Носковецкая, Больше-Жмеринская и Станиславчикская, состоявшие из 13 сел и 18 общин. Пирогов много времени отдает миротворческой работе.

Следит за работой землемеров, оспопрививанием, разрешает споры между помещиками и крестьянами. Почти на всех мировых съездах активно поддерживает крестьян. Требуется уменьшить сумму выкупа и оброка, объясняя это тем, что у многих крестьян нет средств.

В одном из отчетов Пирогов пишет: «При разборе жалобы крестьянина села Кудневцы на помещика, что помещик взял леваду (луг), которая с давнего времени была в пользовании крестьянина, я предложил помещику оставить леваду в пользовании крестьянина». В другом случае помещик заломил у крестьянина огромную сумму за его выкуп. Пирогов защищает крестьянина и доказывает, что сумма, предложенная помещиком, не соответствует действительности.

С трудом крестьяне решались идти на оброк. Хотя они могли при старательной работе выплатить за полгода да еще и себе нажить кое-что. Пирогов объясняет им преимущества оброка, однако большая часть крестьян желала отбывать панщину «до времени». Пирогов много сил и

энергии отдает, чтобы убедить крестьян в преимуществах оброка. Но его старания, к сожалению, не всегда приводили к успеху.

В газете «День» Пирогов публикует два письма мирового посредника. Первое письмо, названное «Письмо из Каменец-Подольской губернии мирового посредника Винницкого уезда», было опубликовано 18 ноября 1861 года и вызвало отклик у многих мировых посредников других губерний. Впоследствии оно не раз упоминалось в статьях мировых посредников Самарской и Воронежской губерний. В письме Пирогов подробно останавливается на причинах нежелания крестьян отказаться от панщины и перейти на оброк. Как ни уговаривал он их лично перейти на оброк, они категорически ему заявляли, что до времени они должны быть на барщине. Не действовало на них и введение уставной грамоты, в которой говорилось об улучшении их жизни и повышении заработной платы. Крестьяне, не понимая дела, упорствовали и по-прежнему желали оставаться на барщине.

«Никто из них в новом деле не хочет быть первым, — писал он, — все думают и говорят: «Посмотрим, что сделают другие, а мы что за выскочки». А в одном имении при проверке уставной грамоты на месте крестьяне мне прямо сказали: «Прикажите, так перейдем на оброк, а сами не пойдем». Так неопытный и малообразованный человек колеблется, когда ему предоставляют выбирать или то, или другое, или третье, когда он не узнал и не испытал еще ни того, ни другого, ни третьего; для него спокойнее исполнять приказания, чем думать, сравнивать и решаться — избирая, что лучше».

Второе письмо, опубликованное 5 мая 1862 года и названное «Разговор мирового посредника о крестьянском деле с любопытным и недовольным», представляет собой беседу любопытного с недовольным. Включается в беседу и мировой посредник. Пирогов подробно останавливается на причинах недовольства крестьян реформой и боязни перейти на оброк.

**«Миров. посредн.** Именно потому, что он не хочет вступать, из ложного страха или ложной надежды, в добровольное соглашение с помещиком и предпочитает ему свое ненавистное старое. Оброка крестьянин не выберет потому, что он ему кажется слишком велик; он ссылается на соседних казенных крестьян, которые действительно платят менее; сколько вы ему ни толкуйте, что у казенных крестьян оброк от времени до времени увеличивается, а у него останется 20 лет один и тот же по Положению, — он не верит или не хочет верить. На выкупов не хочет согласиться с помещиком потому, что при нем необходимо разверстание

полей, перенос сенокосов и усадеб; тут начинаются опять споры о качестве земли, о том, что лучше бы оставить поля по-прежнему, в чрезполосном владении и т. д. С другой стороны, и помещик предвидит: в издельной повинности — неотработанные и недоработанные дни, столкновения с волостными управлениями и посредниками; в оброке — недоимки; в выкупе — невозможность совершенного разграничения. Скажите же откровенно: можно ли при такой обстановке, — не будем говорить: у нас, а у всех и везде, где идет дело о материальных интересах, — ждать истинных добровольных соглашений? Можно ли винить ту или другую — сторону в упорстве, в нежелании сделать взаимные уступки?

**Любоп.** Так вы отвергаете пользу добровольных соглашений и хотели бы одних обязательных?

**Миров. посредн.** Зачем же вы хотите так толковать мои слова! Я желал бы для пользы общей видеть ограниченными добровольные соглашения одним известным и определенным кругом отношений помещика к крестьянину и желал бы ограничения только временного, покуда отношения эти еще не состоялись и не окрепли.

**Недов.** Да, нам придется еще долго ждать, покуда они состоятся и окрепнут.

**Любоп.** Но знаете ли, что все-таки ограничение и обязательность, — это как-то неловко. Как, например, приказать крестьянину: «плати оброк», когда у него нет заработков, и он не знает еще цены денег? Это было бы уже слишком.

**Миров. посредн.** Знаете ли что? Не будем себя пугать словами и не будем задумываться, сделав шаг вперед. Вы все останавливаетесь на оброке и думаете, что я хотел бы его сделать обязательным. Может быть, отчасти вы и угадали. Но я останавливаюсь на оброке только потому, что закон признал его необходимым условием выкупа при содействии Правительства. А я вижу только в одном выкупе окончательную развязку дела. Приобретение земли в собственность и по закону прекращает все отношения крестьянина к помещику; оно соответствует и народному воззрению, которое я ценю не менее вашего, хотя и не соглашаюсь с тем, чтобы законодатель должен был всегда основывать свои действия на народных воззрениях. А если все это так, то в чем же состоит неудобство определить один обязательный для обеих сторон путь к достижению конечной цели? Положим, например, что вы — землевладелец, а я — проживающий с давних пор на вашей земле; мы оба занимаемся земледелием; ваша выгода была, чтобы я как можно более употреблял моего времени на обработку вашего участка, который я был обязан

обрабатывать, а моя — в том, чтобы я более обрабатывал свой; между нами были от этого беспрестанные несогласия; наконец, мы оба согласились обратиться к третейскому суду. Суд решил, что для нашей общей пользы лучше бы было нам разделаться окончательно друг с другом, и чтобы я купил у вас участок, находившийся так долго в моем пользовании, а вы бы мне его продали.

Теперь спрашивается: что было бы удобнее для нас обоих — то ли, что суд, сделав это важное решение, предоставил бы нам вестись друг с другом через добровольные соглашения или бы определил положительно один обязательный для нас способ исполнить его решение?.. Не правда ли, что в первом случае мы бы остались, и, может быть, еще надолго, в таких же самых неприятных отношениях, которые вызвали нас обратиться к суду, и его благое решение для нас осталось бы надолго недоступным; во втором же случае, напротив, на пути, определенном и для нас единственном, не сделались ли бы для нас и добровольные соглашения более возможными?

**Любоп.** Но вы сами сказали прежде, что и теперь, следуя принципу добровольных соглашений, можно постепенно перевести крестьян на оброк, уплачивая им за работы по вольным ценам и высчитывая за землю; а переведя на оброк, доказав им его возможность и выгоды, требовать выкупа при содействии Правительства?

**Миров. посредн.** Действительно, я это советую, но это в моих глазах — то, что называется *pis aller*, необходимое только потому, что нет другого, лучшего средства уладить все дело. Не забудьте, однако же, что я и сам испытываю это средство в предположении, что окончательная развязка не замедлит совершиться; я рассчитываю на то только, что крестьяне очнутся от своих беспокойных просонок, сделавшись собственниками. Я готовлю им веселое пробуждение; но для этого именно не нужно терять времени, чтобы они прежде не пробудились; — тогда успех сомнителен.

**Любоп.** Что же, — вы думаете, — тогда будет?

**Миров. посредн.** Я вам не берусь этого решать. Замечу только одно: не забывайте, что с развитием волостей и сельских общин развивается, очевидно, и корпоративный дух между крестьянами; за одного начинают уже говорить все; это для меня знаменательно. И чем скорее будет сделано наше требование о выкупе при содействии Правительства, — каких бы пожертвований оно нам ни стоило, — чем скорее совершится самый выкуп, — тем лучше для крестьян, тем лучше для нас.

— Убедил ли я вас?

**Любопытный и Недовольный вместе, —** Нисколько».

Много приходилось видеть Пирогову в кампании освобождения

крестьян и злоупотреблений со стороны таких должностных лиц, как судьи, волостные старосты, следователи. Занимая сторону помещиков, они безбожно грабили крестьян при разделе земли и угодий, требуя непомерную с них плату. Пирогов всячески вскрывал злоупотребления помещиков, якобы узаконенные святым «правом» хозяина, и предавал их суду общественности.

К крестьянскому вопросу имеет отношение и записка Пирогова «О земской медицине» от 2 апреля 1872 года. В начале 1872 года Пермская губернская земская управа обратилась к Пирогову за советом по поводу организации в Пермской губернии предупредительной медицинской помощи.

Пирогов сразу же откликнулся на доброе начинание пермяков и в ответе-записке высказал свой взгляд на земскую предупредительную медицину.

«Возможность (для земства), — пишет он в ответе, — быть действительно полезным для населения, при существующих условиях, я нахожу только в сосредоточении наличных сил и средств на некоторые самые вопиющие недостатки. Уменьше ограничиться тем, чему есть возможность помочь в настоящее время, тут главное».

Пирогов предлагает земству вовремя проводить оспопрививание, выявлять случаи заболевания сифилиса, а для предупреждения массовых заболеваний рекомендует создать санитарную комиссию.

На посту мирового посредника Пирогов проявил себя не только как организатор, но и как человек, самым внимательным образом уважающий судьбы и чаяния бедного крестьянина. Многим крестьянам он помог словом и делом, не раз поддерживал и материально.

12 мая 1862 года Пирогов добровольно ушел с должности мирового посредника.

Имение Вишня, ныне село Пирогово Винницкой области, получило название от речки Вишня. Купил его Пирогов после года работы попечителем Киевского учебного округа. Усадьба утопала в садах, а рядом с домом был большой пруд. Земля же имения оказалась очень плодородной.

Вначале Пирогов попытался заняться наведением хозяйственного порядка в усадьбе, однако в окружающих селах и деревнях народ, узнав, что в имении Вишня поселился великий русский хирург, сразу же повалил к нему на прием. В самом имении, принадлежавшем в то время Подольской губернии, Пирогов создал сельскую больницу. Представляла она собой две

хаты-мазанки, сообщающиеся между собой. В одной была операционная, в другой — палаты, рассчитанные на 30–40 коек. Со временем он построил и аптеку, где бедным больным лекарство выдавалось бесплатно. А на своем участке он выращивал многие лекарственные травы. Пирогов с головой окунулся в земскую медицину. Ему хотелось, чтобы простые люди всегда могли получить медицинскую помощь. И он добился этого в Вишне. А от положительных результатов своих операций впоследствии пришел в восторг.

«Целые 25 лет, — писал он, — я занимаюсь хирургической практикой и в хороших и в худых госпиталях, и на открытом поле, в солдатских и госпитальных палатках, в хижинах крестьян и великолепных домах. Я имел достаточно случаев сравнить результаты... Самые счастливые результаты я получил из практики в моей деревне. Из 200 значительных операций (ампутаций, резекций, литотомий и проч.) я полтора года не наблюдал ни одного случая травматической рожы, гнойных затеков и гнойного заражения, несмотря на то, что лечение после операций я предоставлял одним только силам природы».

Успех Пирогова был в том, что он добился чистоты в производстве операций. И хотя операционная располагалась в хате-мазанке, весь хирургический инструментарий и белье обрабатывались тщательнейшим образом.

Некоторые полагали, что Пирогов отправился в Вишню на покой. Но как впоследствии выяснилось, ни о каком покое даже не могло быть речи. К великому хирургу потянулся больной люд, старый и малый, богатый и бедный. После приема больных начинались операции, затем перевязки. К Пирогову в Вишню непрерывно едут за советами и поддержкой молодые ученые и такие же, как и он, седовласые его ученики. И всех он с чистой душой принимает, наставляет и никому не отказывает в совете и помощи. Пирогова вызывают для производства операций в Полтаву, Кишинев, Одессу, Елизаветград (Кировоград). И он, невзирая на распутицу, дождь или холод, едет к больным. Вскоре Вишня стала известна всей России. К Пирогову за медицинской помощью обращается великий русский композитор П. И. Чайковский. Он лечит также и политического заключенного Адама Славошевско-го. Сделав ему операцию, Пирогов, несмотря на запрет полиции, продляет срок его лечения.

Много сил в Вишне отдает Пирогов и научной работе. Только за год своего проживания в имении он обрабатывает и систематизирует более половины материалов, касающихся его хирургической деятельности в

Крымской войне. Так, в деревенской глуши рождается гениальнейший по своему значению и до сих пор не превзойденный труд русского хирурга «Начала общей военно-полевой хирургии, взятые из наблюдений военно-госпитальной практики и воспоминаний о Крымской войне и Кавказской экспедиции».

Министр народного просвещения А. В. Головнин сочувствовал Пирогову, понимая его состояние оказавшегося вдруг не у дел человека. В начале 1862 года ученые круги начали подыскивать авторитетного и знающего руководителя для посылаемой в Гейдельберг группы молодых ученых, готовившихся к профессорской деятельности. Для возрождения русских университетов нужны были европейски образованные молодые ученые, которых в то время в России почти не было. Отсутствие хорошо подготовленных преподавателей университетов «заставило Министерство народного просвещения употребить самые энергичные меры с целью приготовить новых деятелей науки для наших университетов». Поэтому с апреля 1862 года министерство начинает командировать за границу для приготовления к профессорству наиболее одаренных магистров и кандидатов из русских университетов.

Головнин обращается к Пирогову с предложением стать руководителем командируемых на четыре года за границу молодых ученых. Пирогов дает согласие. И 17 марта 1862 года появляется правительственное распоряжение, в котором говорится: «Государь Император по Всеподданнейшему докладу управляющего Министерством народного образования Высочайше соизволил на командирование члена главного правления училищ т. с. Пирогова за границу на 4 года для исполнения разных трудов по учебной и педагогической части».

Пирогов был рад назначению. В своем личном письме от 23 марта 1862 года Головнин подробно рассказывает об обязанностях, которые возлагает на него на время командировки Министерство народного просвещения. «Государь повелел командировать вас на четыре года за границу для исполнения разных трудов по учебной педагогической части. Главное поручение, которое возлагается на вас, по воле государя, состоит в руководстве и направлении тех молодых ученых, коих Министерство народного просвещения отправит за границу для приготовления к профессорскому званию и коим предписано будет являться вам и действовать по вашим наставлениям. Для сего я просил бы вас покорнейше: 1) указывать каждому из тех профессоров, слушание которых



было бы для них всего полезнее; 2) сближать их с такими профессорами; 3) доставлять им средства пользоваться по возможности всеми учебными пособиями; 4) личными советами и руководством оказывать помощь при ученых трудах и 5) наблюдать по возможности за ходом их занятий и сообщать о них министерству с заключением о способностях и познаниях каждого».

Среди молодых ученых, выехавших вместе с Пироговым в Гейдельберг, были такие крупные впоследствии представители науки, как А. А. Потебня, В. И. Ламанский, Е. Ф. Фортунатов, В. И. Герье, А. Н. Веселовский, А. А. Вериге, А. Я. Пассовер, Н. С. Таганцев, А. Б. Думашевский, В. И. Сергеевич, Н. О. Ковалевский и другие. Свои отчеты, касающиеся их познаний за границей наук, они печатали в «Журнале Министерства народного просвещения» за 1862–1864 годы и почти в каждом уважительно сообщали о том, что Пирогов имел большое влияние на ход их занятий.

В своих отзывах попечителю Одесского учебного округа А. А. Арцимовичу Пирогов сообщал о прилежании русских ученых, которых рекомендовал для заполнения кафедр в предполагавшемся к открытию Новороссийском (Одесском) университете. Осуждающий всяческую учебу за границей реакционный публицист М. Н. Катков одно время выступил против наставничества молодых ученых за границей, подразумевая под этим, видимо, деятельность Пирогова. Однако министр народного просвещения Головнин дал ему решительный отпор.

«...Отзывы всех профессоров, — писал он, — как иностранных, так и русских, вообще благоприятны для наших кандидатов, занимавшихся под их руководством. Н. И. Пирогов, принявший на себя, как известно, руководить занятиями кандидатов, занимающихся за границей, постоянно свидетельствовал об их усердии и ревностной любви к науке. Его отзывы имеют для нас особенное значение, потому что едва ли найдется в России хоть один благомыслящий человек, который бы решил усомниться в правдивости того, о чем свидетельствует И. И. Пирогов».

Пирогов постоянно переписывался с Головниным. И почти все его письма, появившиеся в газете «Голос», первоначально были адресованы министру и с его одобрения печатались в газете. А. В. Головнин поддерживал связь с «Голосом». Об этом говорит письмо известного педагога Л. Н. Модзалевского к К. Д. Ушинскому из Гейдельберга от 1 сентября 1863 года. «Пирогов прислал мне статью, — пишет он, — из «Голоса», которую ему прислал министр; из этой статьи я усматриваю, что идет тайная борьба между министерством и Катковым».

В борьбе с Катковым Министерство народного просвещения использует авторитет Пирогова, его смелость и острое перо. Катков был сторонником насаждения «классицизма» в средней школе. Он отрицал и вел борьбу с революционно-демократическими взглядами Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова, а затем выступил и против А. И. Герцена. Защищая развитие русских университетов, Пирогов своей статьей, помещенной в «Голосе» № 281 за 1863 год, доказывает необходимость прогресса науки в России. Он требует бережного отношения к ученым, подающим надежды, и к открываемым новым кафедрам в университетах. «Ни в коем случае, — говорит он, — нельзя терять доверия к учителям. Ибо учитель представляет собой правду в глазах людей».

Попечитель Одесского учебного округа А. А. Арцимович в вопросах о назначениях на кафедры молодых ученых советовался с Пироговым и во всем доверял ему. Он постоянно переписывался с ним. 29 февраля 1864 года по высочайшему повелению государя императора А. А. Арцимовичу дозволено было выехать в Гейдельберг для личных совещаний с Н. И. Пироговым по предмету учреждения Новороссийского университета и для ознакомления с молодыми учеными, приготавливающимися за границей на университетские кафедры.

В беседе, а затем и в письме к А. А. Арцимовичу Пирогов заблаговременно рекомендует на кафедры молодых ученых, проявивших отличные способности к наукам. Так, на юридическую кафедру он рекомендует А. Я. Пас-совера, ставшего впоследствии знаменитым юристом, на кафедру химии П. П. Алексеева, естественной истории — Н. А. Головкинского. Впоследствии список лиц, предлагавшихся самим министерством в профессора нового университета, был составлен Пироговым и лично передан министру.

Пирогов был очень внимателен к своим питомцам.

Он сразу же определял характер их будущей деятельности, что давало ему возможность впоследствии рекомендовать молодых профессоров на открывающиеся кафедры российских университетов. Пирогов не ошибся ни в одном из молодых профессоров и во многом предугадал их важную роль в развитии русской науки.

Со своей стороны, молодые русские ученые поражали Пирогова усердием и ревностной любовью к науке. Перечить характеристике Пирогова, даваемой тому или иному ученому, вряд ли кто мог, ибо едва ли мог найтись в России хоть один благомыслящий человек, который мог усомниться в правдивости того, о чем свидетельствовал Пирогов. Контингент ученых, которыми руководил Пирогов, был самый что ни на

есть разнообразный. Здесь были историки, словесники, математики, юристы и медики. Многие ученые из-за напряженных занятий в библиотеках, лабораториях и госпиталях расстраивали здоровье и выходили из строя на несколько дней. Но затем, придя в себя, вновь продолжали битву за науку. России как воздух нужны были ученые. И они, понимая все это, старались оправдать возложенную на них честь. Ни о ком с таким уважением знаменитые немецкие профессора не отзывались, как о русских. Они удивляли их своим старанием и жаждой как можно скорее все познать.

Двухгодичный срок пребывания за границей был для молодых ученых мал. И Пирогов, понимая это, учил их не рассеивать силы на изучение всех частей той или иной науки, а стремиться, изучать под руководством знаменитых наставников самую что ни на есть малую частицу науки, чтобы затем у себя на родине найти ей дальнейшее приложение. Ибо из своего опыта он знал, как чревато неуспехом быстрое, поверхностное изучение всех частей науки: в погоне за всем можно пройти мимо огромных и важных проблем.

В своих беседах с учеными Пирогов настоятельно требовал, чтобы они как можно раньше познали самих себя, выявили, что им еще недостает для совершенства знаний, И почти постоянно просил их отказываться от самолюбия, гордости и чванства.

Профессор Н. О. Ковалевский, ученик Пирогова по Гейдельбергу, впоследствии став ректором Казанского университета, с теплом отзывался о советах известного ученого. 53-летний Пирогов поражал его высочайшей эрудицией, философской глубиной мысли и феноменальной памятью. В общении с молодыми учеными он был очень прост, и они часто принимали его за своего. Мало того, своей юношеской горячностью к приобретению знаний он страстно всех заражал и увлекал. Молодые ученые ходили за ним толпой, стараясь запомнить все его советы и наставления. Сам Н. О. Ковалевский, чтобы извлечь для себя от Пирогова что-нибудь новое, с увлечением искал его всюду. Никто из профессоров не мог лучше Пирогова научить скорейшему и вместе с тем добротному овладению знаниями. Почти во всех университетах Германии обучались русские ученые. Пирогову постоянно приходилось посещать не только Берлинский, но и Геттингенский, Боннский, Гиссенский, Австрийский университеты. И везде его встречали с радушием и признательностью. Дружеские теплые беседы с молодыми учеными порой продолжались день и ночь. Память у Пирогова была отменная. Почти всех он их знал по имени. Часто те удивлялись этому и спрашивали его:

— Господин профессор, мы встречались с вами всего два раза, а вы всех нас помните и почти все о нас знаете. Как вам это удается?

Пирогов, разгладив усы и поправив бородку, улыбался. А затем задумчиво отвечал:

— Кто из учителей не знает, чем занята голова каждого из его учеников в то время, когда он учит, тот не учитель. Добрая половина нашей молодежи пропадает для науки именно от того, что спозаранку не сумели обращаться с ее внимательностью, не следили за внутренней зевотой в училищах и давали завестись в душе той пустоте, которая проглядывает и в наших нравах, и в нашей литературе, и в наших убеждениях.

Пирогов советовал так же быть очень внимательным при чтении лекций. Готовить их надо заранее и читать по отредактированным, полным смысла и содержания записям. И хотя мнения по этому вопросу разделялись, так как некоторая часть ученых считала, что будущие профессора должны заниматься не читкой лекций, а только наукой, Пирогов все равно объяснял им, что как бы то ни было, но профессор обязан донести до своих учеников свои мысли, пусть они даже будут и не в виде лекций, а в виде печатного слова, которые должны и обязаны прочесть его ученики. Без лекций нет профессора. Лекции препятствуют научному застою. Они будоражат мысль, увлекают ее и обогащают. Так считал Пирогов и этому самозабвенно учил своих учеников.

— Но разве можно читать свою только открываемую науку другим? И тем более только собранную по запискам? — спрашивали его ученые.

— Можно! — уверенно произносил Пирогов. — Читайте, если уж вам суждено читать по запискам, но печатайте их тотчас же, говорите прямо и открыто, что вы знаете и чего не знаете. Не имейте задней мысли: «Для света это еще рано издавать, а для аудитории годится, с рук сойдет». Уважайте вашу аудиторию, будет ли она достойна уважения, нет ли; помните, что всякий ваш ученик — это будущий вы... Это нам, русским, испытавшим уже не раз, что значит университетский дефицит, должно всего более помнить, когда мы попадаем на кафедру. К сожалению, я узнал сам эту истину слишком поздно и советую вам узнать ее как можно раньше.

Пирогов учит ученых не бояться своих слов на лекциях и при необходимости сразу же их печатать. Лекции, содержащие новую науку, должны передаваться из рук в руки. Тем более когда через несколько лет постаревший ученый прочтет свою первую лекцию, поправляемую им не раз, то вся его научная деятельность предстанет перед его глазами как в зеркале. Пирогов учит молодых профессоров постоянной активности в науке. По его мнению, усестись потеплее в хорошенькое место для

профессора есть великий грех. Ученый всегда должен стремиться к новому, к открытиям, к кипучей деятельности.

— Помните фразу против лени, — говорит Пирогов ученым. — «Господи, не введи нас в искушение». Именно эти-то первые пять лет и самые важные для нас. Если в это время не будет для нас стимула, так прощай наша будущая деятельность. Кто будет хлопотать только о том, лишь бы усесться поплотнее — а такие найдутся, в семье не без урода, — так тот может в это время пустить глубоко корни, так что ему после, пожалуй, не нужно будет писать ни записок, ни руководств. Я знал такие примеры, и знал людей недюжинных, которые мне лет двадцать назад говорили, что они составляют руководство по своему предмету, да так и теперь все еще составляют. Нет, такие термины не по нашей славянской натуре, что с самого начала сделано, то и сделано, а откладывать в длинный ящик — это нам нездорово.

С большим вниманием слушали русские ученые советы Пирогова. Многие он открывал им заново. Его опыт и мудрость помогли им за границей как никогда.

Многие эти беседы Пирогова, дополненные размышлениями о педагогической деятельности в германских и отечественных университетах, составили своеобразный цикл «Писем из Гейдельберга», первоначально опубликованных им в газете «Голос» в 1863–1864 годах. Письма объединены общностью содержания, и одно продолжает другое. Более всего из беседы состоит письмо Пирогова от 12 (24) января 1864 года, названное «По поводу занятий русских ученых за границей».

Все они проникнуты гуманизмом и свободомыслием. В этих письмах Пирогов предстает перед нами как смелый педагог-реформатор. В них чувствуется не теоретическая отвлеченность от жизни, а богатый личный опыт и сравнительная наблюдательность по отношению к передовому для того времени преподаванию в Германии. Пирогова, как никого другого, волнует университетский вопрос. Российские университеты должны стать самыми передовыми. Пирогов требует их самостоятельности и полной свободы слова и мысли в них. Университеты надо оборудовать всеми средствами, какие только имеются под рукою. Должно возрасти и влияние университетов на гимназию. Ибо жизнь гимназическая отражается на жизни университетов.

К мнению Пирогова прислушивались и с ним считались. Потому что он знал университет и как студент, и как профессор, и как попечитель. Он, как никто, познал всю систему русского образования и в отстаивании ее прогресса был горячим патриотом не на словах, а на деле, что очень редко

было в то время. Своим действенным патриотизмом он не давал покоя чиновникам, даже находясь за границей. «Письма из Гейдельберга», написанные им по свежим впечатлениям и сразу же им опубликованные, яркое свидетельство его неутомимой, кипучей деятельности.

Пирогов говорит, что учиться надо по призванию, но, даже окончив университет, надо постоянно усовершенствовать свои знания. Сравнивая обучение в Германии и в России, он пишет: «...Причину нашей ненормальности отыскать, конечно, нетрудно. С одной стороны, отношение пространства к народонаселению мешает у нас распространению образования, а с другой, искусственный стимул — права по службе и казенный хлеб — притянул в наши университеты пролетариев. Бедность, оставив за собою исключительное право образования в наших университетах, и побуждает, и препятствует учиться. Оттого студентов довольно, относительно даже много, а желающих усовершенствоваться в науке мало. Это — факт, который едва ли обнаруживается где-нибудь так резко, как у нас. Поэтому и наши университеты получили другое значение, чем в Германии. Поэтому у нас и нужно еще более, чем в Германии, заботиться о реальном образовании...

...В Германии многие науки вовсе не излагаются в целости или систематически; в России пауки во всех университетах излагаются не иначе, как систематически и в полном объеме.

В Германии систематические курсы наук практических, опытных, естественных сжаты, коротки, элементарны, но зато соединены всегда со множеством опытов, демонстраций и излагаются как можно нагляднее. В России эти же самые курсы при пространным изустном изложении растянуты иногда на целые годы и часто в ущерб наглядности. В Германии при самых скудных доходах многих местностей и правительств профессора опытных наук располагают всеми современными средствами для наглядного преподавания. В богатой России почти от каждого преподавателя реальных наук услышишь жалобу на недостаток и скудность средств в лабораториях, музеях и т. п.

...Наш недочет в профессорах — и количественный и качественный, — падающий упреком на последнее 25-летие университетской жизни, у нас приписывают одним стеснительным мерам, недозволяющим высылать молодых людей за границу, а между тем не замечают, что он еще более зависит от обязательной системы с ее формализмом и того экзаменационного направления в учении, которые господствовали у нас в течение этого времени и в гимназиях, и в университетах, превращая содержание в форму, парализируя призвание к науке и заглушая всякую

охоту к самостоятельному научному труду.

...Мы не должны обольщать себя софизмами о каких-то особенностях славянской природы и вашего общественного строя, требующих будто бы и других способов народного просвещения. Мы должны пользоваться своим выгодным положением в науке и употреблять все прогрессивные средства, доставляемые более образованными нациями, в нашу пользу. Пусть наши университеты остаются, как везде, для избранного меньшинства. Но пора, пора дать возможность специально-научного образования и менее избранному большинству. Должно непременно учредить и политехнические отделения — и, сколько можно, в связи с университетской наукой. Введением этого образования в университетах мы сэкономим и образуем умственный капитал, растрачиваемый теперь без цели и скрытый без оборота. Оно вместе со свободой учения и научного исследования восстановит и потрясенное доверие к авторитету представителей науки, а это спасет нас и от лжеучений, и от злоупотреблений свободой».

Пирогов к личности преподавателя предъявлял высокие нравственные требования. Педагог обязан нести ответственность за результаты обучения. В «Письмах из Гейдельберга» читаем: «Пусть учится только тот, кто хочет учиться, — это его дело. Но кто хочет у меня учиться, тот должен чему-нибудь научиться — это мое дело — так должен думать каждый совестливый преподаватель».

Пирогов осуждал, когда учеников еще даже в пятивосемилетнем возрасте насильно заставляли учить иностранный язык, особенно французский. Это насилие затирало родное слово. Чужое слово не должно иметь права нарушать самостоятельность родного языка.

Засилье французского языка, для всех русских, Пирогов считал великим позором.

«...Говорить детям и недетям одной народности между собой на иностранном языке, — пишет Пирогов в «Дневнике старого врача», — без всякой необходимости, для какого-то бесцельного упражнения — это, по моему, верх нелепости, и, главное, нелепости вредной, мешающей развитию и мысли, и отечественного языка.

...И я остаюсь убежденным в том, что наш обычный способ обучения малолеток — едва не грудных младенцев — французскому и английскому языкам нелеп; он позорит национальное чувство, нисколько не содействуя к распространению научных знаний и к расширению мыслительного кругозора в нашем отечестве.

...Можно ли ждать быстрого прогресса в развитии родного языка, пламенной мысли, науки и искусства в стране, где около трона, в высших

кругах, в салонах, детских, будуарах слышится говор туземцев на чуждом им языке и где знание его сделалось не средством, а целью образования?

Это превращение временного средства в конечную цель лишило нас научной и классической литературы, послужив вместе с тем препятствием распространению охоты к чтению на русском языке».

В один из дней к Пирогову обратилась делегация русских студентов, обучающихся в местном университете, чтобы он осмотрел раненого Джузеппе Гарибальди, который находился в итальянской Специи. Студенты предложили деньги для оплаты дорожных расходов. От денег Пирогов отказался и на следующий день выехал в Италию.

В августе 1862 года Гарибальди был ранен в бою под Аспромокте и по приказу короля заточен в крепость. Затем помилован и отправлен на лечение в Специю. Ранен Гарибальди был в ногу, многие знаменитые врачи, смотревшие его, расходились в постановке диагноза. Не могли найти в ране пулю. Не один раз предлагалась ампутация ноги, от которой Гарибальди категорически отказывался. Осмотрев Гарибальди, Пирогов сделал следующее заключение: пуля находится в кости, и спешить с ее извлечением пока не надо. Он сделал осмотр легко и спокойно, и не совал свой палец в рану, как это делали другие врачи. Вот как описал он свой осмотр.

«Разве недостаточно здравого смысла, чтобы сказать с положительной точностью, что пуля — в ране, что кость повреждена, когда я вижу одно только пулевое отверстие, проникающее в кость; когда мне показывают куски обуви и частички кости, извлеченные уже из раны; когда я нахожу кость припухшею, растянутою, сустав увеличенным в объеме? Неужели можно, в самом деле, предполагать, что такая пуля и при таком выстреле могла отскочить назад, пробив кость и вбив в рану обувь и платье? Можно ли такое предположение хотя на минуту привести в сомнение мыслящего человека? Но если, с одной стороны присутствие пули в ране Гарибальди и без зонда несомненно, то, с другой стороны, зонд, не открыв ее в ране, несколько бы не изменил моего убеждения. И действительно, больного уже не раз зондировали, а пули не отыскиали...

Наконец, не в одном материальном отношении считаю я зондирование Гарибальди покуда бесполезным и даже вредным; оно может сделаться вредным и в нравственном отношении, если поколеблет доверие больного...

Все искусство врача состоит в том, чтобы уметь выждать до известной степени. Кто не дождавшись и слишком рано начнет делать попытки к



извлечению, тот может легко повредить всему делу; он может наткнуться на неподвижную пулю, и попытки извлечения будут соединены с большим насилием... Кто будет ждать слишком долго, тот, например, без нужды дождется до полного образования нарыва, рожи и лихорадки...

Мой совет, данный Гарибальди, был: спокойно выждать, не раздражать много раны введением посторонний тел, как бы их механизм ни был искусно придуман, А главное — зорко наблюдать за свойством раны и окружающих ее частей. Нечего много копаться в ране зондом и пальцем...

В заключение скажу, что я считаю рану Гарибальди не опасной для жизни, но весьма значительною, продолжительною..»

Из опроса Гарибальди было также установлено, что выстрел был сделан с расстояния в триста шагов конической сардинской пулей, снизу вверх. Из раны выходили небольшие кусочки губчатой костной ткани и омертвелой фасции. По совету Пирогова Гарибальди перевели из тесной комнаты в светлую залу, где было больше свежего воздуха. Затем было рекомендовано покинуть Специю и сменить сырой климат на сухой. Гарибальди поверил Пирогову и стал следовать всем его советам. И чудо, на двадцать пятый день лежания пуля приблизилась к поверхности раны и была без всякого труда извлечена. Нагноение раны стало уменьшаться. Через несколько дней исчезла и отечность ноги. Ни о какой ампутации теперь не могло быть и речи, хотя некоторые хирурги все равно шли по непонятным соображениям против своего долга и, даже когда пуля уже была извлечена, требовали срочной ампутации.

«...Правда, уже и теперь, — писал Пирогов, — слышались голоса о необходимости отнятия ноги; но эти грозные мысли произошли, мне кажется, не столько от серьезных научных убеждений, сколько от закулисных или, лучше, запостельных обстоятельств. И больной Гарибальди, точно так же как и здоровый, не перестает быть предметом действий различных партий».

Пирогов отстоял свою позицию, и ампутация была категорически исключена.

«Поступок Пирогова с Гарибальди, — вспоминал К. Д. Ушинский, — не мог увеличить моего уважения к нему только потому, что более уважать кого-нибудь, как я его уважаю, нельзя».

Большую помощь оказал Пирогов в то время и молодому биологу Мечникову. Пирогов добился, чтобы тот постоянно получал стипендию и попал в число поднадзорных ему людей.

В течение 1863 и 1864 годов были изданы два тома трудов Пирогова: «Начала общей военно-полевой хирургии». Вначале они вышли на

немецком языке, а в 1865 году на русском.

В России «Начала общей военно-полевой хирургии» увидели свет не сразу.

К Пирогову, проживавшему в то время в Гейдельберге, явился лейпцигский книгоиздатель Ламиль и предложил ему написать курс военной хирургии, который будет напечатан в Германии очень быстро и за счет издателя. Вот как писал Пирогов об этом предложении министру народного просвещения А. В. Головнину. «Сначала я было не решался. Но, попробовав однажды, так втянулся в работу, что уже большую половину книги написал и хочу ее кончить... Трактата Общей хирургии до сих пор еще нет и на немецком языке. Между тем я полагаю, что для военных врачей именно общая хирургия, примененная к военно-полевой практике, дело очень нужное».

Пирогов, постепенно увлекшись написанием книги, через восемь месяцев закончил свой труд, вобравший в себя весь его тридцатипятилетний научный опыт. Книга вышла в Лейпциге в 1864 году, и сразу же ей заинтересовались в России. За идею издать ее начало биться военно-медицинское ведомство и Министерство народного просвещения во главе с министром А. В. Головниным, который ходатайствовал перед министром финансов об ассигновании 2500 рублей для субсидирования русского издания книги.

После выхода на немецком языке, «Начала общей военно-полевой хирургии», значительно дополненные и расширенные, сразу же вышли и на русском.

«Можно было бы думать, — писал Пирогов в предисловии, — что русское издание представляет собой перевод немецкого, однако это не есть перевод с немецкого. С моей стороны было бы непростительно предлагать соотечественникам перевод, сделанный мною из моей же книги. Напротив, «Основы общей военно-полевой хирургии» есть перевод с русского. Материалы и все данные были составлены по-русски. Для русских врачей я счел необходимым дать моей книге вид руководства и для этого изложил гораздо подробнее результаты, добытые современною хирургиею других стран в последние три войны...»

«Начала общей военно-полевой хирургии» имели огромный успех. Книга разошлась необыкновенно быстро. Такого труда ни военные, ни гражданские ведомства еще не знали... В этом труде Пирогов предстает перед нами как хирург-мыслитель. Говоря о будущем профилактической медицины и ставя во главу всего лечебного процесса предупреждение той или иной болезни, он также подчеркивает и важность на поле боя

организации всего медицинского дела, куда входит и сортировка, и перевязка раненых. Более подробно в своей работе Пирогов останавливается на причинах воспаления органов и тканей. В отличие от многих заблуждавшихся в то время ученых Пирогов доказал, что воспалительный процесс является местным проявлением реакции всего организма на чрезмерное раздражение, которое в настоящее время прозвано инфекцией. В своем труде Пирогов описывает массу новшеств, изобретений и предложений. Им досконально были описаны почти все закономерности клинического течения огнестрельной раны, чего никто ни до Пирогова, ни после него не делал. Н. И. Пирогов долго не публиковал своих впечатлений о днях обороны Севастополя, но когда он ознакомился с отчетами медицинской службы неприятельской армии, то «...решился возобновить в памяти прошлые впечатления, разобрать скопленный и уже было заброшенный материал, напомнить и Европе, и русским врачам, что мы в Крымскую войну не были так отставшими по науке, как это можно было бы заключить из нашего молчания».

Именно на опыте Крымской войны Н. И. Пирогов понял, что в военное время весь успех зависит больше от правильного врачебно-административного распоряжения, чем от искусства врача. Ибо с вопросом о значении административно-организационной деятельности медицинской службы на войне тесно связана сортировка раненых и больных, что в целом решает и правильность проведения всего лечебно-эвакуационного обеспечения войск.

«Я первый взял сортировку раненых, уничтожив этим господствовавший на севастопольских перевязочных пунктах хаос, и горжусь этой заслугой...»

В пятидесятых годах прошлого столетия хирургия была увлечена воздушной теорией распространения гнойного начала. Внимательно изучив эксперименты Вебера, ярого сторонника воздушной теории, Пирогов устанавливает ошибки эксперимента и доказывает, что воздушный путь распространения гнойного начала не единственный, а один из многих. Пирогов убежден, что в распространении гнойного заражения главная роль принадлежит не столько воздуху, сколько окружающим предметам и даже медицинскому персоналу. Заразное начало может находиться на всех предметах, которые соприкасаются с раной.

4 апреля 1866 года, когда император Александр II вместе с герцогом Лейхтенбергским и принцессой Марией Баденской гулял в Летнем саду, в него выстрелил студент Дмитрий Каракозов. Царь чудом остался жив.

Когда Каракозов целился, мещанин Комиссаров ударил его по руке.

После этого случая по всей стране начались суды и расправы. Буйствовал генерал-палач Муравьев-вешатель. Новый министр народного просвещения граф Дмитрий Толстой, обер-прокурор Священного Синода без всяких церемоний освободил Пирогова от возложенных на него поручений, а сам институт профессорских стипендиатов признал вредным и разогнал. Пирогов вновь был вынужден уехать в свое имение Вишня, где он продолжает писать свои научные труды и автобиографические воспоминания «Вопросы жизни. Дневник старого врача».

Пирогов обладал глубоким аналитическим умом. Соприкасаясь с самыми разнообразными сторонами жизни и с самыми разнообразными людьми, он подолгу жил в деревне и городе, и хорошо знал как русскую, так и западноевропейскую культуру.

«Когда лета не располагают уже к увлечению, — писал Пирогов, — то начинаешь понимать, как легко можно увлечься не одними мечтами, но и тем, что так трезво, точно и положительно, как опыт и факт. Есть вещи на рвете, к которым и такое надежное средство, как опыт, Неприменимо, а между тем эти вещи — это вопросы жизни. Если мы желаем наше мировоззрение сделать влиятельным в нашем нравственном быте, а это именно сделалось для меня необходимостью, то мы не должны основывать его на одних положительных, чисто фактических и чувственных данных. Мы не должны ослеплять себя кажущейся основательностью там, где дело идет об одном представлении или, вернее, только о возможности представления и его уяснении для себя; тут нельзя требовать ничего другого, как только того, чтобы в этом представлении не было явных противоречий, и чтобы оно было как можно менее несообразно, то есть сообразовалось бы, сколько можно, с нашими фактическими знаниями и не заключало бы в себе более противоречий, чем сами эти знания».

Пирогов признает мировой разум, и от его признания переходит к вопросу о Боге. «Ум конституционный и положительный, — пишет он, — может быть только деистом и пантеистом. И тот и другой свою исходную точку находят в творческой силе, но один переносит ее вне мира, а другой в сам мир. Ум, по-видимому, не менее положительный может остановиться и ближе, приняв самую вселенную за Бога». «Такое мировоззрение весьма заманчиво для юного ума», — и Пирогов в молодых годах, как отчаянный специалист науки, был к нему склонен. «Для чего, думалось мне во времена оны, служит предположение о существовании Бога? Что объясняется в мироздании? Разве материя не может и не должна быть

вечной?»

«Но лета, а с ними и другой образ жизни, и другие, как я уверен, более прочные думы убедили меня в полной неосновательности этого мировоззрения и наносимом им (рефлексивном) вреде самому уму. Если и всякое размышление требует исходных точек, то при размышлении о предметах отвлеченных ум, не находящий нигде самой крайне и, так сказать, неприступной опоры, не может сделать ни шагу вперед, не подвергаясь опасности потерять ее и заблудиться. Основать же точку опоры на вселенной — значит строить здание на песке. Главная суть вселенной, несмотря на всю ее вселенность и вечность, есть проявление творческой мысли и творческого плана в веществе (материи), а вещество подвержено изменению (в составе и виде) и чувственному (научному) расследованию».

«Все же изменяющееся (как и в чем бы ни было) должно иметь не одни положительные, но и отрицательные свойства; а все подлежащее чувственному анализу и расследованию не может считаться за нечто законченное, абсолютно верное и определенное. Но молодой ум так же, как и желудок молодых людей, все переваривающий, легко усваивает себе, как я узнал из опыта, и пантеистическое мировоззрение, не ощущая, до поры и до времени, несносных колебаний, ни сотрясений от шаткости основы. Верховный разум и верховная воля Творца, проявляемые целесообразно, посредством мирового ума и мировой жизни, — вот основа основ человеческого ума, вот то прочное и неизменное, абсолютное начало, далее которого нельзя идти положительному уму, не сбившись с толку и пути. Таким представляется оно моему складу ума, блуждавшего немало в непроходимых дебрях и топях».

Что же такое вера и способность верить по Пирогову?

«Вера — это чистое отвлечение души: тут нет никаких мирских целей и задач. Вера необходима, как самая глубокая потребность души, индивидуально для каждого более, чем для общества. В душе каждой человеческой особи есть частичка не от мира сего, ищущая себе и духовной пищи».

«Вера без самосознания немыслима. Свойство же нашей способности верить таково, что она проявляется для нас как бы отрешившеюся от всех других чувственных представлений: конечно, это мираж. Чувства, необходимые для нашего бытия и самосознания, безусловно необходимы и для осуществления в нас способности верить; но как скоро, при развитии этой способности, самосознание наше, отвлекаясь от чувственного сознания, перестает следить за ним и сосредоточивает свою деятельность в другой области представлений, отвлеченное (более или менее) от

чувственного самосознания и как бы сосредоточенное в самом себе, наше самосознание творит внечувственные идеалы. К ним, к этим сверхчувственным идеалам, приводит неминуемо наша способность веровать в высшем ее развитии; на низших же степенях развития она еще напоминает, как и все человеческое, о безусловной зависимости от чувственного».

Пирогов указывает, что христианство, сделавшись государственной религией, ударило в формализм: «Тогда оказался необходимым для государственной церкви и обязательный догматизм веры; и целый ряд вселенских соборов устанавливает догмы и формулы догм, предписывает, как и чему веровать, чтобы быть христианином. Свобода совести отходит на задний план. Место глубоко прочувствованного идеала веры и свободного полета души, желающей сближения с ним, заступают символические обряды мистерии<sup>[130]</sup>, игравшие такую видную роль в политеизме<sup>[131]</sup>, и т. п.

Дошло, наконец, до того, что вместо недостижимо-высокого идеала, нареченного быть мотивом всех наших дел и нравственных стремлений, выступили на первый план все эти церковные обряды и требы. Вместо смиренных, исполненных благодати и любви учителей явились непогрешимые папы-государи и надменные патриархи, заводившие споры о первенстве».

Однако в отличие от Л. Н. Толстого Н. И. Пирогов в критике церкви дальше не пошел. В своих трудах он находит путь к примирению с тем, с чем великий мастер слова мириться не мог.

«Между тем я должен сказать, что как ни слабою, с историко-критической точки зрения, кажется мне историческая сторона христианства, я, как человек, верящий в предопределение и не допускающий ничего случайного по принципу, вижу в истории развития церкви событие роковое, повлиявшее существенно на развитие культурного общества. И именно то обстоятельство, что христианство, вместо не нуждавшегося ни в какой внешней обстановке исповедания, делается государственной религией, утвержденною на догматах, и обеспечивает дальнейшее его развитие, его судьбы и влияние на народные массы.

...Как бы догматизм и обязательность государственной церкви, иерархизм, обрядность мне лично ни казались противными духу учения Христа, я не должен увлекаться моими личными склонностями и не в праве не признать все эти явления на почве христианства необходимыми».

К социалистическим учениям Пирогов относился отрицательно. Он считал, что они неприменимы к русской жизни и благотворное влияние

могут оказывать только на Запад.

«Пусть бы утопии их находили себе на Западе оценку и поддержку; там национальная культура, может быть, и выработает для себя что-нибудь дельное из миража.

...Индивидуализм на Западе успел развиваться и подавить стадные свойства народов гораздо больше, чем у нас.

...Но нам, с нашей Азией на плечах, проводить, хотя бы и с самыми благими намерениями, нечто сходное и как бы сочувственное западным современным утопиям по малой мере странно. Что поделаешь со стихийными силами племен, в стране обширной, малолюдной, на востоке азиатской и кочевой, немало еще и везде пропитанной азиатским элементом? Как управлять и организовать управление, если стадные свойства будут находить поддержку со стороны правительства и культурного общества? Возможно ли, не способствуя нисколько развитию индивидуализма, а, напротив, устраняя его, утверждать, что племенные стадные свойства вдруг или незаметно перейдут в какую-то интеллигентную ассоциацию? Не утопия ли это также своего рода?»

Несколько покушений на Александра II, в итоге 1 марта 1881 года закончившихся его убийством, дали Пирогову повод высказать свой взгляд на действия террористов.

«Между государственным и простым убийством нет никакого различия», — говорил Пирогов.

Склонность интеллигентной молодежи к насильственным мерам идет от эпохи Николая I. Еще в сороковых годах, под влиянием крепостного права, встречал Пирогов затаенную страшную злобу в народе. С освобождением свободное крестьянство представило «ту арену, на которой возникает со всеми аксессуарами тайная и явная борьба между новыми, вызванными на свет эмансипацией, стремлениями и государственной властью, — то, до необходимости, поощряющей, — то подавляющей вызванные ею на свет стремления. На крестьянство действует, с одной стороны, власть, по своему естественному праву стремящаяся укрепить и усилить себя освобожденной ей стихийной силой; с другой стороны, новое еще недозревшее поколение, с новыми пришлыми известными стремлениями, ищет в этой же стихийной силе почвы и материала для осуществления своих стремлений.

...Недовольство, легковерие, податливость и невежество крестьян всего более на руку той части культурной молодежи, которая ищет, во что бы то ни стало, сближения с меньшей братией.

...Стремление молодежи к сближению с народом заслуживает самого

серьезного внимания и не одной администрации, а истинно государственных людей. Причину этого курьезного стремления, кроме интернациональной, социалистической пропаганды, я нахожу, главное, в том, что у нас нет настоящего культурного сословия. Наше факсимиле культурного сословия трень-брень: кое-какое чиновничество, кое-какое купечество, кое-какое духовенство, все частичное; есть особи такого сословия, но самого сословия нема. И вот культурная наша молодежь, которая, при вступлении России, после эмансипации, на торную дорогу европейского прогресса (другого мы в XIX в. не знаем) должна бы представлять самый надежный контингент к образованию настоящего интеллигентного сословия за неимением кадров этого сословия, поворотила в сторону и ищет соединить свои будущие интересы о будущими же крестьянскими».

Главной причиной всех этих явлений явилось, по мнению Пирогова, то, что реформы Александра II были доведены не до конца. Повсюду отмечались отклонения от первоначально данного реформам направления. Отсюда возникало недовольство, которое было выгодно крамольникам.

«...Дошло до того, что гнусная и нравственно ненавистная честному обществу крамола оказалась нравственно же связанной с ним сетью неувимых впечатлений.

...На стороне крамольников тот же могущественный своим злонравием принцип, который сделал непобедимыми и иезуитов.

...Я имею другое убеждение; я опасен новой доктрине; я могу повредить ей; я уже вреден по другой версии, и те, что не разделяю убеждения; меня надо убить».

Кроме терроризма, Пирогов осуждает и произвол администрации.

Пирогов считал, что на организацию и культуру низших классов должны быть направлены все наличные силы и средства правительства, земских, общественных учреждений и т. д.

«Пора, пора обратить внимание на регулирование стихийной силы, оставшейся и после ее освобождения, с такой же стихийной, как и прежде, а потому и служащей столько времени приманкой для утопистов и злонамеренных людей. Для нее закон — это администрация, и самая нелепая, — администрация прощелыг-писарей, безграмотных и пьяных старост, туенядцев посредников, грубых станowych, урядников и горлодеров сходок. Это плоды 20-летнего режима провинциальной администрации, начальников края, крестьянских присутствий и т. п. Теперь должна будет наступить новая эра для России...»

Эти слова великого ученого, полные веры в изменение устаревшего



общества, в нравственное и духовное очищение его, актуальны, как никогда, и сейчас.

Как только 14 июля 1870 года началась франко-прусская война, Главное управление Общества попечения о раненых и больных воинах, руководствуясь положениями Международной организации Красного Креста, решило оказать помощь раненым и больным обеих воюющих сторон. 15 июля Пирогову было послано письмо с предложением быть уполномоченным Российского общества попечения о раненых и больных воинах в Базеле при агентстве Красного Креста. Пирогов медлил с ответом. И на этот пост вскоре был назначен профессор Киевского университета Х. Я. Гюббенет.

Чуть позже Пирогов все же прислал ответ, в котором сообщал, что уполномоченным в силу своего преклонного возраста он быть не может, но согласен отправиться на место военных действий в командировку на 6 недель для осмотра санитарных учреждений и изучения медицинского обслуживания на войне.

Главное управление общества 11 августа оповестило Пирогова о своем согласии на его командировку. 31 августа в имение Вишня Пирогову было прислано специальное извещение, в котором сообщалось, что царь одобрил командировку от Общества попечения о раненых и больных воинах и Министерства внутренних дел.

Попрощавшись с родными и близкими, Пирогов покинул свое имение и 9 сентября приехал в Петербург. В этот же день он участвует в заседании Главного управления общества. А перед отъездом на войну Пирогов был представлен августейшей покровительнице общества, ее императорскому величеству государыне императрице, супруге царя Александра II Марии Александровне. Она с большим уважением и доброжелательностью отнеслась к известному ученому. Расспросила о здоровье и настроении. Поинтересовалась, не утомит ли его дальняя дорога. Пирогов ответил, что чувствует себя бодрым и, как всякий русский патриот, полон желания с честью выполнить возложенное на него задание.

— Я верю вам... — тихо сказала императрица. — Но как бы там ни было, берегите себя и не поспешайте... Все узнавайте и все выводывайте, что могло бы пригодиться России для будущего. А самое главное, хорошенько понаблюдайте, как они там жалеют и лечат раненых. Опыт немцев в этом деле пусть станет и нашим опытом. Свой же опыт очень горек, поэтому прошу вас с жадностью перенимать все полезное.

— Не беспокойтесь, государыня императрица, я старательно выполняю вашу просьбу и лично представлю вам отчет.

— С Богом! — произнесла она и, перекрестившись, поклонилась Пирогову.

Для посещения заграничных госпиталей нужен был особый международный пропуск. Поэтому ее императорское высочество, великая княгиня Елена Павловна вручила Пирогову специальное письмо-прошение к Ее величеству королеве прусской. А Общество попечения о больных и раненых прикомандировало к Пирогову помощника, доктора И. В. Бертенсона и выдало свидетельства с красным крестом, которые они должны были предъявить по прибытии в Германию господину председателю Международного комитета в Берлине фон Сидову.

Сопровождавший Пирогова доктор Иосиф Васильевич Бертенсон был почетным лейб-медиком и редактором «Вестника Общества попечения о раненых и больных воинах». Пирогов знал Бертенсона и до этого как врача-гигиениста и воспитанника Дерптского университета. Однако именно эта поездка подружила их, как никогда. Впоследствии Бертенсон стал первым, самым скрупулезным и объективным биографом великого ученого. До последних дней жизни Пирогова Бертенсон духом и мыслями был рядом с ним. Сохранилась известная «Автобиография» Н. И. Пирогова, написанная им в виде нескольких писем к Бертенсону. Эти письма трогают своей открытостью, душевностью и непредвзятостью, ибо Пирогов, как никому другому, доверял Бертенсону и считал его очень честным и порядочным человеком.

По прибытии в Берлин выяснилось, что осмотру госпиталей фон Сидов ничем помочь не может, так как на это требовалось разрешение его величества короля. Через русского посланника Пирогов добывается разрешения на аудиенцию у королевы. И буквально на следующий день он получает ее. Ее величество королева приглашает русского хирурга во дворец к столу. Пирогов хорошо владел Немецким языком, и поэтому трудностей в разговоре с королевой у него не было. Он кратко изложил цель своего приезда на войну и вручил ей письмо от великой княгини Елены Павловны.

— О, вы знаете ее! — воскликнула королева, прочитав письмо. — Она восторгается вами, называет вас героем. По ее зову вы покинули уединенный отдых, чтобы помочь простым воинам. К чести вашей сказать, многими вашими открытиями пользуется вся Германия.

Отложив письмо, королева внимательно посмотрела на Пирогова и с радостью произнесла:

— В честь вас я устраиваю сегодня прием. На нем будут король,

канцлеры, посланники и представители иностранных держав.

Редко кто из русских мог удостоиться такой чести. Вскоре по распоряжению королевы Пирогов получил из военного ведомства разрешение на беспрепятственное посещение всех военных госпиталей. Однако для железнодорожного транспорта необходимы были специальные бесплатные билеты с красным крестом. Их выдавал помощник главного начальника ордена Иоганнитов, герцог Уест. Орден Иоганнитов (ионаннитов) представлял собой очень богатое германское религиозное филантропическое общество, ведающее, как и Общество помощи раненым и больным воинам, оказанием помощи пострадавшим на войне. Увидев в руках Пирогова разрешение королевы, герцог Уест тут же выдал от своего общества свидетельство на беспрепятственный проезд и два вида билетов с красными крестами, зеленые предназначались для бесплатного проезда, а желтые — для получения продовольствия. Кроме этого, он вручил белые повязки с крестом и клеймом для ношения на левом плече.

Военные лазареты Берлина Пирогов осматривал с помощью главного доктора прусского флота Штейнберга, он же был и инспектором всех лазаретов. Он внимательно относился ко всем замечаниям и расспросам Пирогова. Каждый день он докладывал о числе раненых и о состояниях и устройстве барачков, в которых размещались раненые и больные.

Пирогов работал напряженно. В пятидневный срок успел осмотреть: 70 военных лазаретов, развернутых почти во всех уголках Германии и содержащих в себе тысячи раненых. Немецкие и французские врачи ничего не утаивали в своей работе и показывали русскому хирургу абсолютно все заслуживающее внимания и имеющее научный интерес. Если по Берлину Пирогов ездил в мягком экипаже доктора Штейнберга, то в поездке по Германии пришлось помучиться. Он всегда был неприхотлив и терпел как должное тяготы и неудобства. В военных поездках довольствовался вагонами 3-го класса и деревянной скамейкой. На станции в Страсбурге сел на одноконную крестьянскую подводку девятым, и в тесноте, зажатый людьми со всех сторон, трясся всю дорогу, покуда не добрался до госпиталя. В поезде между Ремильи и Понт-а-Муссоном все пассажирские вагоны были битком забиты народом. Пирогов с Бертенсоном прыгнули было в товарный вагон, наполненный теплой одеждой для раненых, но их тут же с невероятным скандалом выгнали. Однако, когда начальник станции увидел в их руках свидетельство герцога Уеста, он сжалился над ними, выделив места в 3-м классном душном вагоне. Железнодорожные пути часто были ненадежны, и поезд по 5–6 часов тащился чуть ли не шагом. Не менее тягостны были и ночлеги. Так, например, в Лотарингии и Эльзасе

Пирогову приходилось спать вместе с ранеными в маленьких комнатках, на холодном, промерзшем полу, реже на твердых импровизированных кроватях. Однако эти неудобства по сравнению с теми неудобствами, которые Пирогов перенес во время войн на Кавказе и Севастополе, были раем.

Особых разрушений городов не наблюдалось. Больше всех был разрушен Страсбург. Пострадали и лазареты. У многих из них были от разорвавшихся бомб повреждены крыши, стены и пол. Флаг с красным крестом осаждающих не смущал, наоборот, они вели огонь по нему с каким-то даже злорадством, рассчитывая, видимо, этим уничтожить и легкораненых, которые вскоре могли вернуться в строй.

В страсбургских лазаретах Пирогов увидел большое количество раненых женщин и детей с ампутированными конечностями. Оказывается, это происходило потому, что жители, оставшиеся в городе, часто выходили на улицы и поэтому в силу своей неосторожности попадали под огонь противника, который разрушал не только дома, но и целые улицы.

Пирогова удивила апатия немцев к войне. Как такового яростного фанатизма национальной войны у них не было. В отличие от русских, всегда бросавших все свои дела ради защиты отечества, немцы спокойно торговали в городах и пахали землю в деревнях. То же самое заметил Пирогов и среди французов. По дороге из Понт-а-Муссона в Корни он спросил извозчика: «За кого вы, за императора или за республику?»

На что тот равнодушно ответил: «Ни за того, ни за другого».

По дороге в лазареты Пирогову часто приходилось наблюдать бедственное положение войск. Отряды войск располагались под дождем без палаток, в наспех и кое-как сделанных шалашах из ветвей и соломы.

Пирогова удивляло постоянное беспокойство местных жителей о раненых. Наверное, поэтому госпитали не были особо переполнены. Так, например, почти все жители Берлина желали иметь в своих стенах раненых, а дамы были полны желания посвятить себя попечению и милосердию. Зажиточные жители являлись на станции и приглашали, а точнее, «вызволяли» из транспорта раненых к себе домой за деньги. Приятно удивила Пирогова в Германии своевременная сортировка раненых и система их развоза. То, за что он раньше боролся, осуществилось. Однако, как бы то ни было, франко-прусская война (1870–1871) была жестокой и кровопролитной. И способствовало этому чрезмерное применение огнестрельного оружия и артиллерии.

«...Сосредоточение на поле сражения огромных масс делают нынешнюю войну несравненно тягостнее, убийственнее и бедственнее

прежних. Как прежде, раненые, оставшиеся после битвы, назывались у наших старых служак ломом и браком, так и теперь они, все тот же лом и брак, лежат разбросанные на поле сражения, пока их кое-как не поднимут и не соберут. А быстрота и дальнometкость нынешней стрельбы делают то, что строевые валяются рядами и скопление раненых в самое короткое время достигает громадной цифры».

Созданный в 1864 году Международный комитет Красного Креста впервые практически заявил о своей деятельности в франко-прусскую войну. И здесь сразу же был отмечен большой недостаток в его помощи. Вместо того чтобы поровну распределять помощь между воюющими сторонами, Красный Крест с самого начала войны занял сторону победителя. Пирогов сразу же это заметил. И в своих взглядах на деятельность Красного Креста в войне отстаивал его беспристрастие к воюющим сторонам и обязательную равномерность в распределении помощи. В франко-прусской войне порой было все наоборот. Например, при осаде Страсбурга французские врачи, отлучившиеся из города, уже больше в него не впускались. А в Меце и подавно запрещалось всякое содействие международной помощи. В своих высказываниях, касающихся работы Красного Креста, Пирогов требует, чтобы врачи и сестры милосердия при оказании помощи не выделяли раненых-победенных от раненых-победителей. Помощь должна оказываться всем в равной мере, без всякого разделения и злобы. Примером этому, считал Пирогов, может служить Крымская война, где при собирании раненых и оказании медицинской помощи свой не отличался от чужого. Чтобы беспрепятственно это делать, врач, а точнее вся медицина, в войну должен быть нейтральным. Кроме помощи Красного Креста, Пирогов придавал большое значение и частной помощи, принявшей в эту войну небывалый размах. Задача состояла лишь в том, чтобы администрация правильно ее распределяла.

Частная помощь в франко-прусскую войну занималась не только железнодорожным транспортом, но всем необходимым для службы солдата. Вино, пиво, табак, сухари, белье, шерстяные одеяла и фуфайки — все равномерно и самым тщательным образом распределялось по лазаретам и перевязочным пунктам. Целые общества дам, по несколько часов кряду стоя за столами, сортировали и упаковывали самые различные вещи для раненых и больных. При такой заботе намного улучшалась лазаретная жизнь, ее гнетущая казенная однообразность притуплялась, и раненые, чувствуя теплоту и заботу, быстрее возвращались в строй.

Пирогов считал, что в выздоровлении солдата питание, как и лечение,

играет немаловажную роль. Он видел, как быстро поправлялись немецкие раненые благодаря хорошему питанию и питью. К завтраку им подавались кофе, шоколад, яйца, ветчина. Пиво и вино были в несметном количестве. Строгая и однообразная диета госпиталей, раньше только истощавшая раненых, в франко-прусскую войну была ликвидирована. Пища и питье воина стали более разнообразными и питательными. Пирогов еще в Крымскую войну говорил, что раненому воину не нужно оставлять чувство голода неудовлетворенным. Наоборот, солдату ни в коем случае нельзя отказывать ни в мясе, ни в вине, ни в овощах. При этом пища должна быть самой что ни на есть удобоваримой и питательной.

Западные врачи с уважением относились к русскому хирургу, считая, что его к ним Бог прислал. Почти все указания и советы тут же исполнялись. Мало того, Пирогов участвует в перевязке раненых и больных и даже делает несколько показательных операций.

«Немцы, французы, англичане, голландцы, швейцарцы, бельгийцы, — писал И. В. Бертенсон, — наперерыв толпились у постелей раненых, при которых маститый хирург наш останавливался. Нам, соотечественникам, отрадно было видеть тот почет и то изысканное внимание, которым повсюду его окружали... Несмотря на такой почат, Н. И. Пирогову пришлось перенести немало невзгод...»

Пирогов постоянно беспокоится о раненых. В своем «Отчете о посещении военно-санитарных учреждений в Германии, Лотарингии и Эльзасе в 1870 году», представленном Обществу попечения о больных и раненых воинах, состоявшему под покровительством ее императорского величества государыни императрицы, и опубликованном в 1871 году, он подробно останавливается на мероприятиях, которые могут облегчить участь раненых. Для их сбора с поля боя он требует создания большого числа санитарных бригад. В лазаретах увеличивает количество прислуги. Рекомендует избегать большого скопления раненых на ближайших от поля сражения перевязочных пунктах. Много уделяет внимания встрече и транспортировке раненых. И хотя прежние идеи Пирогова еще полностью не были реализованы на этой войне, они уже жили, открыто существовали, им верили и с уверенностью шли к ним. Его гипсовая повязка и резекции уже смело применялись и осваивались почти всеми западными врачами.

В своем «Отчете» Пирогов указал на важность и необходимость частной помощи на войне. На средства частной помощи развертывалась большая часть лазаретов и приобретались медикаменты и перевязочные материалы.

Однако много было на войне и нерешенных проблем. В первую

очередь страдала организация медицинской помощи. Порой врачи направлялись туда, где они были не нужны. А в это время на горячих участках фронта некому было оказать даже первую медицинскую помощь. Безалаберность администрации в этом вопросе была невероятной.

«После первого же сражения при Саарбрюкене, — писал Пирогов, и заметим, что оно было почти у самого города, — обнаружилось, что санитарных рот вовсе не было при полках; они не подоспели; да и подоспевшие были все-таки недостаточны; раненых таскали и возили на своих повозках жители целых два дня с поля сражения и размещали их как попало по домам. После сражения при Вейссенбурге французские врачи рассказывали мне, что раненые французы оставались также два дня на поле».

Пирогов подробно анализирует причины таких ситуаций и, осуждая администрацию, в то же время говорит о новых причинах, характерных для современной войны.

«При осадной войне раненые тотчас же с валов или с цитадели приносились в городские амбулансы<sup>[132]</sup>, устроенные очень хорошо при госпиталях и других помещениях, а повреждения при осаде причинялись по большей части большими снарядами и потому требовали скорого отнятия членов, к этому нужно прибавить и то, что французские врачи верят еще сильно в предания наполеоновских войн о жизненной необходимости ранних ампутаций. Но я уверен, что и между немецкими военными врачами нашлось бы довольно охотников до этих операций, да и показаний к ним набралось бы немало, если бы не недоставало главного — возможности их делать. Почему же, спросят, в прежних войнах находилась эта возможность? По рассказам стариков, наши хирурги в Бородинском сражении так много ампутировали, что стояли на перевязочных пунктах по щиколотки в крови. Почему же теперь не делают того же? Тому опять есть несколько причин. Первая и самая главная — это та, что теперь нельзя так легко устраивать удобные амбулансы, как прежде; пули и ядра несутся теперь гораздо дальше; трудно вблизи сражения найти безопасное место, да и найденное при быстрых передвижениях войск делается скоро опасным. Вторая причина та, что перевязочные пункты в нынешних войнах быстро переполняются ранеными, падающими от действия скорострельного оружия целыми рядами в самое короткое время; поэтому нет возможности избежать страшного скучения раненых в амбулансах, если они тут задержутся и не вышлются по распоряжению начальства как можно скорее в транспорты. В-третьих, наконец, взгляд современной хирургии на жизненную необходимость ранней ампутации значительно изменился. Он

совпадает с моими глубокими убеждениями, выработавшимися у меня в Крымскую войну; теперь же замечу только, что нельзя обвинять современного хирурга в квиетизме<sup>[133]</sup> и бездействии, если он на перевязочном пункте не решается так скоро, как прежний, ампутировать. Он при большом скоплении раненых не может [поставить] диагноз в амбулансах; а он знает теперь, что без верного диагноза нельзя и решить: необходима ли ампутация, заменяемая ныне во множестве случаев другими пособиями. Но как ни важны приведенные причины, все-таки они еще не объясняют вполне, почему первая помощь раненым в нынешнюю войну была так скудна и несвоевременна. Я приписываю этот печальный факт частью шаткости и неправильности отношений медицинской администрации к военному начальству и к обществам частной и международной помощи, частью же несправедливым законам о действиях военных врачей во время сражений».

В «Отчете» Пирогова проявился блестящий организаторский талант, наблюдательность и широкий научный кругозор. Его критический подход к тем или иным недостаткам всегда основывался на богатом личном опыте и беспокойстве и переживании за раненых и больных. Осуждая войны и называя их своеобразными по ужасу эпидемиями, он требует их искоренения и предупреждения. Уж кто, как не он, мог знать все ужасы войны.

Самой кровопролитной по тому времени войной была восточная война 1853–1856 годов, во время этой войны было потеряно 128 700 русских солдат. Но больше всего их погибло под Севастополем — 120 670 человек. Штурм Малахова кургана стоил нам 362 офицера и 11 690 солдат.

Пирогов считает, что причина войн глубоко затаена в самой природе человеческих обществ. Существует их даже некая таинственная периодичность. При этом он полностью отрицает их божественную природу.

В 1872 году И. В. Бертенсон по случаю устройства политехнической выставки в Москве обратился к Пирогову с просьбой, чтобы он написал свою биографию для севастопольского отдела выставки. Вначале сомневаясь и даже отказываясь от упоминания себя на стендах выставки, Пирогов все же пишет биографию. Сохранилось письмо Пирогова к И. В. Бертенсону по поводу написания автобиографии. Поражает исключительное добродушие и откровенность, такт и скромность, которые звучат в строках великого хирурга.

«Вы хотите сделать меня автобиографом, — но для этого я, так же как



и вы, не имею никаких материалов под рукою и не собирал их, потому что никогда не думал писать собственную биографию и, признаюсь, мало ею интересовался. Правда, я иногда мечтал написать историю моих заблуждений; но до сих пор не имел достаточного досуга и не чувствовал себя достаточно объективным для этой цели. Если даст Бог, проживу еще, то, может быть, соберусь. Но для московской выставки такая биография не годится. Да и вообще, кого может интересовать мое жизнеописание? Мои друзья знают меня достаточно для того, чтобы остаться друзьями, а мои неприятели увидят в этом одно самохвальство и самопочитание. Если в моей жизни и наберется кое-что, чем я могу гордиться, то я не настолько самолюбив, или, если хотите, слишком самолюбив, чтобы напоминать о себе публичным изложением собственных заслуг. Лучше не знать меня вовсе, нежели знать из описания самого себя. Ведь тут идет дело об одной внешней стороне; вот, если бы дело шло о моем «я», о внутреннем его быте, известном только одному этому «я», тогда, точно, понадобилась бы автобиография; но уже, конечно, не для московской выставки написал бы я ее. Для Севастопольского же отдела достаточно упомянуть, если того непременно требуют мои доброжелатели, только о моей деятельности на перевязочном пункте и в крымских лазаретах, а она изложена довольно подробно в моей военно-полевой хирургии...»

В этом же письме Пирогов, кратко изложив сведения о своей деятельности в Крыму, добавляет: «Этого, кажется, достаточно для выставки, если уже непременно желаете выставить мои заслуги в севастопольском отделе».

Полностью же расширенную автобиографию Пирогов написал опять-таки по просьбе И. В. Бертенсона 27 декабря 1880 года к пятидесятилетнему юбилею врачебной деятельности.

## БРАТУШКО, ДОКТОР!

*По всей Болгарии сейчас  
Одно лишь слово есть у нас,  
И стон один, и клич: Россия!*

*Иван Вазов, ноябрь 1876 года*

Приняв приглашение Общества попечения о раненых и больных воинах, Николай Иванович Пирогов отправляется в Болгарию для осмотра всех санитарных учреждений на театре войны. 10 октября 1877 года Пирогов вместе с доктором Шкляревским, который был постоянно прикомандирован к нему, пересекают Дунай. По дороге они встречают большие потоки раненых.

Узнав о предстоящей битве в окрестностях Плевны, Пирогов отправляется для осмотра госпиталей в Богот, здесь же находился и главный штаб действующей армии. В Боготе Пирогов был радушно принят главнокомандующим Дунайской армией, братом царя, великим князем Николаем Николаевичем. Он велел Пирогову лично обращаться к нему по поводу неувязок в медицинском обеспечении армии в любое время суток. Главнокомандующий уважал Пирогова и преклонялся перед его авторитетом. В Боготе Пирогов участвует в осмотре и перевязке раненых, огромными потоками поступающих в госпиталь № 69 из осажденной Плевны.

«Скопление вновь прибывающих раненых из-под Плевны (Плевен), — пишет Пирогов, — постоянное прибывание дальних транспортов с больными и ранеными из-под Орханиз, наступившие холода и выпавший в начале декабря довольно глубокий снег привели палаточный госпиталь № 69 в такое трудное положение и до такой степени затруднили сообщение, что мы должны были остаться в Боготе до 11 декабря вместе с сотнями раненых, с нетерпением ожидавших возможности транспорта. Выехав из Богота по зимнему пути, мы через Болгарию направились в Систово (Свищтово), куда прибыли 13 декабря, за день до начала ледохода по Дунаю».

В Систове все госпитали были переполнены. Сильные снегопады и ветры часто сносили с места палатки, в которых размещались больные. И

поэтому их приходилось защищать со стороны ветра дощатыми щитами. Располагать госпитали в болгарских городах в силу узости улиц и тесноты зданий было просто невозможно.

«Не видев собственными глазами, — пишет Пирогов, — нельзя себе вообразить, с какими трудностями должны бороться врачи, сестры и госпитальная прислуга во время прибытия больших ночных транспортов в темных узких и грязных городских болгарских улицах. В них съёмка больных с телег и переноска через узкие двери и узкие лестницы продолжается многие и многие часы».

Воздух в деревянных бараках, расположенных в Зимнице, которые в декабре осмотрел Пирогов, был очень спёртым. Зайдя в один из них, он чуть было не потерял сознание. Причиной духоты были не только скученность раненых, но и отсутствие воздухопроводных труб и вентиляции. Пирогов дает указание проветривать бараки открыванием всех окон и дверей, а раненым, умеющим передвигаться, выходить на прогулки. О полной эвакуации переполненного госпиталя не могло быть и речи, так как дорога между Зимницей и Фратештами была занесена снегом.

Постепенно нарастала эпидемия тифа. «Между тем начали прибывать больные тифом, — вспоминает Пирогов, — для лечения которого близость Янтры дала случай, по совету профессора С. П. Боткина, испытать погружение больных в реку вместе с носилками для понижения температуры тела, что, по свидетельству главного врача, и было производимо с большой пользой. Сам государь император, часто навещавший раненых и больных, присутствовал неоднократно при этих импровизированных купаниях. Госпиталь в это время был так счастлив, что имел своими консультантами таких опытных профессоров, как С. П. Боткин и И. И. Корженевский, советами которых пользовались не только больные, но и ординаторы».

Осматривая госпитали и работая в них, Пирогову приходилось рисковать своей жизнью. Часто на госпитали совершали налеты турки, поголовно убивая всех раненых и персонал. Мужеству Пирогова можно только позавидовать. Увлекаясь перевязками и операциями, он порой забывал, что находится на войне, где смерть так же неожиданна, как и близка. В такие минуты он мало думал о себе.

«...к 12 часам почти все врачи собрались к производству операций в операционный барак, — вспоминал он. — Только что кончилась перевязка подключичной артерии, как к приемному покою приехало троек пять о ранеными офицерами и несколькими нижними чинами; в один голос говорили они, что наши войска отступили и преследуются турками, а за

ними целую ночь гнались баши-бузуки<sup>[134]</sup> и что они спаслись только благодаря быстроте лошадей. Это известие уже неблагоприятно подействовало на весь госпитальный лагерь. Через четверть часа прибыла новая партия раненых, подвод в пятнадцать, и повторила слова первого транспорта, уверяя, что ее также до самого Систова преследовали баши-бузуки. Через полчаса начал прибывать главный транспорт раненых из-под Плевны, троек шестьдесят; я вышел из барака посмотреть, в чем дело; толпа сильно шумела, часть раненых уже слезла с телег; вдруг в направлении от Систова показался казак, кричавший: «Спасайтесь, мы окружены турками, систовский мост взят уже!» Как электрическая искра эта весть прошла по лагерю; прибывшие раненые вмиг очутились снова в повозках, и тройки помчались стремглав наискось лагеря и скоро скрылись из виду, захватив некоторых госпитальных раненых. За ними поползли, куда глаза глядят, все прочие госпитальные раненые, и остались в госпитале только трудные, с гипсовыми повязками, с ранами внутренностей и пр. Тщетно я с дежурным врачом и бегавшими с плачем сестрами метался из стороны в сторону по лагерю, уговаривая остановиться, но общественная волна была так сильна, что влекла с собой все бывшее в состоянии двигаться, и я поневоле, наконец, остановился на успокоении только недвижимых раненых. Затем отправился в шатер оперированных, которые были весьма возбуждены, но между ними уже не нашел того, которому только что сделана была перевязка подключичной артерии. Вероятно, он попал на одну из умчавшихся повозок и, таким образом, пропал без вести».

В одной из подобных ситуаций Пирогов чуть было не погиб от турецкой пули. Однако желание помочь раненому во что бы то ни стало было для хирурга превыше всего.

Отопление палаток, в которых находились раненые, было плохим. Не хватало соломы, чтобы утеплить стены и полы.

Иногда, когда телега или сани не могли проехать, он шел пешком. Спешил успеть во все госпитали и лазареты, санитарные поезда и перевязочные пункты. Один раз, шагая пешком в пургу, чуть было не замерз. Но, когда увидел госпитальные огоньки, приободрился.

Спал на голом полу, так как соломы не хватало, на нее обычно укладывали раненых. Питался всухомятку, редко когда в разъездах перепадала горячая пища.

Он часто спорил и ругался с администрацией, чтобы повозки для перевозки раненых были не просто телегами, а имели приспособления, и

раненых ни в коем случае не клали на голые доски, а обязательно стелили солому и одеяло. Однако не всегда в силу военной спешки его советы выполнялись, и часто раненые от сильной тряски по грунтовым дорогам погибали прямо в телегах. Положенные в лечебных учреждениях линейки были громоздкими, не приспособленными к труднопроходимым дорогам Болгарии и не обеспечивали щадящей транспортировки раненых. Казалось, они были созданы специально для тряски, даже на воловьих подводах легче было перевозить раненых, чем на них. Профессор С. П. Боткин впоследствии отметил, что перевозка раненых и больных в русско-турецкой войне была самой печальной страницей. Очень часто, по его мнению, самая обыкновенная телега, не приспособленная к перевозке, доканчивала дело, начатое турками.

Иногда, когда поздней ночью Пирогов с горем пополам добирался до очередного госпиталя или лазарета, ему приходилось видеть такую картину. Несколько прогнивших шатров, куда помещены раненые, текут, в таком же состоянии маленькие турецкие палатки и каменные непригодные сараи. Кровати и тюфяки отсутствуют. У больных нет даже циновки для подстилки. В своем грязном белье, накрытые своими же шинелями, они спят на голом полу, подложив под голову обернутый мундиром ранец. Иногда врачей в таких случаях было по два, а иногда и по одному на тысячу. О какой правильной организации лечебной работы можно было здесь говорить!

Пирогов был прост в обращении как с медперсоналом, так и с больными и ранеными. Многие удивлялись этому, порой даже не веря, что рядом с ними стоит выдающийся русский хирург. Скромно одетый, он изредка поглаживал свою бородку, щуря при этом полные душевности и любви к ближнему глаза.

Профессор Е. В. Павлов, заведовавший госпиталем во Фратештах, вспоминал: «Я не могу не воскресить в своей памяти его образ, навсегда оставшийся замечательным после встречи во Фратештах. Объезжая со свойственной ему скромностью и простотой учреждения Красного Креста на театре военных действий, Николай Иванович являлся к нам не начальником, не инспектором или контролером, а лишь добрым просвещенным учителем и советчиком. Как много мудрых правил вынесли мы, врачи, из его замечаний у постели больного».

А когда в одном из эвакуационных госпиталей во Фратешти из-за скученности больных появились случаи чумы, Пирогов, хотя и не был терапевтом, но осмотрел всех больных с подозрением на эту болезнь. Присутствующий при этом студент-медик вспоминает, что «Николай

Иванович как бы сразу превратился из хирурга в терапевта. Он стал подробно выстукивать и выслушивать этих больных, внимательно рассматривать температурные кривые и так далее и в заключение прочел лекцию о кавказских, крымских и дунайских лихорадках (малярии), иногда столь сильно напоминающих чуму».

Пирогову было уже шестьдесят семь лет, когда он принял предложение главного управления Общества попечения о раненых и больных воинах выехать в Дунайскую армию.

В официальном документе, выданном Пирогову, указывалось, что он «отправляется для всестороннего осмотра в подробности лазаретов и прочих санитарных учреждений, а также санитарных поездов Красного Креста», по поручению «Главного управления Общества попечения о раненых и больных воинах». Основной силой, объединявшей деятельность общественных комитетов и благотворительных общин, возникших в различных городах Российской империи, явилось «Общество попечения о раненых и больных воинах». Общество было учреждено в 1867 году, когда Россия присоединилась к Женевской конвенции.

Согласно уставу Общества, утвержденному 3 мая 1867 года, цель его организации состояла в том, чтобы «содействовать во время войны военной администрации в уходе за ранеными и больными воинами и доставлять им по мере средств своих как врачебное, так и всякого рода вспомоществование». Через свои местные управления и дамские комитеты Общество «принимало все, дозволенные законом, меры к увеличению денежных и материальных ресурсов своих... принимает меры приготовления санитарной прислуги и образования сестер и братьев милосердия; собирает и заготавливает всякие лазаретные и перевязочные принадлежности».

С момента объявления частной мобилизации русской армии в 1876 году все слои населения России начали вносить денежные и материальные пожертвования в центральные и местные организации Общества попечения.

Согласно данным, опубликованным главным управлением Общества, общая «сумма пожертвований, заявленных и поступивших как по Главному управлению, так и по окружным и местным управлениям и комитетам», достигла по состоянию на 1 октября 1877 года 8 731 420 рублей. Каждый номер журнала «Вестник народной помощи» публиковал списки жертвователей и внесенные ими суммы. Кроме тысячных взносов «высочайших особ», были трудовые рубли и копейки, внесенные простыми

людьми.

«Знаем, невелика наша помощь, состоящая в 143 рубля, но она приносится от чистого сердца и посильных средств не богатых людей, а мужей, жен и даже детей бедного сословия... Примите и нашу посильную жертву в пользу... южных славян...» — писали крестьяне села Березовый Гай Николаевского уезда Самарской губернии.

Много было и вещевых пожертвований. Крестьяне жертвовали холстами, пестрядинными<sup>[135]</sup> тканями, бельем, одеждой. Так, в октябре 1876 года, в Саратовской губернии жители с. Жуковка, Балашовского уезда, собрали белого холста 300 аршин<sup>[136]</sup>, синего полосатого холста — 28 аршин, ситца — 8 аршин, рубах мужских и женских — 26, чулок шерстяных — 32 пары. Профессора университетов проводили публичные лекции, денежный сбор от которых шел в пользу южных славян.

Многие университеты из добровольцев-врачей и студентов-медиков образовали санитарные отряды. Эти отряды обеспечивались всем необходимым инструментом и госпитальными принадлежностями для оказания медицинской помощи одновременно 100 раненым и перевязочными материалами более чем на 6000 перевязок.

Отец Ленина — Илья Николаевич Ульянов, директор народных училищ Симбирской губернии, на организацию военно-походного лазарета передал в Общество попечения 13 рублей. А с начала войны И. Н. Ульянов сделал единовременное пожертвование в 10 рублей, а затем регулярно вносил по 5 процентов от месячного жалованья. Его друг писатель В. Н. Назарьев, добровольно согласившийся сопровождать 12 волонтеров из Симбирска в Москву, в одном из писем к жене так описал сбор пожертвований на одном из пароходов.

«30 августа я целый день ходил по пароходу и собирал деньги в пользу волонтеров. Я обошел более 200 человек. Пассажиры первого класса морщились и улыбались и с недовольно кислой миной давали мне по 3 и 2 рубля... Затем я пошел по палубе, где один на другом сплошь копался простой люд, — тут меня охватило другое чувство и невольным образом дрогнуло сердце, когда мужики, крестясь и шепча молитву, полезли за своими грошами. Я набрал массу медных денег и едва двигался под их тяжестью».

Была создана программа деятельности Общества попечения на театре войны, в которой указывалось на необходимость предварительной подготовки сестер милосердия и личного состава с принадлежностями, с которыми Общество «могло прийти на помощь раненым».

После предъявления Турции 31 октября 1876 года ультиматума и начала первой мобилизации, Главное управление Общества попечения о раненых и больных воинах приступило к развертыванию своей деятельности на Балканах. Кроме этого, Общество организует лазареты для раненых и больных внутри страны. По данным Главного управления, Обществом было создано 238 больших и малых госпиталей, которые были предоставлены в распоряжение военного ведомства. Обществом был отобран достойный и подготовленный медперсонал для работы на театре военных действий. Почти все врачи принадлежали к бывшим воспитанникам императорской Медико-хирургической академии. Впоследствии Пирогов высоко отозвался о качестве врачебной деятельности на театре военных действий.

«Врачебный персонал частной помощи, — писал он, — действовал в нынешнюю войну, как и военные врачи, с таким самоотвержением и, прибавлю, с таким знанием дела, что, можно сказать, превзошел себя. Смело можно утверждать, что ни в одной из наших прошедших войн не было такого интеллектуально-научного капитала на театре военных действий, как в нынешнюю».

Говоря с восхищением о своих коллегах, Пирогов ничего не говорит о себе. Хотя именно его богатейший опыт военно-полевого хирурга и организатора «военно-врачебного дела» и непререкаемый авторитет превратили Пирогова в верховного консультанта по всем вопросам организации медицинского обеспечения Дунайской армии.

Кроме Пирогова, на Балканы 30 апреля 1877 года Главным военно-медицинским управлением были командированы в Дунайскую армию в качестве консультантов профессора Н. В. Склифосовский, И. О. Корженевский, Э. Бергман, а также доценты Медико-хирургической академии И. И. Насилов и С. М. Янович-Чайнский. В конце мая дополнительно прибыли профессора хирург Л. Л. Левшин и офтальмолог Э. А. Юнге.

В начале 1877 года в качестве лейб-медика императорской главной квартиры на театр военных действий прибыл С. П. Боткин. Он сразу же окунулся в работу. «Сегодня я опять работал в госпитале, — пишет он в своих знаменитых «Письмах из Болгарии», — и хорошо понимаю, что эта работа небесплодная: ведь я не обхожу госпиталь как генерал от медицины, а обхожу как опытный врач, предлагающий свои услуги товарищам в случаях, где они затрудняются; при этом я уверен, что некоторые из молодых врачей и профитируют. Большая часть здешнего временного госпиталя помещается в киргизских кибитках, и персонал врачебный почти



исключительно дерптский; дело ведется очень недурно; уход добросовестный и со смыслом; пять сестер и человек пять наших студентов пятого курса. Характер болезней все тот же: лихорадочные, тифозные, поносные и немного (17 человек) раненых. Здесь я с большим интересом смотрю на больных с ранами внутренних органов».

Мостовых дорог в Болгарии почти не было. Почва в основном была глинистая, лишь кое-где с песком. От продолжительных дождей она раскисала, и дороги заполнялись труднопроходимой грязью. Единственной обувкой были сапоги.

«...Приходилось проезжать местами, — пишет Боткин, — где был запах гниющих человеческих трупов, которых не могли отыскать в кустарниках...

...Странное впечатление производили на меня эти места, в которых почти еще не успела остыть кровь сотен людей. Особенно тяжело было проезжать теми местами, где пахло: невольно приходило в голову, что, может быть, тут гниет человек, который был легко ранен, но не был в силах заявить о своем существовании, похворал, поборолся со смертью и скончался, а теперь, на шестой день после битвы, только и проявляет о бывшем своем существовании. Пока мы были у Мирского, прибежал матросик, в высшей степени взволнованный, и заявил, что там на берегу, в камышах, они нашли товарища, раненного в обе руки, упавшего в воду и приставшего к камышам, где он шесть дней оставался незамеченным, без еды и без помощи. Сегодня я видел этого матросика. Глядя на него, никто не поверит, что он пережил такие ужасные дни. Его ранило в плечо, он свалился в воду, поплыл и, чтобы свободнее плавать, начал снимать свою рубашку: только что поднял для этого из воды руку, получил в нее пулю насквозь, и вот в таком-то виде добрался до камышей, где и скрывался частью от страха турок, частью же от бессилия и невозможности никому заявить о своем существовании...

...Раны, впрочем, настолько тяжелы, что вряд ли этот бедняга выкарабкается из своего положения».

С. П. Боткин был при государе, и хотя располагался совсем в другой палатке, но очень часто обедал с ним и докладывал о проведенных им осмотрах госпиталей. Состояние госпиталей не всегда соответствовало нужным требованиям. Государь тревожился о раненых и разрешал Боткину пользоваться его именем в самых что ни на есть критических ситуациях. Часто его высочество вместе с Боткиным посещал госпитали и интересовался их состоянием.

«...Вчера в госпитале я был вместе с Сувориным, — пишет Боткин, —

и ему пришлось видеть, как навещал больных государь и как он им делал подарки: действительно, теплая сцена. Государь относится с такой истинной и искренней сердечностью к раненым, что невольно становится тепло при этих сценах; солдатики, как дети, бросаются на эти подарки и радуются чрезвычайно наивно; сколько при этом мне приходилось видеть этих прекрасных синих добрых глаз, слегка увлажненных слезою, я до сих пор не могу смотреть на эти сцены без особого чувства теплоты и умиления».

В августе под Ловней Боткин встретился с Склифо совским. Они дружески обнялись, и сразу же пошел разговор о больных и раненых. Склифосовский жаловался на то, что турки часто пользуются разрывными пулями, нанося тем самым обширные и тяжелые раны. Фанатизм турок был ужасен, рассказывал Склифосовский, они словно дикари в каком-то бешенстве и злости лезли на неприступные скалы, охраняемые русскими, заведомо обрекая себя на смерть.

Часто государь вызывал к себе священников и просил тех, чтобы они долгими молитвами уменьшали количество раненых. Но, увы, молитвы помогали мало, и все из-за того, что администрирование армией было никудышным.

«Вчера меня разбирала тоска, — пишет Боткин, — глядя на громадную свиту, сопровождавшую главнокомандующего. Кого тут не было, кроме обычных начальствующих: куча ординарцев, адъютантов, три священника (верхами), русский, лютеранский, католический. Объехав с осторожностью позицию, побывав около батареи, сели за завтрак. Все это ело, ело и ело, а там все палили, палили и палили.

...Да, я понимаю, почему традиционно держится нелюбовь ко всем штабам, набитым битком целой массой людей, хорошо питающихся, хорошо помещающихся, высыпавших свои ноши и получающих отличные награды, между тем как офицеры армии своей грудью делают дело и вытаскивают на своих плечах вместе с солдатами всю тяжесть войны».

Боткин беспокоится о транспортировке раненых и больных. Но, увы, командование специальных колясок для этих целей своевременно не подготовило, а о матрацах вообще не могло быть даже и речи. И тряслись раненые в простых телегах, под тела которых была постелена одна лишь солома, которая мягкости никакой не создавала.

Один раз поздно вечером возвращался Боткин с перевязочного пункта вместе с казаком через кукурузное поле. Вдруг навстречу обоз. И из первой темной кибитки пронзительный женский голос как закричит:

— Сергей Петрович, дорогой, вы ли это?..

Боткин опешил. А когда казак фонарем осветил кибитку, он увидел княжну Карцеву, знакомую по Петербургу, добровольно возглавившую в Болгарии отряд сестер милосердия. Спрыгнув с коня, Боткин подбежал к ней и, взяв ее руки в свои, прошептал:

— Спасибо вам, я верил вам... — и вдруг прослезился. Красивое до этого салонное женское лицо было страшно исхудалым, по-мужски строгим и мужественным. Обтянутое белым льняным платком, оно сказочно светилось под лучами фонаря. В широких глазах не было боли. Необыкновенная русская доброта, полная святого заступничества, читалась в них.

— Милая, вы ли это?.. — прошептал Боткин и, подбежав к казаку, взял из своей сумки огромный белый хлеб, который был испечен на день ангела, и преподнес сестре милосердия. — Это вам, кушайте.

Нежные, худенькие пальчики отломили ломтик, и княжна начала жадно кушать.

— С дороги мы сбились... — проговорила она торопливо. — Конюх новенький, вот и позабыл, где перевязочный пункт находится.

— Он там, под горкой... — произнес казак и по просьбе Боткина объяснил конюху, как проехать к горке. Кибитка чуть дернулась. Кони в нетерпении заржали.

— Ну, прощайте... — благодарно прошептала княжна и, крепко обняв Боткина, по-христиански расцеловала его. — Спасибо вам, дорогой Сергей Петрович. Как я рада, что вы рядышком с нами...

— Елизавета, берегите себя... — тихо произнес Боткин. — Даст Бог, победим турок...

— Да спасутся все русские души и возвысятся! — прошептала княжна.

Казак поднял над головой фонарь. Темнота на какой-то миг схлынула с женского тела. И ярко вспыхнувший белый платок строже прежнего выделил доброе лицо.

Вновь увидев княжну, Боткин вздрогнул. Она была боса. Ее ноги были бледны. «Небось раненым обувь отдала...» — подумал он и собрался было взять у казака сапоги. Но кибитка дернулась и, выехав из освещенного фонарем места, лихо понеслась.

— Прощайте, Сергей Петрович, прощайте... — донеслось Боткину из темноты.

Боткин, пробежав несколько шагов, остановился.

— Как же так... — недоуменно прошептал он. — Ведь в любой момент простыть можно...

Казак, держа коней под уздцы, подошел к Боткину и, перекрестившись во след обозу, тихо сказал:

— Храни ее... храни... — и добавил: — Ангел она, а не баба. Как она хлебушек чудно ела... Птичка небесная... Доктор, она кем вам доводится, сестричкой?

— Сестричкой... — прошептал в волнении Боткин и машинально несколько метров прошагал пешком.

Почти ежедневно Боткин осматривает госпитали, консультирует больных, назначает им лечение. Он гордится самоотверженным трудом медиков. И сам порой работает не покладая рук.

«Еще далеко не все были осмотрены, — пишет он. — Врачи, сестры, студенты, фельдшера, санитары со вчерашнего вечера работали безостановочно. Через их руки прошло уже более шестисот; около 400 еще оставалось налицо; уже два транспорта раненых были отправлены в течение нынешнего дня в Булгарени; легко раненые и руки, пальцы выпросились идти пешком в госпиталь; самые тяжелые еще лежали в палатках; другие же на открытом воздухе, на земле, ожидали своей очереди быть перевязанными, обмытыми, переодетыми. Медицинский персонал, с бледными измученными лицами, продолжал работать; ни одного не видел без дела, все копошились. Перевязочный пункт представляет тяжелое зрелище: это не те умытые, переодетые, перевязанные раненые, которых встречаешь в госпитале, — нет, тут кровь льется ручьями, белье как будто из красной материи сшито; врачи все в крови, в гипсе. Больные стонут и просят то пить, то перевязки. Тяжелая картина! Все медицинские меры военного ведомства вместе с Красным Крестом не в состоянии удовлетворить потребности теперешних способов истребления людей».

Продовольственное снабжение госпиталей и лазаретов было очень часто неудовлетворительным. Не хватало сухарей, не говоря уже о хлебе. Мало того, порой даже никто не желал беспокоиться о снабжении питанием раненых и больных. Боткин страшно переживает, видя такие безобразия. Даже его личные просьбы к государю не всегда приводили к улучшению снабжения питанием. В этом деле царил бесхозяйственность.

«...Я чувствую, что постепенно начинаю делаться «брюнетом» и теряю мои свойства «блондина», а вернусь, вероятно, совсем брюнетом; я буду иметь достаточное право на перемену цвета: я слишком много пережил за это время скорби и досады, чтобы сохранить свои свойства блондина. Но не буду говорить об этом, не буду растравлять своих ран, не буду прибавлять горя к теперешнему положению. Мы страдаем

сравнительно меньше, чем целые массы, целые тысячи людей, оставшихся изувеченными, потерявших совсем безвозвратно своих сыновей, своих мужей, своих отцов!

...Кровь русского солдата недорого этим легкомысленным героям (командованию. — *Прим. авт.*); один их расстреливает и увечит, другой морит голодом, и все вместе очевидно морочат, и все вместе сваливают вину на малочисленность войска, в чем якобы виноват Милютин. Эта кампания тяжело отзовется на всей стране, и долго будет чувствоваться эта тяжесть.

...Россия не погибнет; она выйдет из этого затруднения, но другие деятели, другие люди будут спасать ее».

Вместе с государем Боткин посещает в сентябре госпиталь в Булгарени, через который проходят почти все раненые из-под Плевны. Картина, которую они увидели, была ужасной. В палатки раненые не помещались, и многие из них лежали около палаток, прося есть и перевязки. Многие не ели более полутора суток и более трех дней не перевязывались. Десять врачей не в силах были оказать помощь всем раненым, приток которых с каждым часом неимоверно нарастал, так как для дальнейшей эвакуации не было подвод. Больные были брошены в дороге на земле, ибо хозяины волов, узнав, что корма животным не будет, отпрягли их и увели, ссылаясь на то, что вол, простоявши без корма сутки, дойти до Булгарени не сможет.

«...Ваше благородие, прикажите покормить!» Признаюсь, эта последняя фраза, — пишет Боткин, — горько отзывается и становится еще прискорбнее, если вспомнить, что вина этого лежит в недостаточной организации. А на вопрос государя: «Ели ли вы?», все закричали в один голос: «Ели в. и. в-во!» — «Хватает ли у вас перевязочных средств?» — спрашивает он главного доктора. «Хватает, в. ц. в-во». За полчаса до приезда государя мне говорили, что едва-едва остается перевязочных средств, — еще несколько раненых, и нечем перевязывать. Что же прикажешь делать с этим народом? Ч. (князь В. А. Черкасский. — *Прим. авт.*) при мне стал упрекать Склифосовского, консультанта хирурга булгаренского госпиталя, в том, что он является причиной такого скопления раненых в этом пункте; что, желая осматривать самолично каждого больного, он, Склифосовский, задерживает кучу легких, которых могли бы без него перевязать сестры. Как я сказал прежде, это обвинение несправедливо: задерживаются больные не недостатком подвод, а не медицинской помощью. Защищаясь, Склифосовский высказал весьма печальное наблюдение, сделанное им в течение этих нескольких суток

работы; оказывается, что очень много, — по словам Склифосовского, можно составить целый полк из симулянтов, то есть ранивших себя в пальцы по примеру храброго сербского войска. По преимуществу эти храбрецы — из татар и евреев. Хотя это и человечно, но тем не менее очень печально...»

Боткин восхищен самоотверженной работой Склифосовского. В одном из писем он пишет: «...Склифосовский занимается накладыванием сплошь и рядом гипсовых повязок, вполне уверенный, что все накормлены. Впрочем, надо отдать ему и его помощнику полную справедливость: в течение нескольких дней, от 27 августа и по 3 сентября включительно, они отпустили в Систово около 6 тысяч раненых, а осталось их 2500 человек».

Доставка хлеба раненым постоянно задерживалась. Боткин винил в этом «товарищество», которое не справлялось с возложенной на него функцией и которое морило и войско и больных.

«...Сейчас из госпиталя и нашел там главного доктора чуть не в слезах; он с отчаянием передал мне, что больные второй день без куска белого хлеба; товарищество не доставило: ни за какие деньги нигде в пустыне этой ничего не получишь. Чуть не половина больных поносных, которые едят только белый хлеб. Со слезами на глазах полилась река жалоб на безвыходное их положение».

В октябре 1877 года в Боготе Боткин встретился с Пироговым. В госпиталь, в котором находился известный хирург, приехал и государь, он присутствовал на операции, которую производил Пирогов.

Ни в одну из войн наша армия не была снабжена таким сильным врачебным составом.

«Мы должны благодарить наше военно-медицинское управление и за то, что оно предотвратило такой дефицит в врачах... какой мы испытывали в прошедшей восточной войне (1853–1854 гг.), — писал Пирогов. — В этом отношении мы, действительно, замечаем прогресс. В нынешнюю войну было гораздо более врачей, и хирурги оказались несравненно более подготовленными и знакомыми с делом, чем в прошлую войну. На театре нынешней войны участвовали уже профессора и доценты хирургии из наших 5-ти университетов и медико-хирургической академии (в прошлую, Крымскую войну были только двое, я и проф. Гюббенет)».

Впервые русские женщины-врачи В. М. Дмитриева, М. А. Зибольд, Р. С. Святловская приняли участие в сербско-турецкой войне 1876 года, работая врачами в госпиталях и лазаретах сербской армии.

Однако официальное признание женский врачебный труд получил в

России в период освободительной войны на Балканах. Военно-медицинский инспектор Дунайской армии В. И. Приселков после объявления войны Турции обратился с просьбой к главноуполномоченному Общества попечения о раненых и больных воинах князю В. А. Черкасскому содействовать привлечению на средства Общества слушательниц женских врачебных курсов при Николаевском военном госпитале в С.-Петербурге для работы в лечебных учреждениях на войне. Слушательницы прошли пятилетний курс обучения и могли уже оказывать квалифицированную помощь больным и раненым. Князь Черкасский, сославшись на отсутствие денежных средств, отказал Приселкову. Тогда Приселков обращается за содействием к начальнику полевого штаба Дунайской армии генерал-адъютанту А. А. Непокойчицкому, который, согласившись с предложением инспектора, оказывает давление на князя Черкасского и тот допускает 20 слушательниц врачебных курсов оказывать помощь больным и раненым.

А 5 июля 1877 года уже независимо от В. И. Приселкова прибывший на Балканы профессор Н. В. Склифосовский направляет главному военно-медицинскому инспектору Н. И. Козлову телеграмму с просьбой командировать в военновременный госпиталь № 51, развернутый в Галаце, 5 слушательниц женских врачебных курсов. Просьба Н. В. Склифосовского была удовлетворена.

Первые женщины-врачи на театре войны в Болгарии получили всеобщее признание и высокую оценку. Вот что, например, писал в одной из докладных записок от 18 февраля 1878 года полевой военно-медицинский инспектор начальнику штаба Дунайской армии. «Слушательницы женских врачебных курсов, командированные в действующую армию, с самого начала кампании при неимоверном рвении и сознательном понимании дела выказали себя с самой лучшей стороны и поставленную ими хирургическую и терапевтическую помощь в госпиталях оправдали в этом первом опыте ожидания высшего медицинского начальства. Самоотверженная работа женских ординаторов среди опасности и лишений, среди тифозной болезненности, жертвой которой была не одна из них, обратила на себя внимание, и как первый пример применения женского труда в военном деле, заслуживает отличия и поощрения. Посему решаюсь убедительно просить... о награждении участвовавших в войне слушательниц женских врачебных курсов, не в пример другим, орденами Святого Станислава 3-й степени с мечами или другими знаками отличия».

Впервые женщин (сестер милосердия) к медицинской деятельности в

России привлек Пирогов, а Боткин в последующем развил пироговскую идею о женском медицинском образовании. В 1870 году Боткиным была основана Община сестер милосердия св. Георгия в Санкт-Петербурге. Боткин бесплатно преподавал на курсах общины и заведовал ее учебной частью. Затем, по его же инициативе, в 1872 году на базе Медико-хирургической академии открываются первые в России женские врачебные курсы. Многие слушательницы курсов поехали вместе с Боткиным в Болгарию. Боткин, как и Пирогов, возлагал большую надежду на женское медицинское образование и использование женского труда в лечении раненых и больных.

Вместе с женщинами-врачами и фельдшерами в Болгарию с добровольческими отрядами прибыли русские сестры милосердия. Их тяжелый, повседневный труд вызывал восхищение. Посланниц русского народа встречали в Болгарии с особой теплотой. Участник событий П. Я. Пясецкий писал:

«Мы поехали улицей, встречаемые всюду выражениями неподдельной радости... самый живой интерес, приветствия и восторги вызывали «русские жены», то есть ехавшие со мною сестры. Мужчины только кланялись и, произнося «Здравствуй, братушко», с любопытством смотрели на них, а женщины подбегали к нам, здоровались словами: «Добре дошли» и, не спуская с сестер словно влюбленных глаз, лепетали им все вдруг свои приветствия... Так как мы ехали шагом, то некоторые болгарки успевали сбегать в свой сад, нарвать цветов и, догнав, оделить ими «русских жен». Отрадно было видеть проявление этого искреннего удовлетворения и радости, в которых было что-то детское, чистое; это не было поклонение победителю или сильному и богатому в ожидании от него милостей».

Вместе с русскими сестрами милосердия бок о бок трудились и болгарские сестры. Инспекторами всех госпиталей дано было распоряжение принимать болгарок в сестры милосердия с «жалованьем 12 рублей металлических». Кроме этого, большую помощь раненым оказывали болгарские монахини и местное болгарское население. Болгары относились к медикам приветливо и радушно, считая их своими спасителями.

Перед началом освободительной войны общее число врачей, обслуживающих гражданское население в Болгарии, не превышало 20–25 человек. Больничная помощь находилась в зачаточном состоянии. Первые больницы, каждая из которых примерно была на 40 коек, были учреждены в 1865 году в Добриче (ныне г. Толбухин), Руцук (Русе), Плевне (Плевен). Этих больниц не хватало для нуждающихся в помощи населению. Поэтому



оно пользовалось у Слугами народных лекарей, костоправов и знахарей. Медицинских законов в стране не существовало. Не было даже правил для аптек. За санитарным состоянием турецкие власти наблюдения не вели. Иногда для заболевших устраивали больничные комнаты при турецких постоянных дворах (керван-сараях). Эти «больнички» являлись очагами распространения заразы, так как в керван-сараях размещалось одновременно до 500 человек вместе со скотом и подводами с грузом. Большое распространение имело лечение посредством заговоров и заклинаний. Хирургическую помощь оказывали цирюльники.

16 сентября Пирогов осматривает лазареты Дунайской армии. Он проехал по Болгарии 700 километров в неимоверно тяжелых погодных условиях осени и зимы. Грунтовые дороги при дождливой погоде и тающем снеге были труднопроходимыми для колесного транспорта. Они быстро размывались, становились ухабистыми. Распространенным видом транспорта были подводы на волах. Удобных мест для расположения перевязочных пунктов и госпиталей в Болгарии не было. Жилищные постройки в городах были одноэтажными, имели 2–4 комнаты, с низкими потолками, с глиняным полом. Канализация отсутствовала. Изредка были двухэтажные дома, но они принадлежали болгарским богачам и турецким баям и под расположение госпиталей из-за узких проходов не были пригодны. Кварты освещались керосиновыми лампами, свечами и каганцами, иногда лучиной. Отопительным материалом служили дрова, хворост и солома. Для стирки применялась глина (хума), зола, иногда самодельное мыло. Балканские горы, пролегающие с запада (Югославия) на восток (Черное море), разделяли Болгарию на две части — северную и южную. Военные действия в 1877 году проходили преимущественно на территории Северной Болгарии, между реками Вит на западе и Янтра на востоке. С юга район был ограничен Балканскими горами, с севера — Дунаем. Это пространство — около 20 000 кв. м. — Дунайская армия занимала с 15 июня (форсирование Дуная) до конца декабря 1877 года, когда она совершила зимний переход через Балканские горы.

Иногда госпитали приходилось размещать в монастырях. При сражении под г. Еленой госпиталь на 150 человек был развернут в Преображенском монастыре под Тырновом. Об этом госпитале Пирогов писал: «Помещения для раненых устроены в хороших, больших и маленьких комнатах, занимаемых летом приезжающими гостями-богомольцами. Беспольной роскоши не было, но для больных превосходно соблюдаются чистота и порядок и ни в чем нет недостатков». В монастыре

до сих пор хранится шина, которую Н. И. Пирогов использовал при лечении раненых. Православная христианская религия обособляла болгар от турок, позволяя тем самым сохранить национальные черты уклада жизни и характера. Христианский крест в освободительную войну служил опознавательным знаком. Когда русские войска освобождали в Болгарии какой-нибудь населенный пункт, то русские солдаты, чтобы отличить болгар от турок, показывали освобожденным свои нательные кресты. Болгары, увидев его, показывали свои кресты или крестились. Тогда русские солдаты, чтобы не забыть болгарские дворы, мелом наносили крест на воротах, стенах и оградах.

Даже при столь длительном мусульманском владычестве болгары в силу своей замкнутой жизни все равно сохранили расу, чистоту религии и семейные патриархальные нравы. «Болгарин трудолюбив, — писал главный полевой хирург Дунайской армии Н. М. Кадацкий, — расчетлив, вполне воздержан, осторожен на словах и в делах, не общителен и избегает привлекать к себе внимание. Нищенства и празднотства не было заметно. Турецкий гнет выработал в болгарях обдуманность поступков, скрытность».

Весной 1877 года было сформировано болгарское ополчение из числа болгарских эмигрантов, в том числе участников сербско-турецкой войны 1876 года, находившихся в России и Румынии. Каждая дружина состояла из 5 рот и одной конной сотни. Первоначально ополчение предназначалось для несения службы в тылу с целью «содействия Действующей армии в охране спокойствия и порядка в Задунайском крае». После начала военных действий ополчение приняло участие в боях. В оборонительном бою у Ески-Загры болгарское ополчение получило боевое крещение и покрыло себя неувядаемой славой.

В 3-й ополченской дружине на передовом перевязочном пункте оказывал помощь раненым врач дружины К. И. Вязенков. Он работал героически. Перевязанные им легко раненые вновь возвращались в бой, а тяжелораненые при помощи добровольцев-носильщиков отправлялись в Еску-Загру, где был организован импровизированный лазарет. Когда наступающие турки приблизились к нему на расстояние 150 метров, он чудом остался жив, ему удалось запрыгнуть на лошадь и под градом пуль ускакать. За свой подвиг К. И. Вязенков был награжден орденом св. Анны III степени с мечами.

В своем обобщающем труде «Военно-врачебное дело и частная помощь на театре войны в Болгарии и в тылу Действующей армии в 1877–

1878 гг.» Пирогов писал: «В прожитое нами время в Боготе я убедился окончательно, что на войне в полудикой и нецивилизованной стране ни близость главной квартиры, ни посещение госпиталя высокими особами и высшими медицинскими и административными чинами, ни широко организованная частная помощь, ни опытность и самоотвержение врачей и сестер не могут достаточно содействовать к улучшению госпитального быта и тех санитарных условий, которые так необходимы для оказания помощи раненым и больным...

...И в самом деле, что может сделать самая лучшая администрация в разоренной, нецивилизованной и малолюдной стране с первобытными и с порченными путями сообщения, с угнетенным и потому скрытным народонаселением, когда все необходимое для армии должно доставляться издалека и в неожиданно увеличенных размерах! Стоит только погоде измениться или развиться эпидемии, и лишения всякого рода и беспомощность делаются неизбежными. Все это, конечно, не оправдывает промахов, пробелов и ошибок управлений: военно-медицинского, административного и Общества Красного Креста, но, по справедливости, должно служить при обсуждении смягчающим обстоятельством».

Что и говорить, трудно и очень трудно было Пирогову. Но он, как и все, жаждал освобождения Болгарии от османского ига и своим самоотверженным трудом вносил лепту в предстоящую победу.

В госпиталях Пирогов часто встречает раненых с Шипки. Консультирует их, оказывает необходимую помощь, оперирует. Герои Шипки были у всех на устах. Бои за Шипкинский перевал носили ожесточенный характер. Большую поддержку русским солдатам оказывало местное население. В помощь солдатам было собрано 100 носилок с 400 носильщиками. Тысяча человек болгар везла с водой кувшины, ведра и бочки на ослах и телегах. Местные жители, собравшиеся было эвакуироваться с юга на север, опрокидывали свои возы с пожитками и ехали на помощь к русским солдатам.

Раненые солдаты и офицеры после оказания первой медицинской помощи вновь возвращались в строй. Вся открытая поверхность главной позиции обстреливалась пулями с четырех сторон. Переноска раненых, передача приказаний, посылка за водой были так же опасны, как и нахождение в бою. Часто переносившие раненых солдаты, добравшись до перевязочного пункта, имели с собой вместо одного двух или трех раненых. Редко кто из раненых пользовался удобством носилок, в основном их переносили на плечах, на палаточных полотнах и на ружье. А некоторые вообще ползли сами или допрыгивали до перевязки на одной ноге. Раненых

перевязывали у погребов или же около запасных зарядных ящиков.

Когда кончался перевязочный материал, в ход шло белье и палаточное полотно. Главный перевязочный пункт, на который затем отправлялись тяжелораненые, был развернут в трех километрах от оборонительной позиции защитников Шипки. Лазарет 14-й пехотной дивизии был перемещен из Сельви в Габрово.

«Габровский перевязочный пункт, — по определению Н. М. Кадацкого, — обратился в эвакуационный для Шипки». Сюда 15 августа прибыл с хирургической бригадой профессор-консультант Н. В. Склифосовский. Почти вся его научная и общественная деятельность была связана с военной медициной. В русско-турецкой войне ярко проявился талант Склифосовского как военно-полевого хирурга. Именно к нему в военновременный госпиталь № 51, развернутый в Галаце, главным военно-медицинским инспектором были направлены 5 слушательниц женских врачебных курсов. «Бесстрашным» прозвали Склифосовского в Болгарии. Ради спасения раненых он мог по несколько суток без еды и сна трудиться у операционного стола и своим трудолюбием заражать окружающих, придавая им бодрость и силу духа.

В сражении под Плевной, 18 июля 1877 года, Склифосовский, руководивший главным перевязочным пунктом вблизи Гривицы, разделил всех врачей на три группы: оперирующие, гипсующие и перевязывающие, сам же возглавил производство сложных и тяжелых операций. Число раненых постоянно увеличивалось, и многие врачи не выдерживали больших нагрузок. Особенно трудно было оказывать помощь ночью. И часто из-за нехватки персонала Склифосовский работал в одиночку.

«Бой продолжался, выстрелы все приближались к перевязочному пункту, — вспоминал Склифосовский. — В 10 часов вечера отдано было приказание снять сигнальный фонарь перевязочного пункта, чтобы не привлечь внимание неприятеля. Палатки были переполнены ранеными; раненые лежали вокруг палаток на земле, заняв огромную площадь. Тут лежало 2000 человек. Стоны, говор тысячи голосов, суeta измученной прислуги — все это в ночной темноте производило своеобразный гул, который мог бы огласить огромное пространство, если бы непрерывный треск ружейного огня не заглушал его. При мне находилось 5 или 6 измученных врачей; выбившаяся из сил прислуга, видимо, уклонялась от работы. Что оставалось предпринять среди такого хаоса? А ружейные выстрелы все приближались. Я занялся исключительно сортировкой раненых, но дело подвигалось медленно в темноте, при свете одного тусклого фонаря и почти без прислуги».

В один из июльских дней, когда в лазарете 31-й дивизии, расположенном недалеко от реки Осмы, полным ходом шла перевязка раненых, в час дня поступили сведения, что турки прорвали оборону и приближаются к 424 лазарету. В спешке были собраны обозы. Многие раненые не попали в линейки и бежали пешком. А те, кто попал в телеги, лежали как попало, ибо ни о каких удобствах не могло быть и речи.

В таких отступлениях происходило слияние госпиталей между собой, в результате чего количество раненых бывало непредсказуемо огромным. На путях отступлений питательных пунктов не было, и раненые и больные часто голодали. Из-за редких перевязок раны нагнаивались, и больные часто умирали от заражения крови.

«Влияние поспешного переезда действовало пагубно, — писал Склифосовский. — Нельзя не согласиться с этим, если припомнить, что многие раненые прошли пешком расстояние от Плевны до Зимницы. В этом нужно видеть, между прочим, причину огромной смертности...»

Для создания неподвижности костных отломков нижних конечностей Склифосовский накладывает гипс на бедра в виде штанов, то есть гипсом покрывалась и здоровая нога.

После третьего плевенского побоища он столкнулся в Свищове с огромным числом раненых, разбросанных по всему городу. Мало того, помещения для госпиталей были не приспособлены. Перевязки и операции приходилось делать на сквозняках и в холодных условиях.

«...Дома были разорены, — писал Склифосовский. — Все сознавали необходимость исправления их, вставления окон, дверей, починки печей; ясно было, что предстояла насущная потребность готовиться к зиме. Хлопотали, писали бумаги, вызывали подрядчиков на торги, а дело все-таки не подвигалось. Уехал я из Свищова в конце сентября, оставив госпитальные наши помещения в таком же печальном виде, в каком застал я их в первый день своего приезда, то есть все так же красовались они без дверей и окон, с ободранными полами и пробитыми печами».

В боях под Плевной за самоотверженность и мужество Склифосовский был награжден орденом святого Владимира III степени с мечами.

Склифосовский был не только талантливым хирургом, но и опытным организатором. Внимательно изучив организацию оказания медицинской помощи в русско-турецкой войне, он пришел к выводу, что разобщенность и закрепощенность ведомственного подчинения военных госпиталей и учреждений Красного Креста приводит к ухудшению оказания помощи раненым. Необходимо было объединение военно-санитарных сил и

обществ Красного Креста под началом военного ведомства и предоставления лечебным учреждениям Красного Креста и другим обществам большей самостоятельности в лечении раненых.

Нужно, чтобы военно-медицинской службой руководили не чиновники, а люди, сведущие в вопросах военной медицины: «Не представительность, не высокий чин и не видное общественное положение нужно, а знание дела».

«...Единство инициативы, — пишет Склифосовский, — единство действия необходимы, и преимущественно необходимы они на театре военных действий. Полевой военно-медицинский инспектор должен быть представителем санитарного дела, в его руках должна быть сосредоточена вся власть. Инспектором госпиталей или лицом, на которое будет возложено ведение хозяйственной стороны санитарного дела, должен быть непременно врач, путем долгого опыта изучивший госпитальное дело».

Склифосовский добивается создания подвижных «санитарных команд», так называемых «летучих команд», которые бы выдвигались к местам скопления раненых для усиления госпиталей. «Эти отряды, — указывает он, — должны быть приготовлены и обучены заранее... и должны входить в состав санитарного персонала военновременных госпитальных учреждений».

Очень часто бездействие администрации в своевременности развертывания госпиталей было явным. В результате массового потока раненых на какой-нибудь маленький госпиталь медики были просто не в силах оказать своевременную помощь. Так происходило при сражении «Третья Плевна».

«Раненых подвозили ежедневно, — пишет Н. В. Склифосовский, — а с 31 августа после общей атаки 30-го числа раненых подвозили уже беспрерывно днем и ночью. Переполнение госпиталя было страшное, а сил врачебных мало, недостаточно. Очевидно, что средствам одного госпиталя такая работа не по силам: нужно было бы заложить на главном сортировочном пункте в Булгарени по крайней мере 3 военновременных госпиталя: тогда возможно было бы избежать тех погрешностей, которые неизбежно вытекали из нашего весьма затруднительного состояния».

Обстановку в госпиталях, описанную Склифосовским, подтверждает и очевидец событий Е. В. Утин. «...Последствием такого невозможного скопления людей (в госпиталях. — *Прим. авт.*), — вспоминает он, — была полнейшая безурядица и самое жалкое состояние, которое только можно себе представить, не только больных и раненых, но даже здоровых, то есть врачей, сестер милосердия, санитаров...

...Очевидно, что когда на такую массу раненых и больных всего есть десять врачей и даже меньше, то человеческие силы не выдерживают, и люди по несколько суток остаются без перевязок. Виновно в этом может быть военно-медицинское управление, не способное справиться со своей задачей, а уж никак не врачи».

Большую личную храбрость Склифосовский проявил в боях за Шипку. С риском для себя он оказывал помощь под свистом пуль и разрывом ядер. Работать приходилось в самых неподходящих местах, в хлеву, в неотапливаемых сараях и шалашах. Раненые подолгу задерживались на передовых перевязочных пунктах, так как крутизна подъемов и спусков Иметлийского перевала препятствовали эвакуации раненых. Склифосовский трудился до изнеможения, спал стоя. Ни о какой горячей пище не могло быть и речи, свой паек он отдавал тяжелобольным. Жить приходилось в землянке-норе, вырубленной в какой-нибудь горе и отапливаемой по-черному. Операции приходилось делать круглосуточно. На Шипке Склифосовский широко применил при переломах костей гипсовые повязки.

Очень часто в ходе боя врачи обороняющихся частей не могли собираться в определенные места и поэтому оказывали помощь где придется, под любым более или менее подходящим укрытием. Большая часть раненых выбиралась из-под огня противника самостоятельно. Даже с повреждением голени и стопы раненые ползли на 2–3 версты, лишь бы только выбраться с места боя.

Во время штурма турецкого укрепленного лагеря у Шейнова главный перевязочный пункт был открыт в Топлиш «в самых широких размерах». Для размещения тяжелораненых было оборудовано 10 больших домов с кроватями и постельными принадлежностями и 15 домов для легкораненых. На питание был пригнан убойный скот и получен заказанный в Габрове свежесдобитый хлеб в количестве 1800 порций. Для перевозки раненых в Габрово у населения было взято 28 саней и 56 лошадей для раненых, способных передвигаться верхом, с Иметлийского перевала до деревни Топлиш. Однако переправлять раненых было трудно. Шипкинский отряд должен был удерживать перевал до тех пор, пока основные силы Дунайской армии «не развяжут себе руки» под Плевной.

В своем труде «Военно-врачебное дело и частная помощь на театре войны в Болгарии и в тылу действующей армии в 1877–1878 гг.» Н. И. Пирогов характеризует войну как «травматическую эпидемию».

Орудия войны, находящиеся постоянно в действии, наносят людям

массу травм, от самых легких и до самых ужасных. «Я беру травматизм не в тесном, — писал Пирогов, — школьном смысле как одно только нарушение целостности тканей... В моем понятии всякое насильственное лишение, сопряженное неразлучно с войной, уже носит в себе более или менее характер травматизма... Даже лишение пищи, питья, обременение тела разного рода тяжестями, утомление, в конце концов, причиняет тоже нарушение связи и целостности органических частей. И вот такой-то именно сбор разного рода насильственных лишений и настоящих насилий, причиняемых массе людей (войсками) войной и неминуемо следующих вместе одно за другим, я и позволяю себе включить в общее понятие о военном травматизме... Но что особенно в моем понятии ставит войну в разряд повальных болезней, это ее почти неминуемые следствия — развитие зараз настоящих в общепринятом смысле — эпидемии».

При изучении Пироговым всего лечебно-эвакуационного обеспечения были замечены недостатки. Никакой целенаправленной подготовки к медицинскому обеспечению форсирования Дуная не было предпринято. Медицинское управление армии вообще не знало о готовящихся переправах Дуная.

Силы и средства «частной помощи» использовались нерационально и вводились в действие несвоевременно, главным образом из-за отсутствия взаимодействия не только с органами военно-полевого ведомства, но и между различными звеньями организации самой «частной помощи». Негативную роль играло стремление органов «частной помощи» к чрезмерной самостоятельности и к «бесполезной роскоши частных лазаретов». Как справедливо указывал Н. В. Склифосовский, «на территории военных действий должно быть господство мундира и дисциплины тут должно быть все нивелировано, все госпитальные учреждения должны быть одинаковы».

Наиболее крупным сражением русско-турецкой войны как по количеству участвовавших в нем войск, так и по числу потерь, которые они понесли, явилась третья попытка овладеть плевненским укрепленным лагерем Османа-паши (так называемая «Третья Плевна»). В этом сражении, включая четырехдневную артиллерийскую подготовку, и продолжавшемся семь дней, участвовали не только русские, но и румынские войска. Попытка овладеть Плевной, как и две предыдущие, оказалась безрезультатной. Под «Третьей Плевной» были усилены войсковые звенья медицинской службы, дивизионные лазареты. Врачи лазаретов и госпиталей проявляли невероятную стойкость и мужество. Огромное число раненых, особенно после неудачного лобового штурма турецких



укреплений 30 августа, создало трудности для своевременного оказания медицинской помощи. Раненые прибывали на перевязочные пункты в большом количестве и непрерывно, но особенно огромный их наплыв отмечался на главных перевязочных пунктах. Много раненых (4110 человек) прибыло на перевязочные пункты, развернутые на левом фланге дивизионными лазаретами 2-й и 30-й пехотных дивизий и около 2898 раненых — на главный перевязочный пункт 16-й пехотной дивизии, развернутой возле Тученицы.

Кроме этих неприятностей, 24 августа начался сильный дождь, затем пошел мокрый снег. Госпитальные шатры и палатки промокли, землянки протекли и наполнились стекавшей водой. 30 августа после сильного притока раненых часть раненых пришлось укладывать под открытым небом на подстилках из соломы и сена. 30 и 31 августа медицинский персонал работал до изнеможения. Единственным выходом должна была быть срочная эвакуация раненых в военно-временные госпитали. Но в непосредственной близости к району боевых действий, и то лишь на расстоянии около 20 километров, был лишь один военновременный госпиталь № 63, развернутый возле деревни Дервишко. Здесь было разбито 37 шатров, но их не хватало. И раненых, как и на перевязочных пунктах, укладывали на земле под открытым небом. Госпиталь превратился в главный перевязочный пункт, который только сортировал раненых, оказывал им первую помощь и эвакуировал дальше.

С каждым днем переполнение госпиталя увеличивалось, а врачебных сил было мало. Через 63-й военновременный госпиталь до 4 сентября прошло около 9,5 тысячи раненых. Госпиталь фактически не справлялся со своим основным назначением. Но если бы на главном направлении было дополнительно заложено еще 3 военновременных госпиталя, то можно было бы избежать погрешностей в оказании помощи раненым.

Хаос в размещении госпиталей был невероятный.

Инспектора госпиталей, в ведении которых находилось размещение, относились к своим обязанностям халатно. Офицер полевого управления Дунайской армии А. Ф. Зандрок так описывает обстановку, которую он застал в военно-временном госпитале № 63, когда прибыл в Булгарени вечером 31 августа: «Пробираясь с трудом между ранеными, мне удалось наконец дойти на огонек к центру госпитального лагеря. Здесь шла сортировка и осмотр прибывших, немного в стороне врач, с изнуренным до болезненности лицом, производил перевязки при помощи очень юной сестры милосердия, а немного далее виднелись фигуры также сестер

милосердия, перебегающих от одной группы раненых к другой, одни из них предлагали раненым чай, другие — вино и воду, далее опять врач, перевязывающий раненого, сестра милосердия, пробирающаяся через грязь в огромных мужских сапогах... Лица у всех измученные тяжелым, непосильным трудом».

Такие же невзгоды пришлось пережить лечебным учреждениям, развернутым в Зимнице, Фратешти и Яссах. Госпиталю № 57, раскинутому в Зимнице, состоящему из трех отделений, полагалось 630 больных и раненых, то есть по 210 человек на отделение. В этом же госпитале 5 сентября 1877 года находилось вместо 630 человек 2886 раненых. Такой массе раненых и больных десять врачей не в силах были оказать помощь.

По несколько дней они находились без перевязок.

Создание центрального перевязочного пункта в условиях конкретной обстановки боя у Горного Дубняка было оценено Пироговым положительно. Развертывание главных перевязочных пунктов в непосредственной близости к боевым порядкам войск уменьшало длительную задержку раненых и способствовало скорейшей их эвакуации на последующий этап. Дольше всего Н. И. Пирогов пробыл в военно-полевом госпитале № 69. Он был дислоцирован в Боготе в 20–30 километрах от главных перевязочных пунктов. Кроме производства операций, Пирогов лично руководил, а точнее, организовывал и налаживал эвакуацию раненых. При значительном числе авторитетных хирургов подготовка тяжелораненых для транспорта производилась быстро. По пути к госпиталю № 69, у деревни Чириково, был организован центральный перевязочный пункт. Раненые стали поступать сюда с первого же дня боя 12 октября.

Пирогов добивается своевременной транспортировки раненых с перевязочных пунктов в более отдаленные госпитали. «Поэтому ни с сортировкой раненых, ни с хирургическими пособиями нельзя было мешкать. Главной задачей на перевязочном пункте было подготовить раненых к транспорту».

С наступлением зимы эвакуация раненых ухудшилась в связи с погодными условиями. Пирогов посещает город Свиштов, где находится военно-полевой госпиталь № 50, расположенный в 55 жилых домах. Отсюда отходили эвакуационные эшелоны на север. В селе Горна Студена располагался военно-полевой госпиталь № 67, Там же находились главная квартира государя императора и главнокомандующего, канцелярия гражданского управления князя Черкасского и редакция газеты «Летучий военный листок». Когда главнокомандующий русской армией великий

князь Николай Николаевич заболел, он обратился за помощью к Пирогову. И тот вылечил его. Пирогов понравился князю не только как врач, но и своей независимостью характера и отсутствием хоть какой-нибудь тяги к карьеризму. Во время русско-турецкой войны Пирогов вызывался к нему дважды, и оба раза князь был доволен его лечением.

Близость госпиталя и главной квартиры императора создавала предпосылки для лучшего снабжения и ухода за больными. Однако уже с сентября, с наступлением первых холодов сюда стали поступать солдаты с отморожениями.

Впоследствии выяснилось, что громоздкие военно-временные госпитали по своей организации и оснащению не способны преодолеть Балканский хребет в зимнее время. Поэтому единственным средством медицинского усиления войскового звена наступающих войск явился С.-Петербургский летучий отряд и этапный лазарет Красного Креста. Картины перехода были ужасны. Раненых от холода знобило, медикаменты давали на морозе. Не хватало теплой пищи. На железных дорогах были огромные заносы. А по Дунаю свирепствовал ледоход. Значительная часть личного состава войск во время зимнего перехода Балкан не имела зимнего обмундирования, поскольку распоряжение о его заготовке и снабжении войск было отдано лишь после того, как выпал в горах снег. В результате участились простудные заболевания и обморожения. Положение солдат на передовых постах было ужасным; обувь была старая, портянок и фуфаек не было, сапоги промерзли насквозь, и согреться было негде.

16 декабря 1878 года в 6 часов вечера поднялся сильный буран, который занес все сообщения. Без костров, без прикрытий батальоны на перевале стыли, хотя мест своих не покидали. Многие медленно умирали. Полузамерзшие солдаты старались спасти своих товарищей, откапывали их и оттирали.

17 декабря в 11 часов полузамерзшие солдаты несли на руках обмороженных. Приказано было идти и не останавливаться. Если же останавливался, быстро стыл и терял сознание.

Доктора Красного Креста Веймар и Головачев, несмотря на страшную вьюгу 17-го и 18-го числа, проникали на перевал, откуда приводили и приносили погибавших. Таким путем они спасли 420 человек. Часть этих людей была доставлена полуживыми к докторам Красного Креста, которые, приведя их в чувство, с казаками препроводили в Этрополь.

18 декабря, когда отряд собрался в Этрополь, 813 человек выбыло из строя обмороженными. 13 офицеров так замерзли, что стали инвалидами.

53 солдата замерзли насмерть. Для сопровождения войск, преодолевавших Балканский хребет, из состава дивизионных подвижных лазаретов выделялись «отдельные отряды или отделения», куда входило 2–3 врача, несколько фельдшеров и часть роты носильщиков.

В освобождении Болгарии приняли участие и врачи-болгары, волею судеб ранее находившиеся в составе ту-редкой армии. В боях под Орхание врач Георги Цариградский перешел на сторону русских и, до конца войны совершив много подвигов, был награжден двумя георгиевскими орденами. Во время подъема колонны генерал-лейтенанта Дандевилля на вершину горы Баба в декабре 1877 года этот врач с помощью местных горцев — этро-польских болгар организовал спасение замерзающих русских солдат.

Вот что писал об этом переходе генерал-лейтенант Дандевиль в своем донесении: «Сейчас собираю болгар из Этрополя, которых ночью отправлю с Цариградским, чтобы откопать орудия и стащить их в низину. Посылайте меня сражаться хоть с чертями, только не с метелью на высоте 5000 футов на г. Баба. У меня нет землянок, пионеров, шанцевого инструмента и даже дров — один лишь Цариградский, который заболел, но завтра отправится на перевал».

С помощью горцев-болгар врач Цариградский перенес с перевала на носилках закочневших, обмороженных русских воинов в Этрополь в теплые помещения местных жителей.

Колонна генерала Дандевилля во время перехода Балканского хребта потеряла 840 солдат и 10 офицеров. 4 орудия, засыпанные снегом, лишь на третий день были откопаны болгарами под командованием врача Цариградского. Оказывается, этот врач не только лечил раненых, но и помогал войскам в спасении орудий.

В одной из болгарских деревень Пирогов встретился с Цариградским. Болгарский врач, узнав великого русского ученого, кинулся к нему со слезами на глазах.

— Братушко, спасибо! — произнес растроганный врач Пирогову.

— Это вам спасибо за спасение солдат... — сказал Пирогов и крепко обнял доктора. А затем взял свой чемоданчик с инструментарием и отдал доктору. — Это вам за храбрость. Я прошел с ним всю Крымскую войну.

— Великая честь получить это из ваших рук!.. — воскликнул доктор, принимая чемоданчик.

Был вечер. В деревне, чтобы согреться, солдаты жгли костры. Два доктора сели к костру. Солдаты преподнесли им чай.

— Мы победим, обязательно победим! — в восторге произнес Цариградский.

— Обязательно победим! — с уважением глядя на доктора, сказал Пирогов. Кто-то затянул песню о храбрости и геройстве русского солдата. А затем дружно зазвучал припев:

*Живей же, друзья, вороного седлай;  
Бой жаркую грудь расхолодит!*

Пирогов с большим воодушевлением подпевал солдатам вместе с доктором. Однако редки были такие минуты у Пирогова и очень кратковременны. Он жаждал как можно больше осмотреть госпиталей, дать персоналу необходимые советы, помочь в организации порядка. На следующий день после встречи с Цариградским, приехав в один из госпиталей, он был потрясен увиденным. Больше половины госпиталя было забито пленными ранеными и больными болгарами, два дня назад отбитыми у турок. Турки зверствовали и издевались над пленными как только могли. У многих были отрублены руки и ноги, сняты скальпы, отрезаны уши и носы, вспороты животы. Пирогов задержался в этом госпитале на три дня. Вместе с врачами он день и ночь оказывал помощь этим страдальцам.

— Лучше смерть, чем это терпеть... — крестились во время отдыха монахини. Однако большая часть мучеников была все же спасена.

С конца 1877 года в период перехода Дунайской армии иерез Балканы в войсках началась эпидемия сыпного тифа. А к лету 1878 года развился тиф, к которому присоединилась малярия и дизентерия. Развитию этих заболеваний способствовало длительное пребывание войск на одном месте (осада Плевны, оборона Шипки и пр.). В этих случаях окружающая территория загрязнялась нечистотами и органическими отбросами. В местах сражений и вдоль дорог была масса неубранных трупов людей и животных. Вода горных ручьев, впадающих в реку Тунджу, «была отравлена множеством трупов, лежавших на поверхности и скрывающихся в илистом дне». Кроме всего этого, в селениях развивался повальный падеж скота.

Подлинным рассадником инфекционных заболеваний стали военно-временные госпитали и дивизионные лазареты, переполненные ранеными и больными, в которых об изоляции инфекционных больных и элементарном медицинском уходе не могло быть и речи. Так, например, в военно-временном госпитале № 50 в декабре 1877 года из-за прерванной

переправы через Дунай в Систове скопилось более 7000 раненых и больных, которые были «разбросаны по бесчисленному множеству полуразрушенных хат и лачуг турецкого квартала». Вследствие такой разбросанности и изнуренности медиков, которые сами очень часто заболели тифом, на сутки и более забывался осмотр не только единичных больных, но и целых домов.

Такая же обстановка сложилась и в госпитале № 69 в марте 1878 года, в котором бывал Пирогов. Раненые в помещении на 10 человек укладывались плечом к плечу, в солдатской грязной одежде до 30 человек. Ни о какой гигиене в таких условиях не могло быть и речи. Немытые более года тела покрывались корой из грязи и струпиями расчесов. Рубахи от постоянно выделяющегося пота гнили на живых людях. Даже легкораненый с натер-тостью ноги от сапога, попав в такие скученные условия, моментально заражался сыпным тифом.

Постепенно тифы разрослись в ужасающие эпидемии. Зараза, занесенная в госпитали и войска, с вновь возникающими ранеными опять возвращалась в госпитали. Получался своеобразный круговорот инфекции.

После падения Плевны 28 ноября 1877 года, улицы которой были усыпаны неимоверно большим количеством трупов, было обнаружено большое число крайне истощенных раненых и больных турок. Солдаты так исхудали и ослабли, что внешне походили на больных, чем на здоровых. Считается, в это время в Плевне находился очаг сыпного и возвратного тифа, который быстро распространился вначале по Балканскому полуострову, а затем был занесен внутрь России.

31 января 1878 года была создана специальная комиссия для оздоровления местностей, занятых Дунайской армией. Главным военно-медицинским управлением для консультаций по этому вопросу был приглашен известный в России врач Ф. Ф. Эрисман. Председатель созданной комиссии генерал-майор Ф. А. Фулон в июле, неожиданно заразившись сыпным тифом, умер. Ф. Ф. Эрисман составляет инструкцию по предупреждению дальнейшего распространения инфекции. Производится массовая дезинфекция госпитальных помещений, больных и их личных вещей. Организуются специальные дезинфекционные отряды. Из болгарских селений и городов начинается вывоз на подводах трупов и нечистот. Больных сыпным тифом изолируют.

Для инфекционных больных не было госпиталей. Поэтому тиф распространялся по всем направлениям железной дороги.

Пирогов принял самое активное участие в разработке мер, предупреждающих дальнейшее распространение инфекционных болезней

в тылу страны. На состоявшихся 16 февраля в Одессе и 16 марта в Киеве междуведомственных совещаниях по его предложению были созданы обсервационные, карантинные пункты на узловых железнодорожных станциях по пути следования санитарных поездов с эвакуированными из действующей армии ранеными и больными.

Кроме того, «ввиду предстоящего вскоре еще большего их наплыва при эвакуации морем» Пирогов предложил оборудовать на берегу моря в ограде и зданиях карантина изолированное помещение на 100 и более кроватей. Такой карантинный городок, развернутый в палатках и парусиновых шатрах у карантинной гавани, был, по оценке Пирогова, «превосходно исполнен».

Распространению тифа способствовала скученность больных в лазаретах и госпиталях. Тифозные больные лежали так скученно, что к какому-нибудь из них было трудно добраться, без риска раздавить соседа. В бараках было зловоние, света почти не было. Лежали больные в своей грязной солдатской одежде и в сапогах. Такое катастрофическое положение с оказанием медицинской помощи больным сложилось в наиболее привилегированной части войск русской армии, какой была императорская армия, в других же частях было еще хуже.

С. С. Шкляревский, сопровождавший Пирогова в его поездке в Болгарию, писал: «...приняв на себя дело осмотра санитарных учреждений... Н. И. Пирогов в широких размерах выполнил трудное дело. В тылу действующей армии в Румынии и Болгарии им осмотрены лазареты, бараки, склады, этапные пункты, санитарные поезда и пр., устроенные исключительно на средства Красного Креста, и, кроме того, все учреждения военно-медицинского ведомства, где в той или другой форме и степени Красный Крест был сопричастен к делу помощи.

...Исполняя свое административно-инспекторское поручение, Пирогов сделал лично множество важных и сложных операций; он везде беседовал с профессорами и врачами, высказывая свои взгляды и заключения: о свойствах ранений в эту войну, о наивыгоднейших методах операций, повязок, перевязок и лечения вообще... Кроме всестороннего внимания к нуждам и положению раненых и больных, Пирогов везде осведомлялся об условиях жизни бессменных тружеников — уполномоченных врачей и фельдшеров и тружениц — сестер милосердия».

По настоянию Пирогова в штат войсковых частей были включены носильщики, чтобы не прибегать к помощи «сострадающих солдат», которые покидали поле боя, сопровождая раненых в тыл. Наиболее

удобным средством транспортировки в горах были признаны обычные носилки.

Госпитальные палатки для размещения раненых после оказания им помощи, которые предложил Пирогов, из-за косности военного начальства не получили широкого распространения. Администрация отдавала предпочтение не палаткам, а устаревшим, порой непригодным зданиям, старым больницам и казармам, в которых часто развивались тиф и другие инфекции. «...Нам следовало бы их (те палатки) иметь в огромном запасе и заменить ими исключительно все прочие ради помещения больных в военное время».

Преимущество палаток поддержал Н. В. Склифосовский. «Я застал, — пишет он, — по приезде в Гродно четыре палатки, в которых помещались самые трудные раненые и оперированные. Нужно было сравнить раненых, лежащих в палатках, с теми, которые помещались в роскошных залах замка. Не только раны первых представляли лучший и более здоровый вид, но даже выражение лиц, несмотря на то, что уход за теми и другими был одинаковым.

...Палатки дают возможность развернуть госпиталь быстро, во всяком месте. Перемещение такого госпиталя легко совершается. Одним словом, имея палатки, администрация госпитальная не связана ни временем, ни местом, ни другими исключительными обстоятельствами военного времени. В гигиеническом отношении палатка есть идеал госпитального помещения, предоставляя самые лучшие условия вентиляции, которые недостижимы в такой мере ни в каком здании».

Очень часто бездействие администрации, а также разобщенность ведомственного подчинения военных госпиталей и учреждений Красного Креста приводили к ухудшению оказания помощи раненым. Требовалось объединение военно-санитарных сил и обществ Красного Креста под началом военного ведомства и предоставления лечебным учреждениям Красного Креста и другим обществам большей самостоятельности в лечении раненых как в тылу армии, так и внутри страны. Лечебные учреждения на войне, считал, например, Н. В. Склифосовский, должны быть одинаковыми.

Пирогов доказывает необходимость эвакуации (рассеивания) раненых с фронта в тыл с целью высвобождения передовых и главных перевязочных пунктов. Эвакуации предшествовала сортировка раненых на главных перевязочных пунктах и в военных временных госпиталях, что исключало хаотический характер работы медицинского персонала. По путям



транспортировки раненых в небольших болгарских селениях и деревнях устраивались пункты кормления, часто они совмещались с перевязочными пунктами.

Впервые в русско-турецкой войне 1877 года для эвакуации начал использоваться железнодорожный транспорт. Любой вагон, пассажирский или товарный, превращался в санитарный при помощи станков системы Городецкого в два яруса, на которые устанавливали носилки. Одновременно эвакуация раненых производилась на санитарно-транспортных судах по Дунаю. Если гипсовых повязок для иммобилизации раненых конечностей не хватало, пользовались войлочными повязками, пропитанными спиртовым лаком. По своему значению они не уступали гипсовым и были более легкими и удобными.

К советам Пирогова с большим вниманием прислушивались болгарские врачи. Его уважали как известного ученого Европы и ценили как замечательного врача-практика.

Еще в 1841 году А. И. Герцен в письме к Витбергам говорит о Пирогове как о самом эрудированном враче Европы: «Это человек, стяжавший европейскую славу, — глубоко ученый врач». А хирургическая подготовка Пирогова, по мнению Герцена, стоит вне всякой конкуренции. Герцен считал, что заслуги Пирогова перед русской культурой не меньше, чем В. Г. Белинского и И. С. Тургенева».

Своему сыну, молодому врачу А. А. Герцену, Герцен-отец горячо рекомендует взять за образец научную и общественную деятельность Пирогова. В знаменитом трогательном письме к сыну в январе 1860 года он писал: «Естественно (мне) было бы желать, чтобы ты шел по пути, тяжело протоптанному, но протоптанному родными ногами, — по нему ты мог бы дойти, например, до того, до чего дошел один из величайших деятелей в России — доктор Пирогов, который как попечитель в Одессе, потом в Киеве приносит огромную пользу, что не мешает ему быть первым оператором в России».

При штурме Плевны 26–31 августа, когда число раненых на 5 главных перевязочных пунктах достигло 9 тысяч, в них работало, кроме 25 штатных врачей и 40 фельдшеров, 36 прикомандированных врачей Красного Креста, 26 студентов-медиков, 31 сестра милосердия. Медперсонал был сконцентрирован на двух главных перевязочных пунктах, принимающих основной поток (по 3000) раненых. На каждого врача этих пунктов приходилось до 120 и на каждого студента и сестру — по 100 раненых. Проведя анализ этих бывших, до его приезда, плевенских событий,

Пирогов заметил, что если даже только половина этих раненых требовала операции или наложения гипсовой повязки, то каждый из врачей с 2–3 студентами или сестрами имел дело с 30 такими ранеными в сутки, затрачивая на это не менее 15 часов и не оставляя времени, необходимого для пособий остальной половине (около 1500) легких раненых. Поэтому раненые эвакуировались «без надлежащего сортирования и даже беспомощно в военно-врачебный госпиталь № 63 за 20–25 верст за Болгарени, где... едва доставало рук для производства операций и наложения гипсовых повязок под наблюдением главного врача и профессора Склифосовского. Там проводилось снова и сортирование».

Чтобы избежать застоя раненых, Пирогов уделял основное внимание сортировке. «В нынешней войне немедленный и непрерывный транспорт раненых с перевязочных пунктов в более или менее отдаленные госпитали должен считаться законом: вся обстановка, все особенности войны заставляли прибегать к этой... неизбежной мере. Поэтому ни с сортированием раненых, ни с хирургическими пособиями нельзя было мешкать. Главной задачей на перевязочном пункте было подготовить раненых к транспорту».

Вначале требовалось рассортировать раненых, определить, кого куда отправлять, учитывая степень тяжести ранения, и лишь затем приступить к оперативному лечению.

В Крымскую войну Пирогов был сторонником активных оперативных действий в ранние сроки после ранения, широко применял он тогда и первичные ампутации. Наблюдения в Болгарии показали целесообразность по возможности ограничить первичные оперативные вмешательства лишь остановкой кровотечения.

В осажденном Севастополе ранения носили совсем другой характер, чем в Болгарии, там наблюдались ранения с обширными размозжениями костей и мягких тканей артиллерийскими снарядами, что приводило к быстрым некрозам тканей и смертельно опасным гнойным осложнениям. Поэтому там срочное оперативное лечение было необходимо как воздух. Да и доставка раненых из Севастополя была более ранняя.

В Болгарии же до 90 процентов ранений, в том числе и с повреждением крупных костей и суставов, наносилось пулями малого калибра, поэтому раны эти были с небольшими зонами повреждения. А в силу непроходимости дорог, горной местности и плохих погодных условий данного времени раненые зачастую на перевязочные пункты доставлялись с опозданием. В таких случаях Пирогов отводит большую роль сберегательному лечению. Он рекомендует широко использовать гипсовую

иммобилизацию. «Я позволяю себе думать, — заключает он, — что введение мною гипсовой повязки в полевую хирургию главным образом содействовало и распространению в полевой практике сберегательного лечения».

Осмотренные им при эвакуации через Боготу 15 раненых с проникающими ранениями коленного сустава в глухих гипсовых повязках, наложенных на перевязочном пункте под горным Дубняком, находились в хорошем состоянии. Раненые не температурили, не испытывали болей, несмотря на то, что проделали почти 100-верстный путь в неудобных телегах.

Гипсовая повязка, наложенная в ранние сроки после ранения, создавала покой ране и защищала ее от вторичного заражения. Мало того, Пирогов рекомендует только что прооперированных больных не везти дальше, а в течение недели оставлять на месте. Н. В. Склифосовский поддерживает идею великого ученого. Следуя этой методике, буквально за короткое время было замечено, что из «первично ампутированных» выздоровело около 80 процентов раненых, в то время как при транспортировке, следующей сразу же после операции, развивалось нагноение ран, и часто от неожиданно возникшего заражения крови отмечались смертельные исходы.

Пирогов широко пропагандирует ранний покой раны и постоянное наблюдение за ней. Однако все же и в покое наблюдались септические гнойные осложнения ран, часто приводящие к смерти. Поэтому наряду с наблюдением Пирогов уделяет большое внимание антисептике<sup>[137]</sup>. Он считал, что заражение ран происходит не через воздух, а контактным путем. Поэтому он рекомендует защиту свежих ран многослойными повязками, пропитанными антисептическим раствором. Такие повязки давали хороший эффект. Пирогов предлагает свою модификацию повязки из 5–6 толстых слоев карболизированной и гигроскопической<sup>[138]</sup> ваты, разработанную им еще до войны и испытанную в комбинации с гипсовой повязкой и дренажем ран при эвакуации раненых после первичных ампутаций и резекций. В рану через дренажные трубки он рекомендует 2–3 раза в день вводить трехпроцентный раствор карболовой кислоты и не менять повязку по 4–7 дней и более. Эту пироговскую антисептическую повязку стали применять все врачи действующей армии.

Отстаивая противогнилостный способ лечения ран, Пирогов требовал, чтобы при перевязках как можно чаще применялись марганцовокислый

калий и другие антисептические средства. Так как на войне в Болгарии были в основном пулевые ранения, то Пирогов при проникающих ранениях груди отказывается от широкого применения льда и кровопусканий и рекомендует давящие повязки и морфий. А при нагноении отсос гноя из плевральной полости.

Выводы из опыта русской медицинской службы на театре войны 1877–1878 годов сформулированы Пироговым во второй главе его труда «Военно-врачебное дело и частная помощь на театре войны в Болгарии и в тылу действующей армии в 1877–1878 гг.». Называется она «Основные начала военно-полевой хирургии» и содержит 20 положений, которые в большей части явились основополагающими в организации медицинской службы до Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

22 ноября 1877 года противник трижды превосходящими силами атаковал русские позиции под г. Еленой. В итоге город был взят противником. Узнав о кровавом сражении, Пирогов вместе с сестрой милосердия Карцевой и врачом Бубновым выехал в Тырново, куда в военно-полевой госпиталь № 62 направлялись раненые. Второй госпиталь на 150 человек был развернут в Преображенском монастыре под Тырновом. Об этом госпитале Н. И. Пирогов писал: «Помещения для раненых устроены в хороших, больших и маленьких комнатах, занимаемых летом приезжающими гостями-богомольцами».

Во время операций в Преображенском монастыре и в монастыре под Свиштовом Пирогову ассистирует студентка-медик из Петербурга Татьяна Некрасова, погибшая позднее в Свиштове. Пирогов оперирует также раненых в боях за Плевен, Горни Дыбник, Бялу и Елену. Именно под влиянием Пирогова в этой войне начинает зарождаться плановая организация медицинской помощи болгарскому населению. После войны организованные Пироговым госпитали продолжают работать. При содействии русского Красного Креста развертываются больницы для болгарского населения в Свиштове, Тырнове, Габрове, Русе, Плевене, Видине и других местах.

В Болгарии Пирогов координирует и стремится объединить в своих действиях санитарную службу армии и Красного Креста. «Кто, на мой взгляд, — пишет Н. И. Пирогов, — хочет иметь верное представление о санитарном деле в военное время, тот должен рассматривать его как неразрывное целое. Нельзя судить о действиях частной помощи, не зная действий военно-лечебной администрации, и наоборот».

В своем труде «Военно-врачебное дело и частная помощь на театре

войны в Болгарии и в тылу действующей армии в 1877–1878 гг.» Пирогов подробнейшим образом останавливается на питании раненых и больных.

Впервые массовый прием чая в госпиталях как согревающего напитка Пирогов ввел в 1854 году во время обороны Севастополя. Купив нужное количество чая и 442 сахара, он раздал их администраторам госпиталей, расположенных в Севастополе, Бахчисарае и Симферополе. Идею Пирогова сразу же поддержала Крестовоздвиженская община и Община сердобольных вдов. Именно с Крымской войны чай начал широко применяться как согревающее средство не только среди раненых и больных, но и среди здоровых солдат. Однако в русско-турецкую войну, учитывая сильные зимние холода, Пирогов приходит к выводу, что питье чая на холоде приводит впоследствии к самым различным простудам не только зева и горла, но и легких. Да и эффект согревания от приема чая в сильный холод получается незначительным. Поэтому он рекомендует солдатам, находящимся в окопах в сильные морозы, принимать водку или же грог (напиток из рома или коньяка и горячей воды с сахаром), притом все это питье должно было производиться в меру и строго дозированно, под контролем командиров.

«Я полагаю, — писал он, — что хорошая рюмка водки или питье вроде холодного грога с хорошей закуской для проезжего зимой солдата несравненно полезнее. Чтобы переносить хорошо холод, нужно быть сытым. Поэтому водка с закуской на холоде действует солиднее, чем чай, не только на простолюдина, но и на человека, более чувствительного к холоду. Что касается до чаепития в военных госпиталях, то нужно, во-первых, заметить, что во времена оны мы рассматривали чай как целебное средство и давали его в тех случаях, где нужно было действовать возбуждающим образом на слизистую оболочку и нервы пищевого канала, а с тем вместе и слегка питать больного. Мы давали чай, когда у больного солдата не было позыва на солидную и грубую пищу; прибавляли к чаю нередко вина или для питания молока и булку. Мы возбуждали также чайным отваром с прибавлением к нему рома или вина больных, ослабевших и утомленных от транспортов. На не привыкших к чаю солдат прежнего времени он действовал скоро и, очевидно, как целебное средство, — успокаивал, слегка возбуждал и питал. К чему же служит безразборная привычка к какому-либо средству, когда она лишает это средство его полезного действия? Если, строго рассуждая, и все наше общество вовсе без нужды и бессознательно приучает себя с детства к разным напиткам и снадобьям, то для чего сознательно лишать не привыкших еще людей целебного действия таких прекрасных средств, как чай или кофе, приучая к

ним организм насильно и бесполезно.

Иллюзия заменить для рабочего простолюдина чаем водку опровергается опытом. Спиртное вещество можно заменить для человека только спиртным же или наркотическим: водку пивом или, как на Востоке, опиумом, но никак не чаем. Вместе с чаем будут пить и водку.

Не мудрено, что все пьют чай и кофе там, где они растут. Не мудрено, если и у нас и богатый, и бедный приучается к вкусному напитку, и, конечно, если приучатся, то он им понадобится и во время болезни. Но для чего вводить умышленно в суровую жизнь человека то, к чему он еще не чувствует потребности: к чему возбуждать потребность, когда она не нужна для сохранения здоровья? Не лучше ли себя отучать от лишнего, чем приучать к нему других? Все эти соображения, я знаю, не всем понравятся; тем не менее я остаюсь при своем мнении, что чаепитие зимой на станциях, где поезда останавливаются на короткое время, скорее вредно, чем полезно. Пусть жертвователи попытаются предложить проезжим солдатам зимой одно из двух: водку с закуской или чай, — и если большая часть из них не предпочтет первое, то я, конечно, буду не прав. В госпиталях же, я думаю, чай должен назначаться как целебное средство, подобное кофе, вину и другим возбуждающим и питательным веществам. Средства частной помощи, употребляемые на покупку громадного количества чая и сахара, могли бы быть значительно сокращены и употреблены на другие, более необходимые предметы, хотя такое сокращение и не соответствовало бы вкусам и привычкам многих лиц, в особенности женского пола».

Пирогов стремится не пропустить любую, самую что ни на есть незначительную деталь в заботе о раненых. Он беспокоится, чтобы раненые и больные были всегда обеспечены теплой одеждой и доброкачественной едой. И если не хватало мест в госпиталях, он рекомендует их устройство в частные дома. Примером такой заботы может служить сохранившаяся записка Пирогова.

**Записка, препровожденная из Систова господам управляющему гражданской частью в Болгарии князю Черкасскому и начальнику штаба действующей армии, 1877 г., декабря 14-го.**

«Осмотрев военновременный госпиталь № 50 в Слетове, размещенный в 55 турецких домах, я нашел в некоторых из них значительное скучение, а в других и совершенное переполнение больными, как это явствует из того, что в этих помещениях вместо 16,9 м<sup>3</sup> воздуха, приходившегося прежде на

каждого больного, теперь имеется не более 8,5—11,3 м<sup>3</sup>, следовательно, почти в 4 раза менее содержания воздуха, принимаемого за норму в госпиталях. Сверх того, в настоящее время тоже ежедневно прибывают в Систово огромные транспорты, до 500 и более больных и раненых, а эвакуация их по причине прекращающегося сообщения о Румынией (ледоходом по Дунаю) делается с каждым днем все затруднительнее и сегодня, например, совершенно невозможной. Самые транспорты приходят по причине зимнего времени, недостатка теплой одежды и удобного помещения на этапах в самом жалком виде. В некоторых транспортах оказываются целые десятки трупов или слабых, тотчас же умирающих после размещения в госпитале. Помощь, оказываемая привозимым больным, по малочисленности врачей, сестер и прислуги, едва ли при таких обстоятельствах может быть названа этим именем. Все это приводит меня к убеждению, что о продолжении зимнего времени транспорты больных из Болгарии сделаются или убийственными, или вовсе невозможными. Я счел моей обязанностью, объяснившись предварительно с военно-медицинским персоналом, обратиться к здешнему губернатору, у которого, — по обсуждении этого предмета вместе с заведующим переправой через Дунай генералом Орловским, начальником этапов в Болгарии генералом Штольценвальдом и чиновником особых поручений при полевом военно-медицинском управлении врачом Финкельштейном, — все мы нашли необходимым принять безотлагательные меры к размещению привозимых больных в домах городских обывателей, предоставив продовольствие больных или самим обывателям за известную плату, или начальникам местных войск, как это делается уже теперь на некоторых этапных пунктах (как, например, в селе Павло). Но так как принятие одних этих мер все-таки не может при беспрестанно прибывающих транспортах уничтожить скучение больных в городе и нисколько не может предотвратить гибельного последствия дальних зимних транспортов, то все мы, присутствовавшие на этом совещании, пришли к тому убеждению, что необходимо распространить эту же меру, то есть размещение больных по обывательским домам, на вею Болгарию в районе действующей армии и решили покорнейше просить (каждый со своей стороны) содействия Вашего сиятельства к возможно скорейшему осуществлению упомянутых мер».

Врачебный персонал в русско-турецкую войну действовал не только самоотверженно, но и с большим знанием дела. В своем труде «Военно-врачебное дело и частная помощь на театре войны в Болгарии и в тылу действующей армии в 1877–1878 гг.» Пирогов не один раз отмечает, что ни

в одну из прошедших ранее войн не было такого количества врачей. Зная свое дело, они умело оперировали и лечили раненых и больных. Многие из них, кроме лечебной работы, выполняли хозяйственные и административные распоряжения.

Там, где лечащие врачи самостоятельно командовали госпиталями, оказание помощи шло наилучшим образом. А в госпиталях, где врачи подчинялись уполномоченным Общества Красного Креста, нужного единства действий порой не было. Врач не любит, когда в его лечебный процесс вмешивается человек, ничего не смыслящий в медицине. Тем более в условиях войны, где врачи наравне с ранеными терпят и холод, и голод. Наравне с врачами самоотверженно трудились и сестры милосердия. В русско-турецкую войну вместе с организованными русскими общинами сестер милосердия оказывали помощь раненым и женщины-добровольцы из Общества Красного Креста, часть которых работала безвозмездно, а часть по найму. Раненые ласкательно называли их сестрицами. Женский уход и женская помощь за ранеными и больными были просто неоценимы. Как никогда грамотной, в эту войну была работа общинных сестер милосердия, которыми руководили Е. П. Карцева и Е. М. Бакунина. Их работой Пирогов восхищался.

В невыносимых условиях, ежеминутно рискуя погибнуть от пуль и снарядов, сестры милосердия спасали раненых, оказывая при этом помощь не хуже врачей. В Европе сестрам милосердия сразу же был придан религиозный характер. В России же поначалу игнорировали это. Но затем и русские сестры милосердия в основе своей благородной деятельности начали видеть духовное (религиозное) начало. Пирогов всячески поддерживал это и в полемике с некоторыми администраторами-атеистами всячески защищал православных женщин, разрешая им читать молитвы и носить с собой псалтыри и Евангелие. Видя постоянные мужественные страдания сестер милосердия, Пирогов беспокоился, чтобы их снабжали бельем, длинными чулками и сапогами для ходьбы в непроходимой грязи, и непромокаемыми плащами.

Горд был Пирогов и за первых русских женщин-врачей, участвовавших в этой войне.

«Я слышал, — писал он, — что под руководством профессора Э. Бергмана одна женщина-хирург производила с большой ловкостью и знанием дела ампутации на перевязочном пункте. Сам же я имел случай при посещении военно-временного госпиталя № 57 в Зимнице видеть при перевязке раненых одну женщину-хирурга; она сама следила за лечением порученных ее уходу раненых и сообщила мне весьма дельно и отчетливо



свои замечания о ходе ран и лечении...»

К благородному почину русских женщин ухаживать за ранеными присоединились многие болгарки, среди них Виктория Живкова (Вела Благоева — супруга основателя Болгарской коммунистической партии Димитрия Благоева) — бабушка известного болгарского писателя Але-ко Константинова и многие другие.

Во время осмотра госпиталей Пирогов не раз встречался с легендарным русским генералом Михаилом Дмитриевичем Скобелевым, который поразил его необыкновенным мужеством и смелостью.

О Скобелеве ходили легенды. Не один раз, рискуя жизнью, он водил солдат в атаку впереди колонны. Этот генерал, как никто другой, жаждал боя, и притом самого что ни на есть грамотного, умного, сберегающего силы воинов.

Когда 28 декабря 1877 года Пирогов посетил четыре передовых перевязочных пункта генерала М. Д. Скобелева, то он был удивлен настроением скобелевских раненых бойцов. После оказания первой помощи они, даже невзирая на тяжесть ранения, готовы были снова идти в бой с любимым своим генералом. Все скобелевцы, как один, воодушевленные смелыми действиями своего командира, горели желанием победить турок.

— Мы не можем оставить нашего генерала... — со слезами на глазах доказывали они Пирогову. — Он нас всегда любил, берег, да как же нам его не жалеть. И откуда только раны эти взялись, лежи теперь, молись и плачь... Доктор, дорогой, вот ты поверишь или нет, но стоит только туркам увидеть белого коня, как они сразу же драпать. Он любит Болгарию так же, как и Россию. И нам велит так же любить.

Вечером этого же дня на перевязочном пункте встретил Пирогов и генерала Скобелева.

— Николай Иванович, ну как дела?.. — произнес генерал. — Крепчают мои хлопцы?

— Крепчают, — улыбнулся Пирогов, и они крепко обнялись.

Узнав, что на перевязочный пункт прибыл генерал Скобелев, раненые, ходячие и неходячие, повскакивали со своих постелей и кинулись к выходу. Все они с необыкновенным волнением обступили своего любимого генерала, жадно трогая его одежду и руки.

— Ваше высокопревосходительство, как там наши?

— Дерутся как львы! — гордо произнес Скобелев. — Так что ждем и вас после выздоровления в строй. Драться будем не на жизнь, а на смерть.

— Ура! — закричали счастливые раненые.

Высокий, стройный генерал с какой-то застенчивостью посмотрел на

своих бойцов и сказал Пирогову:

— Нет, они не хвастуны, они орлы. Если бы вы только знали, Николай Иванович, какой чудесной духовной силой обладает русский воин. — И, подойдя к коню, он, лихо запрыгнув в седло, прокричал: — Поправляйтесь, братцы, через денек-другой я заеду к вам снова... — Иг махнув Пирогову рукой, тут же умчался.

Скобелев был один, без ординарцев и без сопровождения. Даже здесь он рисковал. перевязочный пункт был передовым, где-то рядом отчетливо слышны были выстрелы и разрывы орудий. Турки в любой момент могли сделать налет с тылу или с флангов. Поэтому своей необыкновенной смелостью, полной риска и самоотверженности, генерал Скобелев покорял абсолютно всех.

— Опять один поскакал, надо же! — в изумлении прошептал раненый Пирогову. — С ним драться одно удовольствие, он рубится наравне с солдатами. А если бы вы знали, как он песни поет.

Всякий раз встречая генерала Скобелева, Пирогов поражался его смелости. В седле он сидел легко, между войск носился как вихрь и при этом никогда не уставал. Глаза его всегда были полны энергии и отваги. Несколько раз он попадал в засаду, и турки чуть было его уже не арканили, однако с помощью сабли, которой он владел, как никто другой, он вырывался на волю целым и невредимым.

Один раз приехав на перевязочный пункт, он застал вместе с русскими ранеными и болгарских раненых, которые сразу же его узнали. Оказывается, они знали не только все рассказы и легенды о героизме отважного русского генерала, но и сами были очевидцами смелых его поступков.

— Здравствуйте, други! — поприветствовал их Скобелев и, каждому пожав руку, присел тут же в палате.

— Добро пожаловать, братушко генерал! — воскликнули болгарские раненые. Они сделали из стульев импровизированный стол. Фельдшер принес горячий чай с ватрушками. И закипела беседа о жизни, о воле и храбрости. Изредка вздрагивали огоньки свечей, то и дело освещая медные пуговицы солдатских шинелей. За окном гудела неугомонная метель. В углу постанывал тяжелораненый. Рядом с ним сидела в белой косынке сестра милосердия и, вытирая пот с его лба, крестясь, шептала:

— Спи, миленький, спи... Хоть часик поспи... Силенок свеженьких наберись, — а затем, оглянувшись в сторону беседовавших, добавляла: — Сегодня гость у нас знаменитый, генерал Скобелев, его болгарские и русские раненые словно родного брата чайком потчуют. А рядом с ним

знаменитый доктор Пирогов сидит.

Простота и добросердечность Скобелева по отношению к своим бойцам всех поражали. Слезы навертывались на глаза, стоило только увидеть, как он крепко, по-русски, обнимался с солдатом, как расспрашивал его о родных, близких. Он всегда жалел солдат и сочувствовал им, понимая все их страдания и невзгоды. И почти всегда называл их полюбовно братом или же собратом.

Болгарский народ, освобожденный русской армией от османского ига, с особым вниманием позаботился о памяти великого русского хирурга Пирогова. Во многих госпиталях и лазаретах, где бывал и работал Пирогов, установленыobelisks и мемориальные плиты. Построены и две памятные ротонды, напоминающие палатки, в которых Пирогов принимал рапорты врачей. В парке имени М. Д. Скобелева в Плевене из белого мрамора поставлен бюст-памятник Н. И. Пирогову. Советские и болгарские кинематографисты при участии Болгарского общества Красного Креста к 170-летию со дня рождения Н. И. Пирогова создали документальный фильм «Пять страниц из одной жизни». На месте, где располагался госпиталь № 69 в Боготе, разбит парк-музей имени Пирогова.

После окончания Освободительной войны 1877–1878 годов среди врачей — участников минувшей войны возникла идея увековечить память товарищей. Была открыта подписка на строительство памятника «погибшим медицинским чипам» среди медиков России. В сборе участвовали и болгары.

«Докторский памятник» был воздвигнут в 1884 году в Софии, за зданием Софийского университета, а сам садик, где находится памятник, называется «Докторский сад». На блоках монумента увековечены имена 531 медицинского работника, погибших при выполнении гуманного долга от пуль неприятеля или в борьбе с эпидемическими болезнями.

## ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Вернувшись из Болгарии в свое имение, Пирогов начинает усиленно работать над трудом «Военно-врачебное дело и частная помощь на театре войны в Болгарии и в тылу действующей армии в 1877–1878 гг.», который явился продолжением «Начал общей военно-полевой хирургии». В этой фундаментальной работе Пирогов обобщил свои взгляды на основные начала военно-полевой хирургии и военной медицины. Кроме того, он всесторонне рассмотрел все вопросы медицинского обеспечения войск в тактическом, оперативном и стратегическом отношениях. В своей работе он подробнейшим образом описывает состояние медицинской службы в период войны с турками. В доступной и порой художественной форме рассказывает о своих впечатлениях, возникших у него при осмотре госпиталей, этапов и санитарных поездов. При этом все события он излагает с необыкновенной правдивостью и откровенностью.

«Приехавший в первый раз на театр войны, — пишет он, — особенно не врач, увидев ряды страдающих людей, лежащих в крови и пыли на голой земле, конечно, обвинит врачей и распорядителей, когда раненым не оказывается тотчас же помощь, когда проходят часы и дни, прежде чем снимут с них пропитанную кровью и грязью одежду, перевяжут, наденут чистое белье, накормят и успокоят. Кто же, в самом деле, должен быть виноват, как не врачи и не администраторы? Кто же, если не эти лица? — Нет, отвечу я, не администраторы, не врачи, а администрация, ведомства и учреждения.

Но ведь администрация и учреждения также в руках лиц? Да, но эти лица сами управляют, и иногда вовсе не зная этого, всего прошедшего, жизнью страны и народа. Поэтому-то администрация и учреждения стран и народов — не лица, а коллективные отвлечения, создаваемые людьми не так произвольно, как это кажется, а целой историей жизни. Ссылаться и указывать на избранных, умеющих хорошо справляться и со слабым организмом администраций, ничего не доказывает. Это счастливые случайности. Сущность же хорошо организованной администрации и состоит именно в том, чтобы она управляла действиями лиц, а не лица делали бы из нее и хорошее, и худое. Но, как бы ни были избраны лица-администраторы, они всегда вступят на войне в такой лабиринт предвиденных и непредвиденных обстоятельств, условий и отношений, путеводные нити которого исчезают не только за кулисами мировой сцены,

но и в скрытом механизме человеческих страстей и влечений, недоступном для воли и великих мира сего. Не искатели сильных ощущений, а только люди, слепо верующие в непогрешимую разумность человеческих учреждений и действий, могут ехать на театр войны, надеясь не встретиться лицом к лицу с раздирающими сценами из божественной комедии Данте. Все это приходило мне на мысль при чтении описаний очевидцами и корреспондентами разных ужасов и страданий на театре войны в Болгарии. Кто из этих очевидцев ехал для сильных ощущений, тот не может жаловаться на потерянное напрасно время; а кто имел целью путем гласности сообщить верно самую суть административных распоряжений, тот принес, конечно, большую пользу делу. Как значительна может быть эта польза, доказывают крымская и американская войны; и английская, и американская армии обязаны именно верным корреспонденциям, теми мерами, которые приняты были правительствами и обществами для исправления страшных бедствий. Но если у англичан и американцев гласность в несколько месяцев могла исправить недостатки и злоупотребления, то это значит только, что у них механизм военной администрации, как и самая гласность, легки, подвижны и в то же время мощны. Из этого, однако же, нельзя заключить, что и в других странах, и у других народов администрация и гласность владеют таким же механизмом: если же история и судьбы наций сделали его тяжелым, то что может помочь ропот и нарекания, обыкновенно следующие за эффектным изображением поверхности зла?

Я, однако же, слишком увлекся предметом дум, в былое время сильно меня волновавших и, к сожалению, бесполезно».

Так же, как и в Севастополе, Пирогов и в Болгарии столкнулся с пренебрежительным отношением администрации к своим обязанностям, с которой борясь порой не на жизнь, а на смерть, он отдал много духовных и физических сил.

В 1879 году «Военно-врачебное дело» Пирогова увидело свет. В этом году он приступает и к «Дневнику старого врача». Существует точка зрения, что в своем имении Вишня Пирогов был как в ссылке. В то время это село было глухой провинцией, куда почта и газеты доходили с трехнедельным опозданием. Однако главным для Пирогова был не цвет общества и не почта, а работа. Его «заточение» можно считать условным. Никто его в это имение не ссылал. Он сам пожелал жить в нем. И в этом уединенном, полном благоухания природы месте Пирогов создает гениальные труды. Это еще раз доказывает то, что великие, крупные личности, невзирая ни на что, могут работать и в провинции, без всякого

бутафорного общения с общественными силами.

К этому времени повзрослели его сыновья. От Александры Антоновны у Пирогова, к сожалению, детей не было. Старший сын Николай был физиком. Младший Владимир мечтал стать историком. Сохранились письма Пирогова к нему. Называя его ласково Волей, отец просит его быть требовательным к себе в освоении знаний, чтобы не пасть лицом в грязь при получении профессорского звания.

«Можно прочесть несколько учебников, — пишет он, — и даже несколько основных трудов значительных дельцов науки, выдержать по ним испытание — и все-таки в конце концов не быть настоящим научным деятелем, каким должен быть каждый профессор».

Пирогов просит сына окончить начатое дело, имеется в виду защита докторской диссертации. И ничто — ни ложное самолюбие, ни усталость не должны останавливать его в этом. Советы отца, известного в то время по всей стране как педагога-новатора, как никогда,годились сыну. Пирогову удалось «выправить» сына и заставить его потрудиться, что в итоге привело к успешной защите докторской диссертации.

В последние годы жизни к Пирогову приходит необыкновенное духовное озарение. «Передо мной все разверзлось», — любил говорить он. И действительно, в этот небольшой отрезок времени мы представляем себе Пирогова не только как великого хирурга и педагога, но и мыслителя, философа, а если точнее выразиться, то наставника и проповедника русского духа.

Нельзя без волнения читать «Дневник старого врача», над которым Пирогов работал до последней минуты своей жизни. «Ой, скорее, скорее! Худо, худо! — пишет он в нем за месяц до смерти. — Так, пожалуй, не успею и половины петербургской жизни описать...»

«Дневник врача» очень плотен по своему содержанию. Биографические моменты в нем постоянно переплетаются с рассуждениями о жизни, о любви, о смерти.

«Вера в бессмертие, — пишет он, — основана на чем-то еще более высшем, чем самая любовь. Теперь я верю или, вернее, желаю верить в бессмертие не потому только, что люблю жизнь за любовь мою и истинную любовь ко второй жене и детям (от первой); нет, моя вера в бессмертие основана теперь на другом нравственном начале, на другом идеале».

Пирогов как ученый вырос в России. И поэтому судьба русского народа его постоянно волновала. В нескольких главах он открыто и смело

защищает русский язык от засилья иностранных слов.

«Научались европейским языкам с малолетства только в верхних слоях общества и только для себя, для своего круга, для салона, для карьеры, так как знание иностранного языка было вывеской образования; а кто из этого класса хотел читать, тому, конечно, не нужны были книги на русском языке. А когда к образованию начали стремиться и низшие общественные слои, не имевшие возможности познакомиться с европейскими языками в детстве, то нечего было читать; научная и классическая литература не существовала на русском языке, в ней не было надобности высшим классам, людям породы белой кости.

И вот культурная часть нашего общества распалась на два слоя: верхний, обладавший всеми средствами к прочному образованию, но по своему рождению, положению, предрассудкам и т. п. не призванный к серьезному научному труду, не нуждающийся ни в отечественно-научной литературе, ни в переводе на русский классических произведений других народов; другой слой, нижний, почти целиком составил из пролетариата; без знания европейских языков, без всяких средств, после нелепой школьной подготовки вступала молодежь этого слоя в высшие учебные заведения и, желая научиться, для изучения какого бы то ни было предмета не находила ни одного порядочного руководства на русском языке».

Далее Пирогов говорит о необходимости обучения детей родному языку. Ребенок должен думать на своем языке. Ибо только родной язык делает мысли ясными и глубокими.

В «Дневнике» Пирогов подводит и итоги сделанного. В конце жизни он пытается разобрать свой жизненный путь, проанализировать его и, найдя сделанные им ошибки, открыто заявить о них. Редко какой ученый может похвалиться критическим отношением не только к себе, но и к своей трудовой деятельности. В этом плане Пирогов безжалостен к себе. Ибо считал за правило не скрывать перед людьми ни своих заблуждений, ни своих неудач.

«Дневник» Пирогова схож с «Исповедью» Льва Толстого. Та же беспощадность и правдивость в разборе своих поступков и прожитых дней.

«Дневник старого врача» — своеобразный светоч русской жизни прошлого столетия, из-за болезни Пирогова остался недописанным. Однако даже то, что дошло до нас, как ничто другое, велико. Мысли выдающегося русского ученого и сейчас, как никогда, важны и ценны. Словно предчувствуя это, он писал: «Время обсудит и оценит лучше нашего и наши убеждения, и наши действия, а мы утешим себя тем, что и здесь на земле, где все проходит, есть для нас одно неразрешимое — это господство

идей. И потому если мы верно служили идее, которая, по нашему твердому убеждению, вела нас к истине путем жизни, науки и школы, то будем надеяться, что и поток времени не унесет ее вместе с нами».

В своем «Дневнике» Пирогов рассказывает о детстве, трудной юности, бедственном отрочестве. Нет, он не жалуется и не плачется, ибо все воспринимает как должное. Примечательно то, что порой, делая своим сыновьям замечания, касающиеся их нытья по поводу трудности освоения наук, Пирогов говорит, что им в отличие от него намного легче постигать азы науки, ибо они обеспечены и ни в чем не знают нужды и забот. У человека, выбравшего своей профессией науку, должна быть необыкновенная тяга к ней. Он должен постоянно жаждать ее. И тогда «в нужде нужды ты не будешь знать». Как не знал ее в самые что ни на есть горькие минуты сам Пирогов.

В мае 1881 года в Москве решено было отметить пироговский юбилей — пятьдесят лет его деятельности. Организатор торжеств Н. В. Склифосовский обратился с приглашением к Пирогову, который поначалу не изъявил желания ехать в Москву. Хотя Пирогов и был уволен в отставку, однако он все же числился при Министерстве народного просвещения тайным советником. Склифосовский обращается непосредственно к государю для разрешения проведения юбилея Пирогова. И, получив от него согласие, едет к Пирогову в Вишню. Вот как пишет об этом Пирогов в письме к И. В. Бертенсону от 16 апреля 1881 года.

«Спешу Вас уведомить, многоуважаемый Иосиф Васильевич, что на днях ко мне приезжал проф. Склифосовский (Ник. Вас.) из Москвы с письмом и посланием от университета и врачей для приглашения меня на мой юбилей в Москву, место моего рождения и первоначального образования. Как я ни отговаривался, но, наконец, должен был уступить повторенным и усиленным настояниям московского посланника и дал ему слово приехать в Москву ко 2 мая, на 2 дня...»

Торжества по случаю юбилея Пирогова должны были проходить по просьбе ученого в его родном Московском университете, совместно с заседанием хирургического общества. И хотя Пирогов, как считали некоторые, был не у дел и даже в опале, любовь же народа и врачей к нему не угасла. Люди ценили великого русского ученого, уважали его и гордились им. В Виннице вагон, в котором отправлялся Пирогов в Киев вместе с женой, был украшен гирляндой цветов. Здесь же ему прямо на платформе преподнесли альбом и адрес. Точно такие же проводы с благодарственными речами к ученому были устроены и в Киеве.



22 мая 1881 года Пирогов прибыл на Курский вокзал Москвы.

День был, как никогда, солнечным. Огромная толпа студентов, врачей и профессоров встречала великого ученого. Когда поезд остановился и дверь вагона открылась, первым вышел в новом пальто Пирогов. Глаза его были счастливы, в волнении он вдохнул свежий московский воздух. Ему хотелось что-то сказать благодарственное поднесшим ему врачам и студентам хлеб-соль, но от радости и от теплоты встречающих он растерялся. «Неужели я им еще так важен... — подумал он. — И нужен?..»

«Да здравствует патриарх русской хирургии! — прокричали громко все. — Слава русскому корифею Пирогову!»

И здесь же, прямо на вокзале, у вагона, он, собравшись с духом, произнес первую за столько лет отсутствия в Москве речь. Ветер приятно шевелил и пушил его белоснежные волосы. Солнце с теплотой освещало его очень доброе и приветливое лицо, полное какой-то необыкновенной, застенчивой любви ко всему живому на земле. Со стороны ощущение было таким, словно перед собравшимися выступал не великий хирург, мастер своего дела, а старец монах, до того был открыт и свят душою Пирогов. Машинисты, выйдя из паровоза, уважительно сняли кепки. Жадно всматриваясь в старичка, они внимательно слушали его речь. Казалось, что он обращался к каждому.

«Настоящая встреча, многоуважаемые господа, напоминает мне самое дорогое, отдаленное время, когда я, будучи студентом и по возвращении из-за границы, мечтал служить России на моей родине; я стремился занять кафедру в Москве, я ехал туда, но «человек предполагает, а Бог располагает»; на дороге постигла меня тяжелая болезнь, которая заставила много месяцев пролежать в Риге в больнице; кафедра в это время была занята почтенным моим товарищем, впоследствии известным московским врачом Иноземцевым. С этого времени я сделался бездомным скитальцем, и хотя не жил в Москве, но сердце всегда стремилось к ней.

Ваша встреча, поверьте, друзья, так тронула меня, что я не в состоянии высказать всего, что чувствую я теперь на родине, и от души благодарю всех за оказываемый мне привет».

После речи ни представители Московского университета, ни даже сам Склифосовский не могли пробиться к Пирогову. Его окружила плотная стена репортеров и студентов. Его расспрашивали о жизни, подносили книги, в которых он ставил свои автографы, крепко пожимали его руки, обнимали и целовали.

С большим трудом, с помощью Склифосовского, пробился к Пирогову художник Илья Репин. Он давно жаждал запечатлеть великого хирурга на

своем холсте. Узнав о приезде Пирогова в Москву, Илья Ефимович Репин обратился к Павлу Михайловичу Третьякову со своим предложением сделать портрет и бюст Пирогова для его галереи великих русских деятелей. И хотя тот особого согласия на покупку не дал, но велел своему брату, который был в то время московским городским головой, взять шефство над Репиным по скорейшей организации этого дела. Склифосовский пообещал свести Репина с Пироговым. И вот прямо на вокзале, у вагона Репин получает согласие Пирогова на создание его портрета и бюста. Здесь же Репин, стиснутый с обеих сторон толпой студентов и врачей, на нескольких листах ватмана делает первые наброски с натуры. В этой сутолоке, можно сказать, в очень труднейших условиях для художника, когда толкают и шумят со всех сторон, у Репина получается замечательный этюд, впоследствии вылившийся в картину, которую художник назвал «Прибытие Н. И. Пирогова в Москву».

«Что это была за восторженная и вполне искренняя овация! — писал Репин Стасову. — После встречи мы были в гостинице «Дрезден», где господин Склифосовский обещал передать мое желание; он скоро известил меня телеграммой, и на другой день утром я уже писал с юбиляра. Я попал и на юбилей — это было необыкновенное торжество». Портрет был написан в три сеанса — 22, 23 и 24 мая 1881 года.

В другом письме к Стасову от 14 июня 1881 года, когда портрет и бюст были уже почти готовы, Репин писал: «Портрет и бюст Пирогова делал без всякого заказа и даже думаю, что навсегда он останется моей собственностью. Кому же нужен у нас портрет или бюст гениального человека? А Пирогов — гениален. Только мадам Пирогова просила сделать копию, я обещал, конечно, без всякой платы».

Впоследствии Третьяков, заинтересовавшись портретами Пирогова, стал торговаться с Репиным. И вскоре заплатил ему 1100 рублей за «две головы». Вторая «голова» была портретом Антона Рубинштейна. В настоящее время картина И. Е. Репина «Прибытие Н. И. Пирогова в Москву» хранится в военно-медицинском музее.

Н. В. Склифосовский считается не только учеником Пирогова, но и продолжателем его дела и идей. Как никто другой, он до конца своей жизни беспокоился об увековечении памяти своего учителя. Забегая вперед, следует сказать, что Н. В. Склифосовский отдает много сил и энергии для того, чтобы открыть памятник в Москве великому хирургу. Был объявлен по всей стране сбор средств на постройку и отливку памятника. А до этого все тот же неутомимый Склифосовский добивается от Александра III, во

время посещения факультетской клиники, высочайшего разрешения на постанковку памятника. Зная, что царь посетит его клинику, Склифосовский в одном из холлов больницы выставил модель памятника, которую изготовил скульптор Шервуд. При осмотре палат царь никак по мог миновать холл. Увидев модель памятника Пирогову, он подошел к нему и, осторожно потрогав его, внимательно выслушал просьбу Склифосовского. Затем, несколько минут с молчаливостью посмотрев на памятник, тихо сказал: «Повелеваю...» И добавил: «Я всех уважаю, кто был в Севастополе!..»

Шервуд безвозмездно передал свой проект памятнике! Пирогова организаторам сбора средств. И вскоре на собранные средства памятник Пирогову был отлит и 5 августа 1897 года открыт в Москве, на Девичьем поле, у здания факультетских клиник, накануне 12-го Международного конгресса врачей. На открытии при стечении огромного количества народа и зарубежных гостей выступил с волнующей речью Склифосовский.

«Широко раскинулась ты, дорогая родина, — от хладных финских скал до пламенной Колхиды, от плавного рыбацкого берега Балтики до океана Великого. Ведь могуч и велик должен быть народ, которому для выполнения исторической его задачи понадобилось занять 1/6 часть вселенной. И вот на всем этом необъятном пространстве почти не видно памятников, свидетельствующих о деяниях этого народа, о пережитых им днях исторического своего роста.

В истории нашего образования отмечен будет сегодняшний день, как один из самых замечательных... в этот день мы, граждане земли русской и товарищи по общественному положению покойного, воздвигаем памятник гениальному русскому врачу. Существует мнение, что гениальных людей пропорционально меньше у нас, чем у других народностей. Если это справедливо, то тем более следует чтить тех немногих выдающихся деятелей, которых мы имеем. Но мнение это подлежит еще оспариванию; несомненно, во всяком случае, то, что народ, имевший своего Пирогова, имеет право гордиться.

...Начала, внесенные в науку Пироговым, останутся вечным вкладом и не могут быть стерты со скрижалей ее, пока будет существовать русская наука, пока не замрет на этом месте последний звук богатой русской речи. У нас нет своего русского храма славы, но, если когда-нибудь создастся народный «Пантеон», там отведено будет место великому врачу и гражданину!»

В этой же речи Склифосовский напомнил, что когда в 1837 году Пирогов, которому тогда было 27 лет, приехал к знаменитому хирургу

Вельпо в Париж, то тот, узнав, кто перед ним стоит, сказал: «Не вам учиться у меня, а мне у вас». Много говорилось добрых слов о Пирогове как о знаменитом хирурге на 12-м Международном конгрессе врачей, после окончания которого Склифосовский покинул Москву навсегда, перейдя в Петербург директором Еленинского клинического института усовершенствования врачей.

Склифосовский буквально во всех своих речах и выступлениях пропагандировал труды и открытия Пирогова. В своей вступительной лекции, читанной в Московском университете 10 сентября 1880 года, после избрания его директором факультетской клиники университета Склифосовский, приведя слова Пушкина о том, что на поприще ума нам нельзя отступать, высоко отозвался о представителе русского народа Н. И. Пирогове, открытия которого принадлежат всему цивилизованному миру. Он просил подрастающее поколение молодых ученых постоянно помнить об этом и гордиться знаменитым русским ученым. А в речи на торжественном заседании Петербургского медицинского общества памяти Н. И. Пирогова в 1893 году Склифосовский сказал: «Всегда ревнивая к славе и чести своих сынов Москва не хотела уступать празднества знаменитого Пирогова, сделавшегося гордостью Русской земли, никому другому: он ей принадлежал и по рождению, и по образованию, наконец, по тем особенностям его великого и могучего духа, в которых сказывался в нем поистине русский человек...»

Юбилейные торжества начались 24 мая в актовом зале Московского университета. Не только русская общественность участвовала в торжествах, но прибыли также представители Мюнхенского, Страсбургского, Падуанского и Эдинбургского университетов, были профессора всех медицинских факультетов Парижа и Праги и целого рцда других иностранных хирургических обществ и общественных организаций. Принимая на обеде в университете приветственную телеграмму от государя императора, а также звание почетного гражданина города Москвы, Пирогов выступил с волнующей речью. Это было одно из самых последних прижизненных публичных выступлений.

Благодаря всех за поздравление, Пирогов сказал: «Высокой нравственной наградой считаю я для себя и звание почетного гражданина, которым удостоила меня моя родина. Действительно, может ли быть что нравственно выше того, когда родина дает это звание одному из своих сынов и притом не за блестящие подвиги на бранном поле, не за материальные выгоды, ей доставленные, а за трудовую деятельность на

поприще просвещения, науки и гражданственности. Представители города Москвы, удостоив меня звания почетного гражданина, как будто осуществили заветную мечту моей юности, когда я готовился посвятить всю мою деятельность исключительно Москве — месту моего рождения и воспитания».

Пирогов благодарил также университет, давший ему знания и путь в науку. В заключение он сказал: «Вы видите перед собою человека прошлого времени, стоящего в дверях вечности, который смело вас одушевляет надеждою и провозглашает благоденствие будущему в твердом уповании, что Россия, предводимая своим Державным вождем, пойдет по тому великому пути, который открыт для нее бессмертными делами царя-освободителя».

В своей речи на обеде в Благородном собрании Пирогов говорит о своеобразной болезни всякого образованного человека — мировой скорби. Все прогрессивные люди страдают этой болезнью. Кроме отрицательных сторон, в ней есть и много положительного, это сочувствие к горю ближнего и возвышение над эгоистическими стремлениями. Затем, произнеся тост, Пирогов сказал: «Как человек прошедшего, минуя мимолетное настоящее, пью за светлое будущее!» И под гром аплодисментов вышел из зала Благородного собрания.

25 мая 1881 года Пирогов по просьбе научной общественности посещает первое студенческое общежитие при Московском университете. Встретившись со студентами, он разоткровенничался и, зайдя вместе с ними в просторную квартиру общежития на втором этаже, рассказал им, как когда-то в бытность студентом жил он в общежитии. Все слушали его с необыкновенным вниманием. Чуть приглушенным голосом, изредка, поглядывая то на одного, то на другого молодого юношу, он вспоминал:

«— Эх, какая разница между нашим бытом студенческим, давнишним моим, например, и вашим, господа студенты, настоящим! Вот я, Николай Савич, — обратился он к ректору и взял его при этом за пуговицу сюртука, — ведь тоже жил во времена моего студенчества в некоторого рода общежитии. Находилось оно у нас где-то на Тверском бульваре. Там был такой дом, с балконом на улицу, и дома-то этого теперь уже давно нет: время все сокрушило. Так вот-с, бывало, как первое число месяца, так в нашем, буду называть, общежитии, дым коромыслом шел, весь дом шел вверх дном: шум, гам, гвалт, самое ужасное пение, дикие крики наполняли наше жилище и день, и ночь; подряд дней пять или шесть продолжалась у нас такая жизнь и почти поголовное пьянство. Тогда-то в нашей квартире

появлялись какие-то совершенно незнакомые личности. Бог знает, откуда взявшиеся. Помню, посещали пас особенно в эти дни какие-то протодиаконы и диаконы, из которых один особенно выделялся: здоровый, толстый, высокий, с лоснящейся красной рожей, с длинными, как грива, волосами; бывало, поднявши фалды своей рясы, он отчаянно отплясывал вприсядку трепака и удивительно громко, просто ревом каким-то, «великолепно», как он сам выражался, провозглашал всем нам многолетие. Случалось даже, этот диакон у нас ночи ночевал: так, пьяный, и свалится где-нибудь под стол и спит до новой оргии. Публика в это время сторонилась нашего дома, просто боялась близко подходить. «Чистые разбойники, оглашенные, вот проклятые-то!» — говорили многие, проходя мимо и набожно крестясь, что благополучно миновали опасное место. И вот, таким-то образом продолжалось дней с шесть, одним словом, до тех пор, пока все деньги не пропивались. Тогда наше общежитие снова погружалось в свою обычную, тихую жизнь; протодиаконы и диаконы и другие неизвестные темные личности нас покидали, и тишина водворялась в нашей квартире до новой получки денег, которая, обыкновенно, происходила в первых числах каждого месяца, так как в это время мы получали стипендии и деньги от родителей и родных. Вот-с какое общежитие у нас в старину было; не чета вашему, господа студенты!»

После юбилея самочувствие Пирогова ухудшилось. Беспокоившая его в начале 1881 года язвочка на твердом небе стала вдруг невыносимой из-за неожиданно присоединившейся сильной боли. Его начала мучить сильная слабость и потеря аппетита. Мало того, даже прием воды вызывал у него раздражение слизистой полости рта.

Касаясь болезни Н. И. Пирогова, следует отметить, что точная установка ее диагноза произошла на торжествах по случаю юбилея его в Москве. Однако Склифосовский еще в имении Вишня, куда он приехал передать приглашение Пирогову, при осмотре Николая Ивановича сразу же сделал заключение, что у него не простая язвочка во рту, а развивающаяся раковая опухоль. Чтобы не омрачать торжества, он не сказал Пирогову об этом.

В Москве 24 мая Склифосовский повторно осмотрел Пирогова и окончательно пришел к выводу, что опухоль злокачественная.

По воспоминаниям доктора Шкляревского, который находился рядом с Пироговым до самой смерти, Склифосовский очень уверен был в своем диагнозе и какую бы то ни было ошибку исключал. Когда Шкляревский спросил его: «А не сомневаетесь ли вы?» — Склифосовский категорично

ответил: «Ни малейшего сомнения быть не может, это язва злокачественная. Необходимо ее удалить, и как можно скорее. Иначе неделя-другая, и будет уже поздно».

Вслед за Склифосовским Пирогова осмотрели профессора Грубе из Харькова и Валь из Дерпта. Они согласились с диагнозом Склифосовского и сказали об этом жене Пирогова. Самому Пирогову решено было ничего не говорить. Вскоре был вызван из Петербурга его старший сын Николай. И на 26 мая был назначен общий консилиум из четырех профессоров: Н. В. Склифосовского, Э. К. Валя, В. Ф. Грубе и Э. Э. Эхвальда. Консилиум единогласно установил у Пирогова диагноз ракового изъязвления. Решение консилиума было высказано жене и сыну. И они дали согласие сказать Пирогову всю правду. Вначале было решено, что о болезни и необходимости операции сообщит Пирогову жена. Однако, по воспоминаниям очевидца С. С. Шкляревского: «Ни вечером 26-го, ни утром 27-го госпожа Пирогова не решилась ясно передать Николаю Ивановичу ужаснувший ее приговор врачей. Оставалось не больше двух часов до отъезда из Москвы, когда Н. В. Склифосовский и Э. Э. Эхвальд объявили ему решение консилиума о необходимости сделать ему операцию возможно скорее». В откровенной беседе с Пироговым врачи, указывая на срочность операции, постарались скрыть озлокачествление язвы. Трудно и очень нервно протекал разговор. Врачи крепились как только могли. В любой момент могли сдать нервы. Перед этим Э. Э. Эхвальд, когда его попросили сообщить Пирогову о срочности операции, со слезами на глазах воскликнул: «Я? Ни за что!» — и закрыл лицо руками.

«Жребий быть грустным вестником, — вспоминал Н. В. Склифосовский, — пал на меня. Что скажу я ему? Как передам? — недоумевал я, полный отчаяния. Сказать неправду или речь прикрасить обходами? Но я ведь должен был говорить с Пироговым, которого так чтит! Обуреваемый такими сомнениями, я направился в зал, где ждал нас Николай Иванович. Я боялся, что голос мой дрогнет и слезы выдадут все, что было на душе... — «Николай Иванович, — начал я, пристально смотря ему в лицо, — мы решили предложить вам вырезать язву».

Спокойно, с полным самообладанием выслушал он меня. Ни одна мышца на лице его не дрогнула. Мне показалось, что передо мною восстал образ мудреца древности. Да, именно только Сократ мог выслушать с такою же невозмутимостью суровый приговор о приближающейся смерти! Настало глубокое молчание. О, этот страшный миг! Я до сих пор еще с болью ощущаю его. «Прошу вас, Николай Васильевич, и вас, Валь, — сказал нам Николай Иванович, — сделать мне операцию. Но не здесь. Мы

только что кончили торжество, и вдруг затеем тризну! Вы можете приехать ко мне в деревню?» Разумеется, мы отвечали согласием. Операции, однако, не суждено было сбыться. Отчего? — спросите вы. Теперь об этом еще нельзя ничего говорить; причина будет объявлена, когда наступит благоприятствующий исторический момент... Быть может, многие из вас осудите мой образ действий. Я выслушаю осуждение как заслуженное, но должен сказать, что значительную долю вины я искупил теми муками, которые пережил».

Трудно сказать, что подразумевал Склифосовский под последними этими строками. Может, непонятное поведение члена консилиума, профессора хирургии из Харькова В. Ф. Грубе, который на консилиуме соглашался, что операцию Пирогову надо делать как можно скорее, а в личной беседе с его женой вдруг заявил, да мало того, дал письменное заверение, что с операцией можно подождать еще с неделю. Странно повела себя в последние минуты и жена Пирогова, неожиданно отказавшаяся по совету своей сестры госпожи Любоцинской от услуг Склифосовского и изъявившая желание лечить Пирогова только за границей, в Вене или в Париже. Родственники решили показать Пирогова Бильроту. Из Москвы они все вместе сразу же отправились в Вену.

— Я доверяю только заграничным хирургам! А не вам... — заявила гордо госпожа Любоцинская, когда профессор А. С. Таубер, беспокоясь за судьбу Пирогова, попытался ее остепенить.

Бильрот, осмотрев Пирогова, вдруг с полной уверенностью заявил, что язва не злокачественная, а обыкновенная и о операции не может быть и речи. Мало того, он всей семье сказал, что московские хирурги, к сожалению, ошиблись.

Многие авторы доказывают, что Бильрот скрыл истинный диагноз Пирогова, чтобы пожалеть его и продлить бодрость его духа. Но эти догадки и предположения, к сожалению, ни на чем не основаны.

Очевидец событий доктор С. С. Шкляревский, непосредственно присутствующий при осмотре Пирогова Бильротом, вспоминал: «Неожиданный восторг поразил всех нас, когда Бильрот покойно, с полной уверенностью и категорически высказал, что о злокачественности язвы не может быть и речи; что он не видит и не находит ни единого признака, позволяющего принять эти язвы за раковые, что он теперь же высказывается окончательно и вполне отрицает взгляд московских хирургов и никакой операции решительно не находит нужным предпринимать».



Да, Бильрот ошибся. И неизвестно, сколько бы еще пожил Пирогов, если бы ему была вовремя сделана операция в Москве Склифосовским.

В июле 1881 года Пирогов поехал отдохнуть на Лиман. И когда его приехал навестить доктор Шкляревский, то он не узнал Пирогова. Тяжелая болезнь давала о себе знать.

«Он, очевидно, вполне сознавал свое безысходное положение. Сумрачный и сосредоточенный в самом себе, он охотно дал мне посмотреть свой рот и, сохраняя хладнокровие, с жестом произнес несколько раз многозначительное: «Не заживает. Да, конечно, я понимаю вполне натуру язвы, но согласитесь сами, не стоит, быстрый рецидив, распространение на соседние железы, и притом все это в мои лета не может обещать не только успеха, но едва ли может сулить и облегчение; пускай так: как видите, я страдаю мало, и кое-что ем, кроме жидкости». Видеть Н. И., говорить с ним о раковой болезни его было чрезвычайно тяжело. Больное, мучительное чувство обоих заставляло менять разговор о болезни на другой.

В это время Николай Иванович сам не читал и почти ничего не писал, кроме рецептов, так как массы больных, съехавшихся на Лиман, буквально осаждали дом, где он жил. Отказать в помощи и совете не было возможности. Николай Иванович давал советы по даровым билетам от 10 до 11 часов утра, а от 11 до 12 принимал взявших билеты за плату по 5 рублей серебром. Операции, конечно, он уже не производил. Живя на Лимане, Николай Иванович большую часть времени проводил, сидя в креслах, с полным интересом слушая громкое чтение газет и журналов, но в хорошую погоду охотно уходил гулять с кем-либо, сопровождавшим его. Кроме своей болезни, он был озабочен и неприятно встревожен случайной болезнью жены, уложившей, однако, ее в постель (у нее в бытность на Лимане был довольно значительный ожог на передней поверхности голени, заживший только через две недели).

По возвращении в Вишню Николай Иванович все более и более убеждался в характере своей болезни; все реже и реже оставлял он свою комнату, что составляло для него, привыкшего к прогулкам, большое лишение. В общем состоянии с течением времени все резче и резче выражался упадок сил. Пища, почти исключительно жидкая, была, конечно, всегда свежая и питательная. Язва во рту заметнее стала увеличиваться, сделалась грязнее с поверхности и причиняла чаще боль и беспокойство.

В одну из прогулок в сентябре, как находил сам Николай Иванович, он

простудился; явилось катаральное<sup>[139]</sup> состояние слизистых оболочек носа, глотки, незначительный бронхит; и рядом с этими признаками гриппа появились припухлость и инфильтрат шейных лимфатических желез со значительными болями. С этого времени началась томительная для больного борьба между смертью и мучительным существованием. Последние месяцы он, лежа или сидя в кресле, довольно прилежно писал. Это последняя рукопись гениального человека пока, по его желанию, остается достоянием только его семьи».

Чтобы поддержать настроение Пирогову, Бильрот в знак дружбы и преклонения перед русским ученым подарил ему свою фотографию с надписью.

«Уважаемому учителю Николаю Ивановичу Пирогову. Правдивость и ясность мыслей и чувств как в словах, так и делах являются ступеньками лестницы, которая приближает человека к Богам. К Вам, который должен следовать по этому не всегда безопасному пути как надежный вождь, всегда мое самое ревностное стремление.

Ваш искренний почитатель и друг Т. Бильрот».

На некоторое время Пирогов поверил Бильроту. Но ненадолго. Здесь также следует отметить и то, что хотя диагноз от Пирогова скрывался, однако вскоре он сам пришел к нему, безошибочно поставив его.

3 июля 1881 года в письме к Бильроту, написанном на немецком языке, Пирогов сообщал:

«Я очень хотел бы подробно осведомить Вас о моем состоянии с момента установления Вашего столь благоприятного для меня диагноза и о нынешнем моем положении. Однако за отсутствием компетентного наблюдателя сообщаю, согласно Вашему желанию, следующее. Размеры и объем опухоли кажутся мне в неизменном состоянии. Во всяком случае, кончик моего языка, который у меня с достаточной виртуозностью играет двоякую роль — глаза и пальца, — не сигнализирует мне ничего нового. Изъязвление опухоли, однако, кажется мне, стало меньше... Я ощущаю, как и раньше, у верхнего края выроста твердый и слегка подвижный остеофит. Состояние всей опухоли изменчивое: порой она мне кажется более припухшей и объемистой, порой — более поверхностной и плоской. Так же изменчива и чувствительность. Раздражающая зубная боль в общем возникает реже и только при касании языком определенных мест опухоли. Стоит только прикрыть опухоль промокательной бумажкой, как она беспокоит меня меньше. Если только я смогу найти какую-нибудь ткань, чтобы заменить мою жалкую промокашку, то, мне кажется, я стал бы

ожидать исхода совершенно спокойно. Но теперь невольно кончик моего языка постоянно находится при исполнении своей роли. Оттого, что он не всегда сообщает мне одно и то же, я то благословляю Ваш проницательный диагноз, то кажется он мне, — не обижайтесь на меня, — слишком смелым и оптимистичным. Суждение затруднительно, ибо опыт обманчив, — думаю я. Однако пусть даже окажется самое худшее, я всегда буду благодарен судьбе за то, что она свела меня с Вами и позволила следовать Вашему совету. Зрелость хирурга я оцениваю по числу удалений злокачественных образований, к каковым я причисляю также эпителиому».

В последние дни жизни Пирогова его лечащим врачом был Петр Иванович Щавинский, помогал ему С. С. Шкляревский. За питание отвечал лейб-медик Ф. Я. Карель. Он всегда вовремя доставлял больному свежее женское молоко, которое хотя и кратковременно, но облегчало его страдания. Многие другие врачи приготавливали лекарства и круглосуточно вместе с сестрой милосердия Ольгой Антоновой дежурили у постели больного.

Даже находясь в крайне истощенном состоянии, Пирогов продолжает усиленно работать над «Дневником врача». Пишет, невзирая на боль, уделяя на сон не более пяти часов. С 1 по 10 октября его состояние резко ухудшилось, слабость и боль сковали тело. И он слег. Последнюю запись в дневнике от 10 октября он начал словами: «Дотяну ли еще до дня рождения, до ноября... Надо спешить с моим дневником...» — и от бессилия в руке не смог его продолжить.

За 20 дней до смерти он на клочке бумаги, собрав последние силы, написал по поводу своего заболевания следующее: «Ни Склифосовский, Валь и Грубе, ни Бильрот не узнали у меня озлокачествления язвы, иначе первые три не советовали бы операции, а второй — не признал бы болезнь за доброкачественную...»

Впоследствии, когда Бильроту было сообщено об истинном диагнозе болезни у Пирогова, то австрийский ученый в письме к врачу Давиду Ильичу Выводцеву объяснил свою тактику следующим образом.

«Пациент за 70 лет, хотя еще и бодрый духом, но уже с явными признаками начинающегося маразма в теле и с катарактами на обоих глазах, едва ли мог хорошо вынести операцию... Я не стал бы делать операции и у всякого другого пациента, хотя бы он был лет на 20 помоложе Пирогова и крепче его; моя тридцатилетняя хирургическая опытность научила меня тому, что саркоматозные и раковые опухоли, начинающиеся сзади верхней челюсти, никогда нельзя радикально удалить... Наверное, я

не стал бы порицать хирурга, который попытался бы сделать операцию Пирогову, но только относительно себя я знал бы, что я в этом случае не получил бы благоприятного результата. Таким образом, мне хотелось, разуверив, немного приободрить упавшего духом пациента и склонить его к терпению. Это все, что мы можем сделать в подобных случаях».

Часть врачей согласилась с разъяснением Бильрота, но большая часть все же решила, что он ошибся в постановке диагноза.

Полностью ослабевший, в 20 часов 25 минут 23 ноября 1881 года Пирогов умер. Присутствовавший в это время сын Пирогова Владимир Николаевич вспоминал, что перед кончиною все село Вишня из-за неожиданно наступившего затмения солнца покрылось мраком.

Все время ухаживавшая за больным Пироговым сестра милосердия из Тульчина Ольга Антонова так описала смерть великого русского хирурга в одном из писем к Александре Антоновне Бистром.

«1881 год, 9 декабря, м. Тульчин.

Многоуважаемая Александра Антоновна!

...Последние дни профессора — 22-го и 23-го — я Вам опишу. 22-го, воскресенье, в половине второго ночи проснулся профессор, его перенесли на другую кровать, говорил с трудом, в горле останавливалась мокрота, и он не мог откашлять. Пил херес с водой. Затем уснул до 8-ми утра. Проснулся с усиленными хрипами от остановки мокроты; лимфатические узлы сильно распухли, их смазали смесью йодоформа с коллодием, на вату налили камфорного масла, хотя с трудом, но полоскал рот и пил чай. В 12 дня пил шампанское с водой, после чего перенесли его на другую кровать и переменили все чистое белье; пульс был 135, дыхание 28. В 4 дня больной стал сильно бредить, дали камфору с шампанским по одному грамму по назначению доктора Щавинского и затем через каждые три четверти часа давали камфору с шампанским. В 12 часов ночи пульс 120. 23-го, понедельник, в час ночи Николай Иванович совершенно ослаб, бред стал непонятнее. Продолжали давать камфору и шампанское, через три четверти часа, и так до шести утра. Бред усиливался и был с каждым часом невнятнее. Когда я подала последний раз в 6 часов утра вино с камфорой, то профессор махнул рукой и не принял. После этого ничего не принимал, был в бессознании, появились сильные судорожные подергивания руками и ногами. Агония началась с 4 часов утра, и такое состояние продолжалось до 7 часов вечера. Потом он стал спокойнее и ровным глубоким сном спал до 8-ми вечера, тогда начались сжатия сердца и потому несколько раз прерывалось дыхание, которое продолжалось с

минуту. Повторилось этих всхлипываний 6 раз, 6-й и был последний вздох профессора. Все, что я записала в своей тетрадке, передаю Вам.

Затем свидетельствую мое глубокое почтение и глубокое уважение к Вам и всему Вашему семейству, готовая к услугам Вашим.

Сестра милосердия Ольга Антонова».

В сразу же присланной траурной телеграмме общество морских врачей писало: «Глубокое горе поразило все русское медицинское сословие. В лице Николая Ивановича Пирогова наука потеряла своего гениального представителя и врача, незабвенного профессора. Незаменимая потеря живо чувствуется всеми, кому дорого отечественное развитие и процветание...»

Тело Пирогова было набальзамировано специально приехавшим из Петербурга доктором Д. И. Выводцевым. И по желанию Александры Антоновны Пирогов был похоронен в склепе церкви в память Николая Чудотворца, которую она построила на свои средства. И в настоящее время тело великого хирурга, постоянно реабальзамируемое, сохраняется в склепе.

На похоронах было много студентов, которые его любили и считали своим светочем. Один из студентов с гордостью произнес у гроба Пирогова слова Ломоносова:

*Что может собственных платонов  
и быстрых разумом ньютонов  
Российская земля рождать.*

Погода в день похорон была пасмурной и морозной. Однако никто не чувствовал ни холода, ни пронизывающего ветра. Огромная толпа жителей, бывших пациентов Пирогова, пришла из близлежащих деревень проводить в последний путь своего любимого доктора. Нескончаемым потоком люди все шли и шли. С необыкновенным вдохновением, со слезами на глазах произнес речь студент Медико-хирургической академии Трушенников:

«Много горя терпела русская наука, много тяжелых утрат видела мыслящая Русь, и вот опять горе, опять великая утрата. В могиле патриарх русской медицины, в могиле великий врачеватель недугов людских. Тот, чья жизнь была полна любви к ближнему, к государству, к науке, тот, кто не жалел себя, трудился на пользу им, того не так давно от чистого сердца чествовала Русь, — сраженный страшным недугом... Не стало борца за

истину и правду, не стало великого сеятеля знаний на ниву народную, не стало гениального по уму, блестящего по таланту, до гробовой доски верного своим убеждениям великого человека! Но остались труды и деяния его, его желания, тот дух, которым был он полон, его светлый идеальный облик. Великий человек был чуток ко всему.

Счастлив я, что здесь, у могилы его, могу от лица той академии, где некогда он был профессором и где до сих пор жива память о нем, передать ему русское спасибо за его отношение ко всей молодежи, за его память о студентах академии...»

И, упав на колени, он все так же не стирая слез с глаз, произнес:

— Да святится имя твое, Россия! И пусть вечно живут твои сыновья!

# ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н. И. ПИРОГОВА [\[140\]](#)

*1810, 13 ноября* — Родился Николай Иванович Пирогов.

*1822–1824* — Учился в пансионе В. С. Кряжева.

*1824–1828* — Студент медицинского отделения Московского университета.

*1828* — Направлен в профессорский институт. 26 мая выехал из Москвы в Петербург для сдачи экзаменов. В июне, успешно сдав экзамены, прибыл в Дерпт.

*1828–1831* — Занимался в профессорском институте.

*1832, 31 августа* — Защитил докторскую диссертацию.

*1833–1835* — Находился в заграничной командировке.

*1835–1836, зима* — Работал в петербургских больницах, читал врачам курс хирургической анатомии.

*1836, 9 марта* — Утвержден профессором Дерптского университета.

*1837* — Вышли из печати первое издание «Хирургической анатомии артериальных стволов и фиброзных фасций» и первая часть «Анналов хирургического отделения клиники Дерптского университета».

*1838, февраль — июнь* — Находился в Париже.

*1839* — Вышла в свет вторая часть «Анналов хирургического отделения клиники Дерптского университета».

*1840* — Вышла в свет работа «О перерезке ахиллова сухожилия в качестве оперативно-ортопедического лечебного средства».

*1841* — Приступил к исполнению обязанностей профессора Медико-хирургической академии в Петербурге.

*1842* — Женился на Е. Д. Березиной.

*1843* — Начал выходить «Полный курс прикладной анатомии человеческого тела».

*1843, 7 ноября* — Родился старший сын Пирогова — Николай.

*1846, 5 января* — Родился второй сын Пирогова — Владимир.

*25 января* — Умерла жена Пирогова Е. Д. Березина.

*26 января* — Утвержден проект Анатомического института.

*Март — октябрь* — Пирогов путешествовал по Европе.

1847, 14 февраля — Сделал первую операцию под эфирным наркозом.  
8 июня — Выехал на кавказский театр войны.  
Декабрь — Возвратился в Петербург.  
1848 — Работал на холерной эпидемии.  
1849 — Вышли в свет «Отчет о путешествии по Кавказу» и «Патологическая анатомия азиатской холеры».  
1850 — Женился на А. А. Бистром.  
1851 — Умерла мать.  
1852 — Вышли в свет первые выпуски «Иллюстрированной топографической анатомии распилов, проведенных в трех направлениях через замороженное человеческое тело» (издание продолжалось до 1859 года).  
1854, ноябрь — 1855, декабрь — Пирогов работал в Крыму.  
1856, апрель — Подал заявление об уходе из Медико-хирургической академии.  
Июль — В «Морском сборнике» опубликована статья Пирогова «Вопросы жизни».  
Сентябрь — Пирогов назначен попечителем Одесского учебного округа.  
1858, июль — Назначен попечителем Киевского учебного округа.  
1861, март — Уволен с должности попечителя. Переехал в село Вишня.  
1862–1866 — Находился за границей как руководитель молодых русских ученых.  
1862, октябрь — Консультировал Гарибальди.  
1865 — Вышли в свет «Начала общей военно-полевой хирургии» (на немецком языке — в 1864 г.).  
1870, сентябрь — октябрь — Ездил на театр франко-прусской войны. Опубликован «Отчет о посещении военно-санитарных учреждений в Германии, Лотарингии и Эльзасе в 1870 г.».  
1871–1877 — Жизнь в деревне.  
1877, сентябрь — 1878, март — Выезжал на театр русско-турецкой войны.  
1879 — Выход в свет работы «Военно-врачебное дело и частная помощь на театре войны в Болгарии и в тылу действующей армии в 1877–1878 гг.».  
1879–1881 — Работа над «Дневником старого врача».  
1881, май — Чествование Н. И. Пирогова в Москве.  
1881, 23 ноября — Николай Иванович Пирогов умер в селе Вишня.

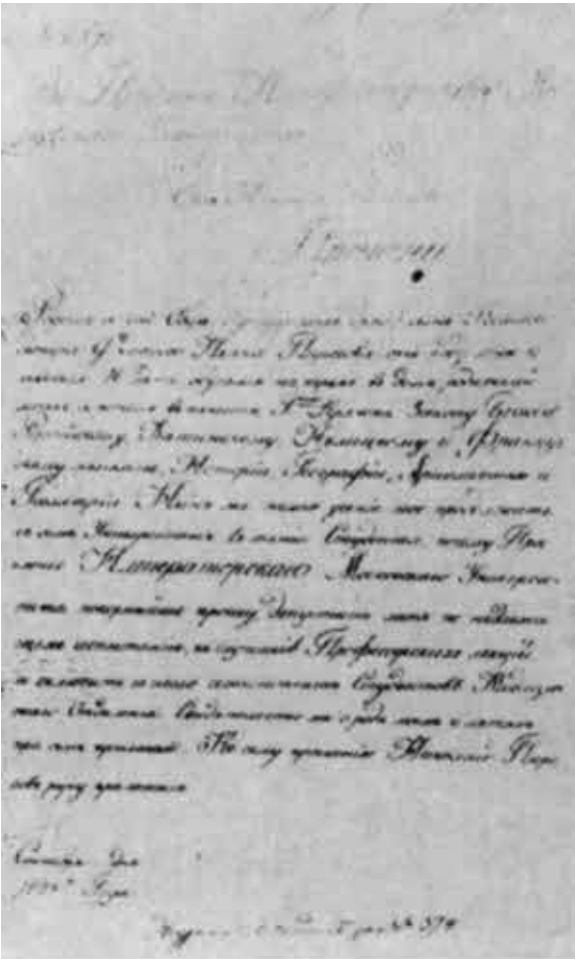


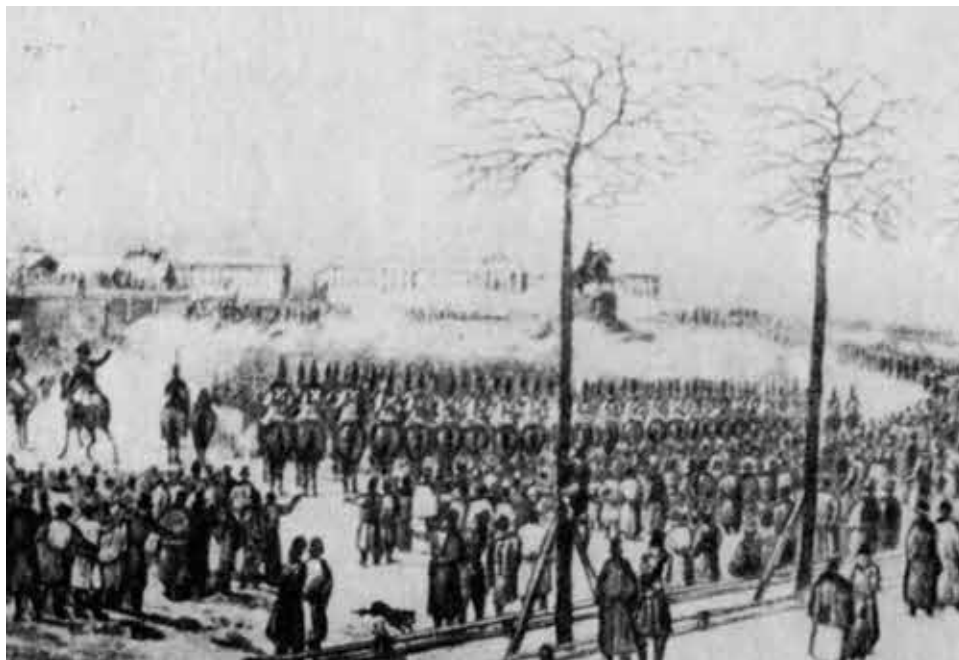
# ИЛЛЮСТРАЦИИ

Я нижеподписавшийся ниже объявляю, что я ни за  
какой денежной платы и ни за каком тайном обещан-  
ии не вступил в историю, ни впасть не принадлежу и  
не принадлежу впредь к оному не принадлежать и ни  
каких отношений с ними не иметь. В сем  
пису студент Медицинского Отделения.  
Николай Пирогов

Расписка, которую дал Н. И. Пирогов при поступлении в университет.







*14 декабря 1825 года в С.-Петербурге.*

*Акварель К. Кальмана.*



*Ефрем Осипович Мухин*



*Матвей Яковлевич Мудров*



*Дерпт. Дом, в котором жил Н. И. Пирогов.*



*Хирургическая клиника Дерптского университета.*



*Федор Иванович Иноземцев.*



*Иоганнес-Петер Мюллер.*





*Иван Филиппович Мойер.*



*Василий Андреевич Жуковский.*



*Н. И. Пирогов. Годы учения в Дерпте.*



*Н. И. Пирогов. 1837 год.*

NUM VINCTURA AORTAE ABDO-  
MINALIS IN ANEURYSMATE IN-  
GUINALI ADHIBITU FACILE AC-  
TUTUM SIT REMEDIUM?

DISSERTATIO INAUGURALIS  
CHIRURGICA.

QUAM

UT GRADUM

DOCTORIS MEDICINAE

OBTINEAT, DEFENDIT

AUCTOR

P I R O G O F F.

*N. I. Pirogov*

---

DORPATI LIVONORUM.

TYPE J. C. SCHUMMANNI, TYPOGRAPHI ACADEMICI,  
MDCCCXXXII.

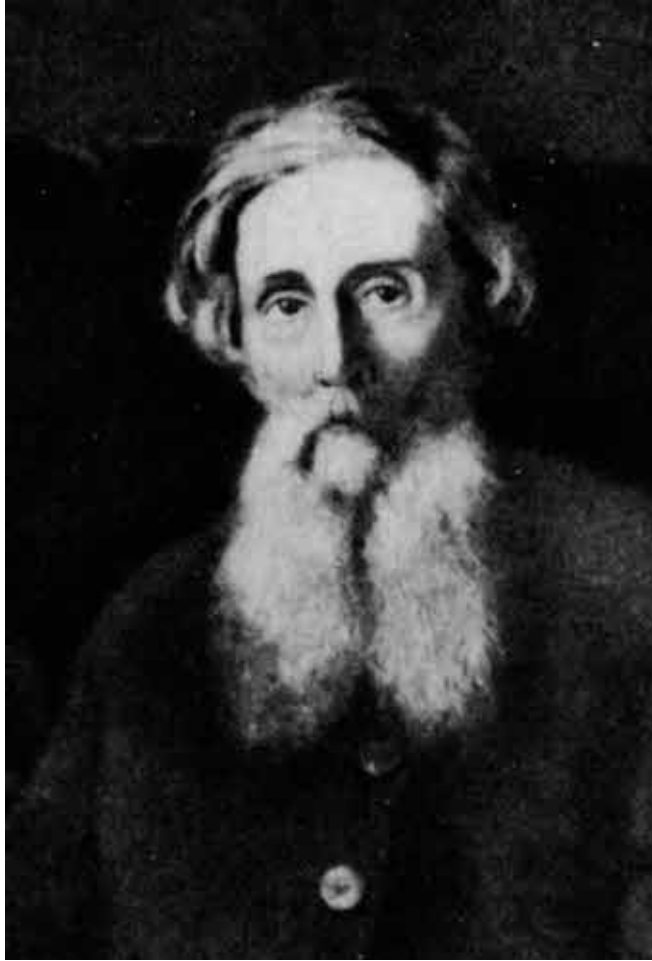
Титульный лист диссертации Н. И. Пирогова (1832 г.).



*Анатомический театр. Препаровочная.*



*Медико-хирургическая академия. 1836 год.*



*Владимир Иванович Даль.*



*И. И. Пирогов. Петербург, 1840-е годы.*





*Н. И. Пирогов в пути на перевязочный пункт.*

*С картины Н. Кочергина.*



*Вынос раненого с батареи.*

Худ. Мясоедов



*Группа сестер милосердия Крестовоздвиженской общины, участвовавшая в обороне Севастополя.*



*Личные вещи Н. И. Пирогова: шкатулка, в которой он хранил лекарства; карманный набор инструментов.*



*Н. И. Пирогов в период обороны Севастополя.*



*Н. И. Пирогов осматривает больного в инфекционном бараке в Севастополе.*

*С картины Н. М. Кочергина.*



*С. Нахимов на батарее.*

*С картины И. Прянишникова.*



*Адмирал А. В. Корнилов.*



*После бомбардировки. С картины И. Пряхина.*



*Адмирал П. С. Нахимов.*

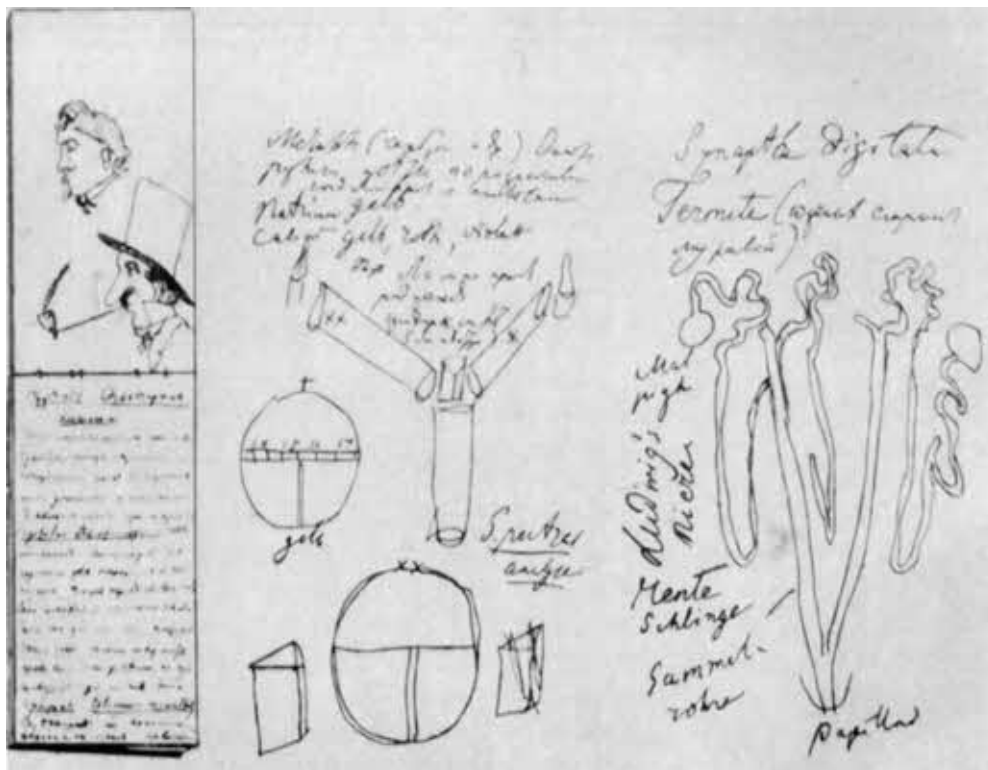


*Н. И. Пирогов с сыновьями\**





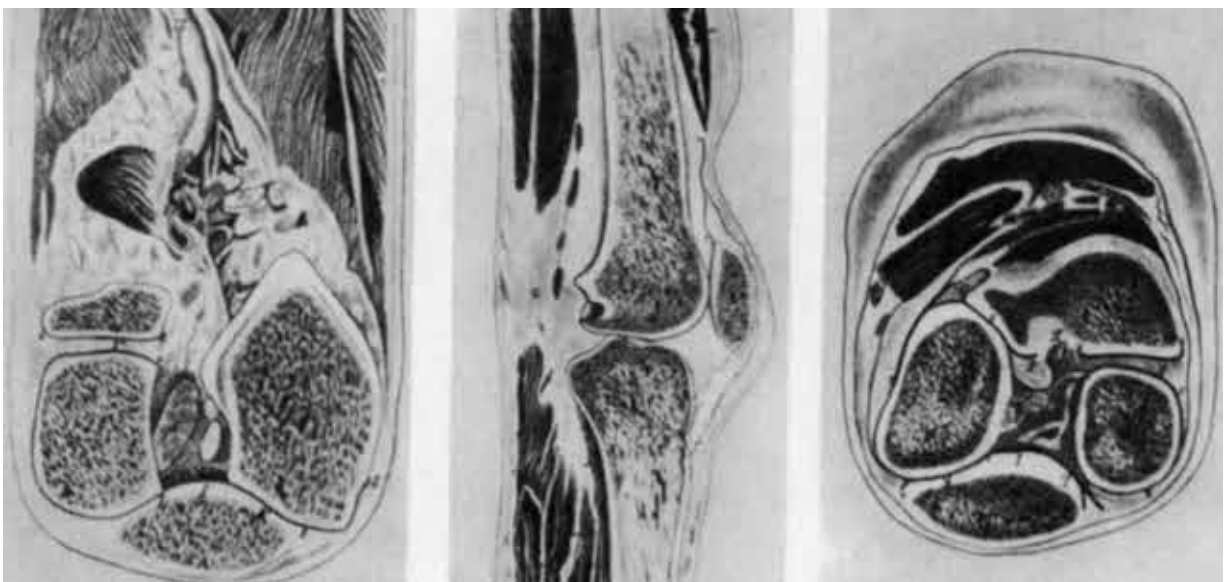
Группа членов Пироговского кружка.



*Из записных книжек Н. И. Пирогова: конспект лекции о хлороформе; устройство спектроскопа и строение почки.*



*Н. И. Пирогов. 1869 г.*



*Иллюстрации из «Топографической анатомии».*

*Распилы через коленный сустав.*



*Александра Антоновна Бистром.*



*Портрет Н. И. Пирогова в период киевского попечительства.*



*Дом Н. И... Пирогова в селе Вишня.*



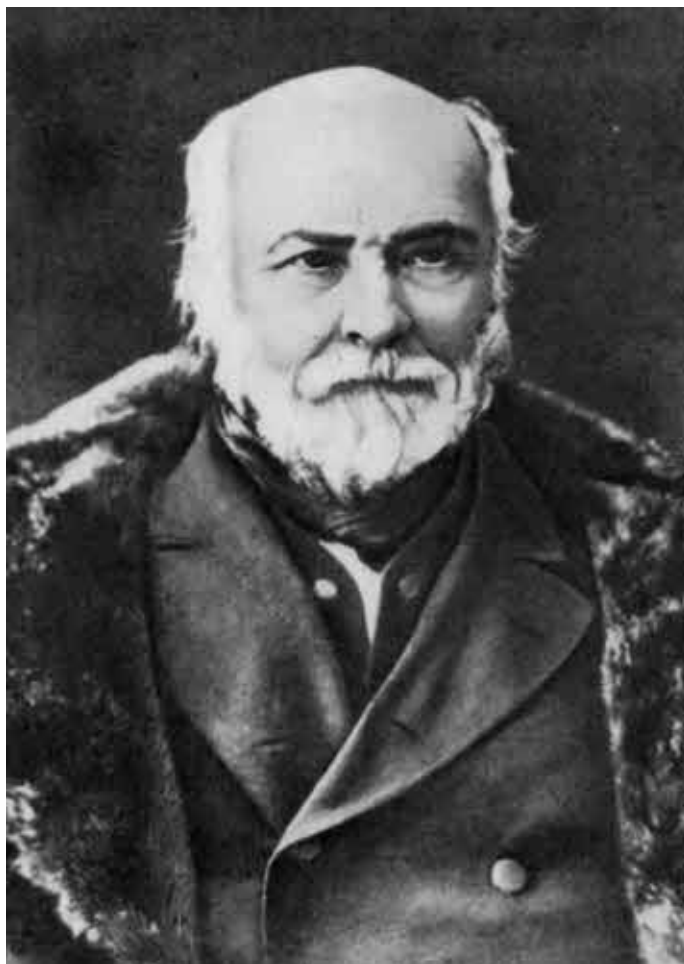
*На Шипкинском перевале. Болгарки разыскивают раненых русских воинов в ущелье. Рис. Н. Каразина.*



*Прибытие первых раненых в Киев. С наброска Н. Ольховского*



*Михаил Дмитриевич Скобелев.*



*Н. И. Пирогов. 1878 год.*





*Русско-турецкая война. Лазарет в Систове.*



*Перевозка раненых. Худ. Рубо.*



*Битва при Сисовце. Санитарный отряд в действии.*

*С наброска корреспондента Н. Н. Каразина.*



*Перевязочный пункт близ Зимницы и Дунайской армии.*

*С наброска доктора Пясецкого.*



*Николай Васильевич Склифосовский.*



*Сергей Петрович Боткин*



*Обложка труда «Военно-врачебное дело и частная помощь на театре войны в Болгарии и в тылу действующей армии в 1877–1878 гг.».*



*Крестьянская изба имени «Вишня», оперировал И. В. Пирогов.*





*Кабинет Н. И. Пирогова. Фрагмент экспозиции музея-усадьбы в Вишне.*





*Диплом почетного гражданина города Москвы, врученный Н. И. Пирогову в 1881 году.*



*Н. И. Пирогов на смертном одре.*



*Н. И. Пирогов.*

*Портрет работы И. Е. Репина. 1881 год.*

# КРАТКИЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

## ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Н. И. ПИРОГОВА

*Пирогов Н. И.* Собрание сочинений в восьми томах. М., Медгиз, 1957–1962.

*Пирогов Н. И.* Избранные педагогические сочинения. М., «Педагогика», Акад. пед. наук СССР, 1985.

*Пирогов Н. И.* Избранные педагогические сочинения. М., Акад. пед. наук СССР, 1953.

*Пирогов Н. И.* Севастопольские письма и воспоминания. М., Изд-во АН СССР, 1950.

Сочинения Н. И. Пирогова в двух томах. Спб., 1887 (изд. 2-е, Спб., 1900).

Сочинения Н. И. Пирогова. Тт. 1–2. Издание Пироговского товарищества. В память столетия со дня рождения. Киев, 1910 (изд. 2-е, дополненное — т. 1, Киев, 1914; т. 2, Киев, 1916).

## ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ О Н. И. ПИРОГОВЕ

Портретная галерея русских деятелей. Изд. Мюнстера. Спб., 1869, т. II (с портретом).

Прощание Киевского учебного округа с Н. И. Пироговым. Киев, 1861.

*Добролюбов Н. А.* О значении авторитета в воспитании. Сочинения. Спб., 1862; 7-е изд, Спб., 1908.

*Разумовский В. И.* Пирогов, его жизнь, научно-общественная деятельность и мировоззрение. Спб., 1907.

*Малис Ю. Г.* Пирогов в Севастополе. Изд-во Русского хирургического общества Пирогова. Спб., 1907.

*Авенариус В. П.* Молодость славного русского хирурга и педагога Пирогова. С портретами и рисунками. Спб., 1910.

*Волкович В. А.* Друг человечества. Пирогов. Спб., 1910.

*Разумовский В. И.* Пирогов как научный деятель и профессор

хирургии. Спб., 1910.

*Афонский А. П.* Пирогов, его жизнь и педагогическая проповедь. М., 1911.

*Бехтерев В. М.* И. И. Пирогов как научный и общественный деятель. Спб., 1910.

*Боткин С. П.* Речь о И. И. Пирогове. Протоколы общества русских врачей в Спб., 1881–1882.

*Бурденко Н. Н.* О Н. И. Пирогове с исторической точки зрения. Собр. соч. М., 1950–1952, т. 1.

*Вельяминов Н. А.* Пирогов и вопросы частной помощи на войне. — «Русский хирургический архив», 1907, № 1.

*Бутаков И. А.* Жизнь и деятельность Пирогова. — «Сборник статей Екатеринославского научного общества». Екатеринослав, 1907.

*Старосивильский.* Пирогов, великий целитель тела и воспитатель души, его жизнь, государственно-общественная деятельность и педагогические взгляды. Варшава, 1907.

*Бертенсон И. В.* Николай Иванович Пирогов. Спб., 1881; 2-е изд., Спб., 1881.

*Догель И. М.*, профессор фармакологии. Воспоминание о Н. И. Пирогове как учителе. Речь. Казань, 1881; 2-е изд., Казань, 1897.

Несколько слов о медицинском путешествии Пирогова на Кавказ. «Современник», 1850, т. XX, отд. VI, с. 168.

*Румянцев Н.* Пирогов, его взгляды на природу детей и задачи воспитания. Спб., 1910.

Поездка Пирогова на театр войны. — «Медицинский вест-пик», 1870, Я» 38.

Пирогов. Биографический очерк. — «Всемирная иллюстрация», 1873, № 209.

Из записок Н. В. Исакова. Исторический вестник, июль 1915, т. 141.

Виды полей сражений Крымской кампании 1854–1856 гг. По фотографиям полковника В. Н. Клембовского. С.-Петербург, 1904.

*Смирнов Е. И.* Война и военная медицина. М., «Медицина», 1976.

*Геселевич А. М.* Научное, литературное и эпистолярное наследие Николая Ивановича Пирогова. М., 1956.

*Геселевич А. М.*, *Смирнов Е. И.* Н. И. Пирогов. Научно-биографический очерк. М., 1960.

*Заблудовский П. Е.* Развитие хирургии в России в XIX веке. Н. И. Пирогов. М., 1955.

*Могилевский Б. Л.* Н. И. Пирогов. Ростов-на-Дону, 1953.

- Порудоминский В. И. Пирогов. М., «Молодая гвардия», 1969.
- Воропай А. В. Н. И. Пирогов и Краснокрестное движение. «Медицина», 1985.
- Протоколы и труды Русского хирургического общества Пирогова. 1907–1908 гг. Спб., 1908.
- Ивановский С. А. История императорской военно-медицинской академии за 100 лет. Спб., 1898.
- Кадацкий Н. М. Жизнь перевязочных пунктов в кампании 1877–1878 гг. в Европейской Турции.
- Посмертные записки. — «Военно-мед. журнал», 1904, т. 3, кн. 9, с. 114 (гл. хирург Дунайской армии).
- Боткин С. П. Письма из Болгарии. 1877, Спб., 1893.
- Склифосовский Н. В. Избранные труды. М., Медгиз, 1953.
- Добролюбов Н. А. Собр. соч. в девяти томах, т. 1. М. — Л., 1961.
- Добролюбов Н. А. Собрание литературных статей Н. И. Пирогова. Там же, т. 4. М.—Л., 1962.
- Добролюбов Н. А. Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами. Там же, т. 6. М.—Л., 1963.
- Добролюбов Н. А. От дождя да в воду. Там же, т. 7, М.—Л., 1963.
- Калью П. И. Н. И. Пирогов и анатомо-физиологическое направление в хирургии. М., 1959.
- Корнеев В. М. Великий русский хирург и ученый Н. И. Пирогов. Л., 1952.
- Красновский А. А. Педагогические идеи Н. И. Пирогова, М., 1949.
- Левшин Л. Л. Краткий очерк сочинений Н. И. Пирогова по хирургии. Казань, 1881.
- Максименков А. Н. Н. И. Пирогов. Его жизнь и встречи в портретах и иллюстрациях. Л., 1961.
- Малис Ю. Г. Н. И. Пирогов. Спб., 1893.
- Мечников И. И. О Н. И. Пирогове. — В кн.: «Страницы воспоминаний». М., 1946.
- Могилевский Б. Л. Н. И. Пирогов. М., 1961.
- Оппель В. А. История русской хирургии. Критический очерк. Вологда, 1923.
- Павлов И. П. Речь на соединенном заседании медицинских обществ Петербурга, посвященном памяти Н. И. Пирогова, 23 ноября 1906 года. «Русский хирургический архив», 1907, кн. 5.
- «Пироговские чтения». Сборники. М., Медгиз. Выходят ежегодно с 1955 г.

*Разумовский В. И.* Н. И. Пирогов как научный деятель и профессор хирургии. Спб., 1910.

*Склифосовский Н. В.* Памяти Н. И. Пирогова. М., 1883.

*Ушинский К. Д.* Педагогические сочинения Н. И. Пирогова. «Журн. мин. нар. просв.», 1862, № 3.

*Чернышевский И. Г.* Заметки о журналах. Июль, 1856.

Полн. собр. соч., т. III. М., 1947.

*Штрайх С. Я.* Н. И. Пирогов. М., 1949,

*Якобсон С. А.* Н. И. Пирогов и зарубежная медицинская наука. М., 1955.

*Кульчицкий К. И., Кланца П. А., Собчук Г. О.* Н. И. Пирогов в усадьбе Вишня. Киев, 1981.

Труды Пироговских чтений (1954–1983) в двух томах, под редакцией Б. В. Петровского. М., 1986.

*Шабунин А. В.* Болезнь Николая Ивановича Пирогова, «Клиническая медицина», № 8. М., 1989,

## INFO

Б 87

Брежнев А. П.

Пирогов. — М.: Мол. гвардия, 1990. — 476(4] с. ил. —  
(Жизнь заменяют. людей. Сер. биогр.; Вып. 711).

ISBN 5-235-01334-4 (2-й з-д)

Б 4702010201—217/078(02)—90 КБ-006-012-90

ББК 5г

ИВ № 6931

Брежнев Александр Петрович

ПИРОГОВ

Заведующий редакцией *С. Лыкошин*

Редактор *В. Левченко*

Серийная обложка *Ю. Арндта*

Художественный редактор *С. Курбатов*

Технический редактор *Т. Шедьдова*

Корректоры *Е. Самолетова, Е. Дмитриева*

Сдано в набор 09.01.90. Подписано в печать 02.07.90.

Формат 84×108 1/32. Бумага кн. — журн. имп. Гарнитура  
«Обыкновенная новая». Печать высокая, Усл. печ. л. 25,2 + 1,68  
вкл. Усл. кр. — отт. 28, 98. Учетно-изд. л. 28,6. Тираж 150 000 экз.  
(75 001–150 000 экз.) Цена 2 р, 80 к. Заказ 1007.

Типография ордена Трудового Красного Знамени  
издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ  
«Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, Суцеская, 21.

---



<b>notes</b>
--------------

## Примечания

**1**

Декокт (*лат.*) — отвар из лекарственных растений.

Сассапарельный корень — своеобразный минерал, дающий пыль при разломе, продавался в то время в лавках химреактивов (москательные лавки) и использовался для приготовления парных серных ванн.

Рацея — длинное наставление; читать рацей кому-нибудь.

Акафист — род хвалебного церковного песнопения.

Кондак — церковные песнопения, в которых содержится краткое описание церковного праздника или жизнь святого.

Четки — шнурок с бусами для отсчитывания поклонов во время молитвы и прочитанных молитв.



Апокалипсис — христианская церковная книга из Нового завета, содержащая пророчества о конце мира.

Пунические войны — три войны между римлянами и карфагенянами (финикиянами), продолжавшиеся с перерывами с 264-го по 146 год до н. э.

Бонна — няня, воспитательница из иностранок при маленьких детях.

Гувернантка и гувернер — воспитатели, нанимаемые для обучения и воспитания детей.

Танцмейстер — учитель танцев,

Комиссионер посредник в торговой сделке.

Катехизис — книга, содержащая краткое изложение христианского вероучения.

Риторика — теория ораторского искусства. — '



Своекоштный — находящийся, в отличие от казеннокоштного, на собственном содержании.

Псаломщик — служитель, помогающий священнику в совершении обрядов.

Кредитор — тот, кто предоставляет кому-нибудь кредит.

Мезонин — надстройка над серединой дома.

Препарировать — готовить препараты.

Обер-полицмейстер — самый старший начальник полиции в крупных городах царской России.

Токсикология — раздел медицины, изучающий свойства и механизм действия ядов на организм.

Тюфяк — мешок, набитый соломой, сеном и служащий постелью.



Полежаев Александр Иванович (1804–1838) — русский поэт. За выпады против самодержавия был отдан в солдаты.

Фагот — музыкальный духовой деревянный инструмент низкого тембра в виде длинной слегка расширяющейся трубы (в данном случае кличка, по воспоминаниям Н. И. Пирогова).

Ординарный — штатный.

Лаж — надбавка к номинальной стоимости золотых денег.

Масоны — члены религиозно-этического общества, возникшего в XVIII веке в Англии, а затем распространившего сеть своих ячеек (лож) и в остальных странах Европы (в том числе в России). Существуют и поныне.

Тэрра инкогнита (terra incognita — лат.) — незнакомая область, непонятное, непостижимое.

Позитивизм — идеалистическое направление буржуазной философии, пытающееся возвыситься над материализмом и идеализмом.

Диафрагма — мышечная перегородка, отделяющая грудную полость от брюшной, грудобрюшная преграда.



Эпигастрика (*лат.*) — наджелудочная.

Гипогастрика (*лат.*) — поджелудочная.

Манускрипт (*лат.*) — рукопись, главным образом старинная.

Коллатерали (*лат.*) — боковые, окольные пути тока крови в обход главного кровеносного ствола.

Вицмундир — форменный фрак гражданских чиновников.

Ампутация (*лат.*) — удаление.

Аневризма — ограниченное расширение просвета кровеносного сосуда с выпячиванием его стенок.

Аорта — главная, самая крупная артерия, питающая артериальной кровью органы тела.



Инъецированы — окружены, пропитаны.

Лигатура — нить, (например, шелк, кетгут), завязанная вокруг кровеносного сосуда.

Пагода — буддийский или индуистский храм в виде павильона или многоярусной башни.

Каломель — хлористая ртуть, используется как желчегонное и противомикробное средство.

Подводчик — возчик на подводе.

Штоф — старая русская мера водки, равная  $1/10$  ведра, а также бутылка такой меры.

Остеология — раздел анатомии, изучающий строение и форму костей.

Синдесмология — раздел анатомии, изучающий соединение костей между собой.



Штиль — затишье, безветрие или очень слабый ветер.

Фуляр — тонкая шелковая ткань полотняного переплетения, отличающаяся особой мягкостью, из которой делали шейные и носовые платки.

Талер — серебряная монета.

Зильбергрош — старинная прусская серебряная монета.

Бленнорея — гнойное воспаление слизистой оболочки глаза, вызываемое гонококком.

Липома — доброкачественная опухоль из жировой ткани.

Анестезирование — искусственное устранение чувствительности, обезболивание.

Доктринерство — слепое, некритическое следование какому-либо учению.



Барокко — вычурный и пышный архитектурный и скульптурный стиль XVI–XVIII веков.

Фреска — картина, написанная водяными красками по свежей, сырой штукатурке.

Дилижанс — многоместная карета для перевозки пассажиров и почты.

Верста — русская мера длины, равная 1,06 км.

Тиф — острое инфекционное заболевание, сопровождающееся лихорадкой и помрачением сознания.

Регалии — знаки отличия.

Цирюльник — парикмахер.

Полип — болезненный нарост на слизистой оболочке.



Экстраординарный — сверхштатный, не занимающий кафедры.

Лейб-медик — придворный врач.

Департамент — отдел высшего административного учреждения.

Плеврит — воспаление плевры.

Ринопластика — пластическая операция восстановления носа или исправления его формы.

Папье-маше — бумажная масса, смешанная с клеем, мелом и гипсом.

Рефрактор — телескоп.

Офтальмология — раздел медицины, изучающий строение, функции и болезни глаза.



Фиброзные — жилистые, волокнистые.

Эмпиризм — философское направление, признающее чувственное восприятие и опыт единственным источником познания.

Анналы — годовые (сводки), вид хроники.

Минералогия — наука о минералах, их составе, строении, свойствах.

Руссо Жан-Жак (1712–1778) — знаменитый французский писатель, философ, просветитель эпохи подготовки французской буржуазной революции.

Предстательная железа — железа, охватывающая мочево́й канал в месте выхода его из мочевого пузыря.

Ортопедический — предназначенный для лечения деформаций тела, органов движения и опоры.

Косолапый — ступающий пятками врозь.



Перкуссия — выстукивание.

Аускультация — прослушивание.

Шпицрутенy — длинные гибкие прутья, палки из лозняка, которыми наносили удары наказуемым, прогоняя их сквозь строй.

Столбовой помещик — помещик старинного рода.

Кисейная — прозрачная, тонкая.

Обмишультиться — ошибиться, сделать промах, попасть впросак.

Гофман А. (1814–1882) — немецкий писатель.

Ретирадник — укрепленное место на случай отступления.



Меркуриальный — ничего не значащий.

Корпия — перевязочный материал — нитки, нащипанные руками из ветоши.

Сановник — крупный влиятельный чиновник.

Экстракт — вытяжка, извлечение из растительных лекарственных веществ.

Фельдмаршал — высший военный (генеральский) чин,

Херес — сорт крепкого виноградного вина.

Литография — печатание с плоской поверхности камня, на которой сделан рисунок.

Оксиген — кислород.



Эмбриолог — ученый, изучающий зародышевое развитие организма.

Фунт — русская мера веса, равная 409,5 г.

Фейерверкер — в царской армии, унтер-офицер в артиллерии.

«Новые сочинения. Отчет о путешествии по Кавказу Н. Пирогова». — «Отечественные записки», 1850, тп. 72, № 10, отд. VI. с. 84.

Адъюнкт-профессор — младшая ученая должность.

Прикладная анатомия — анатомия, имеющая чисто практическое значение.



Остеопластика — сопоставление костей.



Абсцесс — гнойник или нарыв.

Запястье — часть кисти руки, прилегающая к предплечью.

Невралгия — приступы боли, возникающие по ходу нерва.

Истерия — нервное заболевание, выражающееся в припадках, судорожном смехе и слезах.

Негоциант — оптовый купец, ведущий крупные торговые дела.

Эмансипация — освобождение от зависимости, угнетения.

Баронесса — дворянский титул ниже графского.

Соборование — помазание тела больных или умирающих.



Агония — состояние, предшествующее наступлению смерти.

Топографическая анатомия — раздел анатомии, изучающий взаимное и послойное расположение органов и частей тела.

Екатеринослав — ныне Днепропетровск.

Подорожная — в старину: проездное свидетельство.

Прогоны — плата за проезд на почтовых лошадях.

Фортификация (лат.) — укрепление.

Кивер — высокий жесткий военный головной убор,

Сермяга — грубое некрашеное сукно.



Сбитень — горячий напиток из меда с пряностями.

Комендор — матрос-артиллерист.

Траверс — насыпь в окопе для защиты от флангового огня.

Бруствер — земляная насыпь на наружной стороне окопа.

Атомистика — лженаучная система лечения, придуманная лейб-медиком Николая I М. Мандтом.

Шанцевый инструмент — служащий для производства работ по устройству окопов и траншей.

Генерал-гевальдигер — заведующий полицейской частью при главном штабе армии; должность введена при Петре I; упразднена после Крымской войны.

Мирт — южный вечнозеленый кустарник.



Меланхолик — человек, склонный к грусти и мрачным мыслям.

Дамоклов меч — острый меч, подвешенный сиракузским тираном Дионисием I на конском волосе над головой завидовавшего ему Дамокла.

Архиерей — высший чин духовенства.

Мистерии — тайные религиозные обряды.

Политеизм — религия, основанная на вере во многих богов.

Амбулансы — передовые перевязочные пункты.

Квиетизм — религиозно-этническое учение, проповедовавшее смирение, покорность.

Баши-бузук — разбойник, головорез.



Пестрядина — грубая льняная или бумажная ткань.

Аршин — русская мера длины, равная 0,71 м.

Антисептика — способ биологического и химического обеззараживания предметов.

Гигроскопический — поглощающий влагу.

Катаральное — воспалительное.

Все даты даны по старому стилю.